

ТОМАС
ГАРДИ

3

ТОМАС
ГАРДИ

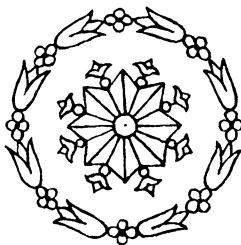


ТОМАС ГАРДИ
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМАС ГАРДИ

— ❁ —

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ТРЕХ ТОМАХ



МОСКВА
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА •
1989

ТОМАС ГАРДИ
—❖—
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

**ТОМ
ТРЕТИЙ**

**ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
•
СТИХОТВОРЕНИЯ**

**ПЕРЕВОДЫ
С АНГЛИЙСКОГО**



**МОСКВА
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА •
1989**

ББК 84.4Вл
Г20

Составление
Н. ДЕДУРОВОЙ

Комментарии
Н. ДЕДУРОВОЙ и Н. ДЕЗЕН

Художник
Л. ХАЙЛОВ

Оформление
Д. ШИМИЛИСА

Г $\frac{4703010600-313}{028(01)-89}$ 986-89

ISBN 5-280-00745-5 (Т.3)
ISBN 5-280-00742-0

© Состав, переводы, не отмеченные в содержании знаком *, комментарии, иллюстрации, оформление. Издательство «Художественная литература», 1989 г.



ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

ТРИ НЕЗНАКОМЦА

Одной из немногих за долгие века не изменившихся черт сельской Англии являются поросшие травой и дроком высокие нагорья с разбросанными по холмам и по лощинам овечьими пастбищами; в некоторых южных и юго-западных графствах они занимают обширные пространства. Единственный след человеческого пребывания, какой можно здесь встретить,— это одиноко стоящий где-нибудь на косогоре пастуший домишко.

Лет пятьдесят тому назад на одном из таких косогоров стоял именно такой домишко; быть может, он стоит там и до сих пор. Пустынный этот склон, если точно подсчитать расстояние, находился всего в пяти милях от главного города графства; однако это соседство нисколько здесь не ощущалось. В ненастную погоду с дождем и снегом, слякотью и туманами мало нашлось бы охотников одолеть пять миль пути по такой гористой местности; и жителям домика осенью и зимой было обеспечено уединение, которое удовлетворило бы даже Тимона или Навуходносора, а в летнюю пору, хотя и не столь полное, но все же достаточное, чтобы прийтись по душе менее мизантропической породе философов, поэтов, художников и прочих любителей «творить в тиши и мыслить о прекрасном».

При сооружении таких одиноких жилищ обычно стараются использовать для защиты от ветра какой-нибудь курган или земляной вал древнего становища, кучку деревьев или хотя бы остатки полузасохшей живой изгороди. Но тут даже и эта мера предосторожности не была принята. Верхний Краустэйрс — так называлась усадьба — стоял на совершенно открытом и незащищенном склоне. Трудно сказать, что определило выбор места,— разве только то, что неподалеку от дома проходили, скрещиваясь под прямым углом, две тропы, проложенные добрых пятьсот лет тому назад. Дом, стало быть, со всех сторон был открыт воздействию стихий. Но хотя ветер если уж принимался дуть, то дул здесь на совесть, а дождь если уж шел, то

хлестал изо всей мочи,— все же зимняя непогода была здесь не так страшна, как это казалось жителям низины. Сырость и изморозь приносили меньше вреда здоровью, и даже мороз терпеть было как-то легче. Если кто-нибудь начинал жалеть пастуха и его семейство за те мученья, которые им приходится выносить, они отвечали, что с тех пор, как они здесь поселились, они куда меньше страдают от насморка и кашля, чем прежде, когда жили у речки в соседней уютной долине.

На 28 марта 182... года выдалась как раз такая ночь, какие обычно побуждали добрых людей к подобным изъявлениям сочувствия. Косой дождь бил в стены, в склоны, в заборы, словно длинные стрелы лучников при Сенлаке или Креси. Овцы и другие домашние животные, которым негде было укрыться, стояли, повернувшись задом к ветру, а хвосты мелких птишек, свивших гнезда в колючем терновнике, выворачивались от ветра наизнанку, как зонтики. Одна сторона дома вся была в мокрых пятнах: воду, сбегавшую по застрехе, ветром кидало об стену. И все же меньше всего было оснований в эту ночь жалеть пастуха, ибо этот неунывающий поселянин справлял крестины своей младшей дочери и в доме у него было полно гостей.

Гости пришли еще до дождя, и теперь все вместе сидели внизу, в большой комнате. Тот, кто заглянул бы в нее часок около восьми в этот богатый событиями вечер, нашел бы здесь самое приятное убежище от непогоды, какого только можно пожелать. О занятии хозяина красноречиво говорили развешанные на стене вокруг камина отполированные до блеска, загнутые крюком ручки от пастушьих посохов — всевозможных образцов, начиная от самых древних, какие можно увидеть на картинках в старых семейных библиях, и до самоновейших, получивших общее одобрение на последней ярмарке. Комната освещалась десятком сальных свечей, с фитилями чуть потоньше самой свечки; они были воткнуты в парадные подсвечники, появившиеся на свет божий из сундуков только по большим праздникам и в дни семейных торжеств. Свечи были расставлены по разным углам, а две стояли на камине, что само по себе имело особое значение,— на камин свечи ставились лишь тогда, когда в доме были гости.

В камине весело пылал сухой хворост с громким, «как смех глупца», гулом и треском; крупные поленья, дающие жар, были сложены подальше, в глубине очага.

Всего собралось девятнадцать человек. Пять женщин в ярких цветных платьях сидели на стульях вдоль стены; девушки, и застенчивые и бойкие, теснились на скамье под окном; четверо мужчин, в том числе плотник Чарли Джэйк, приходский пономарь Элиджа Нью и тесть хозяина Джон Питчер, владелец соседней молочной фермы, развалились на большом ларе, служившем вместо дивана; молодой парень и девушка, пытавшиеся, краснея и смущаясь, затеять разговор о союзе на всю жизнь, пристроились в уголку возле буфета; а почтенного воз-

раста жених — ему перевалило уже за пятьдесят — то и дело пересаживался с места на место, следуя, как тень, за своей нареченной. Все веселились от души, а свобода от всяких условностей еще более способствовала общему веселью. Каждый был уверен в добром мнении о нем соседей, и это рождало непринужденность; а отсутствие всякого стремления выделиться среди других, расширить свой кругозор, вообще как-нибудь отличиться,— стремления, которое в наши дни так часто убивает простоту и непосредственность во всех слоях общества, кроме самого высшего и самого низшего,— сообщало большинству присутствующих особое достоинство манер и поистине царственное спокойствие.

Пастух Феннел взял жену из зажиточной семьи,— у отца ее была молочная ферма,— и когда новобрачная пришла к мужу в дом, в кармане у нее было пятьдесят гиней; там она хранила их и доныне — поджидая, пока с увеличением семьи возрастут и расходы. Эта бережливая женщина порядком поломала голову над тем, как лучше устроить сегодняшнюю вечеринку. Можно сделать так, чтобы гости просто сидели и разговаривали; но мужчины, если их усадить с удобством, за мирной беседой выпьют столько, что на завтра в погребе будет пусто. А можно устроить танцы; но тут опять беда: выпьют гости, положим, и меньше, но зато от движения у них разовьется такой аппетит, что на завтра пусто будет в кладовой. Миссис Феннел избрала средний путь и решила перемежать пляску беседой и песнями — того и другого понемногу, чтобы гости в обоих случаях не слишком увлекались. Но хитрый свой замысел она держала про себя; сам хозяин настроен был так радушно, что ничего не пожалел бы для дорогих гостей.

На вечеринке был и местный скрипач, парнишка лет двенадцати, великий искусник по части исполнения жиги и других старинных танцев, хотя пальцы у него были так коротки и малы, что для того, чтобы взять высокую ноту, ему приходилось перебрасывать всю руку по грифу, а потом тем же порядком возвращаться в исходную позицию, что отнюдь не способствовало чистоте тона. В семь часов уже началось пронзительное пиликанье скрипки в сопровождении басовитых звуков, которые пономарь Элиджа Нью извлекал из любимого своего инструмента — серпента; он не забыл прихватить его с собой. Тотчас все пустились в пляс, а миссис Феннел тут же шепнула музыкантам, чтобы они ни в коем случае не смели играть дольше пятнадцати минут подряд.

Но Элиджа и скрипач, гордые своей важной ролью на празднике, совершенно забыли ее распоряжение. Кроме того, один из танцоров, Оливер Джайлс, парень лет семнадцати, влюбленный в свою пару, красотку, которой уже стукнуло тридцать три года, не поскупился — сунул музыкантам новенькую крону с тем, чтобы они играли, пока хватит духу. Миссис Феннел, видя, что на лицах гостей уже проступает пот, про-

бралась к скрипачу и потянула его за рукав, а потом прикрыла ладонью раструб серпента. Но музыканты даже и глазом на нее не повели, и она, боясь слишком явным вмешательством повредить своей репутации гостеприимной хозяйки, отошла и с безнадёжным видом села поодаль. А пляска продолжалась все с большим жаром, танцоры без усталости кружились как бы по планетным орбитам, вперед-назад, от апогея к перигею, до тех пор пока длинная стрелка часов, стоявших в углу комнаты, которым тоже порядком доставалось от каблучков танцующих, не описала полного круга по циферблату.

В то время как в пастушьем обиталище Феннела совершались все эти веселые события, за его пределами в ночной темноте тоже кое-что происходило, не безразличное, как оказалось впоследствии, для собравшихся. Как раз когда миссис Феннел сокрушалась о чрезмерном увлечении гостей танцами, на пустынном склоне, на котором стоял Верхний Краустэйрс, появилась человеческая фигура, приближавшаяся, видимо, со стороны города. Человек этот, не останавливаясь ни на минуту, шагал под проливным дождем по тропинке, которая немного подалее проходила у самого дома.

Близилось полнолуние, и поэтому, хотя пелена дождевых туч сплошь затягивала небо, все же можно было без труда рассмотреть окружающие предметы. В этом тусклом, печальном свете видно было, что одинокий пешеход худощав; судя по походке, он уже вышел из того возраста, которому присуще резвое проворство юности, однако не настолько еще был от него далек, чтобы не суметь двигаться быстро, если того потребуют обстоятельства; ему, пожалуй, можно было дать лет сорок. Он казался высоким, но сержант-вербовщик или кто-либо другой, привыкший судить о росте на глаз, тотчас определил бы, что это впечатление создается благодаря его худобе, а на самом деле в нем не больше пяти футов и восьми или девяти дюймов.

Несмотря на ровную свою поступь, он двигался с осторожностью, как бы все время нащупывая дорогу; и хотя на нем не было ни черного сюртука, ни другой какой-либо темной одежды, что-то в его облике заставляло думать, что он принадлежит к тому кругу людей, в котором черный сюртук — общепринятая одежда. Он был одет в простую бумазею, сапоги его были подбиты гвоздями, и все же он не походил на крестьянина, привыкшего в своей бумазее мокнуть под дождем и в грубых своих сапогах бесстрашно шагать по грязи.

К тому времени, как он поравнялся с домом пастуха, дождь с особым ожесточением принялся лить сверху или, вернее, хлестать сбоку. Крайние строения маленькой усадьбы давали кое-какую защиту от ветра и ливня, и путник остановился. Ближе других был пустой хлев, стоявший в переднем углу неогороженного сада, ибо в этих местах не был еще усвоен обычай скрывать прозаические хозяйственные приспособления за благопристойным фасадом. Тусклый блеск мокрой черепицы привлек

взгляд путника; он свернул с дороги и, убедившись, что хлев пуст, зашел внутрь, под защиту его односкатной кровли.

Пока он стоял там, до его слуха донеслось гудение серпента и тонкий голосок скрипки, смешанные с другими бесчисленными звуками — тихим шелестом дождя по дерну, барабанной его стукотней по капустным листьям на огороде и по десятку ульев, смутно белевших возле тропинки, и звонким плеском струй, которые скатывались с крыши в ведра и лохани, расставленные вдоль дома. Ибо для обитателей Верхнего Краустэйрса, как и для всех жителей нагорья, главной бедой был недостаток воды; и когда шел дождь, для сбора влаги выставлялись все вместилища, какие были в доме. Можно бы рассказать немало любопытных историй о том, на какие хитрости пускались здесь в летнюю засуху, чтобы сберечь воду для стирки или для мытья посуды. Но сейчас в них не было надобности; достаточно было выставить ведро и собрать то, что посылало небо.

Наконец звуки серпента затихли, и дом погрузился в молчание. Внезапно наступившая тишина вывела путника из задумчивости, и, словно приняв какое-то решение, он пошел по тропинке к дому. У порога он первым делом опустился на колени на большой плоский камень, лежавший возле выстроившихся рядом посуды, и стал пить большими глотками. Утолив жажду, он встал и уже протянул было руку постучать, однако не сделал этого и продолжал стоять неподвижно, глядя на дверь. Так как темная деревянная поверхность ничего не открывала глазу, то надо полагать, что он пытался мысленно заглянуть сквозь нее, соображая, что его может встретить в этом одиноком доме, и колеблясь — войти ему или нет.

В нерешимости он отвернулся и поглядел вокруг. Нигде не было ни души. У самых его ног начиналась садовая дорожка, блестящая, как след от проползшей улитки; тем же тусклым и влажным блеском отсвечивал навес над маленьким колодцем (который большую часть года стоял сухим), крышка над его отверстием и верхняя перекладина садовой калитки; далеко внизу, в долине, что-то смутно белело, и белизны этой было больше, чем всегда, — доказательство, что река вышла из берегов и затопила луг. Еще дальше сквозь сетку дождя мерцало несколько подслеповатых огней — фонари далекого города, из которого, должно быть, и пришел путник. В этом направлении незаметно было никаких признаков жизни, и это как будто укрепило его решимость: он снова повернулся к дверям и постучал.

В доме в эту минуту музыка и танцы сменились ленивой беседой. Плотник предложил было спеть песню, но никто его не поддержал, и стук в дверь пришелся кстати, обещая неожиданное развлечение.

— Войдите! — поспешно крикнул хозяин.

Щеколда звякнула и приподнялась, и путник шагнул из

ночной темноты на соломенный коврик у порога. Хозяин встал, снял нагар с двух ближних свечей и повернулся к новому гостю.

В разгоревшемся их свете можно было разглядеть, что вошедший смугл лицом и черты его не лишены приятности. Поля шляпы, которую он не сразу снял, низко спустились ему на глаза, и все же видно было, что глаза у него большие, широко открытые, с решительным выражением; одним быстрым взглядом он, казалось, охватил комнату и все в ней заключавшееся, и осмотр, по-видимому, принес ему удовлетворение; он обнажил свою косматую голову и сказал низким звучным голосом:

— На дворе такой ливень, что приходится, друзья, просить у вас позволения зайти отдохнуть немного.

— Милости просим,— ответил пастух.— Ты удачно попал, приятель, мы как раз собрались повеселиться, потому что у меня в доме радость,— хотя, по правде сказать, таких радостей не пожелаешь себе чаще чем раз в году.

— Но и не реже,— сказала одна из женщин.— Лучше уж поскорей обзавестись семейством, без лишних проволочек, чтобы потом было меньше хлопот.

— Какая же у вас радость? — спросил незнакомец.

— Дочка у меня родилась,— ответил пастух,— так вот, справляем крестины.

Незнакомец пожелал хозяину, чтобы в будущем подобные радости посещали его не слишком часто, но и не слишком редко; в ответ его жестом пригласили отхлебнуть из кружки, что он немедленно и сделал. Сомнения, которые мучили его, пока он стоял перед домом, видимо, рассеялись, и он держался теперь беззаботно и непринужденно.

— Поздненько же вы собрались в путь,— сказал пожилой жених,— ночью нелегко карабкаться по нашим косограм.

— Да, поздненько собрался, это вы верно говорите; позвольте уж, я сяду у камелька, если вы не против, хозяйка; я малость отсырел с того боку, который к дождику был поближе.

Миссис Феннел выразила согласие и освободила местечко у камина для неожиданного гостя, а тот, забравшись в самый угол, уселся с удобством и совсем уже по-домашнему принялся греть руки и ноги перед огнем.

— Да, полопались передки,— сказал он развязно, заметив, что взгляд хозяйки устремлен на его сапоги,— да и одежда поистрепалась. Мне туговато пришлось последнее время, ну и одевался во что попало. Вот доберусь домой, тогда оденусь как следует.

— Вы здешний? — спросила хозяйка.

— Да нет, не совсем: мои родные подалее живут, в долине.

— Я так и знала. Я сама оттуда, и когда вы заговорили, я сразу подумала, что вы из наших мест.

— Но про меня вы навряд ли слышали,— поспешно перебил незнакомец,— я ведь много старше вас.

Это свидетельство молоджавости хозяйки заставило ее умолкнуть и прекратить расспросы.

— Эх! Теперь только одного не хватает,— сказал незнакомец.— Табачок у меня вышел, вот беда.

— Давай сюда трубку,— сказал пастух.— Положим в нее табачку.

— Да уж придется и трубку у вас попросить.

— Куришь, а трубки нет?

— Обронил где-то на дороге.

Пастух набил табаком новенькую глиняную трубку и, подавая ее незнакомцу, сказал:

— Давай и кисет, заодно и туда положим.

Тот принялся шарить у себя по карманам.

— И кисет потерял? — спросил хозяин с некоторым удивлением.

— Боюсь, что так,— ответил тот в замешательстве.— Ладно, заверни в бумажку.— Он закурил от свечи, затянувшись с такой жадностью, что пламя все всосалось в трубку, а затем вновь уселся в углу и, словно не желая продолжать разговор, погрузился в созерцание тонкой струйки пара, поднимавшейся от его сапог.

Остальные гости все это время мало обращали внимания на вновь прибывшего, так как были увлечены другим важным делом — вместе с музыкантами обсуждали, что сыграть для следующего танца. Придя наконец к согласию, они уже готовились стать в пары, как вдруг снова раздался стук в дверь.

Заслышав стук, незнакомец, сидевший у камина, взял кочергу и принялся разгребать горящие угли с таким усердием, словно хорошенько их перемешать было единственной целью его жизни, а пастух снова, как и в тот раз, крикнул: «Войдите!» Через мгновение другой путник уже стоял на коврике у двери. Он тоже никому не был знаком.

Этот гость был совсем иного склада, чем первый,— гораздо проще манерами и, по всему своему облику, веселчак и человек бывалый, который в любом месте и в любой компании чувствует себя как дома. Он казался на несколько лет старше первого, седина уже тронула его волосы и щетинистые брови; щеки у него были гладко выбриты, только возле самых ушей оставлены небольшие бачки. Пухлое лицо его уже несколько расплылось, и вместе с тем это было лицо, не лишенное силы. Багровые пятна поблизости от носа говорили о пристрастии к рюмочке. Он откинул свой длинный темный плащ, и под ним обнаружился городской костюм пепельно-серого цвета; в качестве единственного украшения на часовой цепочке, свисавшей из жилетного кармана, болталось несколько тяжелых печаток из какого-то полированного металла. Стряхнув дождевые капли со своей лощеной шляпы с низкой тульей, он промолвил:



— Разрешите укрыться у вас на часок, друзья, а то ведь насквозь промокнешь, пока доберешься до Кэстербриджа.

— Заходите, сударь, сделайте милость,— ответил пастух, хотя, пожалуй, уже не с такой готовностью, как в первый раз. Не то чтобы Феннел был скуповат, этого греха за ним не числилось, но комната была невелика, свободных стульев почти не оставалось, и хозяйина, возможно, смущала мысль, что вымокший до нитки путник будет не слишком приятным соседом для женщин и девушек в нарядных платьях.

Меж тем вновь пришедший сбросил плащ и повесил шляпу на гвоздь в одной из потолочных балок, словно ему нарочно указали для нее это место, а затем вышел вперед и уселся за стол. Стол был придвинут почти вплотную к камину, чтобы освободить место для танцев, и угол его приходился у самого локтя первого путника, примостившегося возле огня, так что теперь оба пришельца оказались в близком соседстве. Они кивнули друг другу, и когда знакомство, таким образом, состоялось, первый протянул второму фамильную кружку — объемистую посудину из простого фаянса; подобно тому как порог бывает избит шагами пешеходов, так края ее были истерты жаждущими губами многих поколений, ушедших теперь туда, куда уходит все живое; выпуклые ее бока опоясывала надпись желтыми буквами:

Сладко из меня пить,
Без меня веселию не быть.

Второй пришелец с охотой поднял кружку к губам и отхлебнул из нее, а потом еще и еще, пока легкая синева не разлилась по лицу миссис Феннел, с немалым изумлением взиравшей на то, как щедро один из ее непрошенных гостей потчует другого тем, чем ему совсем бы и не пристало распорядиться.

— Так я и знал! — с глубоким удовлетворением сказал гость, отрываясь от кружки и поворачиваясь к пастуху. — Еще когда я проходил по саду, перед тем как к вам постучать, и увидел улы, что там расставлены, я еще тогда сказал себе: «Где пчелы, там мед, а где мед, там брага». Но такого славного медку я уж не чаял отведать в нынешнее время. — Он снова приложился к кружке с таким усердием, что дно ее поднялось угрожающе высоко.

— Рад, что вам понравилось! — радушно сказал пастух.

— Да, мед ничего себе, — подтвердила и миссис Феннел, однако более сдержанным тоном, видимо, считая, что похвала иной раз покупается слишком дорогой ценой. — Но с ним столько возни, мы, пожалуй, больше не будем его делать. Мед и свежий берут нарасхват, а для себя можно сварить немножко сыты из той воды, что остается после промывки вошины.

— Ну, что вы, это было бы прямо грешно! — укоризненно воскликнул незнакомец в сером, в третий раз прикладываясь к кружке и отставляя ее на стол пустую. — Хлебнуть эдакого старого медку — да ведь это так же приятно, как в церковь пойти в воскресенье либо убогого приютить в любой день недели!

— Ха-ха-ха! — отозвался сидевший в углу; до сих пор он молча покурил трубку, но теперь счел своим долгом показать, что им оценено остроумие собеседника.

Надо сказать, что старый мед, изготовленный так, как его готовили в те дни, из чистейшего, без крошки вошины, меда, собранного в том же году: четыре фунта меда на галлон воды, с надлежащей примесью яичных белков, дрожжей, кардамона, имбиря, гвоздики, мускатного ореха и розмарина — перебродивший как следует, разлитый по бутылкам и постоявший в погребе, — этот мед был весьма крепким напитком, хотя на вкус и казался не так крепок, как был на самом деле. Действие его мало-помалу начало сказываться на незнакомце в сером: вскоре он уже расстегнул жилет, развалился на стуле, вытянул ноги и вообще вел себя так развязно, что невольно привлекал внимание к своей особе.

— Так-то вот, — начал он, — в Кэстербридж лежит моя дорожка, и в Кэстербридж я должен попасть во что бы то ни стало. Я уже сейчас был бы там, да вот дождик сюда загнал: ну и что ж, я об этом не жалею.

— Вы разве живете в Кэстербридже? — спросил пастух.

— Пока еще нет, но думаю туда переехать.

— Ремеслом каким-нибудь хотите заняться?

— Что ты,— вмешалась жена пастуха.— Разве не видишь: гость наш, по всему, человек с достатком, на что ему работать.

Серый незнакомец помолчал с минуту, словно взвешивая, подходит ли ему такое определение. Затем решительно его отверг.

— С достатком! — сказал он.— Нет, сударыня, это не совсем верно. Я рабочий человек, да! Приходится работать. Вот доберусь я до Кэстербриджа — дай бог, чтобы в полночь,— а уж в восемь пожалуйста на работу. Да-с! Дождь ли, снег ли, хоть разорвись, хоть лопни, а свою работу я завтра должен сделать.

— Бедняга! Так, значит, вы хоть и по-городскому одеты, а на поверку еще беднее нас? — откликнулась жена пастуха.

— Такое уж мое ремесло, друзья. Не в бедности дело, а ремесло такое... Ну пора мне в путь, а то в городе и пристанища не найдешь на ночь.— Однако он не двинулся с места и немного погодя прибавил: — Но распить с вами еще кружечку — в знак дружбы — времени хватит. Только вот беда, в кружке-то пусто.

— Не хотите ли сыты? — сказала миссис Феннел.— То есть мы ее сытой зовем, а на самом деле это просто вода от первой промывки вошины.

— Нет,— презрительно отозвался незнакомец.— После мяса кто захочет глотать кости?

— Да зачем же,— вмешался Феннел.— Дети-то ведь не каждый день рождаются; давай я еще налью меду.

Он встал и направился в темный угол под лестницей, где стоял бочонок. Жена пошла за ним.

— Что это ты выдумал? — укоризненно сказала она, как только они остались одни.— На такого разве напасешься? В кружке-то на десять человек было, а он все один высосал, да еще сыта ему нехороша, подавай меду! Да и кто он такой? Никто его не знает. Не нравится он мне, вот что.

— Да ведь он к нам в дом пришел, голубка. А на дворе непогода, а у нас праздник. Авось не разоримся от одной кружки. Вот станем летом подкуривать пчел, будет и меду вдосталь.

— Ну ладно, налей еще одну,— ответила жена, сокрушенно глядя на бочонок.— Но откуда он взялся и какое его занятие? Пускаем в дом, а кого — не знаем.

— Да и я не знаю. Вот я его еще спрошу.

На этот раз незнакомцу в сером не удалось разом осушить всю кружку,— миссис Феннел приняла против этого весьма решительные меры. Налив меду в небольшой стакан, она подвинула ему, а большую кружку отставила подальше. Когда гость выпил отпущенную ему порцию, пастух возобновил расспросы о его занятии.

Незнакомец помедлил с ответом, и тогда другой, сидевший у камина, вдруг заговорил с неожиданной откровенностью.

— А я вот своего занятия не скрываю,— сказал он,— пусть хоть всякий знает. Я колесник.

— Что ж, в наших местах это доходное ремесло,— сказал пастух.

— И я своего не скрываю,— отозвался незнакомец в сером.— Пусть хоть всякий знает, у кого хватит ума догадаться.

— Ремесло можно всегда по рукам узнать,— заметил плотник, глядя на свои собственные руки.— Уж какие-нибудь знаки да остаются. У меня, например, вон— все пальцы в занозах, словно иголки понатыканы.

Рука сидевшего у камина проворно скрылась в тень, а сам он, попыхивая трубкой, устремил взгляд на горящие угли. Незнакомец в сером подхватил замечание плотника.

— Это правильно,— сказал он с хитрой усмешкой,— да только у меня ремесло особенное: знаки не на мне остаются, а на тех, кого я обслуживаю.

Никто не сумел разгадать эту загадку, и жена пастуха снова предложила гостям спеть песню. Начались те же отговорки, что и в первый раз: у одного нет голоса, другой позабыл первый стих. Незнакомец в сером, к этому времени порядком уже разгорячившийся от доброго меда, внезапно разрешил затруднение, объявив, что он готов сам спеть, чтобы расшевелить прочих. Засунув большой палец левой руки в пройму жилета и помахивая правой, он обратил взор к пастушьим посохам, развешанным над камином, словно ища там вдохновения, и начал:

Подобрал я ремесло,
Эй, простые пастухи,—
Видно, так мне повезло.
Я заказчика свяжу, и высоко подтяну,
И отправлю в дальнюю страну!

В комнате стало очень тихо, когда он закончил строфу, и только сидевший у камина по команде певца: «Припев!» — с увлечением подхватил низким, звучным басом:

И отправлю в дальнюю страну!

Все остальные, Оливер Джайлс, тесть хозяина Джон Питчер, пономарь, пятидесятилетний жених и девушки, сидевшие рядком у стены, как-то невесело примолкли. Пастух задумчиво глядел в землю, а его жена устремила любопытный и подозрительный взгляд на певца; она никак не могла понять, вспоминает ли он какую-то старую песню, или тут же сочиняет новую нарочно для этого случая. Все, казалось, были в недоумении, словно гости на пиру Валтасара, когда им дано было невнятное знамение; все, кроме сидевшего у камина, который только невозмутимо проговорил:

— Теперь второй стих, приятель! — и снова взялся за трубку.

Певец сперва основательно промочил себе горло, а затем опять затянул песню:

Инструмент мой очень прост,
Эй, простые пастухи,—
Инструмент нехитрый у меня,
Столб высокий да веревка, вот и все, и очень ловко
Управляюсь с ними я!

Пастух Феннел тревожно оглянулся. Теперь уж не оставалось сомнения в том, что незнакомец песней отвечает на его вопрос. Гости вздрогнули, некоторые даже вскочили со своих мест. Юная невеста пятидесятилетнего жениха начала было падать в обморок и, пожалуй, довела бы до конца свое намерение, но, видя, что жених не проявляет довольно расторопности и не спешит ее подхватить, она, дрожа, опустилась на стул.

— Так вот он кто! — шептались сидевшие поодаль: название ужасной должности, исправляемой незнакомцем, шепотком пробегало в их ряду.— Затем и приехал! Это ведь на завтра назначено, в Кэстербриджской тюрьме, за кражу овцы... Часовщик, что в Шотсфорде жил... Ну да, мы все про него слышали. Тимоти Сэммерс его звать... Не было у бедняги работы, видит, дети-то с голоду пропадают, ну, он пошел на ферму, что у большой дороги, да и унес овцу... Да, да, среди бела дня, и сам фермер тут был, и жена, и работник, да не посмели его тронуть... А этот (с кивком на незнакомца, только что объявившего о своем смертоубийственном ремесле) приехал теперь к нам, потому что там, где он раньше служил, работы не хватает, а наш, прежний-то, как раз помер... Наверно, он в том же самом домике будет жить, под тюремной стеной...

Незнакомец в сером не обратил никакого внимания на все эти высказанные шепотом догадки; он только подвинул к себе кружку и еще раз промочил горло. Видя, что никто, кроме соседа у камина, не откликается на его веселость, он протянул свой стакан этому единственному ценителю, а тот в ответ поднял свой. Они чокнулись, меж тем как глаза всех находившихся в комнате неотступно следили за каждым движением певца. Он уже открыл рот, собираясь запеть, как вдруг опять послышался стук в дверь. Но на этот раз стук был слабый и нерешительный.

Всех, казалось, охватил испуг; Феннел в смятении посмотрел на дверь, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы, наперекор предостерегающим взглядам встревоженной хозяйки, в третий раз произнести: «Войдите!»

Дверь тихонько растворилась, и на коврик шагнул третий пришелец. Он тоже, как и его предшественники, не был никому знаком. Это был небольшой белобрысый человек в добротном костюме из темного сукна.

— Не скажете ли мне, как пройти в...— начал он, обводя взглядом комнату и, видимо, стараясь понять, в какого рода компанию он попал; взгляд его остановился на незнакомце в сером, но тут речь его вдруг прервалась, и так же внезапно смолкло и перешептывание гостей, потому что певец, столь

поглощенный своим намерением, что едва ли он даже заметил появление нового лица, в этот самый миг во весь голос затянул следующий стих:

Завтра мой рабочий день,
Эй, простые пастухи,—
Хлопотливый день такой.
Парень утащил овцу и за это взят в тюрьму,
Боже, дай душе его покой!

Незнакомец у камина, размахивая кружкой с таким азартом, что мед выплескивался в огонь, как и раньше подхватил глубоким басом:

Боже, дай душе его покой!..

Все это время третий незнакомец стоял у порога. Заметив наконец, что он почему-то молчит и не подходит ближе, гости вгляделись в него с особенным вниманием. И тут они к изумлению своему увидели, что он перепуган насмерть: коленки у него дрожали, руки так тряслись, что щеколда, за которую он держался, громко дребезжала; его побелевшие губы раскрылись, глаза были прикованы к развеселившемуся блюстителю правосудия, сидевшему посреди комнаты. Еще миг — и он повернулся и, хлопнув дверью, обратился в бегство.

— Кто бы это мог быть? — спросил пастух.

Но гости, взволнованные своим недавним страшным открытием и сбитые с толку странным поведением третьего посетителя, только молчали в ответ. Каждый невольно старался отодвинуться как можно дальше от грозного гостя, восседавшего посередине, на которого многие готовы были смотреть, как на самого Князя Тьмы в человеческом образе, и мало-помалу он оказался в широком кругу, и между ним и другими гостями пролегло пустое пространство: «...circulus, cujus centrum diabolus»¹.

В комнате воцарилась немая тишина, даром что в ней было не меньше двадцати человек; только и слышно было, как дождь барабанит по ставням, да шипят капли, изредка скатывающиеся из дымохода в огонь, да попыхивает трубка в зубах у незнакомца, приютившегося в уголку у камина.

Внезапно тишина нарушилась. Откуда-то издалека, как будто с той стороны, где был город, донесся глухой пушечный выстрел.

— Вот так штука! — воскликнул, вскакивая, незнакомец в сером.

— Что это значит?.. — спросило несколько голосов.

— Арестант бежал из тюрьмы, вот что это значит!

Все прислушались. Звук повторился, и снова все испуганно промолчали, только сидевший у камина спокойно сказал:

— Говорили и мне, что в здешних местах такой обычай:

¹ Круг, посреди коего — дьявол (лат.).

стрелять из пушки, когда кто-нибудь бежит из тюрьмы, но самому слышать не доводилось.

— Уж не мой ли это сбежал? — пробормотал незнакомец в сером.

— А кто ж, как не он! — невольно воскликнул пастух. — И кого ж мы сейчас видели, как не его! Коротышка этот, что только что заглянул в дверь и задрожал как осиновый лист, когда вас увидел и услышал вашу песню!

— 'Зубы у него застучали, и дух захватило от страха,— сказал тесть хозяина.

— И сердце у него ушло в пятки,— сказал Оливер Джайлс.

— И бежать припустился, словно в него выстрелили,— сказал плотник.

— Верно,— медленно проговорил незнакомец, сидевший в углу, как бы подводя итог,— и зубы у него застучали, и сердце ушло в пятки, и бежать припустился, словно в него выстрелили.

— Я не заметил,— сказал палач.

— Мы-то все удивлялись, чего он вдруг улепетнул,— дрожащим голосом воскликнула одна из женщин,— а теперь понятно!..

Выстрелы, глухие и далекие, следовали один за другим через небольшие промежутки, и подозрения собравшихся перешли в уверенность. Зловещий незнакомец в сером встал и приосанился.

— Кто тут у вас констебль? — сказал он, не без труда ворочая языком.— Ежели он тут, выходи.

Пятидесятилетний жених, дрожа, отделился от стены, а невеста его зарыдала, припав к спинке стула.

— Ты констебль? Присягу принимал?

— Да, сэр.

— Приказываю тебе взять себе в подмогу людей и изловить преступника. Он где-нибудь тут поблизости, далеко не успел уйти.

— Слушаю, сэр, сейчас... сию минуту... только вот жезл возьму. Сбегаю домой и принесу, а тогда и двинемся.

— Еще чего, жезл! Пока ты его принесешь, преступника и след простынет.

— А без жезла нельзя; ведь нельзя, а, Уильям? Ну скажите, Джон... и Чарлз Джэйк... ведь нельзя же?.. Нет, нет, на нем королевская корона нарисована, желтая с золотом, и лев, и единорог; ежели я жезл подниму и ударю преступника, значит, это все по закону сделано, значит, мне право на то дано. А без жезла — как человека арестуешь? Да без жезла у меня и смелости неостанет; пожалуй, не я его, а он меня сцапает.

— Я сам слуга короля и даю тебе право,— возразил грозный блюститель правосудия.— Ну-ка, вы все, пошевеливайтесь! Фонари есть?

— Да, да! Есть у вас фонари? Отвечайте! — повторил констебль.

— А мужчины, которые посильней, сюда!

— Да, да! Мужчины, которые посильней, идите сюда,— повторил констебль.

— Дубинки какие-нибудь есть? Коля? Вилы? Тащите все сюда.

— Да, да! Дубинки и вилы — во имя закона! И возьмите их в руки, и отправляйтесь в погоню, и делайте, как мы велим, потому что мы власть, поставленная законом!

Повинуясь этим приказаниям, мужчины зашевелились и вскоре приготовились к погоне. Улики, хотя и косвенные, были достаточно убедительны, и не понадобилось долго объяснять гостям, что их самих можно будет обвинить в соучастии, если они не отправятся тотчас ловить злополучного третьего незнакомца, который, конечно, не мог далеко уйти в темноте и по такой неровной местности.

У всякого пастуха в доме найдется фонарь, да и не один; все фонари поспешно зажгли, и, вооружившись кольями, гости выбежали из дому и гурьбой двинулись по гребню холма в сторону, противоположную той, в которой находился город; дождь в это время, к счастью, несколько стих.

В светелке наверху вдруг жалобно заплакал младенец, быть может, разбуженный шумом, а может быть, потревоженный во сне неприятными воспоминаниями о недавно перенесенном крещении. Эти горестные звуки проникли сквозь щели в потолке, и женщины, сидевшие у стены, обрадовавшись предлогу, стали вставать одна за другой и удаляться наверх, чтобы успокоить ребенка; ибо все совершившееся за последние полчаса, привело их в угнетенное состояние духа. Таким образом, через две-три минуты комната опустела.

Но ненадолго. Не успел еще замереть звук их шагов, как из-за угла дома, с той стороны, куда удалились преследователи, показался человек. Он заглянул в дверь и, видя, что в комнате никого нет, тихонько вошел. Это был незнакомец, сидевший у камина и затем выбежавший из дому вместе с остальными. Причина его возвращения вскоре разъяснилась: он протянул руку к ломтю молочной лепешки, лежавшему на полке неподалеку от того места, где он раньше сидел; он, видимо, с самого начала хотел захватить ее с собой, да забыл. Он также налил себе с полстакана меду из большой кружки и, стоя, принялся жадно есть и пить. Он не успел еще кончить, как в комнату столь же бесшумно проник другой человек — его приятель в пепельно-сером костюме.

— А, и вы тут? — сказал вошедший, усмехаясь.— А я думал, вы пошли ловить преступника.

Цель его посещения тоже немедленно обнаружилась, так как, войдя, он тотчас же стал озираться в поисках соблазнительной кружки с медом.

— А я думал, вы пошли,— ответил другой, с некоторым усилием проглатывая пережеванную лепешку.

— Ну, видите ли, поразмыслив, я решил, что там и без меня народу много,— доверительно продолжал первый,— да и погодка не располагает. А потом, что ж, стеречь преступников — это дело правительства, а не мое.

— И то правда. Я вот тоже решил, что там и без меня народу много.

— Да и неохота мне тут по косогорам бегать да по оврагам ноги себе ломать!

— И мне неохота, сказать по правде.

— Пастухи-то эти привыкли. Простачки, знаете ли,— им только скажи, они и рады стараться. Они его и сами поймают и представят мне завтра утром, а мне чего ж беспокоиться.

— Ну конечно, сами поймают, а нам беспокоиться нечего.

— Что верно, то верно. Мне-то ведь еще до Кэстербриджа пешком идти, хватит ногам работы. Вам тоже туда?

— Нет, к сожалению. Мне в ту сторону (он мотнул головой куда-то вправо), и тоже путь неблизкий, хватит ногам работы, пока доберусь до ночлега.

Они допили мед, оставшийся в кружке, сердечно пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны.

Преследователи меж тем достигли конца длинного гребня, похожего на кабаний хребет и господствовавшего над этой частью нагорья. Они не составили заранее никакого плана действий, а теперь, обнаружив, что зловещего предстателя правосудия больше нет среди них, почувствовали, что без него и не способны составить такой план. Они начали спускаться с холма в разных направлениях, и тотчас несколько человек попало в ловушки, которые природа расставляет для тех, кто решается ночью блуждать по таким гористым местам, где преобладает известковая порода. Склон холма то и дело через каждые несколько ярдов обрывался крутыми осыпями, и, попав ногой в щель, усеивавший эти спуски, легко было потерять точку опоры, а уж тогда человек стремглав съезжал под гору, роняя фонарь, и фонарь тоже неудержимо катился вниз, до самого подножия, и лежал там на боку, тускло светясь, пока не прогорала его роговая стенка.

Когда все наконец сошлись вместе, пастух, знавший окрестность лучше других, стал во главе отряда и повел его в обход этих предательских спусков. Фонари только слепили глаза тем, кто их нес, и скорей могли послужить предостережением беглецу, чем помочь преследователям в их поисках; поэтому их потушили и, соблюдая молчание и более разумный порядок, углубились в лощину. Это был сырой овраг, густо заросший травой и дроком,— как раз подходящее место для того, чтобы в нем укрыться от людских глаз; но преследователи тщетно обшарили его весь и наконец поднялись на противоположный склон. Здесь они опять разделились, а немного погодя опять сошлись, чтобы рассказать друг другу о своих успехах. Они встретились возле высокого ясеня, единственного дерева, рос-

шего в этой части нагорья; должно быть, лет пятьдесят тому назад какая-нибудь птица, пролетая, обронила здесь семечко. И тут неожиданно-негаданно их взорам предстал тот, кого они искали; сбоку от ствола и сам неподвижный, как ствол, стоял человек, и фигура его ясно вычерчивалась на фоне неба. Преследователи застыли на месте, глядя на него во все глаза.

— Кошелек или жизнь! — грозно скомандовал констебль, обращаясь к неподвижной фигуре.

— Что ты, что ты, — зашептал Джон Питчер. — Это не мы должны говорить. Это разбойникам полагается, таким, как он, а мы ведь на стороне закона.

— Ах ты господи, — нетерпеливо воскликнул констебль. — Должен же я что-нибудь сказать! Кабы тебе приходилось за все отвечать, как мне, так, может, и ты бы сказал не то, что полагается! Подсудимый, сдавайся во имя отца и сына... тьфу! — во имя короля!

Человек, стоявший под деревом, казалось, только сейчас их заметил и, не давая им повода проявить свою отвагу, неторопливо направился к ним. Это и вправду был тот, кого они искали, — коротышка, третий незнакомец, но теперь в нем не замечалось прежнего волнения.

— Это вы меня? — спросил он. — Мне послышалось, что вы меня зовете.

— Тебя, тебя, — отвечал констебль. — Иди-ка сюда и немедленно садись под арест. Арестую тебя по обвинению в том, что ты самовольно ушел из кэстербриджской тюрьмы, вместо того чтобы сидеть тихо и благородно и дожидаться, пока тебя повесят. Соседи, исполняйте свой долг, задержите преступника!

Услышав, в чем его обвиняют, беглец даже как будто обрадовался и, не говоря больше ни слова, с необыкновенной готовностью отдал себя во власть своих преследователей, а те, сжимая в руках колья, окружили его со всех сторон и повели к дому пастуха.

Было уже одиннадцать часов, когда они добрались до места. Из распахнутой двери падал свет, в доме слышались голоса; видимо, за время их отсутствия произошли еще какие-то события. Войдя, они увидели, что в комнате находятся два тюремщика из кэстербриджской тюрьмы и местный судья, живший в ближнем городе графства; стало быть, весть о побеге успела разнестись по всей округе.

— Джентльмены, — сказал констебль, — я привел преступника. Мы задержали его, рискуя жизнью, но каждый должен исполнять свой долг! Вот он, под конвоем этих дюжих парней, которые оказали мне посильную помощь, хотя и мало чего смыслят в делах правосудия. Эй вы, введите арестованного! — И третьего незнакомца подвели к свету.

— Это кто такой? — спросил один из тюремщиков.

— Бежавший преступник, — сказал констебль.

— И совсем не он,— сказал другой тюремщик, и первый подтвердил его слова.

— Да как же не он? — изумился констебль.— А почему ж он так перепугался, когда увидел это самое поющее орудие закона, что тут сидело? — И он рассказал о странном поведении незнакомца в ту минуту, когда он вошел в дом и застал палача за исполнением песни.

— Не понимаю,— хладнокровно ответил тюремщик.— Одно только могу сказать: это не тот, который был приговорен к казни. Он даже и не похож ни капли; тот худой, с темными глазами и волосами и недурен собой, а голос у него такой низкий и звучный, что если хоть раз его услышал, так на всю жизнь запомнишь.

— Ах, батюшки, да ведь это тот, что сидел в углу, у камина!

— Что там такое? — спросил судья, подходя к ним; до этого он разговаривал с пастухом в другом конце комнаты, расспрашивая его о подробностях.— Значит, вы его все-таки не поймали?

— Видите ли, сэр,— сказал констебль,— это и есть тот самый, кого мы искали, а все ж таки он не тот, кого мы искали; потому что этот вот, того мы искали, это не тот, кто нам нужен — уж не знаю, понятно ли вам, сэр, я ведь говорю попросту,— а нужен нам тот, что сидел в углу у камина.

— Ну, напутали! — сказал судья.— Концов не найдешь! Ступайте-ка скорей, ловите того, другого.

Теперь впервые заговорил арестованный. Упоминание о незнакомце, сидевшем у камина, по-видимому, взволновало его больше, чем все, что происходило до сих пор.

— Сэр,— сказал он, выступая вперед и обращаясь к судье,— не ломайте голову над тем, кто я такой. Теперь уж я могу все рассказать. Сам я ни в чем не провинился; все мое преступление в том, что осужденный — мой родной брат. Сегодня после обеда я вышел из Шотсфорда, где я живу, с тем, чтобы пешком дойти до кэстербриджской тюрьмы и попрощаться с братом. Ночь застала меня в пути, и я зашел в этот дом — передохнуть и расспросить о дороге. Только я отворил дверь и вдруг вижу: прямо напротив сидит мой брат, про которого я думал, что он сейчас в тюрьме, в камере осужденных. Он сидел вот тут, возле камина, а рядышком, загораживая ему дорогу, так что он и выбежать бы не смог, если б понадобилось, сидел палач, тот самый, что должен его казнить, и еще песню пел про казнь, даже и не догадываясь, кто сидит с ним рядом, а брат ему подтягивал, чтобы не вызывать подозрений. Брат посмотрел на меня с таким отчаянием, словно хотел сказать: «Не выдавай меня, моя жизнь от этого зависит». А я так растерялся, что едва на ногах устоял, а потом, уж совсем ничего не сообщая, повернулся и бросился бежать.

По тону и по манере говорившего видно было, что он не

лжет, и рассказ его произвел большое впечатление на присутствующих.

— А где теперь ваш брат, вы знаете? — спросил судья.

— Нет, не знаю. Я его и в глаза не видал после того, как захлопнул за собой дверь.

— Это и я могу засвидетельствовать, — сказал констебль. — Потому что тут уж мы стали им поперек дороги.

— А где ваш брат мог бы скрыться? Чем он занимается?

— Он часовщик, сэр.

— А сказал, что колесник. Ишь мошенник! — вставил констебль.

— В часах-то ведь тоже есть колесики, — заметил Феннел, — он, видно, про них думал. Мне и то показалось, что руки у него больно белы для колесника.

— Во всяком случае, я не вижу оснований задерживать этого беднягу, — сказал судья. — Совершенно ясно, что нам нужен не он.

И третьего незнакомца тотчас же отпустили; но он не стал от этого веселей, ибо не во власти судьи или констебля было рассеять терзавшую его тревогу, так как она касалась не его самого, а другого человека, чья жизнь была ему дороже, чем его собственная. Когда брат осужденного ушел наконец своей дорогой, выяснилось, что время уж очень позднее; продолжать поиски ночью казалось бессмысленным, и решено было отложить их до утра.

Наутро подняли на ноги всю округу, и поиски возобновились еще с большим рвением, по крайней мере по внешности. Но все находили кару слишком жестокой и не соответствующей поступку, и многие из местных жителей втайне сочувствовали беглецу. Кроме того, изумительное самообладание и смелость, выказанные им при таких необычайных обстоятельствах на вечеринке у пастуха, когда он чокался и бражничал с самим палачом, вызывали всеобщее восхищение. Поэтому позволительно думать, что те, кто с таким очевидным старанием обыскивали леса, поля и тропы, проявляли гораздо меньше усердия, когда доходило до осмотра их собственных хлевов и сеновалов. Поговаривали, что порой кое-кому случалось видеть таинственную фигуру где-нибудь на заброшенной тропе, подавать от больших дорог; но когда направляли поиски в заподозренную местность, там уж никого не находили. День шел за днем и неделя за неделей, а вестей о беглеце все не было.

Короче говоря, незнакомца с низким голосом, который сидел в уголку возле камина на вечеринке у пастуха, так и не поймали. Кто говорил, что он уехал за море, а кто — что он и не думал уезжать, а скрылся в дебрях многолюдного города. Как бы то ни было, господину в пепельно-сером костюме не пришлось выполнять в кэстербриджской тюрьме ту работу, ради которой он приехал; да и нигде в другом месте ему не довелось повстречаться на деловой почве с веселым собутыльником,

с которым он так приятно провел часок в одиноком доме на склоне холма.

Давно уж заросли зеленой травой могилы пастуха Феннела и его бережливой супруги; и гости, пировавшие на крестинах, почти все уже последовали за своими гостеприимными хозяевами; а малютка, в чью честь они тогда собрались, успела стать матерью семейства и женщиной преклонных лет. Но история о том, как однажды вечером три незнакомца один за другим пришли в дом пастуха и обо всем, что при этом случилось, до сих пор хорошо памятна всем жителям нагорья, на котором расположен Верхний Краустэйрс.

СУХАЯ РУКА

I

ПОКИНУТАЯ

На молочной ферме было восемьдесят коров, и все доильщицы, постоянные и временные, работали сейчас на скотном дворе. Хотя было еще только начало апреля, коровы перешли уже целиком на подножный корм в заливных лугах и доились очень обильно.

Время близилось к шести часам, и почти все эти крупные, нескладные рыжие животные были уже выдоены; теперь женщинам можно было и поболтать немного.

— Говорят, завтра он наконец привезет домой свою молодую жену. Они сегодня уже в Энглбери.

Голос как будто выходил из брюха неподвижно стоявшей коровы с кличкой «Вишенка», но говорила это доильщица, чье лицо было скрыто за широким коровьим боком.

— А кто-нибудь уже видел ее? — спросила другая.

— Нет. Но, говорят, она премиленькая девчонка, смазливая и румяная.— Доильщица повернула голову так, чтобы коровий хвост не мешал ей видеть дальний угол скотного двора, где несколько в стороне от других доила худая, уже поблекшая женщина лет тридцати.

— Она намного моложе его,— подхватила вторая, бросив пытливый взгляд в том же направлении.

— А как по-твоему, сколько ему лет?

— Да лет тридцать будет, я думаю.

— Как бы не так! Почитай, все сорок,— вмешался работавший поблизости пожилой скотник в длинном белом фартуке, широком, как халат. В этом фартуке и подвязанной под подбородком широкополой шляпе его можно было принять за женщину.— Хорошо помню, он родился, когда наша большая плотина еще только строилась. Я тогда парнишкой был, и мне за работу платили меньше, чем взрослым.

Разгорелся спор, и журчание струй молока стало уже то и дело прерываться, но тут из-под брюха соседней коровы кто-то громко и властно прокричал:

— Эй, вы там, чего расшумелись? Что нам за дело до того, сколько лет фермеру Лоджу и какая у него жена! Сколько бы лет ни было ему или ей, а я должен платить ему аренду — девять фунтов в год за каждую корову! Живее работайте, не то до темноты не управимся. Вишь, небо уже красное, вечер на носу!

Это говорил сам хозяин, арендатор молочной фермы, на которой работали все доильщицы и доильщики.

Разговор о женитьбе фермера Лоджа прекратился, и только работница, начавшая его, шепнула соседке:

— Роде-то, должно быть, нелегко!

Она говорила о худой женщине, которая доила в стороне.

— Э, что там! — возразила ее собеседница. — Вот уж сколько лет, как он ее бросил, никогда и словом с нею не перемолвится.

Кончив доить, женщины вымыли ведра и развесили их на стойке, представлявшей собой просто очищенный от коры и воткнутый в землю дубовый сук, похожий на громадный ветвистый олений рог. Затем большинство разошлись по домам. К Роде Брук, худой женщине, за все время не проронившей ни слова, подошел мальчик лет двенадцати, и оба, выйдя со скотного двора, пошли полем, но не в ту сторону, куда все остальные, а в гору, к уединенному местечку высоко над заливными лугами, почти на краю Эгдонской вересковой степи, чей темный лик стал уже виден в отдалении, когда они подошли к своему жилищу.

— Я только что слышала на ферме, что твой отец завтра приезжает из Энглбери с молодой женой, — сказала женщина. — Мне придется послать тебя за покупками на базар, так ты наверняка встретишь их где-нибудь.

— Ладно, пойду, — отозвался мальчик. — Значит, отец женился?

— Да... Если ты их встретишь, рассмотри ее получше и скажешь мне потом, какова она собой.

— Хорошо, мама.

— Погляди, какие у нее волосы — темные или светлые, и какого она роста, такая ли высокая, как я... Да из каких она — из тех, кто всю жизнь работает для куска хлеба, или белоручка, которая никогда не знала нужды. Думается мне, что он взял богатую барышню.

— Ладно, погляжу.

Уже в сумерках мать и сын добрались до вершины холма и вошли в свою мазанку. На ее глиняных стенах дожди оставили так много промоин и канавок, что первоначальной обмазки уже не было видно, а в соломенной крыше там и сям виднелись стропила, как проступающие под кожей ребра.

Мать опустила на колени в углу перед очагом, на котором между двумя кусками торфа сложена была охапка вереска, и раздувала тлеющие в горячей золе искры до тех пор, пока торф не загорелся. Огонь румянил ее бледные щеки и оживлял темные глаза — в эти минуты они казались такими же красивыми, как были когда-то.

— Да, — снова начала она, — погляди, темные ли у нее глаза и волосы или светлые и, если удастся, рассмотри руки — белые они или нет. А если нет, то какие — как у хозяек или как у работниц вроде меня.

Мальчик так же послушно, но теперь уже рассеянно обещал все исполнить. Мать не замечала, что он своим перочинным ножом ковыряет спинку деревянного стула.

II

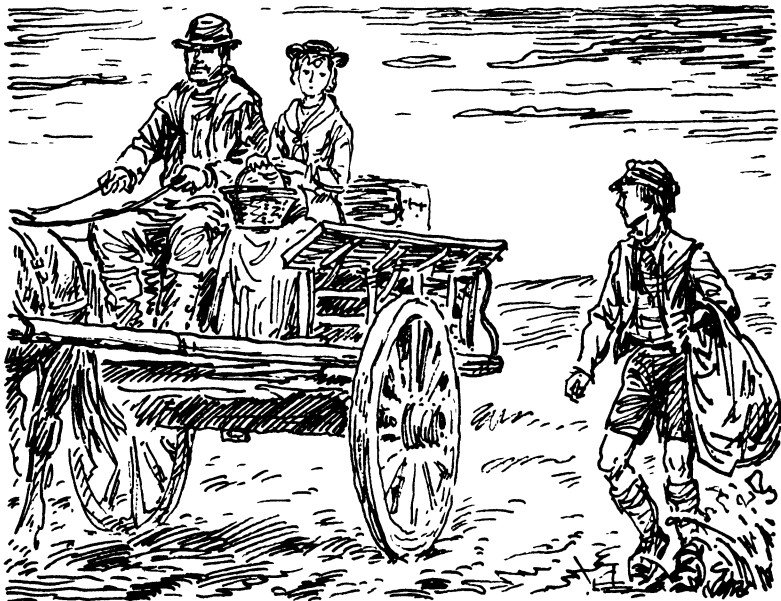
МОЛОДАЯ ЖЕНА

От Энглбери до Холмстока дорога вся ровная, только в одном месте ее однообразие нарушает крутой подъем, и фермеры, возвращаясь домой с базара, всю дорогу гонят лошадь рысью, а по этому невысокому склону едут шагом.

На другой день, когда солнце уже клонилось к закату, но светило еще ярко, по этой ровной дороге из Энглбери катила на запад красивая новенькая двуколка с лимонно-желтым кузовом и красными колесами. Двуколку везла крепкая лошадка, а правил ею мужчина в цвете лет с гладко выбритым, как у актера, лицом, пылавшим багровым румянцем, какой часто украшает физиономии зажиточных фермеров, когда они возвращаются из города после выгодной сделки. Рядом с ним сидела женщина гораздо его моложе, почти девочка. На ее щеках тоже играл румянец, но совсем другого сорта — нежный, тающий, как розовые лепестки, пронизанные солнечным светом.

Эта дорога была неглавная, по ней мало кто ездил, и длинная белая лента гравия впереди была пуста, на ней виднелось только одно пятнышко, очень медленно передвигавшееся. Вот оно превратилось в фигуру мальчика, который не шел, а плелся черепашьям шагом и беспрестанно оглядывался; он нес тяжелый узел — правда, не этим объяснялась его медлительность, но это могло служить ему некоторым оправданием. Когда быстро катившаяся двуколка замедлила ход у подъема, о котором мы уже упоминали, маленький пешеход был всего на несколько шагов впереди. Упершись в бок той рукой, на которой висел тяжелый узел, он обернулся и, ожидая, пока лошадь поравняется с ним, смотрел в упор на жену фермера, словно изучая каждую ее черту.

Заходившее солнце ярко освещало ее лицо, четко выделяя каждый его штрих и оттенок, вырез тонких ноздрей, цвет глаз.



Фермера, видимо, раздражало упорное внимание мальчика, но он не приказал ему сойти с дороги, и мальчик продолжал шагать почти рядом, не сводя глаз с молодой женщины, пока они не добрались до вершины подъема. Здесь фермер с видимым облегчением погнал лошадь рысью. Все это время он как будто совершенно не замечал присутствия мальчика.

— Как этот бедный мальчик смотрел на меня! — промолвила молодая женщина.

— Да, милая, я это тоже заметил.

— Он, должно быть, из вашей деревни?

— Нет. Он живет с матерью где-то по соседству, — кажется, в двух-трех милях от нас.

— И, наверное, знает, кто мы такие?

— Ну конечно. Первое время тут все будут на тебя глядеть, моя красавица, сама понимаешь...

— Понимаю. Но, может, этот бедняжка смотрел на нас так вовсе не из любопытства, а в надежде, что мы его подвезем? Ноша у него, видно, тяжелая.

— Пустяки, — небрежно возразил муж. — Наши деревенские парнишки легко могут снести на спине и целых три пуда. А у этого узел не такой уж тяжелый, только громоздкий... Ну вот, остается проехать еще одну милю, и будет виден наш дом, если только к тому времени не стемнеет.

Колеса вертелись все так же быстро, и гравий летел во все стороны. Наконец вдаль показался большой белый дом, за которым теснились службы и стояли скирды.

Мальчик между тем ускорил шаг и, свернув на тропинку милях в полутора от белого дома, стал подниматься по ней в гору, туда, где тянулись пастбища похуже. Скоро он дошел до своего дома.

Мать уже успела вернуться с фермы, где работала, и, стоя на пороге, в свете догорающего заката промывала капусту.

— Подержи-ка решето! — сказала она, как только сын подошел к ней.

Он бросил на землю узел и взял в руки решето, а мать, насыпая на сетку мокрые капустные листья, спросила:

— Ну, что, видел ее?

— Да, совсем близко.

— Похожа на богатую барышню?

— Да. Не только похожа, а самая настоящая барышня.

— И молоденькая?

— Ну... не девчонка, конечно, и держит себя, как взрослая женщина.

— Понятно. А какие же у нее волосы? И лицо?

— Волосы светлые, а лицо такое красивое, — ну, просто как у куколки.

— И глаза, наверное, не темные, как у меня?

— Нет. Вроде как голубые. А губы розовые, очень красивые, и, когда она смеется, зубы так и блестят.

— А росту какого? Высокая? — уже резко спросила мать.

— Не заметил — ведь она сидела.

— Так сходи завтра утром в Холмсток к обедне. Они, наверное, там будут. Заберись в церковь пораньше и смотри, как она войдет, а потом скажешь мне, кто выше, я или она.

— Ладно, мама. Но почему бы тебе самой не пойти и посмотреть?

— Мне идти глазеть на нее! Да пройди она сейчас мимо нашего окошка, я и то на нее бы не взглянула... С ней был, конечно, и мистер Лодж? Что он говорил, как держал себя?

— Да как всегда...

— Не обращал на тебя внимания?

— Нет. Как будто и не видел.

На другой день мать надела на мальчика чистую рубашку и послала его в Холмсток. Он подошел к старинной маленькой церкви — как раз в ту минуту, когда дверь отперли, и тотчас шмыгнул внутрь. Сев на скамью около кропильницы, он смотрел, как входят прихожане. Одним из последних вошел богатый фермер Лодж с молодой женой. Миссис Лодж шла по боковому проходу с естественной застенчивостью скромной женщины, которая в первый раз появляется среди чужих. Все глаза были устремлены на нее, так что на этот раз пристальное внимание мальчика никем не было замечено.

Едва он, вернувшись домой, переступил порог, как мать спросила:

— Ну?

— Она невысокая. Скорее даже маленькая, — сказал мальчик.

— Ага! — удовлетворенно пробормотала Рода.

— Но очень, очень хорошенькая. Просто красавица.

Видно, юная свежесть жены Лоджа произвела впечатление даже на этого сдержанного и несколько угрюмого мальчика.

— Ну, хватит о ней, — поспешно остановила его мать. — Накрой-ка на стол. Кролик тебе на этот раз попался очень жирный. Смотри только, сам не попадись!.. А ты мне еще не сказал, какие у нее руки.

— Не видал. Она не снимала перчаток.

— А как она сегодня была одета?

— На ней была белая шляпка, а платье как будто из серебра. Оно очень громко шуршало и свистело, когда задевало за скамьи, так что она даже раскраснелась от стыда и все подбирала его, чтобы оно ни за что не цеплялось. Но все-таки, когда она садилась, платье еще больше зашуршало. Мистер Лодж был такой довольный, грудь выпятил, на жилете большие золотые печатки, точно у лорда какого. А она здорово стеснялась — видно было, что уж и платье этому не рада.

— Как же, не рада! Ну, довольно толковать о ней!

В последующие дни мальчику время от времени случилось видеть молодоженов, и после каждой такой встречи мать заставляла его подробно рассказывать о них. Рода Брук легко могла бы и сама увидеть молодую миссис Лодж — для этого ей нужно было только пройти милую-другую, — однако она ни разу не пыталась это сделать, она и близко не подходила к дому фермера. И на скотном дворе второй, дальней фермы Лоджа, где она каждый день доила коров, Рода никогда не принимала участия в разговорах о жене фермера. Арендатор этой молочной фермы, которому была хорошо известна история высокой доильницы, по доброте души всегда старался прекратить шушуканье остальных женщин, чтобы не расстраивать Роду. Но в первые дни по приезде миссис Лодж всех на скотном дворе очень занимала эта новость; и по отдельным фразам доильниц, как и по описанию сына, Рода Брук уже представляла себе свою ничего не подозревающую соперницу так ясно, словно видела ее фотографию.

III

СОН

После приезда молодых прошло две или три недели. Как-то вечером, когда мальчик уже спал, Рода допоздна сидела у очага над золой сгоревшего торфа, которую она сгребла в кучу, чтобы погасить еще тлевшие в ней искры. Перед ее мысленным взо-

ром словно витал над этой золой образ новой жены Лоджа, и, поглощенная его созерцанием, она не замечала, как бегут часы. Наконец сказала усталость после трудного рабочего дня, и Рода легла в постель.

Однако женщина, которая так сильно занимала ее мысли и в этот и в предыдущие дни, не оставила ее в покое и ночью. Впервые Гертруда явилась во сне той, кого она вытеснила из жизни Лоджа. Роде Брук приснилось (ибо нельзя же поверить, будто она это видела наяву до того, как уснула), что молодая жена Лоджа, в том самом платье из серебристого шелка и белой шляпке, но ужасно подурневшая и сморщенная, как старуха, сидит у нее на груди. Тяжесть ее тела давила все сильнее грудь Роды, голубые глаза злобно смотрели ей в лицо. И вдруг ночная гостья, издеваясь, протянула вперед левую руку, повернув ее так, что обручальное кольцо на ее пальце сверкнуло прямо в глаза Роде. Взбешенная Рода сделала попытку освободиться от давившей на грудь тяжести. Видение, все не сводя с нее глаз, отодвинулось на конец кровати, но затем, потихоньку придвигаясь все ближе, снова очутилось на прежнем месте и все так же вертело левой рукой перед глазами Роды.

Задыхаясь, Рода последним отчаянным усилием впиалась пальцами в эту назойливо мелькавшую перед нею руку и, отшвырнув женщину на пол, с подавленным криком вскочила с постели.

— Силы небесные! — вся в холодном поту воскликнула она, присев на край кровати. — Это не сон — она была здесь.

Рода еще и сейчас словно ощущала под пальцами руку соперницы, живое человеческое тело. Она посмотрела на пол, куда сбросила женщину, — но на полу не было ничего.

Этой ночью Рода Брук не сомкнула больше глаз, и, когда она на заре пришла на ферму доить, все заметили, как она бледна, как осунулась. Сегодня молоко лилось в ее подойник неровной, дрожащей струей, потому что у нее все еще тряслась правая рука и в пальцах сохранялось ощущение чужого тела... Она пришла домой полдничать такая усталая, словно был уже конец рабочего дня.

— Что это за шум был ночью у тебя в комнате, мама? — спросил у нее сын. — Ты, должно быть, свалилась с кровати?

— Разве ты слышал, как что-то упало? А когда это было, в котором часу?

— Как раз пробило два.

Рода не стала ничего объяснять и, когда они поели, молча занялась хозяйством, а мальчик помогал ей — он терпеть не мог работать в поле у фермера, и мать его к этому не принуждала.

В двенадцатом часу вдруг стукнула садовая калитка. Рода выглянула в окно — и окаменела. В глубине сада, у калитки, стояла та самая женщина, которую она видела во сне!

— Ага, это она! Она говорила, что придет! — воскликнул мальчик, тоже увидев гостью.

— Говорила? Когда? И откуда она знает про нас?

— А я ее встретил. Вчера. И разговаривал с нею.

— Я же тебе приказывала никогда не вступать в разговоры ни с кем из этого дома и даже близко к нему не подходить, — сказала мать, покраснев от гнева.

— Да она первая со мной заговорила. И я вовсе не подходил к их дому. Я ее встретил на дороге.

— И что же ты ей сказал?

— Да ничего. Она спросила: «Ты ведь тот самый мальчик, которому пришлось тащить с базара такой тяжелый узел? Бедняжка!» Потом посмотрела на мои башмаки и сказала, что они здорово прохудились, и, когда наступит дождливая погода, ноги у меня будут промокать. А я ей сказал, что живу с матерью и сколько мы ни работаем, нам только на хлеб хватает, — оттого я и хожу в таких башмаках. Тут она и говорит: «Я вас навешу, принесу тебе башмаки покрепче и познакомлюсь с твоей матерью». Она и другим в деревне дарит всякие вещи.

Миссис Лодж между тем успела подойти к двери. На ней был уже не тот шелковый наряд, в каком она приснилась Роде прошлой ночью, а простенькое платье из какой-то легкой ткани, которое гораздо больше шло к ней, и соломенная шляпка. На руке висела корзинка.

Все пережитое этой ночью было еще слишком свежо в памяти Роды. Она почти ожидала, что увидит те же морщины, то же выражение злобы и жестокости на лице миссис Лодж. Она охотно уклонилась бы от встречи и разговора, но это было невозможно. В доме не было другого выхода, к тому же на легкий стук миссис Лодж мальчик уже бросился открывать.

— Вижу, что не ошиблась домом, — промолвила гостья с улыбкой, увидев его. — Я в этом не была уверена, пока ты не открыл дверь.

Фигура, движения — все было как у ночного видения Роды. Но голос звучал так мелодично и невыразимо приятно, взгляд и улыбка были так пленительно-ласковы, так не похожи на выражение лица ночной гостьи, что Рода не верила своим глазам и ушам. Теперь она была искренне рада, что не поддавалась чувству вражды к миссис Лодж и не спряталась от нее, как сперва хотела.

А гостья достала из корзинки обещанные мальчику башмаки и другие полезные вещи.

При таком доказательстве добрых чувств к ней и сыну Роде стало очень совестно. Это простодушное, ни в чем не повинное юное существо ей, Роде, следовало благословлять, а не проклинать! Когда Гертруда Лодж ушла, в комнате словно свет померк.

Через два дня Гертруда пришла узнать, оказались ли баш-

маки впору; а недели через две снова навестила Роду. На этот раз мальчика не было дома.

— Я много гуляю,— сказала миссис Лодж.— А ваш дом — ближайший за нашей деревней. Вы здоровы? Вид у вас не очень хороший.

Рода ответила, что здорова. И в самом деле, хотя она была бледна, в ее правильных чертах и крепком теле чувствовалось больше прочной силы, чем в стоявшей перед ней молодой женщине с нежным личиком. Они разговорились,— и беседа приняла дружески-доверительный характер. Когда миссис Лодж собралась уходить, Рода сказала:

— Надеюсь, вы привыкнете к здешнему воздуху, мэм, и вам не повредит сырость наших заливных лугов.

Миссис Лодж ответила, что в этом можно не сомневаться: у нее вообще крепкое здоровье.

— Хотя, знаете ли, одна мелочь меня беспокоит,— добавила она.— Ничего серьезного, но я не могу понять, что это такое.

Она засучила левый рукав — и глазам Роды предстала рука точь-в-точь такая же, какую она видела и сжимала в своем сне. На розовой коже виднелись какие-то странные пятна, словно следы чьих-то пальцев, которые грубо стиснули руку в этом месте. Рода не могла оторвать от них глаз: ей казалось, что она узнает отпечатки собственных четырех пальцев.

— Как это случилось? — спросила она машинально.

— Не знаю,— миссис Лодж покачала головой.— Однажды ночью я крепко спала, и мне приснилось, что я не дома, а в каком-то незнакомом месте. И вдруг я почувствовала в руке такую острую боль, что проснулась. Должно быть, я еще днем ушибла руку — но вот не могу припомнить, как это случилось... Я говорю моему муженьку,— добавила она, улыбаясь,— что люди могут подумать, будто он, рассердившись, ударил меня по руке. Ну, да авось все скоро пройдет.

— Конечно, пройдет... А когда же эти пятна у вас появились?

Миссис Лодж, подумав, сказала, что это было ровно две недели назад.

— Проснувшись, я никак не могла сообразить, где я,— продолжала она.— Но тут часы пробили два — и я очнулась.

Миссис Лодж указала именно ту ночь и тот час, когда Рода видела ее во сне, и та почувствовала себя виноватой. Простодушный рассказ молодой женщины глубоко поразил ее. Она не подумала о том, что бывают странные совпадения, капризы случая. Картина той страшной ночи с удивительной яркостью встала перед ней.

«Так неужели же,— сказала она себе, когда гостя ушла,— неужели у меня дурной глаз и я могу против воли причинять людям зло?»

Она знала, что со времени ее падения люди за спиной

называют ее ведьмой, но прежде никак не могла понять, почему ее клеймят таким позорным словом, и не обращала на это внимания. Теперь она задавала себе вопрос: неужели же люди правы, и этим объясняется то, что случилось с миссис Лодж? Разве бывает такое на свете?

IV

СОВЕТ

Подходило лето. Рода Брук почти боялась новой встречи с миссис Лодж, несмотря на то что питала уже к молодой жене фермера чувство, близкое к нежности. Что-то в ее душе говорило ей, что она, Рода Брук,— преступница. Но порой, когда она шла не на работу, а по каким-нибудь делам, словно какой-то рок гнал ее по направлению к Холмстоку. Таким образом, следующая встреча с миссис Лодж произошла на дороге. Рода не могла не заговорить о том, что ее так смущало и беспокоило. И, обменявшись с Гертрудой несколькими словами, она спросила, запинаясь:

— Как ваша рука?.. Наверное, все уже прошло?

Она еще раньше с ужасом заметила, что Гертруде трудно двигать негнущейся левой рукой.

— Нет, не совсем... По правде говоря, с нею ничуть не лучше, скорее хуже. Временами она болит ужасно.

— Так вы бы сходили к доктору, мэм.

Гертруда ответила, что она уже побывала у доктора,— на этом настоял муж. Однако доктор, видно, не понимает, что с ее рукой. Он прописал горячие ванны, но они ничуть не помогли.

— Можно взглянуть? — сказала Рода.

Миссис Лодж засучила рукав и обнажила больное место, повыше запястья. Когда Рода его увидела, ей стоило большого труда сохранить самообладание. На руке не было ни раны, ни язвы, но в этом месте она словно ссохлась, и на сморщенной коже отпечатки четырех пальцев стали еще заметнее. Мало того, Роде казалось, что расположены эти отпечатки именно так, как ее пальцы — в том страшном сне — сжали руку Гертруды: большой палец — на самом запястье, а безымянный — ближе к локтю.

Видимо, и Гертруда за то время, что они с Родой не виделись, успела заметить, на что похожи эти пятна.

— Правда, они напоминают отпечатки пальцев? — сказала она. И затем с улыбкой добавила: — Муж говорит — можно подумать, будто какая-то ведьма или сам сатана прикоснулся к этому месту, и вот рука сохнет.

Рода задрожала.

— Что за бредни! — сказала она поспешно. — Я бы на вашем месте и слушать такое не стала!

— Я не приняла бы его слова близко к сердцу, но, видите ли...— Гертруда замялась,— мне кажется, что из-за этой руки я стала мужу... противна... нет, не то что противна, но он уже меньше меня любит. Мужчины придадут такое значение красоте!..

— Да, некоторые — и он тоже.

— Вначале он очень гордился мной.

— Так закрывайте руку, чтобы он не видел...

— Все равно — он *знает*, что рука обезображена.— Гертруда отвернулась, чтобы скрыть слезы.

— Не горюйте, мэ. От всей души желаю вам, чтобы это скорее прошло.

Рода Брук вернулась домой, и снова, как жуткое наваждение, ее стала мучить неотвязная мысль о больной руке миссис Лодж. Как ни внушала она себе, что это — нелепое суеверие, чувство вины становилось все острее. В глубине души Рода ничего не имела бы против того, чтобы красота ее соперницы немного пострадала, каким бы образом это ни произошло; но причинять Гертруде физическую боль она никак не хотела. Хотя с появлением этой красивой и молодой женщины Рода теряла всякую надежду на то, что Лодж когда-нибудь заглядит свою вину перед ней,— все же в ее сердце не оставалось уже ни капли ненависти к невольной разлучнице.

Что подумала бы эта милая, кроткая Гертруда, если бы узнала о ее ночном кошмаре? Она проявила столько дружелюбия, что скрывать это от нее казалось Роде предательством. Но сама заговорить Рода была не в силах, и как помочь Гертруде, она не знала.

Она думала об этом всю ночь, а на другое утро, подоив коров, пошла в Холмсток, надеясь, что ей удастся хоть на минуту встретиться где-нибудь с Гертрудой Лодж, которая словно приворожила ее. Наблюдая издали за домом фермера, Рода наконец увидела его жену: та ехала в двуколке одна — вероятно, куда-то в дальнее поле к мужу. Миссис Лодж тоже заметила Роду и погнала лошадь галопом ей навстречу.

— А, Рода, доброе утро! — сказала она, подъехав.— Я как раз собиралась к вам.

От Роды не укрылось, что миссис Лодж с трудом держит вожжи.

— Ну, как ваша рука?..— спросила Рода.

— Мне сказали, что есть способ узнать причину болезни, а тогда, может, и удастся меня вылечить,— озабоченно сказала миссис Лодж.— Надо сходить к одному знающему человеку — где-то на Эгдонской пустоши. Те, что мне это советовали, не знают, жив ли он еще... И я сейчас даже не могу припомнить, как его зовут. Но вам, говорят, известно про него больше, чем кому другому во всей округе. Так скажите мне, ходят еще к нему люди за советом? Господи, как же его зовут? Ну, да вы, верно, знаете.

— Это не колдун ли Трендл? — спросила Рода, бледнея.

— Да, да, Трендл. Он еще жив?

— Думаю, что жив, — ответила Рода неохотно.

— А почему вы сказали про него «колдун»?

— Ну... говорят... говорили когда-то, что он... что ему дана особенная сила, какой нет у других людей.

— Ох, до чего же у нас суеверный народ! Посылать меня к такому человеку! А я-то думала, что это лекарь! Нет, не пойду я к нему! Ни за что!

Миссис Лодж поехала дальше. Рода вздохнула с облегчением. Еще когда Гертруда только заговорила о том, что ей советовали справиться насчет Трендла именно у нее, Роды, та поняла язвительный смысл этого совета: кому же, мол, как не ведьме знать все про колдуна? Значит, люди по-прежнему подозревают ее... Еще недавно это открытие ничуть не смутило бы такую здравомыслящую женщину, как Рода. Но неотвязное воспоминание о том страшном сне делало ее суеверной. И на нее вдруг напал страх: а что, если этот знахарь, Трендл, укажет на нее как на виновницу порчи, от которой блекнет красота Гертруды, и та возненавидит ее, будет считать ее дьяволицей в человеческом образе? К счастью, Гертруда, кажется, не хочет к нему обращаться.

Однако этим дело не кончилось. Два дня спустя чья-то тень появилась в светлом квадрате, который послеполуденное солнце рисовало на полу в домике Роды. Увидев, кто стоит у окна, Рода стремглав кинулась открывать.

— Вы одни? — спросила Гертруда. Заметно было, что она измучена тревогой и расстроена не меньше, чем Рода.

— Одна, — ответила Рода.

— Рука у меня все болит и стала на вид еще хуже, — продолжала молодая фермерша. — Это так странно, просто загадка. Хоть бы знать наверняка, что это излечимо! Я все подумываю насчет того колдуна Трендла. Конечно, верить таким людям нельзя, но я все же не прочь побывать у него — ну, просто любопытно, что он скажет. Только муж мой ни в коем случае не должен об этом знать. Что, Трендл живет далеко отсюда?

— Далеко, в глубине Эгдона. Отсюда пять миль, — ответила Рода с усилием.

— Все равно, придется идти туда пешком. Вы не согласились бы проводить меня — ведь я не знаю дороги... Ну, хотя бы завтра, после обеда.

— Я? Ох, нет! — вздрогнув от испуга, пробормотала Рода. — Мне никак нельзя...

Ей опять стало страшно — а вдруг откроется какая-то связь между болезнью Гертруды и тем, что она, Рода, в порыве злобы сделала с ней во сне, — и это навсегда оттолкнет от нее новую подругу, которая добра к ней, как никто на свете.

Миссис Лодж принялась ее упрощать, и Рода, несмотря

на мучившие ее дурные предчувствия, в конце концов согласилась пойти с нею. Посещение знахаря могло кончиться для нее печально, но совесть не позволяла отказаться. Как не помочь Гертруде, если есть какая-то возможность избавить ее от загадочного недуга? Они уговорились встретиться на другой день на краю вересковой пустоши, чтобы никто их не увидел и не догадался, куда они идут.

V

КОЛДУН ТРЕНДЛ

Уж как не хотелось Роде на следующий день идти к колдуну! Но она обещала проводить Гертруду. К тому же по временам ее мучила болезненная потребность пойти навстречу опасности и проверить,— не наделена ли она, Рода, и в самом деле какой-то тайной силой, о которой никогда не подозревала?

Она вышла из дому незадолго до условленного времени и, после получаса быстрой ходьбы, очутилась на юго-восточном краю Эгдонской пустоши, где темнел молодой ельник. Там уже виднелась стройная фигурка в плаще и вуали, закрывавшей лицо. Рода с невольным содроганием заметила, что рука у миссис Лодж висит на перевязи.

Они обменялись только двумя-тремя словами и сразу стали подниматься наверх, в глубь этой торжественно-безмолвной волнистой степи, раскинувшейся высоко над плодородной долиной, откуда они шли. Путь был неблизкий. От сплошных туч вокруг было темно, хотя время только еще перешло за полдень, и уныло выл ветер над одетой вереском степью,— быть может, той самой, что видела страдания Уэсекского короля Айнэ, представленного следующим поколением под именем короля Лира. Разговор поддерживала Гертруда, а Рода лишь изредка рассеянно роняла слова два в ответ. Ей почему-то было очень неприятно идти слева, близ висевшей на перевязи больной руки ее спутницы, и, нечаянно оказавшись с этой стороны, она тотчас переходила на другую. Немало помяли они вереска, пока не вышли наконец на проселок. Неподалеку от него стоял дом того, кого они искали. Трендл не лечил людей открыто и вовсе к этому не стремился. Главным его занятием была торговля красивым дреком, торфом, «острым песком» и другими местными продуктами. Он даже всегда делал вид, будто не очень-то верит в свою чудодейственную силу и, когда, например, с кожи пациента таинственным образом исчезали бородавки, от которых тот хотел избавиться (а после визита к Трендлу они почти всегда исчезали), Трендл небрежно говорил:

— Да это, может, чистая случайность, я ведь ничего не делал, только выпил стакан грога за ваш счет и за ваше здоровье.— И тотчас менял тему разговора.

Когда женщины пришли, он уже ждал их перед домом, ибо заметил издали, как они спускались в ложбину. Увидев Роду, этот седобородый и краснолицый мужчина посмотрел на нее как-то странно. Миссис Лодж объяснила ему, зачем пришла, и он, сперва пренебрежительно отозвавшись о своих способностях лекаря, осмотрел ее руку.

— Никакое лекарство тут не поможет,— сразу сказал он.— Это сделал враг.

Рода вся сжалась и отступила подальше.

— Враг? Какой враг? — удивилась миссис Лодж.

Трендл покачал головой.

— Вам лучше знать. Впрочем, если хотите, могу вам показать этого человека,— хотя мне он останется неизвестен. Больше я ничего не могу, да и этого не хотелось бы делать.

Миссис Лодж стала его упрашивать. Тогда он велел Роде подождать возле дома, там, где она стояла, а миссис Лодж пригласил войти. Дверь вела прямо в комнату и оставалась открытой, так что Роде видно было все, что происходило внутри. Трендл взял с полки стакан, наполнил его почти доверху водой, затем принес яйцо, что-то украдкой проделал с ним и разбил его о край стакана так, что белок попал в воду, а желток остался в скорлупе. В комнате было уже темновато, поэтому он перенес стакан к окну и велел Гертруде внимательно смотреть на жидкость внутри. Оба склонились над столом, и Рода через их головы видела, как яичный белок, отливая опаловым блеском, расплывался в воде и менял очертания. Но она стояла слишком далеко и не могла разглядеть, какую форму он принял в конце концов.

— Ну, что, замечаете какое-нибудь сходство со знакомым лицом? — спросил колдун у молодой женщины.

Гертруда что-то шепнула в ответ, так тихо, что Рода слов не расслышала, и продолжала напряженно смотреть в стакан. Рода отвернулась и отошла на несколько шагов.

Когда миссис Лодж вышла, ее лицо в хмуром свете дня казалось необычайно бледным — таким же бледным, как лицо Роды. Трендл закрыл за ней дверь, и обе женщины пустились в обратный путь. Рода видела, что миссис Лодж сама не своя.

— Много он с вас взял? — спросила она, чтобы заставить Гертруду разговориться.

— Ничего не хотел взять. Ни фартинга,— ответила Гертруда.

— И что же вы видели? — продолжала Рода.

— Да ничего особенного, не хочется об этом говорить.

Необычная сдержанность Гертруды бросалась в глаза, лицо ее словно постарело и застыло, так что слегка напомнило Роде лицо ее почного видения.

— Кажется, вы первая предложили мне идти сюда? — вдруг спросила миссис Лодж после долгого молчания.— Если так, то это очень странно!

— Нет, не я. Но все-таки я не жалею, что мы сюда пошли,— отозвалась Рода.

В первый раз в ее душе проснулось чувство торжества, и она уже ничуть не сожалела о том, что юная женщина, шедшая с ней рядом, узнает правду: пусть знает, что врагами их сделали силы, над которыми они обе не властны.

Больше они не касались этой темы на всем долгом и унылом обратном пути.

А в долине каким-то образом, видно, кое-что узнали, и на фермах той зимой стали поговаривать, что у миссис Лодж сохнет левая рука оттого, что ее «сглазила» Рода Брук. Рода хранила про себя свою тайну. Никто не знал о ее ночном кошмаре. Она худела, становилась все печальнее. А весной она и ее сын скрылись куда-то, и никто их не встречал больше в окрестностях Холмстока.

VI

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

Прошло шесть лет, и в семейную жизнь Лоджей вторглись скука и уныние,— а пожалуй, и нечто похуже. Фермер был всегда молчалив и угрюм: жену, которую он выбрал за красоту и грацию, теперь безобразила скрюченная левая рука. К тому же у Гертруды не было детей и Лодж опасался, что будет последним в роде, который вот уже двести лет владел фермами в этой долине. Вспоминая Роду Брук и ее сына, он со страхом спрашивал себя, не карает ли его бог за то, что он бросил их.

А Гертруда, когда-то такая жизнерадостная и разумная, становилась раздражительной и суеверной. Она была всецело занята своей больной рукой и пыталась лечить ее всеми шарлатанскими средствами, о которых когда-либо слышала. Молодая женщина искренне любила мужа и в душе, несмотря ни на что, надеялась снова завоевать его сердце, если вернет себе хоть часть прежней красоты. Поэтому шкаф в ее спальне был набит аптечными склянками, мешочками, баночками со всевозможными мазями, даже связками каких-то чудодейственных трав, амулетами, книгами по черной магии, над которыми она в школьные годы только посмеялась бы, как над величайшей глупостью.

— Черт возьми, да ты рано или поздно изведешь себя этими аптечными снадобьями и бесовскими зельями! — сказал ей однажды муж, когда ему попала на глаза эта внушительная коллекция.

Гертруда не стала спорить, только подняла на мужа печальные, кроткие глаза с таким горестным укором, что ему стало совестно, и он поспешил добавить:

— Я говорю это для твоей же пользы, Гертруда.

— Ну, хорошо, я все выброшу и больше не буду лечиться такими средствами,— со слезами в голосе промолвила Гертруда.

— Тебе нужно развлечение,— сказал Лодж.— Я прежде подумывал о том, чтобы усыновить одного мальчика, но он уже теперь слишком взрослый. Притом он уехал — не знаю куда.

Гертруда знала, на кого он намекает: история Роды Брук давно уже была ей известна, но ни единого слова не сказала она об этом мужу. Она утаила от Лоджа и то, что ходила к Трендлу и что отшельник вересковой пустоши открыл ей правду — так она тогда думала.

Гертруде было теперь двадцать пять лет, но на вид она казалась старше. «Шесть лет замужем — и только месяц-другой была любима»,— говорила она себе порой. Затем, вспомнив о вероятной причине своего несчастья, обращала скорбный взгляд на сухую руку и шептала:

— Ах, если бы я могла снова стать такой, какой он увидел меня в первый раз!

Она покорно выбросила все свои амулеты, но страстное желание найти наконец средство излечения по-прежнему мучило ее. После того как Рода, переломив себя, повела ее к отшельнику, Гертруда ни разу не была у Трендла. Но вот сейчас ей вдруг пришло в голову сделать еще одну попытку, разыскать этого человека, если он еще жив: быть может, он снимет с нее порчу. Он заслуживал некоторого доверия — ведь та неясная тень, которую он вызвал в стакане, несомненно походила на Роду, единственную женщину на свете, у которой были причины желать ей зла (теперь Гертруда знала это). Да, надо пойти к Трендлу и заплатить ему за совет.

На этот раз она отправилась туда одна и чуть не заблудилась в степи. Наконец, сделав огромный крюк, она все же добралась до жилья колдуна. Трендла дома не было, и Гертруда не стала ждать, она пошла туда, где он работал,— издали видна была его согбенная фигура. Трендл ее узнал и, бросив на землю корни дрока, которые держал в руках (он их выкапывал и затем складывал в кучу), сказал, что проводит ее домой, так как путь неблизкий, а дни сейчас уже короткие и скоро стемнеет. Они вдвоем пошли степью. За эти годы Трендл так сгорбился, что голова его почти касалась земли, и весь он был такого же цвета, как земля.

— Я знаю, вы умеете заговаривать бородавки и другие наросты,— сказала Гертруда.— Так почему бы вам не избавить меня от этого? — Она обнажила руку.

— Вы слишком верите в меня,— возразил Трендл.— А я уже стар и слаб. Нет, нет, не берусь вылечить вас, это мне не по силам. Какие средства вы уже пробовали?

Гертруда перечислила кое-какие из того множества лекарств и заговоров, которые она время от времени применяла. Трендл покачал головой.

— Ну что ж, тут есть и очень полезные средства,— сказал он одобрительно.— Но не против такой болезни, как ваша. У вас не рана, не язва, а порча — и если это когда-нибудь пройдет, то сразу.

— Ах, если бы это было возможно!

— Я знаю только один способ... Смело могу сказать, он всегда помогал в подобных случаях. Но дело это трудное, особенно для женщины.

— Говорите! — промолвила Гертруда.

— Вам надо приложить большую руку к шее повешенного...

Гертруда вздрогнула, представив себе эту картину.

— Раньше, чем он похолодеет, сразу как его снимут с виселицы,— продолжал колдун бесстрастно.

— Неужто это может помочь?

— Да, это перевернет кровь, и тогда все у вас внутри переменится. Но я уже сказал — сделать это трудно. Когда услышите, что кого-то должны повесить, ступайте в тюрьму и ждите, пока тело снимут с виселицы. Я знавал множество людей, которые это проделывали, правда, таких пригожих женщин среди них не было. По моему совету десятки людей исцелились таким способом от кожных болезней. Но это давно было — последний приходил ко мне в тринадцатом году, почти двенадцать лет назад.

Ничего другого Трендл Гертруде не посоветовал. Указав ей прямой путь домой, он ушел, и на этот раз наотрез отказавшись взять деньги.

VII

ПОЕЗДКА В ГОРОД

Совет Трендла глубоко запал в душу Гертруде. Она была робка от природы, и из всех способов исцеления, какие мог ей предложить седой колдун, ни один, вероятно, не внушил бы ей такого отвращения, как этот; к тому же, чтобы его выполнить, нужно было преодолеть очень уж большие препятствия. До главного города графства, Кэстербриджа, было около пятнадцати миль. И хотя в те времена людей казнили за конокрадство, поджог или кражу со взломом и ни одна судебная сессия не проходила без смертного приговора, Гертруда вряд ли могла без чьего-либо содействия получить доступ к телу повешенного. А кто же мог ей помочь, если она, боясь рассердить мужа, не смела и заикнуться ему или кому другому о совете Трендла?

Проходили месяцы, а она ничего не предпринимала и, как прежде, терпеливо переносила свое несчастье. Но женское сердце жаждало вернуть утраченную любовь, а любовь Лоджа к жене могла бы воскреснуть, только если вернется ее былая

красота. Так думала Гертруда (ведь ей было только двадцать пять лет) — и эта надежда побуждала ее сделать попытку, которая если и не поможет, то вряд ли ей повредит. «Что наведено колдовством, то колдовством и снять можно», — твердила она мысленно. Представляя себе, что ей придется проделывать, она в ужасе гнала самую мысль об этом, но затем, вспоминая слова колдуна «тогда у вас вся кровь перевернется», уже склонна была придать им какой-то научный смысл, и властное желание исцелиться снова просыпалось, побуждая ее действовать.

Тогда в графстве выходила одна-единственная газета, и Лодж лишь изредка брал ее у соседей. Но старые времена имели свои старые обычаи, — новости, передаваясь из уст в уста, быстро распространялись с одного базара на другой, с одной ярмарки на другую. И когда ожидалось такое событие, как публичная казнь, мало кто на двадцать миль в окружности не знал об этом. В Холмстоке находились любители, которые только для того, чтобы увидеть это зрелище, пешком проделывали весь путь до Кэстербриджа и обратно.

Очередная сессия суда началась в марте, и когда Гертруда Лодж узнала об этом, она при каждом удобном случае украдкой осведомлялась в харчевне, какие вынесены приговоры.

Все-таки она опоздала. Наступило время казней, а так быстро собраться, ехать в город и получить доступ в тюрьму Гертруда не могла без помощи мужа. Но она не решалась заговорить с ним об этом, зная уже после неоднократных осторожных попыток, что одно упоминание о деревенских суевериях приводит его в ярость — быть может, потому, что сам он в какой-то мере разделял их. Так что Гертруде пришлось ждать другого удобного случая.

Решение ее окрепло, когда она узнала, что много лет назад двое детей-эпилептиков из их деревни, Холмстока, исцелились тем самым способом, какой посоветовал ей Трендл, хотя это сурово осуждалось тогда местным духовенством. Прошли апрель, май, июнь — и можно сказать без преувеличения, что к концу третьего месяца Гертруда уже почти жаждала казни какого-нибудь ближнего. Вместо обычной молитвы на сон грядущий она, сама того не сознавая, молила: «О, господи, сделай, чтобы поскорее кого-нибудь повесили, виновного или невинного, все равно!»

Теперь она заблаговременно стала наводить справки и вообще действовала более обдуманно. К тому же пора стояла летняя, и муж ее куда-то уехал, пользуясь свободным временем между сенокосом и жатвой.

Следующая судебная сессия состоялась в июле; Гертруда опять пошла в трактир за сведениями. Ей сказали, что осужден на смерть только один человек — за поджог.

Теперь самая трудная задача была уже не в том, чтобы добраться до Кэстербриджа, а в том, как проникнуть в тюрьму.

Правда, в былые времена доступ в нее для такой цели не запрещался. Но этот обычай уже отошел в прошлое. И, предвидя возможные затруднения, Гертруда снова пала духом: она опасалась, что ей не обойтись без помощи мужа. Однако, когда она пробовала завести речь о приговоре суда, Лодж отвечал ей так отрывисто и неохотно, настолько холоднее обычного, что Гертруда тотчас умолкала. В конце концов она решила действовать самостоятельно.

Судьба, до тех пор неумолимая, неожиданно сжалилась над нею. Казнь была назначена на субботу, а в четверг Лодж объявил жене, что снова уезжает по делам на день-другой, но ее, к сожалению, взять с собой на ярмарку не может.

Гертруда с такой готовностью согласилась остаться дома, что муж посмотрел на нее удивленно: прежде она всегда очень огорчалась, если не могла принять участие в таком развлечении, как поездка на ярмарку. Но он промолчал и в назначенный день уехал из Холмстока.

Наступила ее очередь собираться в путь. Сперва Гертруда хотела отправиться в двуколке, но, подумав, отказалась от этого намерения: пришлось бы ехать по главной дороге, а тогда в десять раз возрастал риск, что будет раскрыта страшная цель ее путешествия. И Гертруда решила ехать верхом, избегая людных дорог. В конюшнях фермы не было ни одной лошади, которую, даже при самом услужливом воображении, можно было бы считать подходящей для дамы, хотя перед свадьбой Лодж обещал Гертруде постоянно держать для нее на конюшне верховую кобылу. Зато там стояло много ломовых лошадей, превосходных в своем роде, и среди них — одна, крепкая, с широкой, как диван, спиной, настоящий конь-богатырь. На ней Гертруда иногда ездила кататься, когда чувствовала себя нездоровой; ее же она выбрала и сейчас.

В пятницу после полудня один из работников подвел лошадь к дому. Гертруда была уже одета в дорогу и раньше, чем сойти вниз, взглянула на свою сморщенную руку.

— Ах,— сказала она,— если бы не ты, не пришлось бы мне идти на такое страшное дело.

Приторачивая к седлу узелок, в который собрала кое-какую одежду, она сказала служанке:

— Я беру это на всякий случай, может быть, останусь ночевать в гостях. Не беспокойся, если я не вернусь, и запри дверь в десять, как всегда. А завтра утром я уж обязательно буду дома.

Мужу она намерена была все рассказать потом, наедине: когда дело сделано, о нем легче говорить, чем о задуманном. Муж, наверно, простит ее.

И вот прелестная Гертруда Лодж, трепеща, покинула дом мужа. В Кэстербридж она поехала не прямой дорогой через Стиклфорд: нет, она из осторожности сперва двинулась в противоположную сторону, и только когда ее уже нельзя было видеть

из деревни, свернула влево, на дорогу в Эгдон. Проехав немного по вересковой пустоши, она опять круто повернула и поскокала теперь уже прямо на запад, держа путь на Кэстербридж. Трудно было выбрать более уединенную дорогу; а чтобы не сбиться с нее, Гертруде достаточно было все время держать направление немного вправо от солнца. Она знала, что время от времени будет встречать сборщиков дрока или окрестных жителей и они своими указаниями помогут ей.

В то время (хотя это было сравнительно недавно) Эгдон представлял собой местность гораздо более однообразную, чем сейчас. Тогда еще не так часты были попытки — успешные и неуспешные — возделывать землю на невысоких откосах, которые, врезаясь в древнюю степь, делят ее на отдельные небольшие пустоши. Здесь еще не применялись и законы об огораживании, и не было в Эгдонской степи тех насыпей и заборов, которыми позднее владельцы земельных угодий отгородились от крестьянских стад, ранее бродивших здесь свободно, и от телег тех людей, кто круглый год разрабатывал торфяники. Таким образом, Гертруда ехала вперед, не встречая никаких препятствий, кроме колючих зарослей дрока, густого ковра вереска, белевших кое-где русел высохших речек и природных неровностей почвы — лощин и крутых откосов.

Лошадь у Гертруды была тяжеловатая и не быстрая, но надежная, и хоть ломовая, а спокойная на ходу. Если бы не это, такая женщина, как Гертруда, не отважилась бы пуститься верхом в дальний путь, — да еще с полупарализованной рукой. Было уже около восьми, когда она остановила лошадь, чтобы дать ей отдышаться, на последнем холме перед Кэстербриджем, там, где Эгдонская степь сменяется распаханными долинами.

Подъезжая к городу, Гертруда остановилась перед прудом, который называли «камышовым». С двух сторон к нему примыкали живые изгороди, а посредине проходил барьер, перерезавший его на две половины. Над этим барьером видна была вдали зеленая низина, за ее деревьями поднимались крыши домов, и среди них — белый фасад тюрьмы графства. На плоской крыше этого здания двигались темные пятнышки: должно быть, рабочие, что-то там сооружавшие. У Гертруды по спине пробежал мороз. Медленно стала она спускаться вниз и скоро очутилась среди засеянных полей и пастбищ. А еще через полчаса, уже в наступавших сумерках, добралась до «Белого Оленя», первой городской харчевни на этой дороге.

Появление ее никого особенно не удивило: в те времена жены фермеров ездили верхом гораздо чаще, чем теперь. Впрочем, надо сказать — за чью-либо жену ее никто не принимал: трактирщик, например, был уверен, что это какая-то девица легкого поведения приехала, чтобы завтра поглядеть на казнь. Ни Лодж, ни его жена никогда не ездили в Кэстербридж на базар, и Гертруду здесь никто не знал. Сходя с лошади, она заметила у дверей шорной лавки, немного повыше трак-

тира, толпу мальчишек, с жадным интересом заглядывавших внутрь.

— Что там такое? — спросила она у трактирщика.

— Там шорник готовит веревку на завтра.

Молодая женщина вздрогнула и невольно прижала к себе большую руку.

— После казни веревку эту продают по кусочкам,— продолжал трактирщик.— А вам, мисс, если хотите, я и задаром достану.

Гертруда поспешно отказалась — у нее было странное и жуткое ощущение, что судьба несчастного осужденного каким-то образом тесно связана с ее судьбой. Она попросила отвести ей комнату на ночь и, оставшись одна, погрузилась в размышления.

До этой минуты она весьма смутно представляла себе, как проберется в тюрьму. Вспомнились слова колдуна. Он намекнул, что пропуском ей может послужить ее красота, хотя и несколько поблекшая. Но к кому же обратиться? По своей неопытности Гертруда очень мало разбиралась в тюремных порядках. Она слыхала, что есть главный шериф графства и его помощник, а о другом начальстве не имела понятия. Одно она знала — что в тюрьме есть палач, и к нему решила обратиться.

VIII

ХИЖИНА У РЕКИ

В те времена, да еще и в позднейшие годы почти в каждой тюрьме был свой палач. Расспросив людей, Гертруда узнала, что кэстербриджский палач живет в уединенной хижине у глубокой и тихой реки под утесом, на котором стояла тюрьма. Жена Лоджа и не подозревала, что это та самая река, которая в своем дальнейшем течении орошает луга Стиклфорда и Холмстока.

Переодевшись и в спешке не успев даже поесть и попить (она не могла быть спокойна, пока все не выяснит), Гертруда пошла по тропинке вдоль реки к домику, указанному ей каким-то мальчишкой. Проходя неподалеку от тюрьмы, она различила на плоской крыше над воротами прямоугольник, четко рисовавшийся на фоне неба,— там-то она и видела, подъезжая к городу, какие-то передвигавшиеся темные точки. Она поняла, что это за сооружение, и торопливо пробежала мимо. Еще сотня шагов — и она очутилась перед жилищем палача. Оно стояло у самой реки, почти рядом с плотиной, где неумолчно шумела вода.

Гертруда стояла в нерешимости. Вдруг дверь распахнулась, из хижины вышел старик со свечой, заслоняя рукой ее



огонек. Заперев дверь снаружи, он подошел к деревянной лесенке у задней стены и стал подниматься по ней: должно быть, наверху у него была спальня. Гертруда поспешила за ним, но, пока она добежала до лестницы, старик успел взобраться наверх. Она окликнула его, напрягая голос, чтобы быть услышанной сквозь шум воды. Старик глянул вниз и спросил:

— Чего вам?

— Мне надо поговорить с вами. Одну минутку.

Огонек свечи, как ни был он слаб, осветил ее умоляющее, бледное лицо, и Дэвис (так звали палача) стал спускаться вниз по лесенке.

— А я собирался уже лечь спать,— сказал он.— У меня правило — ложиться с курами и вставать с петухами. Но не грех и повременить минуту ради такой красотики, как вы. Войдите.

Он отпер дверь и первый прошел в комнату.

В углу стояли орудия его повседневного труда, свидетельствовавшие, что Дэвис в свободное время работает на огородах. Угадав, вероятно, в Гертруде сельскую жительницу, он сказал:

— Вы хотите нанять меня на работу? Но я не могу никуда ехать, я никогда не выезжаю из Кэстербриджа, кто бы ни звал,— люди знатные или простые. Ведь главное мое занятие — служба по судебному ведомству,— с важностью пояснил он.

— Знаю, знаю. Оттого я и пришла. Завтра...

— Ага, я так и подумал! Ну, в чем же дело? За веревкой ко мне ходить незачем — люди постоянно за этим приходят, а я им говорю, что любая веревка помогает человеку, если как следует закрепить петлю пониже уха. Но, может, тот бедняга приходится вам родственником? Или (палач окинул взглядом ее платье) он у вас служил?

— Нет, нет. В котором часу казнь?

— Как всегда, в двенадцать или немного позже, если лондонская почтовая карета не прибудет вовремя. Мы всегда ждем ее — а вдруг привезет отсрочку или отмену приговора!

— Отмену?.. Ох, надеюсь, что нет! — невольно вырвалось у Гертруды.

— Ха-ха! Если говорить по-деловому, мне это тоже невыгодно. Но должен вам сказать — этого паренька скорее, чем кого другого, стоило бы помиловать. Ему только восемнадцать минуло. И он просто случайно оказался там, где подожгли скирды. Но помилования ждать нечего: парня повесят в назидание другим,— уж больно в последнее время участились такие поджоги...

— Понимаете, я хочу до него дотронуться, чтобы снять порчу. Мне это посоветовал один человек, он убедился, что это — верное средство.

— Вот оно что! Теперь понимаю, мисс. В былые времена люди часто ко мне за этим обращались. Но мне и в голову не могло прийти, что такой, как вы, требуется перевернуть кровь. Какая же у вас болезнь?

— Вот — рука.— Гертруда неохотно показала ему сморщенную кожу.

— Ага, она сохнет! — заметил палач, осматривая руку.

— Да,— подтвердила Гертруда.

— Ну, скажу вам,— продолжал он с живостью,— это как раз такой случай! Мне нравится вид вашей руки: никогда в жизни не видел хвори, более подходящей именно для такого лечения! Не знаю, кто вас послал, но он мудрый человек.

— И вы сможете сделать для меня все, что требуется? — стремительно спросила Гертруда.

— Вам, конечно, следовало бы вместе с вашим лекарем идти к начальнику тюрьмы, сказать ему свое имя и адрес,— такой, помнится, был порядок когда-то. Но, пожалуй, и я смогу все сделать за пустячную плату.

— О, благодарю вас! Мне так будет удобнее — я хочу, чтобы никто об этом не знал.

— От милого дружка секрет, а?

— Нет, от мужа.

— Ага! Ну, ладно, я вам помогу, вы прикоснетесь к телу.

— А где оно сейчас? — спросила Гертруда с содроганием.

— «Оно»? Он, вы хотите сказать? Ведь паренек еще жив. Сидит вон там, за тем узким и темным окошком наверху.— Палач указал на тюрьму, стоящую на утесе.

Гертруда подумала о муже, о родных.

— Да, да, понятно,— сказала она.— Что же мне надо делать?

Дэвис подвел ее к двери.

— Ждите меня у калиточки в стене, на той вон тропинке, ровно в час дня. Я буду там и открою вам калитку изнутри. Не уйду домой обедать, пока его не снимут с виселицы. Ну, до свиданья. Смотрите же, не опоздайте и, коли хотите, чтоб вас никто не узнал, закройте лицо вуалью. Эх!.. Когда-то у меня была дочка такая же, как вы.

Гертруда, прежде чем уйти, взобралась по тропинке наверх, чтобы быть уверенной, что она завтра легко сможет отыскать калитку. Скоро она увидела ее издали — узкое отверстие в наружной стене тюремного двора. Подъем был так крут, что, дойдя до калитки, молодая женщина вынуждена была постоять здесь, чтобы перевести дух. Оглянувшись на хижину у реки, она увидела, что палач снова поднимается по наружной лестнице. Он вошел на чердак или в светелку, куда вела эта лестница, и через минуту-другую потушил свечу.

Городские часы пробили десять. Гертруда вернулась к «Белому оленю» той же дорогой, какой пришла.

IX

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Наступила суббота. В час дня Гертруда Лодж, войдя в тюрьму так, как было условлено с Дэвисом, уже сидела в сторожке во второй подворотне, над которой высилась классическая арка из тесаного камня, тогда еще довольно новая, с надписью «Тюрьма графства. 1793». Этот-то фасад Гертруда и видела вчера с горки. Рядом был ход на крышу, где стояла виселица.

Город кишел людьми (ярмарка была отложена), но Гертруда со вчерашнего вечера не видела ни одной живой души. До назначенного часа она не выходила из своей комнаты, а к тюрьме шла кружным путем, чтобы избежать площадок под утесом, где уже собрались зрители. Сидя в сторожке, она

слышала многоголосый гул, среди которого по временам выделялся чей-то хриплый голос, похожий на карканье: «Сейчас предсмертная речь и исповедь».

Приговор не был отменен. Казнь свершилась. Но толпа все еще стояла внизу, чтобы увидеть, как повешенного снимут с виселицы.

Терпеливо ожидавшая Гертруда скоро услышала над головой тяжелые шаги, и чья-то рука поманила ее из-за двери. Она, как было условлено, вышла из сторожки, прошла через мощный внутренний двор. Колени ее так тряслись, что она двигалась с трудом. Левая рука была обнажена и лишь прикрыта шалью.

Там, куда пришла Гертруда, стояли двое козел, и раньше, чем она успела сообразить, каково их назначение, за ее спиной послышались тяжелые шаги на лестнице. Она то ли не могла, то ли не смела повернуть голову и, застыв в неподвижной позе, видела только, как у самого ее плеча четыре человека пронесли простой некрашенный гроб. Он был открыт, и в нем лежал труп юноши в крестьянской одежде — холщовой блузе и коротких бумазейных штанах. Тело бросили в гроб так поспешно, что пола блузы свесилась за край. Носильщики опустили свою ношу на козлы.

Гертруда была уже в таком состоянии, что перед глазами у нее плавал серый туман. Сквозь этот туман и вуаль, опущенную на лицо, она едва различала окружающее. Ей казалось, что она умирает и только какая-то гальваническая сила держит ее на ногах.

— Ну! — произнес голос над самым ее ухом, и она с трудом сообразила, что это относится к ней.

Сделав над собой последнее отчаянное усилие, она подошла к гробу — и в этот самый миг услышала, что за ней подходят еще какие-то люди. Она обнажила свою бедную «порченную» руку, а Дэвис, открыв лицо мертвеца, взял эту руку и прижал к шее повешенного там, где проходила полоса цвета незрелой черной смородины.

Гертруда пронзительно вскрикнула: как и предсказывал колдун, вся кровь у нее «перевернулась». Но в тот же миг второй крик прорезал воздух и заставил Гертруду мгновенно обернуться.

За ней стояла Рода Брук; сильно исхудавшая, с глазами, красными от слез, а за Родой... ее, Гертрудин, муж! Лицо его все собралось в морщины, но в мутных глазах не было ни единой слезы.

— Какого черта!.. Ты зачем здесь? — спросил он хрипло.

— Бесстыдница! Посмела еще в такую минуту стать между нами и нашим сыном! — закричала Рода. — Так вот что означало видение, которое показал мне во сне сатана! Ты стала теперь похожа на ту!

И, схватив Гертруду за голую руку, Рода отшвырнула

ее к стене. Молодая женщина не пыталась сопротивляться, а когда Рода выпустила ее руку, она как подкошенная упала на пол к ногам мужа. Он поднял ее. Она была уже без сознания.

Когда Гертруда увидела Роду и своего мужа, ей в тот же миг стало ясно, что повешенный был сын Роды. В те времена родные казненного имели право взять тело для погребения, если они этого желали. И потому-то Лодж вместе с Родой ожидал в городе конца следствия. Рода вызвала его сюда, как только юношу схватили на месте преступления, да и потом вызывала несколько раз. Лодж присутствовал на суде. Такова была истинная причина его поездок на «отдых» в последнее время. Несчастные родители хотели избежать огласки и сами пришли за трупом; за воротами ожидал фургон, чтобы увезти его.

Гертруда была в таком тяжелом состоянии, что пришлось позвать к ней лекаря, оказавшегося под рукой. Ее увезли в город, но домой ей не суждено было вернуться живой. Хрупкая от природы, быть может еще ослабленная параличом руки, она не вынесла двойного потрясения после всего пережитого ею за предыдущие сутки. Кровь в ней действительно «перевернулась» — и слишком круто. Гертруда умерла в Кэстербридже три дня спустя.

С тех пор ее мужа никогда не встречали в этом городе. Да и на старом рынке в Энглбери, куда он раньше ездил так часто, он появился только раз и вообще очень редко бывал на людях. Мучимый совестью, он проводил свои дни в тяжком унынии и постепенно переменялся к лучшему, стал как-то мягче и внимательнее к другим. Вскоре после похорон бедной молодой жены он стал искать покупателей на свои фермы в Холмстоке и соседнем приходе, продал весь скот и уехал в Порт Бреди, на другой конец графства. Там он жил одиноко и через два года скончался, догорев тихо, без страданий. После его смерти стало известно, что все свое немалое состояние он завещал исправительному приюту для мальчиков, поставив условием, чтобы Роде Брук, если она отыщется, выплачивалась небольшая ежегодная пенсия.

Некоторое время Роду нигде не могли разыскать. Наконец однажды она появилась в своем старом приходе, но наотрез отказалась от завещанных ей денег. И потекла прежняя однообразная жизнь — опять Рода утром и вечером доила коров на скотном дворе. Так прошло много долгих лет. Она сгорбилась, ее когда-то пышные черные волосы поседели и поредели над лбом — быть может, оттого, что приходилось постоянно упираться головой в бок коровы. Те, кто знал историю Роды, порой издали поглядывали на эту женщину и спрашивали себя, какие мрачные мысли мечутся за ее бесстрастным морщинистым лбом под журчание струй молока.

ПРОПОВЕДНИК В ЗАТРУДНЕНИИ

I

КАК ЛЕЧИЛИ ЕГО ПРОСТУДУ

Что-то задержало приезд методистского священника, и вместо него в Незер-Мойнтон временно назначили другого, еще совсем молодого человека. И вот тринадцатого января 183... года мистер Стокдэйл, молодой проповедник, о котором идет речь, без всякой помпы прибыл в деревню, где его никто не знал и появления его почти никто не заметил. Но когда местные жители одного с ним вероисповедания познакомились со своим новым духовным пастырем, он им скорее понравился, чем наоборот, хотя и было сомнительно, чтобы человек столь молодой успел уже приобрести твердость характера, необходимую для успешного выполнения предстоявшей ему задачи, — укрепить дух ста сорока правоверных методистов, обитавших в ту пору в Незер-Мойнтоне, и вдобавок оказать моральную поддержку тем нестойким членам паствы, которые шли утром в церковь, а вечером в часовню методистов или на чаепитие, ими устраиваемое; таких в Незер-Мойнтоне насчитывалось сто десять человек, включая и церковного причетника, который охотно к ним присоединялся, правда, только зимой, когда в семь часов вечера было уже так темно, что викарий не мог разглядеть, кто там проходит по улице в сторону методистской часовни, — впрочем, надо отдать ему справедливость, он не прилагал к тому особых усилий.

Именно эта шаткость границ между религиозными общинами послужила причиной загадочного явления, над которым тщетно ломали головы наименее сообразительные из окрестных помещиков: как могло случиться, что в приходе, насчитывающем не более четырех с половиной сотен жителей, достигших совершеннолетия, оказалось триста человек вполне взрослых приверженцев англиканской церкви и двести пятьдесят столь же зрелых по возрасту методистов?

Новоприезжий священник обладал привлекательной внешностью, и все, кто успел его повидать, охотно отложили на

время более насущный вопрос о пригодности его к роли пастыря. Рассказывают, что в ту пору глаза его глядели ласково, но без намека на легкомыслие; что волосы у него вились, что роста он был высокого, — короче говоря, мистер Стокдэйл был премилый юноша и с первой же встречи завоевал сердца всех своих прихожанок.

— Какая жалость, что мы раньше не знали, какой он! — говорили они. — Уж мы бы встретили его порадушнее!

Дело в том, что они, равно как и все прочие методисты в Незер-Мойнтоне, зная, что мистер Стокдэйл прислан сюда только на время и, стало быть, вряд ли представляет собой что-либо примечательное как человек или как проповедник, отнеслись к его приезду почти с таким же равнодушием, с каким добросовестные приверженцы англиканской церкви, не пропускающие ни одной воскресной службы, привыкли относиться к своему рукоположенному и высшею властью поставленному духовному пастырю. Вот почему, когда мистер Стокдэйл впервые ступил на почву Незер-Мойнтон, оказалось, что никто не позаботился приготовить ему квартиру, и, невзирая на сильную простуду, которую он схватил в дороге, ему пришлось самому заняться подысканием себе жилища. Из расспросов выяснилось, что во всей деревне единственное подходящее помещение — это дом некоей миссис Лиззи Ньюбери в конце улицы.

Об этом сообщил ему встречный мальчик-подросток, и у него же мистер Стокдэйл осведомился, кто такая миссис Ньюбери.

Мальчик пояснил, что она вдова — мужа у нее нет, потому что он умер. Мистер Ньюбери был фермер, добавил мальчик, и, говорят, человек зажиточный; но он помер от чахотки. Что касается духовной стороны жизни миссис Ньюбери, то, насколько мистер Стокдэйл понял, она не отличалась твердостью религиозных убеждений и посещала равным образом и часовню и церковь.

— Я наведаюсь к миссис Ньюбери, — сказал мистер Стокдэйл, решив, что раз в деревне нельзя сыскать квартиру в доме безупречного методиста, дом вдовы Ньюбери, вероятно, лучшее, что здесь можно найти.

— Она к себе не всякого пустит, — чиновников, да пасторов, да ихних приятелей миссис Ньюбери не особо жалуется, — сказал мальчик с сомнением в голосе.

— А, это уже неплохо. Я зайду к ней. Впрочем, нет, сначала сходи ты и справься, найдется ли для меня свободная комната. А я тем временем повидаюсь кое с кем по делу. Я пока остановился у возчика и буду ждать тебя там.

Через четверть часа посланный вернулся и сообщил, что миссис Ньюбери согласна пустить к себе жильца, после чего мистер Стокдэйл направился к ее дому. Дом стоял в саду за

живой изгородью и казался просторным и удобным. Навстречу мистеру Стокдэйлу вышла женщина преклонных лет; он договорился с ней, что переедет нынче же вечером; в деревне гостиницы не было, и ему хотелось поскорее устроиться на месте. Незер-Мойнтон являлся центром прихода, и отсюда мистеру Стокдэйлу предстояло надзирать за всеми небольшими часовнями, находившимися в окрестности.

Он тотчас распорядился, чтобы вещи его перевезли к миссис Ньюбери, а вечером пошел и сам к дому, ставшему его временным жильем.

Полагая, что он в доме уже не посторонний, мистер Стокдэйл решил, что можно войти, не постучавшись. Едва он ступил на порог, как услышал чьи-то удаляющиеся шаги, частые и быстрые, словно кинулись прочь, скребя о пол лапками, вспугнутые мыши. Он проследовал в комнату, выходящую окнами на фасад,— ее именовали гостиной, хотя ковер, устилая лишь места, по которым приходилось ступать, не мог скрыть каменного пола, и под мебелью оставались песчаные островки. Но в комнате все же было уютно. В камине пылал огонь, отсветы его дрожали на выпуклостях резных ножек стола, играли на медных шишках и ручках и ярко озаряли низ каминной полки. Сбоку к камину было придвинуто глубокое кресло, набитое конским волосом и утыканное множеством медных гвоздиков, на столе стояли чайные принадлежности, с чайника уже сняли крышку, а колокольчик поместили именно там, куда сидящий за столом, желая позвонить, инстинктивно протянул бы руку.

Не имея оснований быть недовольным этим первым беглым осмотром комнаты, мистер Стокдэйл присел к столу и ознаменовал свое водворение в доме тем, что позвонил в колокольчик. На звонок осторожно, бочком, вошла девчушка и налила ему чаю. Ее зовут Марта-Сарра, сказала она, и живет она вон там — она неопределенно кивнула куда-то в сторону деревни и проезжей дороги. Мистер Стокдэйл только что приступил к чаепитию, как раздался стук в дверь за его спиною, и в ответ на приглашение войти послышался шелест юбок. Это заставило его повернуть голову. Он увидел женщину, красивую, молодую и на редкость хорошо сложенную. У нее были темные волосы, прекрасный широкий умный лоб, живые глаза, взгляд которых согрел молодого пастора прежде, чем тот успел это осознать, и такие губки, что ими залюбовался бы всякий, равнодушный к красоте.

— Все ли вам подали к чаю, что требуется? — спросила она, делая шаг вперед. Лицо ее сияло оживлением, она придерживала рукой край двери и слегка ее покачивала.

— Все, благодарю вас,— сказал мистер Стокдэйл, думая не столько о том, что он говорит, сколько о том, кем приходится интересная особа хозяйке дома.

— Вы уверены, что все? — переспросила молодая жен-

щина, очевидно поняв, что пастор не очень-то вдумывался в свои слова.

Мистер Стокдэйл обвел взглядом все расставленное на столе и убедился, что ничего не забыто.

— Да, мисс Ньюбери, все,— повторил он.

— Миссис Ньюбери,— поправила она.— Лиззи Ньюбери. В девичестве меня звали Лиззи Симпкинс.

— О, прошу прощения, миссис Ньюбери...

Но прежде, чем он успел добавить хоть слово, она покинула комнату.

Стокдэйл сидел, задумавшись, пока Марта-Сарра не пришла убирать со стола.

— Скажи, милая,— спросил он,— чей это дом?

— Это дом миссис Лиззи Ньюбери, сэр.

— Значит, миссис Ньюбери это не та старая дама, с которой я уже виделся днем?

— Нет, сэр. То была мать миссис Ньюбери. А вот теперь к вам приходила сама миссис Ньюбери, ей хотелось посмотреть, красивый вы или нет.

Попозже, вечером, когда Стокдэйл собирался ужинать, миссис Ньюбери зашла снова.

— Я решила сама к вам наведаться, мистер Стокдэйл,— сказала она. Понимая, что ему оказана честь, священник вежливо поднялся со стула.— Боюсь, что Марта не сумела толком объяснить. Что вам подать на ужин? Есть холодный кролик, есть окорок.

Стокдэйл заверил ее, что этих яств ему вполне достаточно. Тут же собрали на стол, но едва Стокдэйл отрезал себе ломтик, как в дверь снова постучали. Священник уже научился распознавать быстрый, ритмический стук, предвещающий появление прелестной хозяйки, и первый свой глоток обреченный молодой человек прикрыл любезной улыбкой.

— У нас есть еще и цыпленок, мистер Стокдэйл. Я чуть про него не забыла. Быть может, желаете? Я пришлю к вам Марту, она принесет.

Стокдэйл уже в достаточной мере владел искусством галантности, подобающей молодому человеку его возраста, и сказал, что согласен отведать цыпленка лишь в том случае, если подаст его сама хозяйка. Но, произнеся это, он тут же покраснел, удивившись своей развязности, едва ли приличествующей серьезному человеку в сане священника. Через три минуты цыпленок появился, но, к великому удивлению Стокдэйла, внесла цыпленка Марта. Стокдэйл испытал чувство разочарования, на что, впрочем, может быть и рассчитывали.

Стокдэйл отужинал. Он никак не ожидал еще раз увидеть миссис Ньюбери в тот вечер, но она вновь постучала и вошла в гостиную. Благодарный взгляд Стокдэйла подтвердил ей, что она не прогадала оттого, что не пришла тогда, когда ее

ждали. Однако не успела она произнести и слова, как молодой человек, у которого простуда к вечеру заметно разыгралась, принялся чихать с такой силой, что долго не мог остановиться.

Миссис Ньюбери смотрела на него с живейшим участием.

— Как вы простудились-то, мистер Стокдэйл!

Стокдэйл ответил, что да, его порядком просквозило в дороге.

— Я вот о чем думаю...— протянула она лукаво, заметив на столе малособлазнительный стакан с водой, которую воздержанный молодой священник приготовился выпить на ночь.

— О чем же, миссис Ньюбери?

— Я думаю, вам следует выпить что-нибудь такое, что мигом сгонит с вас простуду. Что-нибудь получше холодной воды.

— Что ж делать,— сказал Стокдэйл, глянув на стакан.— Гостиницы здесь нет, а в деревне уж конечно ничего такого не достанешь. Надо довольствоваться тем, что есть.

— Найдется кое-что и получше,— ответила она.— И не так далеко отсюда, хотя и не в самом доме. Право, мистер Стокдэйл, вам надо принять меры, а то вы совсем расхвораегесь. Да-да, мистер Стокдэйл, уж вы мне поверьте.— Видя, что он хочет что-то сказать, она предостерегающе подняла палец.— Нет, не спрашивайте. Подождите немного и сами увидите.

Она ушла. А Стокдэйл в приятном расположении духа остался ее ждать. Она вскоре вернулась, но теперь на ней были капор и накидка.

— Мне б не хотелось вас беспокоить, мистер Стокдэйл, но вам придется мне помочь. Матушка уже легла. Укутайтесь хорошенько и идите за мной, да не забудьте прихватить с собой чашку.

Стокдэйл, человек молодой и одинокий, давно томясь желанием излить на кого-нибудь переполнявшую его душу благожелательность и даже нежность, с готовностью согласился и вышел вслед за миссис Ньюбери через кухонную дверь в сад. Они прошли в конец его, до каменной ограды. Ограда была низкая, и в ночной темноте Стокдэйл разглядел за ней несколько серых надгробных камней и очертания церковной крыши и колокольни.

— Тут перелезть нетрудно,— сказала миссис Ньюбери. Она стала на примыкавшую к ограде скамью, потом на ограду и спрыгнула по другую ее сторону, где грунт, как обычно на кладбищах, был выше. Стокдэйл проделал то же самое и в полутьме шел за своей хозяйкой по неровному дерну, пока они не очутились перед колокольней. Они вошли туда, и миссис Ньюбери тихонько притворила за собой дверь.

— Вы умеете хранить тайны? — услышал Стокдэйл мелодичный голос Лиззи.

— Как в железном сундуке! — ответил он с жаром.

Она достала из-под накидки зажженный фонарик, — до сих пор священник даже и не замечал, что он у нее есть. Теперь при свете фонарика стало видно, что они находятся возле лестницы, ведущей на хоры, а под лестницей свалена всякая рухлядь, главным образом поломанные церковные скамьи, куски стеной панели, а также старые доски из церковного пола.

— Оттащите, пожалуйста, часть этих досок в сторону, — сказала Лиззи, подняв фонарик над головой, чтобы мистеру Стокдэйлу было лучше видно. — Или посветите мне, а я оттащу.

— Я сам справлюсь, — сказал молодой человек и, выполнив то, что ему было велено, обнаружил, к своему удивлению, ряд небольших бочонков, стянутых деревянными обручами. Каждый бочонок в поперечнике был приблизительно такого размера, как ступица тяжелого фургонного колеса. Как только бочонки оказались на виду, Лиззи бросила на священника пытливый взгляд, как бы выжидая, что он на это скажет.

— Вы знаете, что это такое? — спросила она, видя, что он молчит.

— Бочонки, — простодушно ответил он.

Он всю жизнь прожил вдали от побережья, был сыном почтенных родителей и рос, имея перед собой одну-единственную цель — стать священником. Вот почему зрелище бочонков не подсказало ему ничего другого, кроме того, что это обыкновенные бочонки.

— Да, мистер Стокдэйл, вы не ошиблись, это бочонки, — подтвердила Лиззи тоже с видимым простодушием, однако в голосе ее как будто прозвучала ироническая нотка.

Стокдэйл взглянул на миссис Ньюбери — в нем внезапно зародилось подозрение.

— Уж не контрабандное ли в них вино? — спросил он.

— Вот именно. В бочонках коньяк. Как-то в темную ночь они случайно заплыли к нам из Франции.

В ту пору жители Незер-Мойнтон и его окрестностей только усмехались, если при них заходила речь о незаконности того вида торговли, которая в прочих местах именуется контрабандой, и маленькие эти бочонки были так же хорошо знакомы здесь каждому, как репа в его огороде. Поэтому младенческое неведение Стокдэйла и встревоженный его взгляд, когда он догадался о преступной тайне, сперва показались Лиззи смешными, но затем она подумала, что это весьма некстати и может повредить положительному впечатлению, какое ей хотелось произвести на молодого священника.

— Да, кое-кто здесь занимается контрабандой, — сказала она мягким, извиняющимся тоном. — И дело передается от отца к сыну и от сына к внуку, и никто не видит в том ничего дурного. Ну, как, поможете вы мне выкатить бочонок из-под лестницы?

— Зачем? — спросил священник.

— Чтобы отлить из него немного и подлечить вашу простуду. Коньяк уж такой-то крепкий, любую простуду им выгонишь. Нет, мистер Стокдэйл, на этот счет не тревожьтесь, я имею право брать, сколько мне понадобится, владеlec бочонков мне позволил. Мне надо бы всегда держать дома немного коньяка, тогда не пришлось бы сейчас возиться. Но сама я его не пью, поэтому и забываю отлить да принести домой.

— Контрабандисты, вероятно, для того разрешают вам пользоваться вином, чтобы вы не донесли, где они его прячут?

— Н-нет, не совсем так. Но я в любое время могу взять, сколько мне нужно. Так что вы не стесняйтесь.

— Ну, раз у вас есть разрешение, я немного возьму, только чтоб угодить вам,— пробормотал священник, и, хотя ему была не очень по душе собственная его роль в этой затее, он выкатил один из бочонков на середину пола.— Как же достать вино? Наверное, нужно взять бурав, и...

— Нет,— сказала его прелестная соучастница. Она подняла руку. Стокдэйл увидел, что Лиззи держит молоток и сапожное шило.— Буравить нельзя, а то в коньяк попадут опилки. Тот, кто купит, сразу догадается, что от бочонка отливали. А если проткнуть шилом, опилок не будет, а дырка потом сама затянется. Сдвиньте-ка обруч повыше.

Стокдэйл взял молоток и сбил обруч кверху.

— Теперь проткните шилом там, где бочонок был прикрыт обручем.

— Так вино не потечет,— сказал он.

— Еще как потечет! Зажмите бочонок между колен и руками давите на донца. А я подставляю чашку.

Бочонок, очевидно, был сколочен из тонких досок, и как только Стокдэйл сжал его с концов, из отверстия брызнула струйка. Когда чашка наполнилась, Стокдэйл перестал нажимать на донца, и струйка остановилась.

— Теперь дольем бочонок водой,— сказала Лиззи.— Не то, стоит его шевельнуть, он закудахчет, как стая кур, и все сразу смекнут, что он не полон.

— Но ведь вы берете с разрешения?

— Да, конечно, с разрешения контрабандистов, но покупатели-то не должны знать, что контрабандисты расщедрились для меня за их счет!

— Понимаю,— сказал Стокдэйл неуверенно.— Но, право, я очень сомневаюсь, честно ли все это.

Выполняя ее указания, Стокдэйл держал бочонок отверстием кверху и время от времени то сдавливал, то отпускал донца, а Лиззи набирала в рот из бутылки воды и, приложив свои хорошенькие губки к отверстию, выпускала ее в бочонок — вода всасывалась внутрь бочонка всякий раз, как Стокдэйл переставал сжимать донца. Когда бочонок вновь наполнился, Стокдэйл заткнул отверстие, насадил обруч на прежнее место

и, откатив бочонок в угол, завалил его досками и прочим хламом.

— А контрабандисты не опасаются, что вы можете их выдать? — спросил Стокдэйл, когда они с Лиззи, возвращаясь, проходили по кладбищу.

— О нет, этого им бояться нечего. Я их никогда не подведу.

— Они поставили вас в очень затруднительное положение,— продолжал Стокдэйл настойчиво.— Вы как честная женщина не можете не испытывать иногда нравственной потребности сообщить обо всем куда следует. Да, миссис Ньюбери, да,— это ваш прямой долг.

— Никогда, признаться, не почитала это своим долгом, и, кроме того, мой первый муж...

Она запнулась, смутившись. Простодушие и неискушенность в делах житейских не позволили Стокдэйлу сразу догадаться, почему вдруг умолкла его собеседница, но потом он все же сообразил, что Лиззи проговорила и что, если у женщины ненароком срываются с языка слова «мой первый муж», значит, она уже частенько подумывает о втором. Из деликатности Стокдэйл молчал, давая Лиззи время оправиться от смущения.

— Мой муж,— начала она снова,— знал обо всех этих делах, и мой отец тоже, и они не болтали, хранили тайну. Нет, право же, не могу я стать доносчицей.

— Да, понимаю, все это очень сложно,— сказал Стокдэйл как человек, привыкший вникать в самую глубь моральных конфликтов.— Для вас это жестокое испытание, вам приходится разрываться между памятью своих близких и собственной совестью. Но я надеюсь, миссис Ньюбери, что вы сумеете найти выход из этого неприятного положения.

— Пока еще не нашла,— пробормотала она.

Они перелезли через ограду, миновали сад и вошли в дом; Лиззи принесла горячей воды и стакан и оставила Стокдэйла предаваться наедине размышлениям. Он глядел вслед ее удаляющейся фигуре и спрашивал себя, вполне ли правильно он поступил, он, почтенный человек, священник, духовный светоч — не очень еще, правда, яркий, не ярче свечки ценной в полпenni, но все же светоч! Тут он чихнул, и это решило дело; и, отхлебнув из стакана, он признал, что крепкий коньяк, если его разбавить на две трети водой, действительно отличное средство от простуды, особенно в холодное зимнее время.

Минут двадцать он сидел в глубоком кресле, потягивая напиток и раздумывая, и мало-помалу все происшедшее приняло в его глазах более приятную окраску, и он уже стал мечтать о завтрашнем дне, когда снова увидит миссис Ньюбери. Тут он вдруг почувствовал, что этот срок — от вечера до утра — на самом деле такой короткий, кажется ему страшно долгим, и принялся беспокойно шагать по комнате. Внимание его

привлек школьный «образчик», вставленный в застекленную рамку; в орнаменте из елочек и павлинов были заключены следующие трогательные стишки:

Роза пахнет, пышно расцветая,—
Вот мой труд, пока я живая.
Роза пахнет, когда и увянет,—
Вот мой труд, когда меня не станет.

Страшись гнева божия. Чти короля.
Лиззи Симпкинс, одиннадцати лет.

«Это она старалась,— сказал он себе.— «Лиззи» — господи, до чего же милое имя!»

Он все еще думал о том, что во всем перечне женских имен от первой до последней буквы алфавита не найти имени, более подходящего для его молодой хозяйки, как вдруг снова раздался стук в дверь. Стокдэйл оторопел, опять увидев перед собой Лиззи, чье лицо выражало сейчас такое равнодушие, что никто не заподозрил бы ее в желании еще лишний раз показать молодому человеку свои прелестные глазки и тем сызнова смутить его душевный покой.

— Мистер Стокдэйл, не разжечь ли камин в вашей комнате, раз вы так простужены?

Еще испытывая укоры совести за соучастие в подливании в коньяк воды, священник обрадовался возможности искупить свою вину ценой самоотречения.

— Нет, благодарю вас,— сказал он твердо.— Не надо. Я не приучен к подобной роскоши. Это значило бы слишком баловать.

— В таком случае не буду настаивать,— сказала Лиззи и, к его огорчению, тут же скрылась.

Уж не обиделась ли она, с тревогой подумал мистер Стокдэйл. Пожалуй, напрасно он не согласился, чтобы у него протопили камин, пусть даже непривычная жара помешала бы ему уснуть, пусть даже его программа умерщвления плоти была бы на несколько дней нарушена! Он попытался утешить себя мыслью, которая и в самом деле могла послужить утешением для сердца, уже затронутого любовью,— что он находится под одной кровлей с Лиззи, что он, в сущности, ее гость (если прозаический термин «жилец» перевести на язык поэтический) и что на следующий же день ему, без сомнения, удастся снова повидать ее.

Следующий день наступил. Стокдэйл поднялся рано, простуду его как рукой сняло. Никогда еще не ждал он завтрака с таким нетерпением, и ровно в восемь часов, совершив предварительно небольшую прогулку для ознакомления с окрестностями, вернулся в свое новое обиталище. За завтраком ему прислуживала Марта-Сарра, но никто другой не появился и не осведомился, как накануне вечером, нет ли у него еще каких

пожеланий. Стокдэйл был разочарован и ушел по своим делам, надеясь увидеть Лиззи за обедом. Настал час обеда. Стокдэйл сел за стол, исправно съел все, что было подано, и просидел за столом еще битый час, хотя и знал, что в это самое время двое новых учителей уже ждут его возле часовни. Ждать Лиззи дальше было бесполезно, и он медленно зашагал по улочке, ведущей к часовне, подбадривая себя мыслью, что, так или иначе, вечером он Лиззи повидает, и, может быть, ему опять предстоит увлекательное занятие: протыкать шилом бочонки на колокольне. Он решил подвести под него более добродетельную основу и твердо настоять на том, чтобы воду в коньяк не доливали, пусть даже потом бочонок закудахчет, как все куры на свете вместе взятые. Но история с бочонками все же тревожила его совесть. И Стокдэйл совсем приуныл, когда заметил, что мысли его поглощены этой темой гораздо больше, чем серьезными обязанностями пастыря.

Однако к концу дня покаянное настроение мистера Стокдэйла улетучилось. Наступил вечер, а с ним время чая и ужина. Но ни Лиззи, ни сладких искушений. Стокдэйл не мог больше выдержать мук ожидания и решил расспросить забавную маленькую служанку.

— Где же сегодня миссис Ньюбери? — спросил он Марту-Сарру, предусмотрительно вручив ей пенни.

— Занята делами, — сказала Марта-Сарра.

— Не случилось ли с ней чего?

Он вручил Марте-Сарре вторую монетку, дав ей при этом возможность заметить, что у него имеются в запасе и другие.

— Да нет, какое там! — воскликнула Марта-Сарра доверчиво, захлебнувшись от избытка чувств. — С ней никогда ничего не случается. Просто лежит в постели и спит. Это с ней бывает.

Стокдэйл, как человек благовоспитанный, прекратил дальнейшие расспросы, решив, что, вероятно, у Лиззи, что бы там ни говорила служанка, легкое недомогание или просто разболелась голова, и он, огорченный, отправился спать, за весь день не повидав даже старой миссис Симпкинс.

«Вот ведь как бывает, — подумал он, — вчера я был так уверен, что сегодня увижу Лиззи. А судьба решила иначе».

На следующий день ему больше повезло: на свое счастье или на беду, он встретил Лиззи утром внизу у лестницы; да и днем она заходила к нему дважды — один раз затем, чтобы, как и в первый вечер, заботливо спросить, не нужно ли ему чего, а в другой раз, чтобы поставить на стол букетик зимних фиалок, пообещав при этом, что заменит их свежими, как только эти увянут. И оба раза она улыбалась, и улыбка эта говорила, что Лиззи хорошо понимает, какое впечатление произвела на молодого священника. Впрочем, надо признать, все это она проделывала скорее для забавы, чем с коварным

умыслом, побуждаемая больше женской гордостью, чем тщеславием.

Что касается Стокдэйла, то он ясно видел теперь, сколь мало способен он бороться с искушением, и пожалел, что методистам отказано в ангелах-хранителях. Час или два он еще крепился, наложив запрет на свои уста и взоры, потом понял, что сопротивляться долее не в силах, и покорился неизбежному.

— Через месяц придет постоянный священник, — говорил он себе, сидя перед камином. — Я отсюда уеду, и она перестанет тревожить мои мысли. А с другой стороны, не век же мне жить в одиночестве? Минуют два года испытательного срока, я получу постоянное место и дом с обстановкой, с полированной парадной дверью и бронзовым дверным молоточком. И как только последнюю тарелку поставят в буфет, я пойду к Лиззи и спрошу ее напрямик!

В таких приятно волнующих переживаниях прошли две недели, и события развивались приблизительно так, как это спокон века бывает в подобных случаях. То он видел предмет своих мечтаний по нескольку раз на дню, то целый день не видел ее вовсе; то встречал, когда меньше всего на это надеялся, то не находил там, где она непременно должна была быть, судя по ее знакам и намекам, столь явным, как если бы она прямо назначила ему свидание. Это легкое кокетство даже нельзя было осуждать, оно возникало как-то само собой оттого, что они жили под одной кровлей, и Стокдэйл старался относиться к нему философски. Лиззи была у себя, она всегда могла, подразнив Стокдэйла или обманув его ожидания, тут же задобрить его всякими мелкими знаками внимания, которые имела право ему оказывать в качестве хозяйки. Если он, просидев полдня дома только затем, чтобы повидать ее, уходил наконец раздосадованный и часами скитался по самым мрачным и сырým местам, Лиззи все улаживала вечером, стоило ей сказать:

— Мистер Стокдэйл, мне пришло в голову, не дует ли по ночам в окно вашей спальни, и когда вы днем уходили, я повесила занавеску поплотнее.

Или же:

— Я заметила нынче утром, что вы опять два раза чихнули. Значит, простуда вас еще не оставила, да, да — я все время об этом думаю, просто из головы не выходит. Давайте я приготовлю вам горячее питье из молока с коньяком.

Иногда, возвратясь домой, он видел, что в гостиной все переставлено: где был стол, стоят стулья, а на столе — букет из тех цветов и листьев, какие можно достать зимой, — все для того, чтобы как-то приукрасить, обновить комнату. А бывало, что он заставал Лиззи стоящей на стуле возле дома: она старалась прикрепить к стене плеть поздней розы, сорванной зимним ветром. И тогда, разумеется, Стокдэйл шел ей помо-

гать, и руки их соприкасались, когда приходилось передавать друг другу бечевку и гвозди. Так после разногласий снова восстанавливался мир. Лиззи в таких случаях умильно и кротко говорила, что вот, мол, опять пришлось его побеспокоить, а он отвечал, что готов, если она потребует, сделать во сто крат больше.

II

КАК ОН ЗАМЕТИЛ ДВУХ ПОСТОРОННИХ МУЖЧИН

Так мало-помалу дело подвигалось вперед, когда однажды пасмурным вечером Стокдэйл не без удивления услышал из своей комнаты, что Лиззи вполголоса сердито спорит с кем-то возле дома. Уже почти совсем стемнело, но ставен еще не закрывали и не зажигали свечей. Стокдэйла разобрало любопытство, и он потянулся к окну поглядеть. Он увидел, что у входа стоит молодой мужчина в одежде какого-то белесоватого цвета. Рассудив, Стокдэйл пришел к выводу, что это, по всей вероятности, живущий по соседству мельник, рослый и довольно красивый парень. Мельник говорил то еле слышно, то возвышал голос — иногда с твердостью, а иногда как бы уговаривая и упрасывая. Но слов Стокдэйлу разобрать не удалось.

Беседа еще продолжалась, как вдруг нечто другое привлекло внимание священника. Напротив дома росла куща лавровых деревьев, там всегда царила густая тень. Внезапно ветка на одном из лавров дрогнула — это ясно было видно на более светлом фоне неба, а затем из листвы высунулась голова человека. По-видимому, еще кто-то интересовался беседой, происходившей возле двери, и прятался за деревьями, чтобы подглядеть и подслушать. Будь Стокдэйл для Лиззи чем-то побольше влюбленного вздыхателя, он, наверное, вышел бы из дому и расследовал, что все это означает. Но, находясь пока лишь на положении доброго знакомого, не обладающего никакими правами, Стокдэйл ограничился тем, что стал так, чтобы на него падал свет от камина.

Стокдэйла заметили. Тот, кто подслушивал за деревьями, мгновенно исчез, а Лиззи и мельник понизили голоса.

Все это до такой степени смутило покой молодого священника, что, едва дождавшись ухода мельника, он обратился к Лиззи.

— Миссис Ньюбери,— сказал он,— известно ли вам, что вас выслеживали и подслушивали?

— Когда?

— Когда вы разговаривали с мельником. Какой-то человек прятался за лавровым деревом и прямо-таки пожирал вас глазами.

Видя, что Лиззи сразу как-то обеспокоилась — сильнее, чем, казалось бы, стоило из-за такого пустячного случая,— Стокдэйл добавил:

— Быть может, вы беседовали на какую-нибудь деликатную тему, и вам неприятно, что вас могли слышать?

— Мы говорили о делах.

— Лиззи, будьте со мной откровенны! Если разговор был чисто деловой, кому понадобилось вас подслушивать?

Лиззи с любопытством посмотрела на него.

— О чем же мы, по-вашему, разговаривали?

— Ну... на ту единственную тему между молодой женщиной и молодым человеком, которая может вызвать у любопытных желание подслушать.

— А, вот что! — сказала она и улыбнулась, хотя и была озабочена.— Видите ли, Оулет — мой двоюродный брат, и он, правда, иной раз заговаривает со мной насчет того, чтобы нам пожениться, это верно. Но сегодня разговор шел совсем о другом. А лучше бы мы говорили о свадьбе. Это мне было бы много приятнее.

— Ах, миссис Ньюбери!

— Ну да! Не потому, что я стала бы подпевать ему в тон, нет,— у меня есть другие причины желать, чтобы Оулет приходил поговорить о свадьбе, а не о чем другом. И я рада, мистер Стокдэйл, что вы передали мне, что нас кто-то подслушивал. Вы предупредили вовремя. Мне надо сейчас же пойти повидать Оулета.

— Но подождите, я не договорил,— удержал ее Стокдэйл.— Я сейчас все выскажу и больше докучать вам не стану. Лиззи, прошу вас, скажите же наконец — да или нет?

Он протянул руку, и Лиззи положила в нее свою, но промолчала.

— Значит ли это, что вы согласны? — спросил он немного погодя.

— Я могу считать вас своим другом сердца, если желаете.

— Почему же вы не скажете сразу, что будете ждать меня, пока я получу приход и смогу жениться на вас?

— Потому что я сейчас... сейчас я думаю кое о чем другом,— сказала она смущенно.— На меня свалилось все сразу, и так неожиданно; я должна решать дела по очереди.

— Но, дорогая Лиззи, хоть одно мне пообещайте — что больше не позволите мельнику ни о чем говорить с вами, кроме как о делах. Вы никогда его не обнадеживали?

Лиззи уклонилась от прямого ответа.

— Видите ли,— сказала она.— Оулет, ну и все прочие, кто с ним... с давних пор оставляют товар у меня, я им в том никогда не отказывала; вот он и осмелел...

— Товар? Какой товар?

— Бочонки. У нас их так называют.

— Но почему вы не откажете ему раз и навсегда, дорогая Лиззи?

— Да право же, не могу.

— Вы слишком робки. Это непорядочно с его стороны — впутывать вас в свои противозаконные дела и подвергать риску ваше доброе имя. Обещайте, Лиззи, что в следующий раз, когда он опять обратится к вам с просьбой оставить на хранение бочонки, вы позволите мне выбросить их все на улицу!

Она покачала головой.

— Я никогда не решусь так обидеть соседей,— сказала она.— И не стану делать ничего такого, чтобы Оулета, чего доброго, сцапали акцизники.

Стокдэйл вздохнул и сказал, что подобное великодушие — большая ошибка с ее стороны, ведь ей приходится содействовать людям, которые обманывают короля, не платя ему налогов.

— Во всяком случае, Лиззи, вы даете мне право держать его на должном расстоянии и заявить ему прямо, что вы предназначены не для него?

— Нет, мистер Стокдэйл, прошу вас ничего ему не говорить до поры до времени. Я не хочу портить добрые отношения с соседями. В деле этом замешан не один Оулет.

— Очень жаль,— сказал Стокдэйл раздраженно.

— Даю вам честное слово, что не буду поощрять его ухаживаний,— сказала Лиззи.— Всякий благоразумный человек должен довольствоваться таким обещанием.

— И я им довольствуюсь, милая Лиззи,— сказал Стокдэйл, и лицо его прояснилось.

III

ТАИНСТВЕННОЕ ПАЛЬТО

Священник стал теперь все чаще обращать внимание на одну странность в жизни своей прекрасной хозяйки — странность, которую он и раньше замечал, но над которой не задумывался: миссис Ньюбери вставала в самое разное время дня. Неделью-другую она просыпалась довольно рано и около половины восьмого спускалась вниз. Потом вдруг три-четыре дня подряд не показывалась внизу до двенадцати часов, а два раза — как он точно знал — не выходила из своей комнаты даже до половины четвертого. Во второй раз он это заметил потому, что как раз в тот день ему особенно хотелось поскорее ее увидеть и побеседовать относительно своих планов на будущее. Как и в предыдущие разы, он решил, что у нее, наверно, простуда, головная боль или другое легкое недомогание, если только она не прячется нарочно в своей комнате,

желая избежать встречи и разговора с ним; но это казалось ему маловероятным. Однако первое его предположение не подтвердилось, так как несколько дней спустя, когда разговор случайно зашел о болезнях, миссис Ньюбери наивно призналась, что не помнит, чтобы за весь год у нее хоть раз болела голова или к ней привязалась бы какая другая хворь.

— Рад слышать это,— сказал он.— А я предполагал обратное.

— Почему же? Разве у меня такой болезненный вид? — спросила она, повернувшись к нему лицом, чтобы мистер Стокдэйл сразу понял, до какой степени нелепо подобное предположение.

— Нет, отнюдь нет. Я так подумал только потому, что вы иногда проводите полдня в постели.

— А-а... Ну, это пустяки,— пробормотала она, и лицо ее приняло выражение, которое, пожалуй, можно было бы назвать холодным и которое для Стокдэйла было менее всего приятно.— Просто я люблю поспать, мистер Стокдэйл.

— Да неужели?

— Да-да. Если я не выхожу из спальни до половины четвертого, значит, я лежу и сплю, только и всего.

— Это ужасно,— сказал Стокдэйл. Он мысленно представил себе, как такой беспорядочный образ жизни отразится на ведении хозяйства в доме священника, если эта неприятная привычка укоренится.

— Но такой сон нападает на меня, только если я ночью не спала,— добавила Лиззи, угадав, какое направление приняла и как далеко залетели его мысли.— Иной раз мне удается заснуть только к пяти-шести часам утра.

— Тогда дело другое,— сказал он.— Но бессонница, доходящая до такой степени, это же болезнь. Вы не обращались к врачу?

— Да нет, это совсем не нужно. И никакая это не болезнь, а просто так со мной бывает.

И миссис Ньюбери вышла, не добавив ни слова.

Стокдэйлу пришлось бы еще долго ждать, пока выяснилась бы истинная причина бессонницы, не засидись он однажды допоздна за составлением проповеди, что он привык делать по ночам, когда в доме все уже спали, и что всегда отнимало у него порядочно времени. Был уже час ночи, когда он наконец лег в постель. Он еще не успел заснуть, как вдруг кто-то постучал у входа, сперва тихонько, потом громче. Никто не отозвался, и в дверь снова постучали. Так как в доме по-прежнему было тихо, Стокдэйл встал с кровати, подошел к окну, приходившемуся над входной дверью, и, открыв его, спросил, кто стучит.

Молодой женский голос сказал, что это Сусанна Уоллис: она пришла попросить у миссис Ньюбери немножко горчицы — надо поставить горчичники отцу, у него что-то грудь заложило.

Послать было некого, даже колокольчика в комнате не имелось — приходилось действовать самому.

— Я схожу позову миссис Ньюбери,— сказал он.

Кое-как одевшись, он вышел на площадку и постучал в спальню Лиззи. Лиззи не отозвалась. Памятуя о ее странностях в отношении сна, он постучал сильнее, и вдруг дверь под его рукою сама собой приоткрылась: видно, она была не заперта, а только притворена. Теперь уж его и без стука должны были услышать, и Стокдэйл решительно произнес:

— Миссис Ньюбери! Вас спрашивают!

В спальне Лиззи царило безмолвие — ни шелеста платья, ни звука дыханья.

— Миссис Ньюбери! — совсем уже громко крикнул он в щелку, но и на этот раз ответа не последовало. Тут он услышал легкий шум в комнате, где спала мать Лиззи; очевидно, его зычный голос, бессильный нарушить сон Лиззи, разбудил ее мать, и та поспешно одевалась. Стокдэйл осторожно прикрыл дверь в спальню молодой женщины и подошел к комнате миссис Симпкинс. Не успел он постучаться, как миссис Симпкинс сама открыла дверь и встретила его на пороге. Она была совершенно одета и держала в руке свечу.

— Кто там пришел? — с тревогой спросила она.

Стокдэйл передал просьбу соседки, добавив озабоченно:

— Я не мог разбудить миссис Ньюбери.

— Ничего,— сказала миссис Симпкинс,— я и сама могу дать Сусанне все, что ей нужно.

Она начала спускаться по лестнице.

Стокдэйл пошел было к себе, но на полпути остановился.

— Надеюсь, с миссис Ньюбери все благополучно? — нерешительно сказал он.— Я никак не мог ее добудиться.

— Да нет, с ней все в порядке,— поспешно заверила его миссис Симпкинс.

Но тревога священника не унималась.

— А может, вы бы все-таки к ней зашли? У меня на душе будет спокойнее.

Миссис Симпкинс вернулась, зашла в комнату дочери и тут же вышла.

— Все в порядке, ничего с ней не случилось,— сказала она и пошла вниз выполнять просьбу соседки, которая, видя в доме свет, все это время стояла у входа и терпеливо ждала.

Стокдэйл возвратился к себе и снова лег в постель. Он слышал, как мать Лиззи открыла входную дверь и впустила соседку, слышал, как они переговаривались вполголоса, направляясь к шкафу, где хранились лекарства. Соседка ушла, миссис Симпкинс заперла за ней, поднялась наверх, и в доме опять все стихло. Но священнику не спалось. Он не мог отделаться от странных подозрений, тем более мучивших его, что в случае, если бы они оправдались, он столкнулся бы с явлением, совер-

шенно для него непонятным. Можно ли верить, что Лиззи была в комнате и не проснулась от его оглушительного стука? Но он же сам слышал, как вечером, в обычное время, она поднялась по лестнице, вошла к себе и затворила дверь. Все говорило за то, что Лиззи негде больше быть, как в собственной спальне, и Стокдэйл вынужден был довольствоваться малоправдоподобной версией «крепкого сна», хотя он не различил ни дыхания, ни малейшего шороха в комнате, после того как он звал Лиззи и колотил в дверь так, что и мертвый бы проснулся.

Так и не придя ни к какому выводу, он уснул и проспал до утра. Утром, до того как он вышел встретить солнечный восход, что любил делать в ясную погоду, Лиззи внизу еще не появлялась — но так бывало и раньше, и Стокдэйл не придавал этому значения. Когда он потом сел завтракать, Лиззи уже была на кухне, — повидать ее, правда, не удалось, так как доступ на кухню был для него под запретом, но ему было слышно, как она разговаривает там, наказывает что-то служанке, хлопчет возле горшков и ведер — все, как обычно, и он решил, что не стоит тратить время на пустые догадки.

Однако все эти странности порядком беспокоили молодого священника, и проповеди его, теперь часто носившие характер импровизаций, оттого не выигрывали. Он уже не раз, говоря с кафедры, путал коринфян с римлянами, а также, случалось, предлагал своей пастве для пения те гимны, которые до сих пор всегда пропускал, ибо прихожане не могли приспособить голоса к чересчур уж непривычным для них размерам и темпам. Стокдэйл твердо решил, что, как только срок его пребывания в Незер-Мойнтоне подойдет к концу, он станет действовать напрямик и сделает Лиззи предложение по всей форме, пусть даже ему после придется раскаиваться.

С такими планами на будущее он к вечеру того дня, накануне которого произошла эта загадочная история со сном, предложил Лиззи пойти погулять, выбрав время перед наступлением темноты, чтобы им можно было вернуться домой незамеченными. Она согласилась, и, пробравшись по перелазу сквозь живую изгородь, они пошли уединенной тропинкой, окаймленной кустами, что для данного случая было как нельзя более кстати. Но хотя оба старались, оживленной беседы у них не вышло. Лиззи была бледнее обычного и время от времени отворачивала лицо в сторону.

— Лиззи! — с упреком сказал Стокдэйл, когда они прошли уже порядочное расстояние, не проронив ни слова.

— Что? — спросила она.

— Лиззи, вы зевнули — вам скучно со мной!

Так он сказал — но про себя подумал, что зевок Лиззи вызван, быть может, не столько скукой и равнодушием к нему, сколько усталостью после предыдущей ночи. Лиззи извинилась и сказала, что, правда, очень устала; тут-то бы Стокдэйлу и

спросить о том, что его интересовало,— но скромность помешала ему, и он с беспокойством в душе отложил расспросы.

Пришел февраль, а с ним вместе постоянное чередование распутицы и заморозков, дождя и слякоти, восточного ветра и ветра северо-западного. Борозды на распаханых полях превратились в сплошные лужи,— вода натекла туда с более высоких мест и еще не успела впитаться в землю. Птицы ожили, и каждый вечер перед заходом солнца прилетал дрозд, пока еще один, без подруги, и, сидя на большом вязе подле самого дома миссис Ньюбери, распевал бодрую песню. Улеглись колючие ветры, размякла сухая, промерзшая земля, и на смену пришла липкая грязь и сырость, более докучная, чем холода; но она предвещала близость весны, и докука эта была терпима.

За это время Стокдэйл по крайней мере раз пять или шесть делал попытки заговорить с Лиззи и выяснить наконец их отношения, но всякий раз его удерживала мысль о странной привычке Лиззи спать в самое неурочное время и об очевидном и танстvenном ее исчезновении из дома в ту ночь, когда приходила соседка. Они по-прежнему оставались в положении плохо договорившихся между собой влюбленных,— каждый едва ли даже признавал за другим право называться его или ее избранником. Стокдэйл говорил себе, что его колебания вызваны лишь тем, что приезд постоянного священника все откладывается, а следовательно, оттягивается и срок его собственного отъезда, и потому нет нужды ускорять события и заводить с Лиззи разговоры о будущем; но возможно, что в нем вновь заговорило благоразумие, убеждая в необходимости прежде получше узнать Лиззи, а уж потом заключать с ней союз на всю жизнь. Лиззи, со своей стороны, казалось, была не прочь продолжить и развить тему, на которую молодой священник заговаривал с ней прежде, но при этом держалась до такой степени независимо, что это не дало бы потухнуть страсти и более переменчивого человека.

Вечером первого марта, зайдя к себе в спальню, когда уже смеркалось, Стокдэйл увидел, что на стуле у него лежат пальто, шляпа и брюки. Он не помнил, чтобы оставлял их здесь, подошел поближе, чтобы лучше разглядеть, насколько это было возможно в полутьме, и убедился, что вещи чужие. С минуту он стоял, недоумевая, как могли они здесь очутиться. Кроме него, мужчин в доме не было, и, однако, лежащая в его спальне мужская одежда была не его, если только он не ошибся. Нет, он не ошибся. Он позвал Марту-Сарру.

— Как это попало ко мне? — спросил он, сбросив эти нежелательные предметы на пол.

Марта объяснила, что ей дала их миссис Ньюбери, чтобы почистить, а она потом принесла их сюда, полагая, что все это принадлежит Стокдэйлу, так как других мужчин в доме нет.

— Да, разумеется, — сказал Стокдэйл. — А теперь заberi их

и отнеси своей хозяйке; скажи ей, что я нашел их у себя в комнате, но ко мне они не имеют никакого отношения.

Дверь его комнаты была открыта, и потому он услышал последовавший затем внизу разговор.

— Как это глупо получилось! — смущенно сказала миссис Ньюбери.— Послушай, Марта-Сарра, я же не просила тебя относить вещи к мистеру Стокдэйлу!

— Да я подумала, чьи же они еще, коли не его, они ведь были все в грязи,— ответила Марта смиренным тоном.

— Тебе следовало повесить их для просушки и так оставить,— сказала молодая хозяйка сердито, перекинула пальто и все прочее на руку и, быстро пройдя мимо комнаты Стокдэйла, с силой швырнула их в шкаф, стоявший в конце площадки. На том все кончилось, и в доме снова водворилась тишина.

Не было бы ничего удивительного в том, что в доме у вдовы обнаружались предметы мужской одежды, будь они в чистом виде, или измяты, или поедены молью, или слежавшиеся от долгого пребывания в сундуке, но то, что все они были забрызганы свежей грязью, крайне взволновало Стокдэйла. Молодой человек был в том состоянии трепетной влюбленности, когда и ничтожный пустяк вызывает волнение, и немудрено, что такая уже более серьезная причина вывела его из равновесия. Правда, в тот день ничего больше не произошло, но Стокдэйл насторожился, начал строить всяческие предположения и никак не мог забыть об этом случае.

Как-то утром, глянув в окно, он увидел, что миссис Ньюбери собственноручно отчищает низ длинного темного пальто, в котором он как будто узнал то самое, что красовалось тогда у него на стуле. На спине пальто было до самого пояса густо забрызгано грязью, притом грязью местного происхождения, судя по ее цвету; на ярком утреннем солнце пятна были отчетливо видны. За день или два перед тем шел дождь, и сам собой напрашивался вывод, что надевавший это пальто недавно ходил в нем по окрестным полям и дорогам. Стокдэйл открыл окно, выглянул, и миссис Ньюбери повернула голову. Лицо ее медленно залилось краской — никогда еще Лиззи не казалась молодому священнику столь привлекательной и одновременно столь непостижимой. Он ласково помахал ей рукой, сказал — «с добрым утром»; она смущенно ответила и тотчас же свернула недочищенное пальто.

Стокдэйл закрыл окно. Быть может, для всех ее поступков имелось самое простое объяснение, но он был не в силах додуматься, какое именно. И ему хотелось, чтобы Лиззи положила конец его домыслам, открыто сказав всю правду.

Но хотя в тот раз Лиззи ничего ему не объяснила, при следующей встрече она сама подняла о том разговор. Она болтала о чем-то постороннем и заметила вскользь, что это случи-

лось как раз тогда, когда она чистила старую одежду, принадлежавшую ее покойному мужу.

— Вы держите ее в порядке из уважения к его памяти? — осторожно спросил Стокдэйл.

— Да, проветриваю и чищу время от времени, — сказала Лиззи с видом самой очаровательной невинности.

— Разве мертвецы выходят из могил и бродят по грязи? — сказал священник глухо; он чувствовал, как у него проступает холодный пот от такой беззастенчивой лжи.

— Что вы сказали? — переспросила Лиззи.

— Ничего-ничего, — сказал он грустно. — Так, несколько слов, фраза, которая пригодится для моей проповеди к следующему воскресенью.

Лиззи, очевидно, не подозревала, что он разглядел предательские брызги грязи на подоле пальто, и вообразила, что он поверил, будто оно только что извлечено из сундука или комода.

Дело оборачивалось совсем уже нехорошо. Стокдэйл был так подавлен, что даже не стал оспаривать ее объяснений, не пригрозил, что отправится миссионером к погрязшим в язычестве дикарям, ни в чем не упрекнул ее. Он просто ушел к себе, как только Лиззи кончила говорить. Он продолжал жить в состоянии растерянности и постепенно становился все более печальным и замкнутым.

IV

В НОВОЛУНЬЕ

В следующий четверг погода выдалась переменчивая, сырая и хмурая, и ночь сулила принести с собой дождь и ветер. Стокдэйл с утра отправился в Нолси присутствовать на поминальной службе и по возвращении домой встретился подле лестницы с Лиззи. То ли потому, что в тот день его не покидало хорошее настроение, то ли от связанного с поездкой долгого пребывания на свежем воздухе, а может быть, и от природной склонности не помнить обид, но он вновь поддался обаянию своей прелестной хозяйки, так что забыл про случай с пальто, и, в общем, очень приятно провел вечер, не столько в непосредственном общении Лиззи, сколько все время слыша ее голос из соседней комнаты, где она разговаривала с матерью, пока та не ушла спать. Вскоре за тем отправилась к себе и миссис Ньюбери; тогда и Стокдэйл собрался подняться наверх. Прежде чем уйти, он постоял у камина и, глядя на тлеющие угли, долго думал о том и о сем, пока не заметил, что его свеча догорает — огонек ее вдруг заметался и погас. Зная, что в спальне у него есть другая свеча, спички и коробка с кремнем и всем прочим необходимым, Стокдэйл впотьмах ощупью

взобрался по лестнице. Войдя в спальню, он принялся шарить по всем углам в поисках коробки, но долго не мог ее найти. Разыскав ее наконец, Стокдэйл высек искру, и уже поджигал серу на спичке, когда ему почудился слабый шорох на площадке. Стокдэйл раздул тлеющий трут посильнее, спичка вспыхнула, и в свете голубоватого пламени он, к изумлению своему, увидел через дверь, все это время остававшуюся открытой, мужскую фигуру, тут же юркнувшую вниз по лестнице с явным намерением проскользнуть незаметно. На таинственной фигуре было то самое пальто, которое чистила тогда Лиззи, и что-то в силуэте и походке подсказало Стокдэйлу, что это не кто иной, как она сама.

Но полной уверенности у него не было и, донельзя взволнованный, он решил раскрыть тайну, действуя по-своему. Так и не зажигая свечи, он погасил спичку, вышел на площадку и на цыпочках приблизился к спальне Лиззи. Тусклый бледный квадрат света там, где находилось окно, убедил Стокдэйла, что дверь открыта и хозяйки в комнате нет. Он повернулся к лестнице и ударил кулаком о перила.

— Это была она! Она — в пальто и шляпе покойного мужа!

У Стокдэйла немного полегчало на душе, когда он понял, что по крайней мере никакого третьего лица здесь не было, но удивление его оттого не уменьшилось. Крадучись, он спустился по лестнице, затем тихонько надел сапоги, пальто и шляпу и попробовал открыть входную дверь. Она, как обычно, оказалась на запоре. Тогда он пошел к черному ходу, обнаружил, что там дверь не заперта, и вышел в сад. Ночь была теплая и безлунная; недавно шел дождь, но теперь прекратился. С деревьев и кустов свергались брызги всякий раз, как налетевший ветер раскачивал ветви. Сквозь шум ветра и падающих капель Стокдэйл различил еле слышные шаги на дороге за садом и угадал по походке, что это Лиззи.

Он пошел на звук шагов, и так как ветер дул с той стороны, куда двигалась Лиззи, Стокдэйл мог подойти совсем близко и следовать за молодой женщиной, не рискуя быть услышанным. Так шли они по улице, или, вернее, проулку, ибо не столько здесь было домов, сколько тянувшихся по обеим сторонам живых изгородей, как вдруг кто-то вышел из дверей небольшого дома. Лиззи остановилась; священник сошел на траву и тоже остановился.

— Миссис Ньюбери, это вы? — спросил неизвестный, и Стокдэйл по голосу узнал в нем одного из своих самых ревностных прихожан.

— Да, это я, — отозвалась Лиззи.

— Я готов. Вот уже с четверть часа вас ожидаю.

— Ах, Джон, дурные вести, — сказала она. — Нынче ночью нам грозит опасность.

— Неужто? Так сердце мое и чуюло.



— Да,— сказала она торопливо.— Нужно сейчас же пойти туда, где ждут остальные, и сказать, что они понадобятся только завтра в это же время. А я пойду дам сигнал люгеру.

— Ладно,— сказал Джон и скрылся за первым поворотом.

Она шла быстро, все ускоряя шаг, пока не оказалась у проезжей дороги; пересекла ее и направилась дальше по проселку к Рингсворту. Не колеблясь ни секунды, она поднялась на пригорок, миновала одиноко стоящую деревушку Холворт и спустилась в долину по другую сторону горки. В своих прогулках Стокдэйл никогда не заходил так далеко, но знал, что если Лиззи будет идти все прямо, то очутится на берегу моря, за две-три мили от Незер-Мойнтон; и так как было уже четверть двенадцатого, когда Лиззи вышла из дома, она, очевидно, рассчитывала добраться до берега к полуночи.

Вскоре она опять поднялась на небольшой пригорок, а Стокдэйл проворно обошел его слева; в уши ему ворвался глухой однообразный рокот. Пригорок был шагах в пятидесяти от края прибрежных утесов, и днем отсюда, должно быть, открывался вид на весь залив. Было довольно светло, и на фоне неба сразу обозначилась темная фигура Лиззи, когда, добравшись до вершины, она остановилась на мгновение, и затем села на землю. Стокдэйл сейчас больше всего боялся спугнуть ее, но ему все же хотелось быть к ней поближе, и, опустившись на четвереньки, он прополз немного вверх по склону и притаился.

Дул пронизывающий ветер, и лежать скорчившись на мокрой земле было не особенно приятно. Но раньше чем Стокдэйл надумал переменить положение, сзади вдруг послышались голоса. Священник не разбирался в том, что происходит, но, боясь, что Лиззи грозит опасность, хотел было уже бежать к ней и предупредить, что ее могут увидеть, однако она успела отползти в сторону и спряталась за небольшим кустом, который ухитрился как-то укорениться на этом открытом для всех ветров пригорке; фигура Лиззи как бы слилась в одно с темным силуэтом чахлого, низкорослого куста. Очевидно, Лиззи, как и Стокдэйл, услышала приближение людей. Но те прошли мимо, разговаривая громко, ничуть не остерегаясь, — голоса их перекрывали непрерывный гул плещущих волн. По всему было видно, что пришедшие не затевают ничего противозаконного и страшиться им нечего, как оно в действительности и оказалось. До Стокдэйла долетели обрывки разговора, заставившие его забыть про холод и сырость.

— А какое судно?

— Люгер, тонн в пятьдесят.

— Должно быть, из Шербура?

— Да, надо полагать.

— Но ведь хозяин-то ему не один Оулет?

— Нет. Он только пайщик в деле. Тут, кажется, еще двое участвуют: один — здешний фермер, а другой — тоже что-то в этом роде, но имен их я не знаю.

Голоса затихли в отдалении, и по мере того как люди отходили дальше к утесам, головы и плечи их казались все меньше и затем вовсе скрылись из виду.

— Этот безбожник Оулет уговорил мою милую Лиззи войти с ним в долю! — простонал священник. В эти минуты, когда и сама Лиззи и ее доброе имя подвергались опасности, любовь прямодушного молодого человека ожила с новой силой. — Так вот почему она здесь! Боже — это ее погубит!

Терзаемый тревогой, он вдруг увидел, что в том месте, где пряталась Лиззи, взметнулся огненный язык, становясь все ярче. Несколько секунд спустя, прежде чем огонек успел разрастись в настоящее пламя, Стокдэйл услышал, как Лиззи пронеслась мимо него, словно камень, пущенный из пращи, и побежала по направлению к дому. Пламя разгоралось все сильнее,

и ввысь и вширь, и стало видно, что именно горит. Лиззи подожгла ветку дрока и сунула ее в куст, под которым скрывалась; ветер раздул огонь, который теперь яростно трещал и грозил уничтожить не только ветку, но и самый куст. Священник оставался на месте какую-нибудь минуту, только пока все это разглядел, а затем поспешил вслед за Лиззи. Он намеревался догнать ее и сказать, что он ей друг, что на него она может положиться; но как он ни старался, ему никак не удавалось нагнать молодую женщину. Он мчался опрометью по открытой местности, окружавшей Холворт, чуть не вывихивая себе ноги в расщелинах и на спусках, пока наконец, добежав до прохода в изгороди, отделявшей холмистую пустошь от проезжей дороги, вынужден был остановиться, чтобы перевести дух. Ни впереди, ни позади не слышалось ни звука, из чего Стокдэйл заключил, что Лиззи, услышав, что за ней кто-то бежит, и подумав, что ее преследует акцизная стража, спряталась где-нибудь, и он пробежал мимо.

Он зашагал, теперь уже медленнее, по дороге в Незер-Мойнтон. Дойдя до дома, он убедился в правильности своих предположений, ибо калитка оказалась на щеколде, а дверь отперта, то есть, все точно так, как он оставил, уходя. Прикрыв за собой дверь, Стокдэйл стоял и ждал подле лестницы. Минут через десять послышались знакомые легкие шаги, у калитки они замерли, и Стокдэйл слышал, как тихо открылась и так же тихо закрылась калитка, как скрипнул засов на двери, и Лиззи вошла.

Стокдэйл сделал шаг вперед и сразу заговорил:

— Не пугайтесь, Лиззи. Я ждал вас.

Она вздрогнула, хотя и узнала его голос.

— Это вы, мистер Стокдэйл?

— Да,— сказал он. Теперь, когда Лиззи была дома, вне опасности и не выказывала страха, он уже не беспокоился, а сердился.— Нечего сказать, хорошими делами вы занимаетесь по ночам! Я все видел. Вырядились в мужской костюм — мне стыдно за вас!

В ответ на эти неожиданные упреки Лиззи смогла лишь с трудом пролепетать:

— На мне не вся одежда мужская...— Она прижалась к стене и говорила чуть слышно, запинаясь.— На мне только его пальто, и шляпа, и брюки. И ничего в том нет зазорного, это вещи моего мужа; я надеваю их потому, что накидка развеивается, нужно ее придерживать, и тогда руки заняты. Но на мне и платье есть, только оно засунуто в брюки. Идите, пожалуйста, наверх, мистер Стокдэйл, дайте мне пройти. Неудобно, что мы с вами разговариваем так поздно, среди ночи.

— Но я должен с вами поговорить! Вы, что же, считаете, что между нами и теперь все может быть по-прежнему?

Лиззи молчала.

— Вы контрабандистка,— сказал он печально.

— У меня только пай в деле.

— Не вижу разницы. И вы могли все это время заниматься контрабандой и скрывать это от меня?

— Я не всегда занимаюсь контрабандой. Только зимой в новолунье.

— Вероятно, потому, что лишь в такое время это и возможно. Лиззи, я потрясен.

— Я о том очень сожалею,— кротко сказала Лиззи.

— Что ж, пока еще большой беды не произошло,— сказал он уже более ласково.— Вы ведь оставите ради меня это опасное и заслуживающее порицания занятие?

— Мне надо во что бы то ни стало выгрузить эту последнюю партию бочонков,— сказала она упавшим голосом.— Я не хотела бы расставаться с вами, вы это знаете, но нельзя же из-за этого проваливать все дело. Я и сама не знаю, как мне теперь быть. Я ведь потому и держала все в тайне от вас,— боялась, что вы рассердитесь, если узнаете.

— Еще бы нет! А если бы я женился на вас, так и оставшись в неведении, вы, наверное, продолжали бы этим заниматься?

— Не знаю. Так далеко вперед я не заглядывала. Нынче ночью мне надо было сходить на берег, только чтобы предостеречь тех, кто на люгере: до нас дошло, что акцизники проведали, где намечено выгружать бочонки.

— Приятно, нечего сказать, быть замешанным в такую историю,— сказал юный пастырь уже в полном расстройстве.— Что же вы теперь думаете делать?

Понизив голос, Лиззи пересказала ему подробности дальнейшего плана действия. В следующую ночь попробуют пристать к берегу в ином месте: контрабандисты обычно заранее договаривались о трех возможных местах выгрузки, и если на судне увидели сигнал в первом из них, то есть в Рингсворте, как это произошло нынешней ночью, значит, на следующую ночь они попробуют пристать в Лалстэдской бухте; если и там будет опасно, на третью ночь попытают счастья в третьем месте, подалее к западу, за мысом.

— А если береговая охрана помешает и там? — спросил Стокдэйл. Интерес к захватывающим подробностям этой авантюры вытеснил в нем на миг огорчение по поводу той роли, которую играла в ней Лиззи.

— Тогда придется повременить, в нынешнее новолунье уже ничего не сделаешь. А может быть, они навяжут бочонки на канат, опустят в воду где-нибудь недалеко от берега и приметят место; когда выпадет случай, съездят и выловят их кошкой.

— Как это «кошкой»? Что это значит?

— А это значит — выедут в лодке и опустят кошку, то есть якорь, и будут возить им по дну, пока не подцепят канат.

Священник стоял, задумавшись; вокруг была тишина, если не считать тикания часов наверху и учащенного дыхания Лиззи, запыхавшейся отчасти от быстрой ходьбы, отчасти от волнения. В коридоре было не настолько темно, чтобы он не мог различить прижавшуюся к белой стене фигуру Лиззи в длинном пальто, брюках и широкополой шляпе, закрывавшей ее лицо.

— Все это очень дурно, Лиззи,— произнес он.— Разве вы забыли евангельское речение: «Воздай кесарево кесарю»? Ведь вам его, наверно, не раз читали еще в детстве?

— Он давно умер,— сказала она недовольно.

— Но смысл этих слов жив!

— И отец мой этим занимался, и дед, и почти все в Незер-Мойнтоне только тем и существуют; и жизнь без этого была бы такой скучной, что я бы тогда и жить не захотела.

— А я, конечно, ничто, и ради меня жить не стоит,— сказал он с горечью.— Вы не согласны бросить эти безумные затеи и жить только для меня?

— Так я об этом еще не думала!

— И вы не хотите обещать, что будете ждать меня, пока не кончится мой испытательный срок?

— Нынче я вам ответа дать еще не могу.

В раздумье, опустив глаза, она постепенно все отходила и отходила от него, вошла в соседнюю комнату и закрыла за собой дверь. Там она и оставалась в темноте, пока Стокдэйлу не надоело ждать и он не поднялся к себе наверх.

На следующий день, после всех передраг предыдущей ночи, бедняга Стокдэйл был в очень угнетенном состоянии духа. Да, Лиззи, безусловно, очаровательная молодая женщина, но трудно представить себе ее женой священника.

«Если бы я, вместо того чтобы принять духовный сан, занялся бакалейной торговлей, как мой отец! Тогда лучшей жены, чем Лиззи, мне бы и не сыскать!» — повторял он про себя, пока не сообразил, что в таком случае он не очутился бы в Незер-Мойнтоне, так далеко от родного дома, и не познакомился бы с Лиззи.

Отчуждение между ними не было полным, но все же в этот день они избегали друг друга. Только раз он случайно повстречал Лиззи в саду и сказал, взглянув на нее с укором:

— Так вы обещаете, Лиззи?

Но она не ответила. Подошел вечер. Стокдэйл был уверен, что Лиззи повторит ночную эскападу, ее несколько обиженный вид убеждал в том, что пока у нее нет ни малейшего намерения менять свои планы. Стокдэйл больше не желал никак в них участвовать, тем не менее с приближением вечера его стала одолевать тревога. Вдруг с Лиззи там приключится какая-нибудь беда? Стокдэйл понимал, что никогда не простит себе, если не окажет ей помощи, как ни претила ему мысль, что он вынужден тем самым способствовать противозаконному делу.

Как он и предполагал, она вышла из дома опять в тот же час; на этот раз она прошла мимо его двери не таясь, как если бы знала, что он ее подстерегает, и уже заранее решила не считаться с его желаниями. Он был наготове, быстро открыл дверь и очутился у черного хода почти одновременно с Лиззи.

— Значит, вы все-таки идете? — сказал он, когда оба они стояли на ступеньках крыльца; Лиззи опять была в пальто и брюках — точь-в-точь невысокого роста мужчина, только лицо до странности не вязалось с костюмом.

— Мне нельзя не пойти, — ответила она, вновь оробев от его сурового тона.

— Тогда и я пойду с вами.

— И вам понравится, я знаю! — воскликнула Лиззи уже более жизнерадостно. — Всем нравится, кто ни попробует!

— Сохрани господь, чтобы мне это нравилось! — ответил священник. — Но я почитаю своим долгом заботиться о вас.

Они открыли калитку и зашагали по дороге, идя вровень, но все же на некотором расстоянии друг от друга и почти не разговаривая. Эта ночь была менее благоприятна для контрабандистов, чем предыдущая: ветер стал тише, и небо на севере несколько очистилось.

— Сегодня светлее, — сказал Стокдэйл.

— Да, к сожалению, — ответила Лиззи. — Но это от звезд — видите, вон их там сколько выглядывает? Луна народилась только нынче в четыре часа; я думала, будут тучи. Хоть бы удалось все сделать в это новолуние, а то, если бочонки надолго оставить в воде, у вина будет затхлый привкус, покупателям оно тогда меньше нравится.

Она шла не тем путем, что накануне: как только они вышли из проулка и пересекли проезжую дорогу, она сразу свернула влево и стала подниматься на Лордс Бэрроу. К тому времени, когда они достигли Чэлдон Дауна, Стокдэйл, так и не придумав, чем переубедить Лиззи, решил пока отложить уговоры; сейчас они все равно не подействуют: Лиззи слишком поглощена происходящим; а вот когда опасная авантюра будет завершена, он постарается удержать Лиззи от дальнейшей деятельности подобного рода. Раза два ему пришлось в голову, что их могут накрыть акцизники, и тогда он окажется в положении еще более щекотливом, чем Лиззи, ибо нелегко будет объяснить подлинную причину его присутствия здесь; но опасения эти отступали на второй план перед желанием быть подле Лиззи.

Они спустились в овраг, начинавшийся тотчас за деревней Чэлдон, расположенный в двух милях от Незер-Мойнтонна, на пути к тому участку берега, куда они направлялись. На этот раз молчание нарушила Лиззи.

— Мне надо здесь подождать, пока придут грузчики. Их, должно быть, еще нет. Нынче ночью мы пойдём к бухте Лалстэд, я вам уже говорила, а это на две мили дальше Рингсворта.

Но оказалось, что грузчики уже пришли, ибо над ровной линией склона тут же приподнялось десятка три голов, а затем и сами обладатели их спустились вниз, выбравшись из-за кустов, за которыми лежали. Когда требовалось перетаскивать бочонки из лодки в потайные убежища на суше, контрабандисты нанимали себе помощников. То были молодые парни из Незер-Мойнтон, Чэлдона и окрестностей, мирные, безобидные люди, бравшиеся переправлять контрабанду, как взяли бы за любую хорошо оплачиваемую работу.

По знаку Лиззи все они столпились вокруг нее.

— Пожалуй, я вам сейчас и отдам,— сказала она и вручила всем по небольшому свертку: в каждом свертке было по шести шиллингов — плата за ночные услуги; грузчики получали ее вперед независимо от исхода дела. Кроме того, они, если удавалось благополучно доставить товар на место, выступали в качестве торговых агентов.

Раздав деньги, Лиззи сказала:

— Место прежнее, в бухте Лалстэд.— По вполне понятным причинам грузчикам до последней минуты не говорили, где будет происходить выгрузка.— Оулет вас там встретит,— добавила Лиззи.— А я пойду за вами, прослежу, чтобы нас не высмотрели.

Грузчики отправились в путь; Стокдэйл и миссис Ньюбери шли за ними, отставая шагов на двадцать.

— Чем занимаются эти люди днем? — спросил Стокдэйл.

— Добрая половина — фермеры. Остальные — кто кирпичник, кто плотник, есть сапожники, есть кровельщики. Я их всех очень хорошо знаю. Девятеро — методисты, ваши прихожане.

— Я-то уж тут ни при чем.

— Ну конечно. Я это только так помянула. Остальные больше придерживаются церкви, потому что здешний пастор закупает у них все вино, какое ему надобно. Нельзя же портить отношения с покупателем.

— А почему ваш выбор пал именно на них?

— Мы берем тех, кто умеет держать язык за зубами, кто посильнее и устойчивее на ногах и способен, не уставая, таскать груз на большое расстояние.

Слушая ее подробные рассказы, Стокдэйл вздыхал, ибо такая осведомленность Лиззи обо всем, связанном с контрабандной торговлей, показывала, до какой степени она в этом деле замешана. И, однако, сейчас он испытывал к Лиззи нежность большую, чем в течение дня, возможно, потому, что помимо своей воли восхищался ее уверенностью и спокойным бесстрашием.

— Обопритесь о мою руку, Лиззи,— сказал он негромко.

— Спасибо, мне это не нужно,— ответила она.— И, кроме того, наши отношения теперь, может быть, уже не будут такими, как прежде.

— Это зависит от вас,— сказал он, и они продолжали путь.

Наемные грузчики шагали вверх по Чэлдон Дауну так уверенно, как если б то было не ночью, а белым днем; они обошли стороной проезжую дорогу и оставили деревню Ист-Чэлдон слева, для того чтобы, поднявшись по самому пустынному склону, где вовсе не было дорог, выйти на вершину неподалеку от Раунд-Паунда, давно заброшенного земляного карьера. После часа быстрой ходьбы они услышали шум моря и оказались всего в нескольких сотнях шагов от бухты Лалстэд. Здесь грузчики подождали, пока Лиззи и Стокдэйл их нагонят, и все вместе подошли к самому обрыву. Один из грузчиков извлек откуда-то железный кол, крепко вбил его в землю в двух шагах от обрыва и привязал к нему веревку, которую нес на себе, обмотав вокруг туловища. Затем контрабандисты начали спускаться, то осторожно ступая, то скользя вниз по склону, и все при этом держались за веревку.

— Надеюсь, Лиззи, вы не будете спускаться? — спросил Стокдэйл с беспокойством.

— Нет, я останусь здесь караулить,— ответила она.— Внизу их поджидает Оулет.

Все, кто спустился на берег, хранили теперь полное молчание; затем до слуха стоявшей наверху пары донесся шум погружаемых в воду тяжелых весел и плеск волн о нос лодки. В следующее мгновение киль лодки мягко коснулся прибрежной гальки, и Стокдэйл услышал топот ног — все тридцать шесть грузчиков бежали по гальке к месту причала.

Потом раздался такой плеск, словно нырнул в воду целый утиный выводок — очевидно, контрабандисты не боялись замочить ноги или даже очутиться по пояс в воде; но сверху нельзя было разглядеть, что там происходит, а через несколько минут снова заскрипела под шагами галька. Удерживающий веревку железный кол, на который Стокдэйл положил было руку, начал слегка клониться набок,— грузчики взбирались по склону, держась за веревку, и слышно было, как с них стекает вода. Когда они начали один за другим показываться наверху, стало видно, что каждый тащит на себе пару бочонков: один за спиной, второй на груди. Бочонки были связаны веревкой, закрепленной под обручами и перекинутой через плечо грузчика. Те, кто посильнее, несли еще и третий бочонок, примостив его за спиной, но большинство тащило только по два, да и то было достаточно тяжелым грузом: человеку, отшагавшему с такой ношей мили четыре-пять, начинало казаться, что ему всю грудь расплющило.

— Где мистер Оулет? — обратилась Лиззи к одному из грузчиков.

— Он там ждет, пока мы все выберемся,— ответил тот.— А вернется другой дорогой.

Поднявшиеся первыми, не дожидаясь остальных, пустились в обратный путь; когда вскарабкался последний, Лиззи подтянула веревку, намотала ее витками на руку, вывернула кол из земли и хотела уже идти следом за всеми.

— Вы что-то уж очень беспокоитесь об Оулете,— сказал священник.

— Господи, что за человек! — воскликнула Лиззи.— Ведь он же мне родня!

— Да, правда. Ну, хорошеньких дел вы натворили сегодня ночью,— сказал Стокдэйл угрюмо.— А все-таки дайте я понесу вам кол и веревку.

— Слава богу, удалось благополучно переправить товар на сушу,— сказала Лиззи.

Стокдэйл покачал головой и, приняв из рук Лиззи кол, зашагал рядом с ней по направлению к холмам, и ропот моря мало-помалу затих вдали.

— Об этих-то делах вы и разговаривали тогда с Оулетом? — спросил священник.

— Да. Других дел у нас с ним нету.

— Странно все-таки по такому поводу входить в компанию с молодым человеком.

— Это повелось еще от наших отцов. Они ведь были деверями.

Стокдэйл не мог закрывать глаза на то, что при сходстве вкусов и целей у Лиззи и Оулета и при необходимости для них разделять опасность всякий раз, как приходила новая партия контрабанды, было бы только естественно, если бы Лиззи приняла от своего компаньона предложение руки и сердца. Соображение это не смягчило Стокдэйла, напротив, оно еще более укрепило в нем решимость не допускать этого брака, вырвать Лиззи из компании ночных авантюристов и добиться, чтобы она вела более приличный для женщины образ жизни, притом в соответственной обстановке — например, в гостиной священника в каком-нибудь отдаленном графстве, как можно дальше от побережья.

Они держались на довольно близком расстоянии от вереницы грузчиков, и когда те вышли на дорогу, ведущую к деревне, Стокдэйл увидел, что они разбились на две неравные группы, и каждая направилась в свою сторону. Меньшая двинулась к церкви, и когда Лиззи и Стокдэйл подходили к дому, контрабандисты уже перелезли через церковную ограду и неслышно ступали по кладбищенской траве.

— Оулет, как видно, опять решил часть бочонков спрятать на колокольне,— заметила Лиззи.— Помните, я водила вас туда в первый вечер, как вы приехали?

— Как не помнить,— сказал Стокдэйл.— Не удивительно, что у вас было разрешение продырявливать бочонки — они, очевидно, принадлежали Оулету?

— Нет, то были мои собственные, я сама себе дала разрешение. Их тогда на другой же день увезли в телеге с навозом — далеко, за несколько миль отсюда, и сбыли очень выгодно.

В эту минуту из-за живой изгороди против дома Лиззи начали вдруг один за другим выпрыгивать контрабандисты — те, что составляли более численную группу; первый — у него за плечами не было ноши — выступил вперед.

— Миссис Ньюбери, это вы? — произнес он торопливо.

— Да, Джим, это я. Что случилось?

— Вот какое дело, Лиззи: в Бэджерс-Клампе нам сегодня не удастся ничего пристроить,— сказал Джим Оулет.— За местом наблюдают. Придется вытащить яблоню в саду, если только успеем. Под лестницу на колокольне уж больше ничего не засунешь, а в навозе у меня во дворе и так спрятано больше, чем следовало бы.

— Хорошо, только поживее,— сказала Лиззи.— Чем я могу помочь?

— Нет, Лиззи, не хлопочите. А, это наш проповедник. Ну, вам обоим, раз вы делу пособить не можете, лучше зайти в дом, чтобы вас и не видели.

В голосе его слышалась лишь озабоченность контрабандиста, а не ревность влюбленного. Люди, бывшие с ним, тем временем уже почти все выбрались из-за ограды, но когда прыгал последний, веревка, соединявшая бочонки, на беду, соскользнула, и оба бочонка покатались по дороге; от удара один из них треснул.

— Ах, чтоб тебе! — вскрикнул Оулет и кинулся к дороге.

— Такой бочонок стоит, наверное, очень недешево? — осведомился Стокдэйл.

— Да нет, нам он обошелся в две с половиной гинеи. Дело не в убытках — запах, вот что плохо! — взволнованно воскликнула Лиззи.— Коньяк, пока его не разбавили водой, ужас до чего крепкий и страшно сильно пахнет, если его вот так пролить на землю. Только бы он успел выдохнуться, прежде чем Латимер поедет по дороге!

С помощью других контрабандистов Оулет подобрал лопнувший бочонок, и затем они принялись скрести и топтать землю, чтобы насколько возможно уничтожить следы разлитого коньяка; затем все вошли через калитку в яблоневый сад Оулета, правой своей стороной примыкавший к саду Лиззи. Стокдэйл не захотел к ним присоединиться, так как контрабандисты хотя и молчали, но посматривали на него с недоумением. Лиззи отошла в конец сада и там стояла, заглядывая поверх ограды в сад Оулета,— можно было смутно различить, как суетятся там люди, пряча бочонки. Прodelано это было и бесшумно

и в темноте, а затем все ушли кто куда; те, что доставили партию бочонков на колокольню, разошлись по домам еще раньше.

Лиззи вернулась к калитке, у которой все еще стоял погруженный в раздумье Стокдэйл.

— Все сделано, я иду домой,— мягко сказала Лиззи.— Я оставляю для вас дверь отворенной.

— Нет, не беспокойтесь,— ответил Стокдэйл.— Я тоже иду.

Но ни он, ни она не сделали еще и шага, как до слуха их долетел приглушенный стук копыт, доносившийся, казалось, оттуда, где проселок соединялся с большой дорогой.

— Малость опоздали! — торжествующе воскликнула Лиззи.

— Кто?

— Латимер со своим помощником — конная охрана. Зайдем-ка лучше в дом.

Они вошли в дом, и Лиззи закрыла дверь на засов.

— Пожалуйста, мистер Стокдэйл, не зажигайте света.

— Я и не собирался.

— А я думала, вы, может быть, держите сторону короля,— произнесла Лиззи с еле ощутимым оттенком сарказма.

— Да, я держу его сторону,— сказал Стокдэйл.— Но я люблю вас, Лиззи Ньюбери, вы это отлично знаете, и я хочу, чтобы вы знали также, если вам доселе то не было известно, что последнее время совесть моя сильно из-за вас страдает.

— Да, да, я знаю,— сказала она поспешно.— Только не понимая почему. Ах, мистер Стокдэйл, я вас не стою!

Конский топот как будто затих; Стокдэйл и Лиззи еще с минуту прислушивались, потом простились на ночь, едва соприкоснув пальцы в холодном рукопожатии, словно чужие. Они уже поднялись по лестнице, и каждый направился в свою комнату, как вдруг опять отчетливо послышался стук подков уже у самого дома.

Лиззи повернулась к окошечку на лестнице, чуть приоткрыла его и прильнула лицом к щели.

— Это Латимер,— шепнула она.— Всегда разъезжает на белой лошади. Уж, казалось бы, самая неподходящая масть!

Стокдэйл заглянул в щель и увидел белого коня, шагавшего мимо дома. Но акцизники не отъехали и десятка шагов, как Латимер придержал поводья и что-то сказал своему спутнику — ни Стокдэйл, ни Лиззи слов разобрать не смогли. Вскоре, однако, стало и так ясно, о чем шла речь, ибо второй всадник тоже остановился, и, круто повернув коней, оба они осторожно двинулись в обратном направлении. Вновь поравнявшись с садом миссис Ньюбери, Латимер спешился,

и тот, кто ехал рядом с ним на темной лошади, последовал его примеру.

Лиззи и Стокдэйл, стараясь как можно лучше все слышать и разглядеть сквозь щель приоткрытой рамы, естественно, сблизили головы; и случилось так, что щеки их соприкоснулись. Оба продолжали стоять, как будто и не заметив этого любопытного явления, и постепенно щеки, вместо того чтобы отдалиться, еще теснее прижались одна к другой.

Слышно было, как акцизники принохиваются, словно гончие, шумно втягивая воздух; они медленно шли по дороге, пока не добрались до места, где расклепался бочонок. Тут они остановились как вкопанные.

— Ага, вот где здорово пахнет! — сказал подручный Латимера. — Постучать в дверь, что ли?

— Нет, не стоит, — сказал Латимер. — Может, это только приманка, чтобы сбить нас со следа. Не станут они расплескивать вино там, где его прячут. Я уж видал такие уловки.

— Все ж таки хоть сколько-нибудь бочонков здесь пронесли.

— Да, пожалуй, — проговорил Латимер, раздумывая. — Если только все это не проделано для того, чтобы сбить нас с толку. Сдается мне, сейчас надо ехать домой и никому ни слова, а рано утром явлюсь сюда опять, но уже не одни, а с подмогой. Где-то здесь у них склад, это я доподлинно знаю, но что поделаешь в такой тьме? Сейчас проедемся по деревне, проверим, все ли спят, и если везде тихо, мы так и сделаем, как я сказал.

Стоявшие у окна слышали, как всадники не спеша проехали всю деревенскую улицу, которая в конце заворачивала и выходила на проезжую дорогу, — туда-то акцизники и направились, и топот коней постепенно смолк в отдалении.

— Что же теперь делать? — спросил Стокдэйл, отходя от окна.

Лиззи поняла, что он имеет в виду обыск, который акцизники намеревались произвести в деревне, и что сказал он это для того, чтобы отвлечь ее внимание от мимолетной нежной сцены возле окна, — сам он, видно, предпочитал думать, что это было только в мечтах, а не на самом деле.

— Да ничего не надо делать, — ответила Лиззи, как можно спокойнее, стараясь скрыть разочарование, вызванное его сухим тоном. — Такие переполюхи у нас не в диковину. Вы бы тоже не боялись, если бы знали, до чего эти акцизники глупы. Только подумать: разъезжают верхом по всей деревне! Если поднимать такой шум, так уж конечно никого не увидишь! А сойти с лошадей боятся — чего доброго, наши парни схватят их обоих да привяжут к воротам, как уже бывало. Спокойной ночи, мистер Стокдэйл.

Она закрыла окно и ушла к себе в комнату и там уронила слезу, но не оттого, что ее беспокоила бдительность акцизников.

Стокдэйла так разволновали ночные события, а также возникший в его душе конфликт между совестью и любовью, что он не заснул и даже не задремал и весь остаток ночи бодрствовал, словно днем. Как только забрезжил серый рассвет и в комнате стали различимы наиболее светлые предметы, Стокдэйл встал, оделся и вышел через сад на дорогу.

Деревня уже пробудилась. Кто-то из контрабандистов слышал ночью знакомый топот лошади Латимера, и они уже рассказали об этом остальным грузчикам и Оулету. Беспокоились они только за те бочонки, которые были спрятаны на колокольне, и после краткого совещания на углу возле мельницы решили, что надо сейчас же, пока еще не совсем рассвело, извлечь их оттуда и спрятать в гуще двойного ряда кустов, ограждавших соседнее поле. Однако контрабандисты еще не успели ничего привести в исполнение, как с дороги послышался топот шагов.

— А, черт бы их побрал — это они, тут как тут, — сказал Оулет. Он уже пустил воду, и мельница работала. Сам он, весь в муке, стоял подле дверей, всем своим видом показывая, что его внимание целиком поглощено тем, что происходит внутри подрагивающих стен мельницы.

Те, с кем он только что совещался, разошлись и занялись каждый своим делом, и к тому времени, когда акцизники, во главе целого отряда нанятых помощников, приблизились к перекрестку, где стояли дом миссис Ньюбери и мельница Оулета, деревня приняла свой всегдашний утренний деловой вид.

— Так вот, — обратился Латимер к своим помощникам, их было тринадцать человек, — одно я знаю наверняка: бочонки запрятаны где-то в деревне. У нас впереди целый день, — неужели ж мы их не сыщем и не доставим еще засветло в Бадмаут в таможду? Начнем с дровяных сараев, потом обшарим дымоходы, потом стога сена и конюшни, все по порядку, чтобы ничего не пропустить. Помните — полагаться нам приходится только на собственный нюх, так пусть уж ваши носы сегодня поработают в полную силу.

И поиски начались. Оулет и Лиззи наблюдали за ними, оба с видом полнейшей невозмутимости: Оулет из окна мельницы, а Лиззи — стоя в дверях своего дома. По улице проехал фермер, один из тех, кто имел пай в деле: одним глазом он поглядывал на свои поля, а другим — на Латимера и его подручных, готовый, в случае если к нему обратятся с расспросами, запутать след. Стокдэйл, хотя и не повинный ни в какой контрабанде, беспокоился больше самых заядлых контрабандистов.

С тяжелым сердцем сел он в тот день за свои книги и то и дело вставал, подходил к двери и задавал Лиззи вопрос за

вопросом, допытываясь, какие ждут ее последствия, если бочонки будут обнаружены.

— Последствия будут обыкновенные,— сказала она спокойно.— Я понесу убытки, только и всего. Ни в доме, ни в саду у меня бочонков не запрятано, значит, меня не тронут.

— Но ведь часть их зарыта у вас в яблоневом саду?

— Яблоневый сад я сдаю в аренду Оулету, а у него арендуют другие. Не так-то просто будет доказать, кто хозяин бочонков, если их там найдут.

Никогда еще и нигде не происходило столь грандиозного высматривания и вынюхивания, как в тот день в Незер-Мойнтоне и его окрестностях. Все это проделывалось весьма тщательно в строгой последовательности и, главным образом, на четвереньках. На каждый час дня у акцизников имелась особая программа. От рассвета до завтрака они использовали свое обоняние, так сказать, для прямого поиска, проверяя лишь те места, где бочонки могли находиться в данную минуту, припрятанные там на время до следующей ночи, когда их переправят дальше. В числе обследованных и обнюханных мест были: дупла деревьев, картофельные ямы, дровяные сараи, спальни, чердаки, где хранились запасы яблок, посудные шкафы, футляры столовых часов, дымоходы, кадки с дождевой водой, свинарники, сточные трубы, живые изгороди, вязанки хвороста, стога сена, печи и медные котлы.

После завтрака акцизники с новым рвением принялись за поиски, взяв иной курс, а именно — занявшись обследованием тех предметов одежды, которые могли соприкоснуться с бочонками во время переправы их на берег и, стало быть, оказаться в пятнах от вина, просочившегося сквозь клепку. Поэтому теперь акцизники обнюхивали холщовые плащи, старые рубашки и жилетки, пальто и шляпы, штаны и гамашы, женские шали и платья, фартуки кузнецов и сапожников, наколенники и садовые перчатки, брезенты, дорожные пыльники и тряпье огородных пугал.

А когда миновало время обеда, розыски были перенесены в те места, куда в момент тревоги могли выплеснуть контрабандное вино, то есть в конские водопои, конюшенные стоки, кучи золы и кучи навоза, канавы с водой, выгребные ямы, стоки во дворах, мусор и помойные ямы на задворках.

И все же неутомимые слуги закона не обнаружили ничего, кроме замеченного спервоначала и еще не выдохшегося предательского запаха на дороге против дома миссис Лиззи Ньюбери.

— Вот что я вам скажу, братцы,— заявил своим помощникам Латимер, когда пробило три часа.— Придется все переделать сызнова. Я их разыщу, эти бочонки!

Помощники, нанятые лишь на день, глянули на свои руки и колени, грязные от ползанья на четвереньках, и потерли себе носы, как бы желая тем выразить, что с них взять больше нечего, ибо в ноздри им вошло столько зловония, что носы

стали не более чувствительны к запахам, чем дымоход. Однако после минутного колебания помощники согласились возобновить поиски — все, кроме троих, которым обоняние окончательно изменило, не выдержав чрезмерной нагрузки.

К этому времени во всей деревне нельзя было бы найти ни единого представителя мужского пола. Оулета не оказалось на мельнице, фермеров в полях, пастора в его саду, кузнец ушел из кузницы, и мастерская колесника пустовала.

— Куда же, черт побери, все они делись? — сказал, оглядываясь по сторонам, Латимер, до сознания которого это только что дошло.— Ну, я же им пропишу! Почему никто не идет мне на подмогу? Во всей деревне никого, кроме методистского проповедника, а от него проку, что от старой бабы. Именем короля требую, чтобы жители оказали мне содействие в поисках!

— Сперва надо отыскать жителей, потом уж требовать,— сказал помощник Латимера.

— Ну, ладно, без них еще лучше,— сказал Латимер, у которого настроение менялось с необыкновенной быстротой.— Ишь притаились все и носа не кажут — очень это подозрительно, я им это припомню! Теперь давайте-ка заглянем в сад Оулета, посмотрим, может, там что и сыщется.

Стокдэйл стоял, опершись о калитку, слышал эти переговоры и порядком встревожился, подумав, что со стороны жителей неблагоприятно так скрыться из виду. Он сам, как и акцизники, последние полчаса ломал голову над тем, куда подевался весь народ. Кое-кто из фермеров в силу необходимости действительно должен был выехать в поле, далеко от деревни, но тем, кто не занимался земледелием, надлежало находиться всем на своих местах. Тем не менее ремесленники лишь показали у себя в мастерских и на нынешний день, очевидно, уже закончили работу. Стокдэйл подошел к Лиззи, которая сидела у окна и шила.

— Лиззи, где же все они?

Лиззи рассмеялась.

— Там, куда они всегда забираются, когда приходится туго.— Она подняла глаза к небу.— Там, наверху,— сказала она.

Стокдэйл также посмотрел вверх.

— Как! На крыше колокольни? — спросил он, проследив за направлением взгляда Лиззи.

— Да.

— Боюсь, им скоро придется сойти оттуда,— мрачно произнес он.— Я слышал, что говорили акцизные чиновники: они хотят заново обыскать весь сад, а потом и каждый закоулок в церкви.

Впервые за все время Лиззи забеспокоилась.

— Мистер Стокдэйл, прошу вас, пойдите скажите это тем, что на крыше. Нужно их предупредить.— Заметив, что совесть

в молодом пасторе бушует, словно кипятилок в котле, она тут же добавила: — Нет, не надо, я схожу сама.

Она вошла в сад и перелезла через кладбищенскую ограду: акцизники в это время уже направлялись к саду Оулета. Что было делать Стокдэйлу, как не последовать за молодой женщиной? Он нагнал ее у колокольни, и они вошли вместе.

Колокольня в Незер-Мойнтоне, как и во многих других деревнях, представляла собой не отдельную башню, а просто надстройку над зданием церкви, и проникнуть наверх к колоколам можно было только с церковных хоров через квадратный люк в полу звонарни, для чего пользовались приставной лесенкой, — а дальше, в самой звонарне, была уже постоянная лестница, которая верхним концом выходила через дыру на крышу. Когда Стокдэйл и Лиззи поднялись на хоры и взглянули вверх, они не увидели ничего, кроме крышки люка с пятью отверстиями для веревок от колоколов. Лесенки не было.

— Дальше подняться нельзя, — сказал Стокдэйл.

— Можно, — ответила Лиззи. — Вон видите, сквозь щель в люке уже смотрит сюда чей-то глаз.

В то же мгновение люк открылся, и на белой штукатурке стены четко вырисовался переплет лесенки, — ее спускали вниз. Когда она опустилась до пола, Лиззи подтянула ее к себе, установила на месте и сказала:

— Если желаете подняться наверх, то лезьте первый, а я за вами.

Молодой человек поднялся по лесенке и очутился среди освященных по церковному обряду колоколов — в первый раз в жизни, ибо не только сам он, но и несколько поколений его предков были методистами. Он с чувством какой-то неловкости посмотрел на колокола, затем обернулся, ища глазами Лиззи. Возле колоколов стоял Оулет и придерживал за край лесенку.

— Ну! Неужто и вы с нами?

— Похоже, что так, — удрученно сказал Стокдэйл.

— Нет, — вмешалась Лиззи, расслышав снизу их слова. — Он ни за, ни против нас. Но он нас не выдаст.

Через минуту она уже стояла рядом со Стокдэйлом. Дальше подниматься было нетрудно, вскоре покрытые пылью перекладки с висевшими на них колоколами остались внизу, и сквозь дыру, в которую просвечивало бледное небо, Стокдэйл и Лиззи выбрались наружу. Оулет задержался возле люка, чтобы втащить обратно приставную лесенку.

— Нагните головы ниже, — послышался голос, едва они ступили на крышу. Стокдэйл увидел здесь всех, кого акцизники тщетно разыскивали по деревне. Почти все лежали плашмя, и лишь немногие, встав на четвереньки, смотрели в амбразуры парапета. Стокдэйл сделал то же самое и увидел деревню, раскинувшуюся внизу, словно географическая карта, по которой ползали акцизники, в ракурсе похожие на крабов: круглая шляпа на голове у каждого из них казалась кружком, помещен-



ным в центре фигуры. Некоторые из находившихся на крыше контрабандистов повернули головы, когда среди них вдруг возникла особа молодого проповедника.

— Как, и вы тут, мистер Стокдэйл? — спросил удивленно Матт Грэй.

— А лучше бы его тут не было, — сказал Джим Кларк. — Если наш пастор увидит, что на его колокольню забрался методистский проповедник, нам не поздоровится — терпеть он не может тех, кто ходит молиться в часовню. Пожалуй, больше ни одного бочонка у нас не купит. А он покупатель хороший, лучше и не сыщешь.

— А где сейчас пастор? — спросила Лиззи.

— У себя дома, понятно, сидит запершись, чтобы не видеть того, что творится в деревне. Всем порядочным людям подобает сейчас дома сидеть, и этому молодому человеку тоже.

— Он принес нам новости,— сказала Лиззи.— Оказывается, решено обыскать весь сад, а потом церковь. Что нам делать, если найдут?

— Вот мы как раз об этом сейчас и говорили,— отозвался Оулет.— И кое-что придумали. Э! Черт возьми...

Это восклицание было вызвано тем, что несколько акцизников, войдя в сад и принявшись ползать там взад и вперед, вдруг остановились посреди сада, где росла тонкая яблонька, поменьше остальных. К этим акцизникам подошли другие; сбившись в кучу, все они низко нагнулись к земле.

— Ах! Мои бочонки! — слабым голосом произнесла Лиззи, заглянув в амбразуру.

— Добралась-таки до них,— сказал Оулет.

Происходившее в саду до такой степени заинтересовало контрабандистов, что теперь уже все, кто был на крыше, прильнули к парапету и смотрели вниз. Но внезапно их внимание было отвлечено раздавшимся у колокольни чьим-то громким возгласом. Акцизники, сгрудившиеся вокруг яблоньки, вскочили на ноги и побежали к кладбищенской ограде. А те из акцизников, которые успели еще до этого незаметно для контрабандистов войти в церковь, закричали вдруг во весь голос:

— Вот они, вот они, наконец-то мы их нашли!

На крыше царила немая тишина, ибо присутствующим было неясно, о бочонках или о них самих идет речь, но, осторожно заглянув за край парапета, они получили возможность убедиться, что подразумевались именно бочонки; и вскоре обреченные предметы один за другим были извлечены из тайного убежища под лестницей и вынесены на середину кладбища.

— Сейчас их сложат на могиле Хинтона и пойдут еще искать,— произнесла Лиззи безнадежным тоном.

И в самом деле акцизники уже складывали бочонки на широкую могильную плиту неподалеку от церкви; водрузив на нее все найденные на колокольне бочонки, они оставили возле охраны из двух человек, а прочие снова двинулись в сад.

Последующие вражеские действия возбудили в контрабандистах болезненно острый интерес. На колокольне было запрятано только тридцать бочонков, но в саду их было еще семьдесят — все, что удалось доставить на берег; остальное привязали к канату и опустили в море до очередной ночной вылазки. Теперь, вернувшись в сад, акцизники вели себя так, как будто не сомневались, что вся контрабанда схоронена именно здесь, и порешили во что бы то ни стало разыскать ее до наступления ночи. Они рассыпались по всему участку и, передвигаясь, как и прежде, на четвереньках, обошли вокруг каждого дерева. Молодая яблонька посреди сада опять привлекла их внимание, и скоро все снова окружили ее — из чего явствовало, что вторичные поиски навели их на те же подозрения, что и поиски первоначальные.

Еще несколько минут они разглядывали землю под яблонь-

ней, а затем один из акцизников встал, побежал к боковому церковному входу, которым уже не пользовались и где в сених хранились разные хозяйственные орудия, и вернулся, неся принадлежащие сторожу кирку и лопату; их тут же пустили в дело.

— Бочонки в самом деле зарыты там? — спросил священник.

Трава под яблонькой казалась такой свежей и непрямтой, даже трудно было поверить, что тут копали. Контрабандисты были слишком поглощены происходящим и ничего ему не ответили. Вскоре, к своему огорчению, они увидели, что с каждой стороны яблоньки стало по несколько человек; нагнувшись и опустив руки к земле, они выдернули деревцо целиком, вместе с дерном вокруг корней. Яблонька, как это стало теперь видно, росла в большом плоском ящике, у которого со всех сторон имелись ручки, чтобы можно было его поднимать. Под яблонькой обнаружилась глубокая яма, и один из акцизников заглянул в нее.

— Ну, стало быть, все, — бесстрастно сказал Оулет. — Теперь слезайте отсюда, пока вас не заметили, и готовьте дальше все, что надо. Я, пожалуй, досижу здесь дотемна, а то меня заберут по подозрению, ведь спрятано-то было на моем участке. Как только сядет солнце, я буду с вами.

— А я? — спросила Лиззи.

— А вы, Лиззи, сделайте милость, позаботьтесь о шпешках и болтах. А потом возвращайтесь домой — и больше вас ничто не касается. Остальное доделают ребята.

Снова спустили лесенку, и все, кроме Оулета, сошли с колокольни, прокрались поодиночке вдоль задней стены церкви и исчезли: каждый отправился выполнять данное ему поручение. Лиззи смело прошла по улице, а за ней, почти следом, и Стокдэйл.

— Вы идете домой, миссис Ньюбери? — спросил он.

Это официальное «миссис Ньюбери» показало ей, что отчуждение между ними еще усилилось.

— Нет, не домой, — сказала она. — Мне нужно сперва кое-что сделать. Чай вам подаст Марта-Сарра.

— Я не о том беспокоюсь, — ответил Стокдэйл. — Какие еще могут быть у вас дела в этой греховной затее?

— Да так, мелочь.

— Что же именно? Я пойду с вами.

— Нет, я пойду одна. Пожалуйста, идите домой. Я вернусь не позже чем через час.

— Лиззи, вам ничто не грозит? — спросил молодой человек, в душе которого вновь шевельнулась нежность.

— Ничего мне не грозит — ничего такого, о чем стоило бы говорить, — ответила она и пошла в направлении к Уормел-Кроссу.

Стокдэйл отворил калитку и остановился, глядя на происходящее в яблоневои саду. Акцизники все еще трудились там, и

он, не устояв против соблазна, вошел в сад и стал наблюдать за их манипуляциями. Подойдя ближе, он увидел потайной погреб, о существовании которого не подозревал,— погреб был из бревен, выложенных квадратом, а сверху прикрыт слоем земли толщиной в фут и дерном.

Акцизники взглянули на открытое, совсем еще юное лицо Стокдэйла и, решив, очевидно, что он вне подозрений, продолжали свою работу. Вытащив все бочонки, они принялись срыывать дерн, растаскивать бревна и разрушать стены погреба, пока он весь не развалился и не утратил какую бы то ни было форму; возле, корнями наружу, лежала яблонька. Но яму, в свое время хранившую столь большие запасы контрабандных товаров, так и не засыпали, ни в тот раз, ни позже, и на этом месте и по сей день осталось заметное углубление.

VII

ХОЖДЕНИЕ К УОРМЕЛ-КРОССУ И ТО, ЧТО ПРОИЗОШЛО ПОСЛЕ

Обнаруженную контрабанду надо было еще до вечера переправить в Бадмаут, так что теперь акцизникам в первую очередь требовалось раздобыть лошадей и повозки, и с этой целью они обошли всю деревню. Латимер сновал повсюду с куском мела в руке и на каждой попадавшейся ему на глаза телеге и упряжи ставил казенную метку в виде широкой стрелы, да так ретиво, как будто готов был переметить даже ограды и дороги. Владелец помеченной таким образом повозки или упряжи обязан был предоставить ее в распоряжение властей. Стокдэйл, вдоволь насмотревшись на все это, пошел восвояси, приунывший и подавленный. Лиззи уже вернулась, пройдя через кухонную дверь, но еще не успела снять капор. Вид у нее был усталый, а настроение не лучше, чем у Стокдэйла. Разговаривать им было не о чем, и проповедник ушел к себе, надеясь отвлечься чтением; но из этого ничего не получилось, и он позвонил в колокольчик, чтобы ему принесли чаю.

Лиззи сама внесла поднос, ибо служанка еще утром убежала в деревню; развернувшиеся там события так ее взбудоражили, что она забыла о собственных обязанностях. Но не успели загрустившие влюбленные обменяться хотя бы словом, как появилась Марта, вся пылая от волнения.

— Ох, мистер Стокдэйл и миссис Ньюбери! Что там делается! Акцизники ни одной исправной телеги найти не могут. Взяли у Томаса Баллэма, и у Уильяма Роджера, и у Стивена Спрэка, выкатили на дорогу, а колеса-то раз! — и свалились, и телеги набок! Тут и увидели, что ни в одном колесе нету чеки. Тогда взялись за фургон Самуэля Шейна, а в нем все болты

повыпадали. Тогда забрали тележку у молочника, а в ней тоже ни одного шпенька! Теперь пошли в кузницу делать новые шпеньки, а кузнеца-то нигде и нету!

Стокдэйл взглянул на Лиззи; она чуть-чуть покраснела и вышла из комнаты, а следом за ней и Марта. Обе они были еще в коридоре, как вдруг раздался стук у входа, и Стокдэйл услышал голос Латимера, тот обращался к Лиззи.

— Миссис Ньюбери, скажите, бога ради: кузнец тут не проходил? Только бы нам его найти — хоть за волосы, да притащим к наковальне, где ему быть полагается!

— Ну, он же известный лентяй,— кокетливо сказала Лиззи.— А зачем он вам понадобился, мистер Латимер?

— Да ведь как же! Во всей деревне не найдешь лошади, подкованной на все четыре ноги! У иных три подковы, а у иных и всего-то две! На телегах колеса без чеки, у фургона ступицы без втулок, и ни у кого ни единой исправной сбруи — эдак мы дотемна отсюда не выберемся! Ну и отчаянный у вас здесь народ, миссис Ньюбери! Только это они уж через край хватили, даром им не пройдет, помяните мое слово! Во всем приходе ни одного не сыщешь, кто б не заслуживал порки!

А кузнец Хардмен в это самое время стоял в конце проулка за кустом остролиста и покуривал трубку. Простившись с миссис Ньюбери, Латимер именно туда и направился, а Хардмен, слышав шаги, не вытерпел — любопытство пересилило в нем осторожность. Он высунулся из-за куста как раз в тот момент, когда Латимер глянул в его сторону. Хардмену ничего не оставалось, как с невозмутимым видом выйти из-за куста.

— Вот уж целый час, как мы тебя разыскиваем,— сказал Латимер, сверкая глазами.

— Вишь ты, какая незадача,— отвечал Хардмен.— А я вот вздумал было пройтись да посмотреть, нет ли еще где припятанных бочонков,— чтобы передать их властям.

— Как же, как же, мы в этом не сомневаемся,— произнес Латимер с уничтожающим сарказмом.— Ты бы непременно доставил их властям. Вы ведь всегда готовы нам помочь, целый день только и делали, что помогали. А теперь будь так любезен, пройди-ка со мной в кузницу, и мы, с твоего позволения, кое-что тебе закажем — именем короля!

Они ушли, и вскоре в кузнице зазвенели не слишком частые удары молота. Так или иначе, лошади и телеги были приведены в годное состояние, но только под вечер, когда часы пробили шесть, и грязные дороги заблестели под косыми лучами закатного солнца. Контрабандные бочонки вскоре были уложены на телеги, и Латимер и трое из его соратников медленно выехали из деревни и двинулись по направлению к порту Бадмаут, до коего путь был весьма не близкий; оставшимся акцизникам было поручено караулить ту партию бочонков, которую, как уже выяснилось, контрабандисты затопили где-то между Рингсвортом и бухтой Лалстэд, а также во что бы то

ни стало разыскать Оулета — единственного из жителей деревни, против кого имелись прямые улики, а именно — яма, обнаруженная в его саду.

Пока телеги, меченные меловым знаком, проезжали по улице в тусклом свете сгущавшихся сумерек, на пороге каждого дома стояли женщины и дети; и грустное выражение, с каким они посматривали на конфискованную собственность, недвусмысленно свидетельствовало о том, что все население Незер-Мойнтонa связано с делами незаконной торговли.

— Ну, Лиззи, вот достойный финал вашей авантюры, — сказал Стокдэйл, когда скрип колес почти уже замер вдали. — Я благодарю бога за то, что вам удалось, не навлекши на себя подозрений, выпутаться из этой истории и все ваши потери ограничились потерей контрабандного вина. Быть может, вы присядете и разрешите поговорить с вами?

— Только не сейчас, мистер Стокдэйл, погодите немного, — ответила Лиззи. — Сейчас мне нужно уйти на минутку.

— Неужели опять на этот ужасный спуск? — спросил он беспомощным тоном.

— Нет, не туда. Я только хочу узнать, чем закончатся сегодняшние дела.

Он ничего не ответил, и она пошла к двери, но медленно, как будто выжидая, не скажет ли он еще чего-нибудь.

— Вы не вызвались пойти со мной, — сказала она наконец. — Вы, наверное, ненавидите меня после сегодняшнего?

— Как вы можете так говорить, Лиззи, вы же знаете, я хочу только одного — чтобы вы больше не участвовали в этих делах! Пойти с вами! Разумеется, я пойду, хотя бы только для того, чтобы уберечь вас от опасности. Но зачем вам опять идти?

— Затем, что не могу я сейчас сидеть дома сложа руки. Там что-то происходит, и я должна знать что. Пойдемте!

И они вышли вдвоем в темноту надвигающейся ночи.

Дойдя до проезжей дороги, Лиззи свернула направо, и Стокдэйл скоро заметил, что они идут в ту же сторону, куда уехали повозки с захваченной контрабандой. Лиззи опиралась на его руку и время от времени вдруг придерживала его за локоть, показывая этим, что надо остановиться и прислушаться. Первую четверть мили они прошли довольно быстро, и после двух или трех таких остановок Лиззи сказала:

— Я уже слышу их — а вы?

— Да, я слышу скрип колес. Но что из этого?

— Мне только хочется знать, далеко ли они успели отъехать от нашей деревни.

— Ах, вот оно что! — воскликнул Стокдэйл, которого вдруг осенила догадка. — Затевается что-то недоброе! Теперь я припоминаю, когда мы выходили из деревни, там не было видно ни одного мужчины.

— Тсс! — прошептала она. Скрип колес внезапно прекратился, сменившись иными звуками.

— Там дерутся! — воскликнул Стокдэйл. — Там может произойти убийство! Лиззи, пустите, я иду туда. Совесть не позволяет мне стоять здесь и ничего не делать!

— Никакого убийства не произойдет, и даже головы никому не проломают, — сказала Лиззи. — Наших тридцать, а их всего четверо; ничего плохого не будет.

— Значит, там действительно свершается нападение! — воскликнул Стокдэйл. — И вы знали об этом заранее. Почему вы держите сторону тех, кто нарушает закон?

— А почему вы держите сторону тех, кто отбирает силой у деревенских торговцев то, что они честно купили во Франции на свои собственные деньги? — сказала она твердо.

— Купля эта нечестная.

— Нет, честная! — возразила она. — Оулет, и я, и все остальные, — мы заплатили по тридцать шиллингов за каждый бочонок еще до того, как их погрузили на борт в Шербуре! И если король, который для нас равным счетом ничто, посылает своих чиновников, чтобы они крали у нас наше добро, так мы имеем право выкрасть его обратно!

Стокдэйл не стал вступать в пререкания и шел все так же быстро туда, откуда доносился шум; Лиззи держалась с ним рядом.

— Вы только не вмешивайтесь, дорогой Ричард, хорошо? — с беспокойством сказала она немного погодя, когда они уже приближались к месту событий. — Не надо подходить ближе. Это уже Уормел-Кросс, тут-то и должны были их захватить. Вы ничем не поможете, только вам самому попадет.

— Сперва выясним, что тут происходит, — сказал Стокдэйл.

Они прошли еще немного, и снова послышался скрип колес. Стокдэйл сообразил, что теперь повозки движутся им навстречу. Еще минута, и впереди показались все три телеги; Стокдэйл и Лиззи сошли в канаву, чтобы дать им проехать.

Вместо четырех сопровождающих, как это было, когда телеги выезжали из деревни, теперь подле них шла целая ватага человек в двадцать — тридцать, и у всех, как это к изумлению своему увидел Стокдэйл, лица были вымазаны сажей. В толпе он заметил шесть или семь крупных женских фигур, и по их широкому шагу определил, что это переодетые мужчины. Телеги проехали, а пятеро из толпы отстали от прочих и подошли к Лиззи и ее спутнику.

— По этой дороге временно прохода нету, — сказала одна из высоченных женщин, у которой локоны, длиною в добрый фут, свисали согласно тогдашней моде вдоль щек. Стокдэйл по голосу узнал, что это не кто иной, как Оулет.

— Почему же? — спросил Стокдэйл. — Ведь это проезжий тракт.

— Послушайте-ка, вы, юноша, — начал было Оулет. — Ба, да это методистский проповедник! И вы тоже тут, миссис

Ньюбери? Ну, так вот что, Лиззи, незачем вам сюда идти. Они уже все улупетнули, и народ отобрал свое назад.

Затем мельник пустился догонять своих товарищей. Стокдэйл и Лиззи также повернули к дому.

— Я б от души желала, чтобы ничего этого не было. Но нас вынудили,— сказала она тоном сожаления.— Если бы акцизникам удалось увезти бочонки, половина жителей в нашей деревне целый месяц, а то и два, терпела бы нужду.

Стокдэйл, по-видимому, ее не слушал.

— Нет, я не могу так уйти,— сказал он.— Почему знать, может быть, все четверо акцизников убиты.

— Убиты! — с презрением воскликнула Лиззи.— Нет, у нас тут убийством не занимаются.

— Во всяком случае, я дойду до Уормел-Кросса, я хочу сам удостовериться,— решительно сказал Стокдэйл и, даже не пожелав ей благополучного возвращения домой, повернул обратно. Лиззи стояла и смотрела ему вслед, пока его не скрыла тьма, затем печально побрела к Незер-Мойнтону.

На дороге было пустынно — в такое время года, да еще ночью здесь иной раз часами не попадался навстречу прохожий. Стокдэйл шел и не слышал ни единого звука, кроме скрипа собственных шагов; наконец он очутился возле лесных зарослей у дороги к Уормел-Кроссу. Но еще не доходя до перекрестка, он услышал голоса, несшиеся откуда-то из чащи.

— Эй! Эге-гей! Помогите! На помощь!

В голосах не чувствовалось ни отчаяния, ни какой-нибудь особенной слабости, но тревога в них, несомненно, была. У Стокдэйла не имелось при себе оружия, и, прежде чем ринуться в кромешную лесную темь, он выдернул из ближайшей изгороди кол,— так, на всякий случай. Войдя в лес, он крикнул:

— Что случилось? Кто зовет? Где вы?

— Здесь! — откликнулись голоса, и Стокдэйл пошел туда, откуда они раздавались; пробравшись сквозь кусты ежевики, он очутился подле тех, кого отыскивал.

— Почему вы не выходите на дорогу?

— Мы привязаны к деревьям!

— Кто вы такие?

— Я несчастный Билл Латимер, акцизный чиновник,— ответил жалобный голос.— Подите же сюда, перережьте веревки, сделайте милость. Мы уж боялись, что до утра никто сюда и не заглянет.

Стокдэйл проворно освободил пленников, и они принялись разминаться и расправлять затекшие руки и ноги.

— Мерзавцы! — восклицал Латимер, все более разъярясь, хотя вначале, когда Стокдэйл только подошел к нему, он вел себя на редкость кротко.— Это всё они, те же самые! Знаю я, они все из Незер-Мойнтон!

— Но показать это под присягой мы все-таки не можем,—

отозвался кто-то из акцизников.— Ведь ни один не подал голоса.

— Что вы собираетесь предпринять? — спросил Стокдэйл.

— Я бы с охотой вернулся сейчас в Мойнтон и рассчитался с ними,— сказал Латимер.

— И мы тоже,— поддакнули его товарищи.

— Будем биться на смерть!

— Да! Да! — поддержали его остальные.

— Но,— продолжал Латимер несколько менее пылко, когда они выбрались из чаши,— мы ведь не знаем наверняка, что эти плуты с перемазанными рожами были из Мойнтонна. И доказать это трудно.

— Что верно, то верно,— согласились его помощники.

— А потому предпринимать мы ничего не будем,— закончил Латимер уже с полным спокойствием.— По мне, так лучше быть на их месте, чем на нашем. У меня кожа на руках огнем горит от веревок, которыми эти две здоровенные дылды меня связали. И теперь, когда у нас был досуг подумать, я вот как рассудил: служба королю достается нам что-то слишком дорого. Вот уж двое суток, как я и на часок глаз не сомкнул: ну и, стало быть, разойдемся-ка, благословясь, по домам.

Остальные трое с радостью приняли этот план действий, поблагодарив Стокдэйла за своевременную помощь, акцизники распрощались с ним на перекрестке и зашагали по дороге в западном направлении, а Стокдэйл повернул к Незер-Мойнтону.

Священник шел и думал, и мысли его были не веселые. Добравшись до дома, он не поднялся к себе наверх, а прошел прямо в маленькую гостиную, где Лиззи обычно проводила вечера вместе со своей матерью. На этот раз она сидела там одна, все еще в капоре и накидке. Подойдя к ней, он остановился и с минуту стоял, словно в каком-то оцепенении, глядя на разделявший их стол. Так как Стокдэйл молчал, Лиззи подняла к нему глаза, и по выражению их видно было, что она предчувствует недоброе.

— Куда они все ушли? — спросил он каким-то безжизненным голосом.

— Кто?.. Не знаю. Я их с тех пор не видела. Я пошла прямо домой.

— Если вашим соучастникам удастся сбыть эти бочонки, вы, я полагаю, получите большие барыши?

— Одна доля достанется мне, а другая моему двоюродному брату Оулету, еще по доле двум фермерам, а последнюю долю разделят между теми, кто нам помогал.

— И вы все еще не решили,— продолжал он медленно,— отказаться от торговли контрабандой?

Лиззи встала со стула и положила руку ему на плечо.

— Не просите меня об этом,— сказала она шепотом.— Вы сами не знаете, чего от меня требуете. Придется объяснить

вам, хоть мне и не хотелось бы. На деньги, вырученные от этой торговли, мы с матерью и существуем.

Он удивился.

— Это мне в голову не приходило,— сказал он.— Но на вашем месте я бы лучше нанялся подметать улицы. Что такое деньги по сравнению с чистой совестью?

— Совесть у меня чиста. Матушку свою я знаю с детства, а вот короля никогда и в глаза не видала. Мне дела нет до его налогов, но для меня очень важно, чтобы нам с матерью было на что жить.

— Выходите за меня замуж и обещайте, что перестанете заниматься контрабандой. Я буду содержать вашу матушку.

— Вы очень добры,— сказала Лиззи, видимо тронутая.— Дайте мне подумать. Я не хотела бы решать сейчас.

Лиззи дала ему ответ только на следующий день. Вечером она вошла к нему в комнату; выражение лица у нее было печальное и строгое.

— Я не могу сделать по-вашему,— горячо сказала она.— Вы слишком многого от меня требуете. Ведь я всю жизнь этим занимаюсь!

Слова ее и то, как она держалась, показывали, что ей пришлось выдержать борьбу с собой и что решение далось ей нелегко.

Стокдэйл побледнел, но ответил спокойно:

— В таком случае, Лиззи, мы должны расстаться. Я не могу поступать против своих убеждений и обращать мой духовный сан в посмешище. Вы знаете, как я вас люблю; я все готов для вас сделать, но это единственное, чем я не могу поступиться.

— Ну, что вам так дался ваш духовный сан? — горячо возразила она.— Ведь у меня есть собственный просторный дом. Почему бы вам не жениться на мне, и поселиться здесь с нами, и вовсе перестать быть священником? Право же, Ричард, в нашем деле нет ничего позорного, если только посмотреть на него моими глазами. Контрабанду доставляют нам лишь зимой, летом мы этим никогда не занимаемся. И это так красит нашу скучную жизнь в зимнее время, так приятно будоражит, и я до того ко всему этому привыкла, что даже и помыслить не могу, как без этого жить! По ночам, когда воет ветер, вместо того чтобы томиться скукой и до того уж отупеть, что даже и замечать не будешь, воет он или нет, ты все время начеку; ум твой действует, если даже сама ты в бездействии: все думаешь, как-то там твои друзья управляют? Ходишь по комнате взад и вперед, и все смотришь в окно, а потом и сама выйдешь, и ночью идешь, как днем, каждая ведь тропинка тебе известна, и, бывает, что прямо на волоске висишь, того и гляди, попадешься в лапы старому Латимеру и его молодчикам, да только где им, разиням, мы их и не боимся по-настоящему, они только проворства нам прибавляют.

— Он все же напугал вас прошлой ночью, и я советую вам вовремя остановиться, пока не стряслось настоящей беды. Она покачала головой.

— Нет, пусть все будет по-прежнему. Так уж мне на роду написано. Это у меня в крови, и меня не исправишь. Ах, Ричард, кабы вы знали, до чего мне трудно то, чего вы требуете, и какому тяжкому испытанию вы подвергаете меня, когда заставляете выбирать между привычной жизнью и любовью к вам!

Он стоял, облокотясь о каминную полку и прикрыв глаза рукой.

— Лучше б нам было никогда не видеть друг друга, Лиззи,— сказал он.— Не в добрый час мы встретились. Вот уж не думал, что наш союз — это такое безнадежное и неосуществимое дело!.. Ну да теперь поздно плакаться. По крайней мере, мне выпало счастье узнать вас.

— Вы идете против церкви, а я — против короля,— сказала она.— По-моему, из нас вышла бы отличная пара.

Он грустно улыбнулся, а Лиззи все стояла, опустив голову, и глаза у нее стали наливаться слезами.

Печальным был тот вечер для них обоих, и столь же печальны были и последовавшие затем дни. И он и она занимались каждый своими делами, но как-то машинально, и подавленное состояние духа молодого священника было замечено в деревне многими из его прихожан. Но никто не догадывался, что причиной тому Лиззи, которая все это время не выходила из дому; все в деревне были уверены, что Лиззи и Оулет давным-давно втихомолку договорились пожениться.

В такой неопределенности протекла вся неделя, но однажды утром Стокдэйл сказал:

— Я получил письмо, Лиззи,— вы не возражаете, если я буду так вас называть, пока не уеду?

— Вы уезжаете? — спросила она растерянно.

— Да, я уезжаю. Так будет лучше для нас обоих. Мне не следует оставаться здесь после того, что произошло. Сказать вам правду, я просто не в силах жить здесь, и видеть вас каждый день, и сохранять при этом ту твердость воли, которая мне нужна, чтобы не изменить принятому мною решению. Я только что узнал, что постоянный священник прибудет сюда через неделю: тогда я смогу уехать куда-нибудь в другое место.

То, что он за все это время не поколебался в своих намерениях, больно уязвило Лиззи.

— Вы никогда не любили меня,— сказала она с горечью.

— Я мог бы сказать вам то же самое,— возразил он,— но не стану. Напоследок окажите мне любезность: накануне отъезда я буду читать в часовне проповедь — приходите послушать.

Лиззи утром в воскресенье обычно ходила в церковь, но вечером, вместе с другими не слишком твердыми в вере жите-

лями Незер-Мойнтон, нередко посещала часовню; она согласилась прийти.

В приходе стало известно, что Стокдэйл уезжает, и очень многие, даже и не только методисты, сожалели об этом. Оставшиеся дни пролетели быстро, и в воскресенье вечером, накануне назначенного на утро отъезда, Лиззи сидела в часовне и в последний раз слушала молодого проповедника. Тесная часовенка была битком набита народом; как все и ожидали, темой для своей проповеди Стокдэйл избрал контрабандную торговлю, так широко практикуемую среди местных жителей. Слушатели, относя слова священника к самим себе, не догадывались, что обращены они были, главным образом, к Лиззи. Стокдэйл вложил в свою проповедь столько чувства, что под конец едва мог справиться с волнением. Его собственное страстное желание убедить и не отрывавшийся от него грустный взгляд Лиззи слишком разбередили душу молодого человека, он даже не помнил, как ему удалось закончить речь. Словно в тумане, видел он, что Лиззи повернулась и вышла вместе с остальными прихожанами; а немного погодя и сам он отправился домой.

Она пригласила его отужинать, и они сели за стол вдвоем — мать Лиззи, как обычно в воскресные вечера, рано легла спать.

— Мы расстаемся друзьями — ведь правда? — спросила Лиззи с деланной веселостью. Она ни словом не обмолвилась о его проповеди, что принесло ему немалое разочарование, но он тоже заставил себя улыбнуться.

— Разумеется, — ответил он, и они сели за стол.

В первый раз они разделяли трапезу — и, очевидно, в последний. После ужина Стокдэйл, более не в силах поддерживать пустой разговор, поднялся из-за стола и взял Лиззи за руку.

— Лиззи, — проговорил он, — вы, стало быть, считаете, что мы должны расстаться?

— Это вы так считаете, — сказала она печально. — А мне вам больше сказать нечего.

— И мне тоже, — ответил он. — Если таково ваше последнее слово — прощайте!

Он нагнулся и поцеловал ее, и Лиззи невольно вернула ему поцелуй.

— Я выеду рано, — торопливо сказал он. — Мы больше не увидимся.

И он действительно уехал рано. Когда в сером утреннем сумраке он вышел из дому, чтобы сесть в повозку, которая должна была его увезти отсюда, ему почудилось, что в окне наверху — в спальне Лиззи — за слегка раздвинутыми занавесками мелькнуло лицо, но свет еще только чуть брезжил, мокрые стекла отсвечивали, сказать с уверенностью было нельзя. Стокдэйл сел в повозку и уехал, и в следующее воскресенье в часовне в Незер-Мойнтоне проповедь читал уже новый священник.

Прошло два года после отъезда Стокдэйла. За это время он получил наконец приход и проповедовал теперь в небольшом городке далеко от побережья, но однажды он вновь появился в Незер-Мойнтоне, прибыв туда точно таким же способом, что и в первый раз. Трясясь в фургоне, он расспрашивал своего возницу, и полученные ответы вызвали в молодом священнике живейший интерес. В результате этой беседы он тут же без всяких колебаний направился к своему прежнему жилищу. Было около шести часов вечера и то же время года, как и тогда, когда он покидал Незер-Мойнтон. Так же поблескивала сырая земля, на западе ярко горел закат, и на бордюрах вдоль дома поднимали головки примулы, посаженные руками Лиззи.

Лиззи, должно быть, увидела его из окна, потому что, когда он приблизился к дому, она уже стояла на пороге, приотворив дверь; но тут же, словно спохватившись, отступила назад и проговорила принужденным тоном:

— Мистер Стокдэйл?.. Вы?

— Я, конечно,— сказал он, беря ее за руку.— Ведь я написал вам, что зайду.

— Да, но вы не сказали когда.

— Потому что и сам не знал, когда дела потребуют моего присутствия здесь.

— Вы приехали по делу?

— По делу, не могу это отрицать. Но я часто мечтал приехать только затем, чтобы повидать вас... Но что у вас здесь произошло? Я предсказывал вам это, Лиззи, а вы тогда не хотели меня слушать.

— Да, верно,— сказала она, пригорюнившись.— Но ведь так уж меня растили и воспитывали, это вошло у меня в плоть и кровь. Ну, да уж теперь со всем этим покончено. Акцизникам платят за каждого захваченного контрабандиста, живого или мертвого, и наша торговля сошла на нет. Нас травили, словно крыс.

— Я слышал, Оулет совсем уехал?

— Да, он теперь в Америке. В последний раз, когда его пытались схватить, у нас тут была настоящая битва. Просто чудо, что он остался в живых, и удивительно, как меня не убили. Меня ранили в руку. Не умышленно, нет,— выстрел предназначался Оулету, но я шла сзади, караулила, как всегда, пуля в меня и угодила. Кровь из раны так и лила, но я кое-как добралась до дому, в обморок не упала. Ну, а потом ничего — поболело, да и зажило. А про Оулета вы знаете — что ему-то пришлось претерпеть?

— Нет. Я слышал только, что он еле спасся.

— Ему выстрелили в спину, но пуля, к счастью, ударила о ребро. Рана была очень тяжелая. Мы не дали его схватить. Товарищи всю ночь несли его через луга до самого Кинсбера и спрятали в сарае. Перевязывали рану сами, как умели, и так

он у них там и лежал, пока не выздоровел и не смог ходить. Мельницу свою он еще раньше продал и в конце концов добрался до Бристоля и отплыл в Америку. Теперь он там обосновался, живет в Висконсине.

— Какого же вы теперь мнения о контрабандной торговле? — спросил священник с глубокой серьезностью.

— Признаю, что это было дурно. Но я достаточно поплатилась за все. Теперь я очень бедствую, а матушка моя уже год как умерла... Но, мистер Стокдэйл, быть может, вы зайдете?

Стокдэйл зашел. И, надо полагать, они нашли теперь общий язык, ибо через две недели вся обстановка, принадлежавшая Лиззи, продавалась с торгов, а засим последовало венчание в методистской часовне в соседнем городке.

Он увез ее к себе на родину, подальше от бывшего ее приюта, в свой дом, где она с похвальным усердием стала изучать обязанности жены священника. Говорят, что впоследствии она написала превосходный трактат под названием «Кесарево — кесарю, или Раскаявшиеся поселяне» и в нем, вместо предисловия, изложила, не называя подлинных имен, свою собственную историю. Сделав кое-какие исправления и добавив от себя несколько весьма красноречивых фраз, Стокдэйл отдал трактат напечатать, и за время своей совместной жизни супруги распространили не одну сотню экземпляров этого поучительного сочинения.

МАРКИЗА СТОНЭНДЖ

рассказ священника

— Так вот, стало быть,— начал он свое повествование,— много лет тому назад в наших краях, не дальше ста миль от Мелчестера, в старинном и весьма богатом поместье, где и мне случалось бывать, проживала некая юная леди, и была она такая несравненная красавица, что чуть ли не все молодые люди благородного происхождения в этой части Уэссекса — и простые дворяне, и носители громких титулов — наперебой ухаживали за ней, рассыпались перед ней в любезностях и всячески старались ей угодить. Поначалу все это ей очень нравилось. Но как говорит достопочтенный Роберт Саут (чьи проповеди у нас, к сожалению, гораздо менее известны, чем они того заслуживают), если самого страстного любителя охоты заставлять каждый божий день выезжать в поле с гончими или с соколами, то по прошествии времени это удовольствие превратится для него в муку и даже каменоломня и каторжные работы покажутся ему приятным развлечением; так и этой гордой красавице вскоре приелось беспрестанное повторение того, что тешило ее, пока было внове. В чувствах ее произошел решительный, хотя, быть может, и естественный поворот, и взоры обратились к человеку иного и по сравнению с ней неизмеримо низшего круга. Наперекор всему она страстно влюбилась в юношу вовсе не примечательной наружности, самого простого звания и более чем скромного положения в обществе; правда, он от природы был мягок и деликатен, приятен в обхождении и чист душою. Короче говоря, это был сын тамошнего псаломщика, и служил он помощником управляющего у отца молодой леди, графа Эвонского, рассчитывая, что со временем, ознакомившись с делом, он и сам сможет занять где-нибудь должность управляющего. Добавлю еще одно: леди Кэрлайн — так звали дочь графа — было известно, что этот юноша давно уже беззаветно любим одной деревенской девушкой; да и сам он слегка за ней ухаживал, хотя больше на

шутливый дружеский лад и не придавая тому значения. Возможно, что это обстоятельство еще в какой-то мере подогрело влюбленность молодой леди.

По роду своих занятий ему часто приходилось бывать в помещицьем доме или поблизости, и у леди Кэралайн было сколько угодно случаев видеться и говорить с ним. Всеми ухищрениями «искусства тонкого любви», по выражению Чосера, она владела в совершенстве, и легко воспламеняющееся сердце молодого человека вскоре отозвалось на нежность в ее глазах и голосе. Вначале он не решался поверить такому счастью, ибо не знал, что она успела уже разочароваться в своих знатных и лишенных простоты поклонниках. Однако для каждого мужчины приходит час, когда и самый тупой замечает вдруг, что из женских глаз смотрит на него часть его собственной души, — и этот час пришел для избранника графской дочери, которого уже никак нельзя было назвать тупым. По мере того как он утрачивал робость, их встречи из случайных все чаще становились преднамеренными, и наконец однажды они высказали, не таясь, все, чем были полны их мысли. Теперь, встречаясь наедине, они нашептывали друг другу нежные слова, как спокон веков водится у влюбленных, и взаимная их преданность, казалось, с каждым днем возрастала. Но ни единый ее проблеск, ни самонаименьший признак не был доступен постороннему взгляду — так тщательно скрывали они свое чувство.

Под влиянием любви леди Кэралайн становилась чем дальше, тем все более пылкой со своим возлюбленным, он же с ней все более почтительным; и, обсуждая вместе свое положение, оба приходили в отчаяние от очевидной его безнадежности. Что могла сделать леди Кэралайн? Просить, чтобы ей позволили выйти за него замуж? Или молча и безропотно отказаться от него? Ни о том, ни о другом они не решались даже помыслить. В конце концов они избрали третий путь, не столь для них не приемлемый: обвенчаться тайно и жить по внешности точно так же, как до сих пор. В этом они отличались от тех влюбленных, о которых рассказывал мой друг.

Никто в родительском доме леди Кэралайн, видя, как она спокойно входит в холл после того, как несколько дней прогостила у тетки, не догадался бы, что за это время она и ее возлюбленный получили благословение церкви сочетаться во плоть едину, доколе смерть их не разлучит. Однако так оно и было: юная красавица, гарцевавшая на кровных скакунах или развезжавшая в коляске, кивком головы отвечая на почтительные поклоны, и молодой человек, который тащился по дороге пешком и в графском парке указывал рабочим, где копать пруд и какие рубить деревья, стали мужем и женой.

Месяц с лишком они точно следовали задуманному плану, тайно встречаясь в условленных местах, когда это оказывалось возможным; и оба при том были как нельзя более счастливы

и довольны. Правда, к концу этого месяца, когда несколько охладел первый жар любви, леди Кэрлайн стала порой задумываться: как это она, которая могла избрать пэра Англии, баронета или по крайней мере дворянина, а будь она более серьезно настроена, то епископа или судью — из тех, что не чуждаются радостей жизни и не прочь иметь молодую жену, — как решилась она на столь опрометчивый шаг и связала себя узами столь неравного брака? Такие мысли в особенности посещали ее во время их тайных свиданий, когда она малопомалу начала обнаруживать, что молодой ее муж, хотя и обладавший живым умом и к тому же человек довольно начитанный, имеет, однако, с ней весьма мало общего, ибо вся жизнь его протекала совсем в ином круге. Эти свиданья нередко происходили ночью в собственном ее доме, если не удавалось устроиться иначе: леди Кэрлайн заранее тайком отпирала окно нижнего этажа, выходившее на лужайку, и когда в доме все стихало, влюбленный юноша, войдя через это окно и поднявшись по черной лестнице, проникал в комнаты своей подруги.

Как-то раз темной ночью, после того как за весь день ему не представилось случая повидаться с леди Кэрлайн, он воспользовался этим секретным способом, как уже делал не однажды; и, проведя с ней около часу, объявил вдруг, что ему пора уходить.

Он остался бы и дольше, но свидание на этот раз вышло невеселое. То, что она говорила ему в ту ночь, сильно взволновало его и оскорбило. Ибо в гордой своей жене он увидел явственную перемену; холодный рассудок вернулся к ней, и беспокойство о своем положении и о будущем возобладало над любовью. От волнения ли, вызванного этим открытием, или по другой причине, но ему вдруг сделалось дурно: он стал задыхаться, вскочил, сделал шаг к окну и хриплым, прерывистым шепотом воскликнул: «Ох, сердце!..»

Но второго шага ему сделать не удалось: схватившись за грудь, он рухнул на пол. К тому времени, когда леди Кэрлайн вновь зажгла свечу, которую перед тем погасила, чтобы снаружи никто не заметил, как он будет выходить, бедное его сердце уже перестало биться; и тогда леди Кэрлайн вдруг вспомнила: кто-то из его деревенских знакомых недавно говорил ей, что он подвержен сердечным припадкам, и один из таких припадков, по словам доктора, может стать для него роковым.

Леди Кэрлайн привыкла оказывать лечебную помощь поселянам, но на сей раз ни одно из обычных средств не оказало действие. Он лежал бездыханный, руки и ноги его все более холодели, и перепуганная молодая женщина вскоре поняла, что муж ее в самом деле умер. Все же она еще целый час не прекращала попыток вернуть его к жизни; когда же, наконец, не осталось сомнений в том, что перед ней покойник,



она в отчаянии склонилась над телом, не зная, что делать дальше.

Первым ее душевным движением была неподдельная скорбь об утрате любимого, но вторым — страх за себя: как отзовется все это на ней, дочери графа?

— Ах, бедный мой муж! — горестно воскликнула она, обращаясь к мертвецу. — Зачем, зачем умер ты здесь и в такой час! Если уж суждено было тебе умереть, зачем не случилось это у тебя дома! Тогда бы никто не узнал о нашем неразумном браке и эта ошибка, которую я совершила из любви к тебе, навеки осталась бы тайной!

Часы во дворе отбили один удар — час ночи, — и леди Кэралайн эчнулась; этот звук рассеял овладевшее ею оцепенение. Она встала, подошла к двери. Разбудить мать, рассказать ей все — другого выхода, казалось, не было. Но едва она по-

ложила руку на ключ, как тотчас отдернула ее. Нет, даже мать нельзя звать на помощь: узнают слуги, а через них и все. Но если бы она могла одна, своими силами, перенести тело куда-нибудь в другое место, то, пожалуй, еще и сейчас удалось бы отвратить подозрение; кому бы тогда пришло в голову, что они были близки друг другу? Эта вновь появившаяся надежда избежать всех последствий своего необдуманного шага и вновь обрести свободу, вероятно, принесла ей большое облегчение, ибо, как уже было сказано, необходимость вечно прятаться от людей и быть настороже за последнее время порядком уже стала ей докучать.

Она собралась с духом, поспешно оделась и одела покойника. Связав ему запястья платком и положив его руки себе на плечи, она подняла его и прошла на площадку, а затем вниз по лестнице. У окна, перегнувшись через подоконник, она осторожно спустила его на землю, вылезла сама, оставив окно открытым, и потащила его волоком по лужайке. Все совершилось почти бесшумно, только трава чуть зашелестела, словно по ней мели метлой. Затем она взвалила его на спину и вместе со своей ношей скрылась среди деревьев.

Здесь, поодаль от дома, она могла уже двигаться быстрее, что, однако, было нелегко даже для такой крепкой и здоровой молодой женщины. Начиная сказываться усталость и пережитый страх, и к тому времени, когда она выбралась на опушку буковой рощицы, насаженной между помещичьим домом и деревней, силы ее почти иссякли. Мгновение она даже опасалась, что придется оставить мертвеца здесь. Но, отдохнув немного, она побрела дальше, стараясь, где можно, ступать по траве, и наконец вышла на дорогу прямо против калитки того дома, где жил злополучный юноша вместе со своим отцом, церковным причетником. Вспоминая об этом впоследствии, леди Кэролайн даже не могла понять, как у нее хватило сил довести свое намерение до конца. Но она на руках перенесла тело через дорогу, чтобы не оставлять следов на гравии, и положила его у дверей. Со слов мужа ей было хорошо известно, как он попадал к себе, если возвращался поздно; она нашарила за ставней ключ и вложила его в охладевшую руку. Затем в последний раз поцеловала любимого и, подавляя беззвучные рыдания, простилась с ним навеки.

Весь обратный путь леди Кэролайн совершила без помех и незамеченная достигла дома. К великому ее облегчению, окно оказалось открытым, как она его и оставила. Проникнув в дом, она чутко прислушалась, крадучись взойшла по лестнице, привела свою комнату в порядок и легла в постель.

На другое же утро разнесся слух, что сын псаломщика — этот столь приятный и добрый молодой человек — был найден мертвым возле своего дома, у самой двери, которую он, очевидно, готовился открыть в ту минуту, когда его застигла смерть. Не совсем обычные обстоятельства его кончины побуди-

ли судебные власти учредить следствие, каковое и установило с полной достоверностью, что причиной был разрыв сердца. На том пока все и кончилось. Но после похорон в деревне стали поговаривать, что один местный житель, поздно возвращаясь в ту ночь из дальнего селения с конской ярмарки, видел в темноте, как кто-то — по-видимому, женщина — тащил что-то большое и тяжелое по направлению к калитке псаломщика, и теперь, в свете позднейших событий, можно предполагать, что это был труп его сына. Достали одежду покойного, осмотрели ее более внимательно и обнаружили тут и там следы трения — как раз такие, какие могли получиться, если одетого в нее человека волочить по земле.

Услышав об этом, леди Кэралайн пришла в ужас. Наша хитроумная красавица склонялась теперь к мысли, что лучше было бы ей с самого начала чистосердечно во всем признаться. Но раз уже она зашла так далеко, и не была уличена, и даже не вызвала ничьих подозрений, то следует, рассудила она, сделать еще одну попытку сохранить дело в тайне. И тут ее осенила блестящая мысль. Я, кажется, говорил, что еще до того, как леди Кэралайн стала бросать благосклонные взоры на юного помощника управляющего, он был уже любим одной деревенской девушкой, дочерью дровосека, жившего тут же поблизости; да и сам юноша оказывал ей некоторое внимание. Если она так любила его, когда он был жив, то, может быть, эта любовь и сейчас не угасла? В уме леди Кэралайн уже сложился план, как спасти свою репутацию. Надо, во всяком случае, повидаться с этой девушкой и просить ее о помощи. Дочь графа была, конечно, весьма влиятельным лицом в поместьях своего отца и не ждала отказа. А о своей репутации она начинала все больше тревожиться; ибо теперь, когда в ней заговорил рассудок, она уже стыдилась своей сумасбродной страсти к покойному мужу и порой даже сокрушалась — зачем они вообще встретились.

Посещая бедняков своего прихода, леди Кэралайн без особого труда устроила себе как бы случайную встречу с девушкой. Та была очень бледна, печальна, одета в простое черное платье — добровольный траур по умершему, которого она так нежно любила, хоть он и не отвечал ей взаимностью.

— Бедная Милли, — сказала леди Кэралайн, — ты потеряла своего возлюбленного.

Девушка не могла удержаться от слез.

— Он не был моим, миледи, — сказала она. — Но я любила его, это верно, и теперь, когда он умер, я тоже больше не хочу жить.

— Можно доверить тебе одну тайну, связанную с ним? — сказала молодая леди. — Это касается его доброго имени. Дай слово, что никому не скажешь. Никто, кроме меня, об этом не знает, но тебе, я считаю, следует знать.

Девушка с готовностью пообещала; да и правда, в таком

деле на нее можно было положиться — так велика была ее любовь к юноше, которого она оплакивала.

— Тогда приходи сегодня на его могилу через полчаса после заката солнца. Там я тебе все скажу.

Весенним вечером, когда сумерки одели землю, две смутных женских фигуры, как две тени, сошлись у обложенного свежим дерном холмика; и здесь среди могил в этот таинственный час знатная красавица поведала о том, как она полюбила юношу простого звания и тайно обвенчалась с ним, как он умер у нее в спальне и как, страшась огласки, она перетащила умершего к порогу его дома.

— Вы обвенчались с ним, миледи! — воскликнула, отшатнувшись, девушка.

— Да, я это сделала, — ответила леди Кэролайн. — Но это было чистое безумие и большая ошибка. Ему следовало жениться на тебе, Милли. Ты была как будто создана для него. Но он тебе не достался.

— Да, — промолвила бедная девушка. — И за это все смеяться надо мной. «Ха-ха, — говорили они, — ты-то, Милли, может, его и любишь, да он-то тебя не любит!»

— А ведь приятно было бы взять верх над этими злыми насмешниками, — раздумчиво проговорила леди Кэролайн. — Правда, при жизни он твоим не был, но он может стать твоим после смерти, как если бы он и живой принадлежал тебе. И тогда ты сама посмеешься над ними.

— Как это? — в волнении сказала девушка.

В ответ леди Кэролайн изложила свой план, который заключался в следующем: Милли должна завтра же объяснить, что молодой человек незадолго до смерти тайно женился (как оно и было) и что женился он на ней, Милли, своей возлюбленной; что в ту роковую ночь он был у нее; что, увидев его мертвым и не смея повиниться во всем родителям, она перенесла умершего к его дому; что она не намеревалась открывать свою тайну, но слухи, которые теперь пошли по деревне, ее к тому вынудили.

— Но как я все это докажу? — спросила дочь дровосека, изумленная смелостью этого предложения.

— Очень просто. Если понадобится, ты можешь сказать, что ваше бракосочетание происходило в церкви святого Михаила в Бате — это та церковь, где мы с ним венчались, — и что ты записалась под чужим именем, — моим, потому что оно первое пришло тебе в голову. В этом я тебя поддержу.

— Ах, как-то мне все это не нравится...

— Если ты это сделаешь, — сказала леди Кэролайн не допускающим возражения тоном, — я всегда буду оказывать покровительство тебе и твоему отцу. Если нет, будет иначе. И я дам тебе мое обручальное кольцо, носи его как свое.

— А вы его носили, миледи?

— Только по ночам.

Особенно выбирать было не из чего, и Милли согласилась. Тогда дочь графа достала из-за корсажа кольцо, которое ей так и не привелось носить открыто, и, схватив руку девушки, молча стоявшей над могилой своего возлюбленного, надела кольцо ей на палец.

Дрожь прошла по телу Милли. Склонив голову, она проговорила:

— У меня такое чувство, как будто я обручилась с мертвецом!

Но с этой минуты задуманная подмена стала для нее как бы уже совершившейся. Блаженный покой снизошел в ее душу. Ей чудилось, что в смерти она обрела того, кого без всякой надежды боготворила при его жизни; и она была почти счастлива. Напоследок леди Кэролайн вручила новой жене своего покойного мужа все памятки и маленькие подарки, когда-то от него полученные, даже медальон с прядкой его волос.

На другой день Милли сделала свое так называемое признание, и никто в нем не усомнился — скромный траур, который она и до этого уже носила, не говоря по ком, как бы подтверждал ее слова. Вскоре эта романтическая история стала всем известна — и в деревне и повсюду в окрестностях, чуть ли не до самого Мелчестера.

Любопытная психологическая черточка: однажды признав себя вдовой, Милли даже с каким-то увлечением вошла в свою роль. На деньги, которыми щедро снабдила ее леди Кэролайн, она купила полный вдовый наряд и по воскресеньям появлялась в нем в церкви, причем ее кроткое личико казалось таким хорошеньким в ореоле из черного крепа, что другие деревенские девушки, ее сверстницы, готовы были ей позавидовать.

Поступая так, Милли, в сущности, почти не совершала обмана — ведь ее молодая жизнь и в самом деле была разбита утратой любимого человека; все это видели. А ее рассказ как нельзя лучше объяснял те странности в его поведении — загадочные отсутствия и внезапные возвращения, — которые за последнее время нередко удивляли его близких; и никому не пришло в голову, что вторым действующим лицом в этом романе могла быть не она, а кто-то другой. Я даже думаю, что, если бы истина вдруг обнаружилась, ее сочли бы вздорной выдумкой — так трудно было представить себе какую-либо близость между надменной дочерью графа и скромным беспритязательным деревенским юношей. Наследства после него никакого не осталось, так что некому и незачем было тащиться за сорок миль в город и разыскивать в церковных книгах запись, удостоверяющую этот брак.

В скором времени на могиле молодого человека появился простой, но приличный надгробный памятник, надпись на котором гласила, что его воздвигла убитая горем вдова. Если принять во внимание, что деньги исходили от леди Кэролайн, а

горе от Милли, то в надписи этой было не больше лжи, чем во всех подобных надписях,— разве только что слово «вдова» следовало бы для большей точности поставить во множественном числе.

Впечатлительная и мягкосердечная Милли каждый день посещала кладбище, как и полагается вдове, и подолгу грустила здесь, находя в том неизъяснимую отраду. Каждый день она приносила на могилу свежие цветы, и, расхаживая во вдовьем уборе по кладбищенским дорожкам, она, при своей чувствительности и живом воображении, сама уже почти верила, что была когда-то женой того, кто теперь покоился под надгробным камнем. Как-то раз под вечер, когда Милли, по обычаю своему, любящей рукой украшала могилу, мимо ограды прошла леди Кэролайн в сопровождении нескольких знакомых, гостивших тогда у графа, и те, увидев Милли, остановились, долго смотрели на нее и обменялись замечаниями о том, какое это трогательное зрелище и как сильно молодой человек, должно быть, любил свою нежную подругу. Странный огонек — отсвет душевной боли — вспыхнул в глазах леди Кэролайн, как будто она в этот миг впервые позавидовала Милли в ее праве на скорбь, которое сама же так усердно старалась ей передать. Из этого можно заключить, что чувство к покойному мужу еще теплилось в ее сердце, хотя и замутненное и подавленное сторонними соображениями.

Но этому столь удобному для обеих молодых женщин устройству внезапно пришел конец. Однажды, когда Милли, как обычно, принесла цветы, леди Кэролайн, давно уже поджидавшая ее, прячась в церкви за алтарем, вышла вдруг ей навстречу, бледная и взволнованная.

— Милли,— сказала она,— пойди сюда! Мне нужно поговорить с тобой. Даже не знаю, с чего начать. Я прямо чуть жива!

— Сочувствую вам, миледи,— удивленно проговорила Милли.

— Отдай мне это кольцо! — воскликнула леди Кэролайн, хватая девушку за левую руку.

Милли быстро отдернула руку.

— Я тебе говорю, отдай! — вне себя крикнула леди Кэролайн.— Ах, да ведь ты ничего не знаешь!.. На меня свалилась такая беда, какой я и не ожидала.— И, нагнувшись к девушке, она что-то прошептала ей на ухо.

— Ах, боже мой, миледи! — воскликнула пораженная Милли.— Что же вам теперь делать?

— Ты должна сказать, что все твое признание было неправда, выдумка, преступная ложь, смертный грех! Что это я заставила тебя так сделать, чтобы обелить себя. Что в Бате он обвенчался со мной, а не с тобой. Одним словом, надо сказать всю правду, как она есть, иначе я погибла — отверженная всеми, опозоренная! И это уж навсегда!

Но есть предел податливости даже таких кротких существ, как Милли. К этому времени она уже утвердилась в мысли, что умерший юноша всегда принадлежал ей и что она имеет бесспорное право носить его имя; она так привыкла считать его своим мужем, грезить о нем как о своем муже, говорить о нем как о своем муже, что отдать его другой женщине только потому, что ей так велели, было выше ее сил.

— Нет, нет! — воскликнула она в отчаянии, — я не могу от него отказаться, я этого не сделаю! Вы отняли его у меня, когда он был жив, и вернули его мне, только когда он умер. А теперь я его не отдам! Я его вдова перед богом — я, а не вы, миледи! Потому что я люблю его, и горюю по нем, и ношу его дорогое имя, а вы ничего этого не делаете!

— Нет, я люблю его! — крикнула леди Кэролайн, сверкая глазами. — Он мой, и я не уступлю его такой, как ты! Да и как это возможно, раз он отец этого несчастного ребенка, который должен у меня родиться? Он нужен мне! Милли, Милли, да пожалей же ты меня, злая упрямец, пойми, в каком у ужасном положении! Все эта глупая поспешность, наше женское проклятие! Зачем я не подумала, не подождала! Ну же, Милли, верни мне то, что я тебе дала, и обещай, что поддержишь меня, когда я все расскажу!

— Ни за что! Ни за что! — страстно и чуть не плача вскричала Милли. — Посмотрите на этот памятник! Посмотрите на мое платье и креповый вуаль, на это кольцо; вслушайтесь, каким именем все меня называют. Если вам дорога ваша честь, так мне моя тоже! После того как я перед всеми признала его своим мужем, а себя его женой и приняла его имя, и оплакивала его как самого родного, близкого человека, — да как же я теперь скажу, что все это неправда? Такой срам на мою голову!.. Нет! Я этого не допущу. Я поклянусь, миледи, что вы солгали, и мне поверят. Мой рассказ куда больше похож на правду — и ваш, а не мой, посчитают выдумкой. Но, ради бога, миледи, не доводите меня до этого! Сжальтесь, не отнимайте его у меня!

Бедная мнимая вдова так терзалась при мысли о грозящем ей позоре, что леди Кэролайн, несмотря на собственные заботы, невольно почувствовала к ней жалость.

— Да, я понимаю твое положение, — сказала она. — Но подумай и о моем! Что мне делать? Если ты меня не поддержишь, люди скажут, что я все это выдумала, чтобы спастись от бесчестья. И даже если я покажу запись в церковных книгах, найдутся злопыхатели — их на свете сколько угодно! — которые станут утверждать, что это подделка, и большинство все-таки поверит тебе. Я ведь даже не знаю, кто у нас были свидетели!

Таким образом, очень скоро обе молодые женщины поняли, что даже сейчас главная их сила в единении — вывод, к которому и до них приходили многие в минуту опасности, —

и уже более спокойно стали совещаться. После чего Милли, как обычно, пошла домой; леди Кэралайн тоже вернулась к себе и в ту же ночь призналась во всем графине, своей матери, но только ей одной, и никому больше. А через несколько дней леди Кэралайн и ее мать отправились в Лондон, где немного погодя к ним присоединилась Милли; в деревне же стало известно, что она для поправки здоровья уехала в какое-то курортное местечко на севере Англии, где были целебные источники, и что деньги на эту поездку ей дали графиня и ее дочь, принимавшие живое участие в судьбе одинокой и беззащитной вдовы.

В начале следующего года Милли вернулась в деревню с младенцем на руках. Жена и дочь графа в это время путешествовали за границей и вернулись только осенью, а Милли еще до того снова уехала, навсегда покинув дом дровосека, своего отца, ибо ее обстоятельства значительно изменились к лучшему: у нее был теперь свой домик в городке за много миль к востоку от ее родной деревни, и ей с ребенком, стараниями леди Кэралайн и ее матери, было назначено пожизненное содержание — небольшое, но достаточное для того, чтобы жить безбедно.

Через два или три года леди Кэралайн вышла замуж за маркиза Стонэндж, который был гораздо старше ее и давно уже за ней ухаживал, не внося, впрочем, в это дело большой страстности. Он не был богат, но принадлежал к самой высшей знати, и они много лет прожили в полном согласии, хотя брак этот не был благословлен потомством. Тем временем сын Милли — все считали мальчика ее сыном, да и сама она привыкла смотреть на него как на своего — рос и процветал и любил Милли всем сердцем, как она того и заслуживала за свою беззаветную любовь к нему; ибо с каждым днем она все яснее различала в его облике черты того человека, который при жизни владел ее девичьим сердцем и не утратил этой власти и после смерти.

Она постаралась дать ему хорошее образование — насколько это было возможно при ее ограниченных средствах, ибо никто не позаботился увеличить ей содержание; леди Кэралайн, став маркизой Стонэндж, с течением времени, по-видимому, утратила всякий интерес к судьбе Милли и ее воспитанника. А Милли в отношении мальчика проявляла большое честолюбие: она отказывала себе во всем, даже самом необходимом, для того, чтобы он мог посещать классическую школу в том городке, где они поселились; и двадцати лет он поступил в кавалерийский полк — не под влиянием минуты или из любви к праздности, а с твердым намерением сделать военную службу своей профессией. И так как для солдата он был исключительно образован, держался всегда с достоинством и вел себя примерно, то очень скоро получил повышение, чему еще помогла большая война, которую Англия вела тогда на континен-

те. Когда он вернулся домой после заключения мира, он был уже ротмистром, а не в долгом времени поднялся еще на одну ступень и был произведен в квартирмейстеры, невзирая на его молодые годы.

Весть об этих успехах, которыми он был обязан только самому себе, дошла до его матери — я хочу сказать, его матери по плоти, маркизы Стонэндж. Это вновь пробудило в ней заглушенный было материнский инстинкт и преисполнило ее гордостью. С той поры ее уже не покидала мысль об этом некогда отвергнутом сыне, столь преуспевшем на военном поприще. Теперь, когда молодость прошла, ей все сильнее хотелось его повидать, особенно после того, как умер маркиз Стонэндж и она осталась одинокой и бездетной вдовой. Решилась бы она сама к нему обратиться или нет, я не знаю, но однажды, проезжая в открытой коляске по окраине соседнего городка, она увидела, что мимо проходит кавалерийская часть, стоявшая там в казармах. Она пристально взгляделась и в одном из самых щеголеватых всадников узнала своего сына — по его сходству с отцом.

Материнское чувство, столько лет дремавшее в ее сердце, вспыхнуло вдруг с необычайной силой; в волнении она спрашивала себя — да как же могла она так пренебречь собственным ребенком? Зачем недостало у нее истинного мужества любви? Надо было тогда же открыто признать свой брак и самой воспитывать это дитя! Много ли стоит жемчужная коронка с золотыми листьями, если из-за нее она лишилась любви и поддержки такого благородного и достойного уважения сына? Так в одиночестве и унынии предавалась она печальным мыслям; и если когда-то она горько раскаивалась в своем увлечении сыном псаломщика, то теперь еще горше каялась в своей гордости, побудившей ее от него отречься.

Под конец она так измучилась тоской по сыну, что ей уже стало казаться — она просто не сможет жить, если не откроет ему, кто его мать. Будь что будет, но она это сделает; и хотя с опозданием, а все-таки отберет его у этой женщины, которую она уже начинала ненавидеть со всей злобой опустошенного сердца за то, что та заняла ее место. Леди Стонэндж не сомневалась, что сын ее будет рад сменить свою деревенскую мать на такую, у которой и отец и муж были пэрами Англии. И так как теперь, в своем вдовьем положении, она вольна была делать, что ей угодно, ни перед кем не отчитываясь, то на следующий же день она отправилась в тот городок, где все еще жила Милли, по-прежнему нося траур в память возлюбленного своей юности.

— Он мой сын, — сказала маркиза, как только они с Милли остались наедине. — И теперь, когда я могу уже не считаться с мнением света, ты должна отдать его мне. Он часто тебя навещает?

— Каждый месяц, с тех пор как вернулся с войны, —

ответила Милли.— И часто гостит у меня по два-три дня. И мы с ним ездим в разные интересные места, и он мне все показывает.— Она говорила с тихим торжеством.

— Ну что ж, придется тебе его отдать,— хладнокровно сказала маркиза.— Тебе от этого хуже не будет; можешь видеться с ним, если захочешь. Я намерена признать свой первый брак, и он будет жить со мною.

— Вы забываете, миледи, что тут решаю не одна я, а и он тоже.

— Ну, это мы уладим. Ты же не думаешь, что он...— Но, не желая обижать Милли напоминанием о ее бедности и своем богатстве, леди Кэролайн сказала только: — Я его родила, а не ты.

— Как будто в этом все дело! — ответила Милли с презрением, ибо случается все же, что живущие в хижинах осмеливаются выказывать подобные чувства обитателям пышных хором, а мера этого чувства в данном случае была очень не маленькая.— Но хорошо,— продолжала она,— я согласна. Расскажем ему, и пусть он сам решит.

— Больше мне ничего и не нужно,— сказала леди Стоунэндж.— Напиши ему, чтобы приехал, и я встречу с ним здесь.

Кавалеристу написали, и свиданье состоялось. Когда он узнал о своем родстве с маркизой, он не так сильно удивился, как она ожидала, ибо давно уже догадывался, что с его рождением связана какая-то тайна. С маркизой он держался в высшей степени почтительно, но без той теплоты, на которую она надеялась. Затем ему было предложено избрать себе мать по своему желанию. Его ответ изумил и потряс маркизу.

— Нет, миледи,— сказал он.— Очень вам благодарен, но пусть уж лучше все остается, как есть. Имя своего отца я все равно и так ношу. Видите ли, миледи, вы не думали обо мне, когда я был слаб и беспомощен; зачем же я приду к вам теперь, когда я силен? Она, эта добрая душа,— он показал на Милли,— растила меня с первых дней моей жизни, нянчила меня, ухаживала за мною, когда я хворал, и урезывала себя во всем, чтобы помочь мне выбиться в люди. Никакую другую мать я не могу любить так, как ее. Да она и есть моя мать, и я всегда буду ее сыном! — И с этими словами он обнял Милли за плечи своей сильной рукой и поцеловал ее с величайшей нежностью.

На бедную маркизу было жалко смотреть.

— Ты убиваешь меня! — воскликнула она, задыхаясь от рыданий.— Разве не можешь ты любить и меня тоже?..

— Нет, миледи. Скажу вам откровенно: вы стыдились моего отца, честного и доброго человека, и поэтому теперь я стыжусь вас.

Ничто не могло его поколебать. Под конец несчастная женщина прерывающимся голосом выговорила сквозь слезы:

— Не можешь ли ты — ах, не отказывай! — поцеловать меня, один только раз! как ты ее поцеловал?.. Это же так немного — и это все, о чем я прошу!..

— Пожалуйста, — ответил он.

Он холодно поцеловал ее, и тем завершилось печальное свидание. Но этот день стал началом конца для маркизы Сто-нэндж. Так странно была она устроена — как, впрочем, и большинство людей, — что отказ сына заставил ее еще сильнее жаждать его любви. Сколько она после того прожила, я хорошо не знаю, но, во всяком случае, недолго. Ее источило бесплодное раскаяние, о коем сказано, что оно острее зуба змеиного. Равнодушная теперь к мнению света, презирая все его правила и обычаи, она не скрывала более своей горестной истории; и когда пришел желанный конец (который, как я должен признать с прискорбием, она не захотела смягчить утешениями религии), нельзя было бы точнее определить его причину, чем сказав, что она умерла от разбитого сердца.

ЛЕДИ МОТТИСФОНТ

рассказ сентиментального члена клуба

Человеку созерцательного склада, пожалуй, лучше всего избрать для жизни городок Уинтончестер, этот самый романтический из всех старинных городов Уэссекса; ибо там есть собор с таким длинным нефом, что по нему можно прогуливаться, не поворачивая то и дело назад, и предаваться размышлениям на самые отвлеченные темы с таким видом, будто просто совершаешь здесь свой предобеденный моцион, укрывшись от дождя или слишком жаркого солнца. Можно, например, неторопливо прохаживаясь среди этих великолепных надгробий — триста шагов в одну сторону и снова триста шагов в другую, — раздумывать о том, что конечная участь владык мира сего разнится от конечной участи простых смертных лишь тем, что останки королей и епископов хранятся в сухости под этими древними сводами, а прах фермера или приходского священника беспрепятственно мкнет в месте их последнего успокоения под открытым небом. Или, если вы влюблены, пройдитесь об руку со своей милой по часовням и боковым приделам, и вы так проникнитесь царящим вокруг торжественным настроением, что ваша с ней любовь примет более утонченный и возвышенный характер и станет от этого гораздо приятнее разуму, если не сердцу, нежели те оттенки чувства, которые возникают в иных местах, где кругом кипит жизнь, где все цветет и плодоносит.

Под этими-то величественными сводами одним холодным мартовским утром происходило объяснение сэра Эшли Моттисфонта с благородной девицей Филиппой. Удалившись сюда со своей избранницей от докучливых родственников, сэр Эшли, вот уже несколько лет вдовствующий, предложил ей стать хозяйкой в его доме. Жизнь Филиппы, дочери простого сквайра Оукхолла, проходила до сих пор в неизвестности, а сэр Эшли хоть и был небогат, но занимал в свете довольно заметное положение. Поэтому все в округе в один голос решили, что сватовство баронета большая честь и большое счастье для такой незначи-

тельной особы. Да и сама добрая Филиппа была того же мнения о предстоящем замужестве. Сэр Эшли так пленил ее, что, идя рядом с ним в упомянутый выше день, она не чувствовала под ногами жестких каменных плит,— ей казалось, будто она парит в небесах. Филиппа, по натуре мечтательная и застенчивая, все спрашивала себя, за что это судьба послала ей такого блестящего жениха, знатного и красивого, объездившего чуть ли не весь свет.

Когда сэр Эшли просил руки Филиппы, он излагал свои намерения не тем корявым языком, каким выражались в подобных волнующих обстоятельствах местные дворяне, но говорил столь изящно и учтиво, словно учился красноречию по «Сборнику отрывков для декламации» Энфилда. Однако ж к концу своей речи он чуть запнулся, видно, у него было еще что-то на уме.

— Прелестная Филиппа,— так наконец сказал он (Филиппа, заметьте, была вовсе не так уж прелестна).— Вам должно знать, что существует маленькая девочка, чья судьба не безразлична мне... Я нашел ее на капустном поле, возвращаясь домой с веселой пирушки. (Таков был юмор достойного баронета.) Малютка тронула меня своей беспомощностью, и я решил позаботиться о ее будущем, дать ей некоторое воспитание, приличествующее девушке из простой семьи. Сейчас она на руках одной доброй поселянки из нашего прихода. Ей только год и три месяца. Ведь вы не откажетесь, любезная Филиппа, уделить внимание этому беззащитному существу?

Надо ли говорить, что наша юная невинная леди, полюбившая своего героя так горячо и радостно, обещала любить и жалеть маленького найденыша; и вскоре после этого в том самом соборе, в стенах которого звучал недавно голос сэра Эшли, предлагавшего Филиппе руку и сердце, совершился обряд бракосочетания. Венчал сам епископ, почтенный старец, соединивший на своем веку столько пар и так наторевший в этом деле, что жених и невеста не успели и оглянуться, как стали единой плотью, хоть каждый и продолжал еще смутно ощущать себя отдельным от другого существом.

Тотчас же после свадьбы молодые уехали в свое поместье Динслей Парк и зажили там в мире и согласии. Леди Моттисфонт, верная своему слову, часто хаживала в деревню навесить девочку, появившуюся на свет при столь таинственных обстоятельствах. Относительно капустного поля у нее было свое мнение, но она никому его не высказывала; имея такое нежное, чувствительное сердце, она непременно должна была кого-то обожать, и, не будь рядом живого существа, она, верно, обожала бы и камень. Маленькая Дороти — так называли девочку при крещении — полюбила леди Моттисфонт, как если бы та была родной ее матерью; скоро и сама Филиппа так привязалась к ней, что отважилась просить мужа взять Дороти к себе в дом и дать ей воспитание, какое они дали бы собственной

дочери. Сэр Эшли ответил согласием, не забыв, впрочем, добавить, что это может вызвать нежелательные толки. Но заметно было, что просьба жены его обрадовала.

Так прожили они безвыездно года два или три, наслаждаясь безоблачным счастьем, если только бывает что-нибудь безоблачное в нашем английском климате. Дороти принесла Филиппе неизвестную той доселе радость; своих детей у нее не было, да как будто и не было надежды на их появление, и она, не мучая себя понапрасну догадками о происхождении Дороти, мудро рассудила, что судьба была к ней особенно милостива, подарив ей это дитя. Будучи женщиной мягкой, живущей по велению сердца, она любила мужа преданно, не рассуждая, всю душу вкладывая в это чувство. Такой же была ее любовь к Дороти. Филиппа баловала ее, ласкала, как родную дочь. Девочка оставалась для нее единственной утехой, когда муж отлучался из дому по делам или уезжал развлечься. Возвращаясь домой и заставая там всякий раз картины, свидетельствующие о взаимной привязанности Филиппы и Дороти, сэр Эшли был, видимо, счастлив. Он целовал жену, жена целовала маленькую Дороти, Дороти бросалась целовать сэра Эшли, и всякий раз после такого тройного проявления чувств леди Моттисфонт восклицала:

— Ах, мне, право, не верится, что это не мое дитя!

— Не думай об этом, дорогая. Я вижу здесь особую мудрость провидения. Господь послал нам Дороти, зная, что иным путем нам не суждено иметь ребенка.

Жизнь они вели самую простую. Сэр Эшли, покончив с путешествиями, обратился к сельскому хозяйству и охоте, Филиппа занималась домом. Радости их ограничивались семейным кругом. Они рано ложились, вставали с первым стуком телег, с первыми свистками возчиков. Они знали каждую птицу в своих лесах, могли определить название каждого дерева, если оно не было особенно редкой породы, предсказывали погоду не хуже любого старика с ноющими к ненастью мозолями или фермера, озабоченного завтрашним днем.

Но однажды сэр Эшли получил письмо. Прочитал его, отложил молча в сторону и задумался.

— От кого это, дорогой? — спросила жена, бросив взгляд на лежащий на столе листок бумаги.

— От одного старого стряпчего из Бата, моего знакомого. Незадолго до нашей свадьбы, года четыре назад, я говорил с ним о Дороти.

— О Дороти?

— Да, дорогая. Я ведь тогда не знал, как ты станешь к ней относиться. Вот я и спросил, нет ли у него на примете какой-нибудь женщины нашего круга, которой хотелось бы взять на воспитание девочку.

— Да, но тогда ты был один и некому было позаботиться о ней,— живо возразила Филиппа.— А с какой стати писать

об этом теперь? Разве он не знает, что ты женат? Наверно ведь знает.

— Ну конечно.

И с этими словами сэра Эшли протянул ей письмо... Стряпчий писал, что некая знатная дама, пожелавшая пока остаться неизвестной (его новая клиентка, лечащаяся в Бате на водах), недавно сказала ему, что ей хотелось бы удочерить девочку, только, разумеется, добрую и послушную и не совсем маленькую, чтобы можно было судить о ее характере. Он вспомнил свой разговор с сэром Эшли и вот теперь пишет ему. Девочке там будет хорошо, за это он ручается, — но, может быть, у нее уже есть и дом и семья?

— Зачем же писать об этом сейчас, спустя столько времени! — прошептала леди Моттисфонт, чувствуя, что у нее подкатывает комок к горлу, так сильно привязалась она к ребенку. — Ведь этот разговор был давно? Когда ты только что... нашел ее?

— Да, дорогая, еще тогда.

Сэр Эшли снова погрузился в задумчивость, и ни он, ни жена так и не ответили на это письмо. На том пока дело и кончилось.

Однажды за обедом, после возвращения из города, куда они ездили посмотреть, как люди живут, послушать, что говорят в свете, а также затем, чтобы обновить туалеты, поустаревшие за долгое сидение в деревне, — так вот за обедом они услышали от одного знакомого, обедавшего у них в тот день, что в старинной усадьбе неподалеку, которую хозяин, нуждаясь в деньгах, сдавал внаем, поселилась итальянская графиня, вдова, чье имя я пока утаю по причинам, которые откроются позже. Столь необычное соседство приятно удивило и заинтересовало леди Моттисфонт, заметившую, однако, что, родись она в Италии, она бы никогда оттуда не уехала.

— Она не итальянка, итальянцем был ее муж, — сказал сэр Эшли.

— Так ты уже слышал о ней?

— Да, о ней говорили вчера у Греев. Сама графиня — англичанка.

Муж ее не прибавил более ни слова, а гость рассказал, что отец графини спекулировал акциями Ост-индской компании, на чем в то время наживались колоссальные состояния, и что графиня оказалась наследницей огромного капитала после его смерти; графиня в это время была уже вдовой: муж ее умер за несколько недель до смерти ее отца. Союз дочери преуспевающего дельца и нищего иностранца — отпрыска знатной фамилии — был, надо полагать, чистейшим браком по расчету. Графиня еще очень молода, и когда минет срок траура, недостатка в женихах у нее, конечно, не будет. А пока она ищет уединения, бежит общества и светских развлечений.

Спустя месяц после этого разговора Филиппа заметила

однажды, что сэр Эшли как-то особенно поглядывает на нее, словно хочет что-то сказать.

— И все-таки, пожалуй, Дороти было бы лучше у графини,— проговорил он наконец.— Графиня так богата, гораздо богаче нас. Двери самого избранного общества откроются перед Дороти. Этого мы не сможем для нее сделать.

— Дороти было бы лучше у графини? — в изумлении переспросила Филиппа.— Так это она хотела взять на воспитание девочку?

— Она. Графиня и есть новая клиентка поверенного Гайтона.

— А тебе откуда это известно, Эшли?

— Я как-то видел ее,— ответил он, слегка смутившись.— Знаешь, она иногда приезжает на травлю, правда всегда в коляске, а не верхом, и сама в охоте участия не принимает. Там она и сказала мне, что советовалась с Гайтоном.

— Ты, значит, не только видел ее, но и разговаривал с ней?

— Да, и не один раз. С ней уже многие знакомы.

— Что ж ты не рассказал мне об этом,— тихо промолвила Филиппа.— А я совсем забыла нанести ей визит. Пожалуй, поеду на днях, может даже завтра... Но я, Эшли, не понимаю, как можешь ты думать, что Дороти там будет лучше? Она же теперь совсем, совсем наша. Я даже в шутку не хочу говорить об этом.

В глазах ее сэр Эшли увидел такой упрек, что не нашелся, что ответить.

Леди Моттисфонт не более англо-итальянской графини уделяла внимания охоте. Хозяйство и заботы о Дороти целиком поглощали ее, так что она и минуты не тратила на пустые развлечения. Мысль о том, что их любимое дитя, их Дороти, была бы счастливее в доме другой женщины, казалась ей нелепой и возмутительной. И ей было трудно понять равнодушие сэра Эшли, ибо она, как вы, должно быть, уже заметили, если не в самом начале, то, во всяком случае, задолго до описанного разговора, угадала истинные отношения между своим мужем и Дороти. Но по кротости своей она ни разу не намекнула ему о своих подозрениях и принимала жизнь такую, как она есть, не мудрствуя лукаво. И великодушие ее щедро вознаграждалось радостями, которые она находила в любви к ребенку.

Однако несколько дней спустя, затеяв разговор о путешествии за границу, муж ее снова вернулся к этой неприятной теме. Какая жалость, что они не уважили тогда просьбу графини и оставили Дороти у себя. Теперь они были бы свободны и могли ехать куда заблагорассудится.

— Графиня,— добавил он,— встретила на днях Дороти, когда девочка гуляла с няней. Она говорит, что в жизни не видала более очаровательного ребенка.

— Графиня все еще думает о Дороти? Какая дерзость!

— По-видимому, думает... Графиня хочет удочерить ее по

закону, стать ей вместо матери, а у нас она только бедная воспитанница, взятая из милости.

— И я хочу удочерить ее, стать ей вместо матери! — в волнении воскликнула Филиппа. — Скажи только, как это сделать?..

Но сэр Эшли ничего ей не ответил и долго после сидел, задумавшись. А жена его, охваченная каким-то неясным предчувствием, вдруг ощутила беспокойство и даже смутную тревогу.

На другой день она поехала в Фернелл Холл с визитом, который так долго откладывала. Графиня была дома и приняла гостью очень любезно. Но бедная леди Моттисфонт! Сердце ее оборвалось, когда она увидела, как хороша ее новая знакомая. Еще ни разу в жизни не встречала она такого прелестного лица — все в нем было само совершенство. Казалось, природа, не скупясь, одарила графиню всевозможными женскими чарами. Ее по-европейски изысканные манеры, блестящее остроумие, живое воображение — все это так поразило нашу бедную Филиппу, что она почувствовала себя уничтоженной. И то сказать — она, да теперь уже и сэр Эшли, были такие провинциалы! Филиппа совсем растерялась перед этим потоком незнакомых идей и звуков. Она и трех слов не знала на чужом языке, а эта красавица графиня, хоть и англичанка родом, по-видимому, совершенно свободно говорила по-итальянски и по-французски и умела выразить любую мысль и любое чувство на этих языках, что в те времена считалось необходимой чертой красноречия, как, впрочем, и по сей день считается некоторыми.

— Какой странный случай, — непринужденно и весело говорила графиня. — Девочку, которую рекомендовал мне мой поверенный, оказывается, воспитываете вы, мои соседи! Как ей сейчас живется? Я непременно навещу ее.

— Вы все о ней думаете? — спросила леди Моттисфонт, насторожившись.

— Ах, как бы мне хотелось взять ее к себе!

— Но поймите же, это невозможно. Она моя! — ревниво возразила Филиппа.

С этого момента настроение графини заметно упало и уже не менялось до конца визита.

Тяжело было на сердце и у леди Моттисфонт, когда она возвращалась домой. Обаяние графини было так велико, что даже она, Филиппа, поддавалась ему; так можно ли поверить, что сэр Эшли остался равнодушным? Но не это больше всего угнетало ее. Графиня заронила ей в душу странное подозрение. Вернувшись домой, Филиппа бросилась в детскую и там, схватив на руки сонную, теплую Дороти, стала в иступлении осыпать ее поцелуями, потом, слегка отстранив девочку от себя, принялась внимательно вглядываться в ее черты. Тяжело вздохнув, она, наконец, отпустила ничего не понимающую Дороти и поспешно удалилась к себе.

Она увидела в личике ребенка не только черты мужа — их она подмечала и раньше, она узнала черты, краски, выражение другого человека — своей новой соседки.

Только теперь уяснила себе несчастная Филиппа весь сложный ход событий, и она спрашивала себя, как могла она быть такой дурочкой, как не поняла всего раньше. Но недолго укоряла себя Филиппа за свое простодушие, другая, ужасная мысль поразила ее в самое сердце. Значит, это она, Филиппа, разлучила графиню и сэра Эшли! Правда, она не могла предвидеть, что все так обернется, но ведь от этого не легче. Возлюбленная ее мужа, его грех и его счастье, свободна теперь, когда он навсегда утратил свою свободу, и очень понятно, что графиня жаждет забрать своего ребенка! А этот ребенок стал тем временем для леди Моттисфонт чуть ли не единственным источником радости, источником, питающим пробудившееся в ней материнское чувство; в Дороти к тому же было столько знакомых черт, унаследованных от отца, что Филиппа мало-помалу стала впадать в приятное заблуждение, будто и она сама повторилась в этом ребенке.

Если и был какой промах в поведении этой добродетельной леди, так тот только, что уж слишком она была безропотна. Сказать откровенно, мужчина в роли главы семьи и хозяина дома редко бывает внимателен к чувствам беззащитной женщины, связанной с ним до гробовой доски, и, возможно, хоть я и не берусь утверждать это наверняка, Филиппе следовало бы, дождавшись в тот день возвращения мужа, встретить его градом упреков. Насколько справедливо мое предположение — один бог ведает, во всяком случае Филиппа ничего этого не сделала; она переносила все молча и молила бога, чтоб как-нибудь случайно не поперечить мужу, который, она должна была это признать, был всегда добр с ней и ласков, и только жила надеждой, что Дороти у нее не отнимут.

Постепенно семейство Моттисфонт и графиня так подружились, что стали видеться чуть ли не каждую неделю. И хотя Филиппа была начеку и понимала всю опасность такого сближения, ничего худого и предосудительного она не находила в графине... Было ясно, что не сэр Эшли, а Дороти тот магнит, который притягивает ее в Динслей Парк. Никогда раньше не встречала Филиппа в одной женщине столько ума, красоты и изящества, и она уверяла себя, не знаю, успешно ли, что ее ничуть не тревожит завязавшаяся между обоими семействами дружба: в самом деле, разве станет женщина, богатая, прекрасная, окруженная толпой вздыхателей, разбивать жизнь такого скромного и безобидного существа, как Филиппа.

Подошла пора, когда, согласно обычаю, аристократические семьи уезжали на лето в Бат. Сэр Эшли Моттисфонт убедил жену поехать с ним и взять с собой Дороти. В Бате в том году собралось самое респектабельное общество. Моттисфонты



встретили там немало своих знакомых. Тут были лорд Парбек с женой, граф и графиня Уэссекские, сэр Джон Греб, Дренкарды, леди Сторвейл, старый герцог Гемптонширский, епископ Мелчестерский, настоятель собора в Эксонбери и другие не столь блестящие представители знати, суда и гвардии. Приехала сюда и красавица графиня. Филиппа видела, как увиваются за ней молодые люди, и не могла допустить мысли, что графиня будет пытаться снова завлечь ее мужа.

Но для встреч с Дороти здесь у графини было больше возможностей: леди Моттисфонт часто прихварывала, а когда чувствовала себя здоровой, то по совести не могла удерживать девочку при себе и препятствовать свиданиям, которые так благотворно влияли на ребенка. Дороти привязалась к своему новому другу с той удивительной быстротой, которая убеждает нас в существовании чудесных незримых нитей, связывающих близких по крови людей.

Наконец наступила развязка, которую ускорил следующий случай. Как-то Дороти со своей няней была на прогулке, а леди Моттисфонт оставалась дома одна. Она сидела пригорюнившись и думала о том, что графиня сегодня, наверно, опять где-нибудь увидится с Дороти и они будут снова ласково разговаривать друг с другом. Внезапно в комнату вбежал сэр Эшли и сказал, что Дороти только что чудом избежала смерти. В том месте, где гуляли няня с девочкой, рабочие ломали дом. Вдруг передняя стена качнулась и повалилась прямо на них. К счастью, леса задержали падение; графиня с другой стороны улицы заметила, какая беда грозит ребенку, во мгновение ока она очутилась возле Дороти, схватила ее за руку и оттащила от опасного места, увлекая за собой и няню. Не успели они добежать до середины дороги, как стена рухнула, густое облако пыли окутало обеих женщин и ребенка, но ни один камень не задел их.

— Где Дороти? — спросила насмерть перепуганная леди Моттисфонт.

— У графини, она не отпускает ее сейчас...

— У графини? Но ведь Дороти моя, моя!.. — воскликнула леди Моттисфонт.

Но тут своим пронизательным, обостренным любовью взглядом она заметила, что сэр Эшли забыл о ней, как забывают о чужом, постороннем человеке в подобные минуты. Мысли его были далеко: он видел Дороти, графиню, себя; и ничто за пределами тесного круга этих трех жизней его не интересовало.

Наконец Дороти привезли домой; она с восторгом рассказывала о графине, о том, что с ними произошло; в случившемся она не видела ничего страшного, а только все радовалась и восхищалась. Вечером, когда общее волнение улеглось, сэр Эшли сказал жене:

— Графиня спасла Дороти, рискуя жизнью, и я все думаю, как нам отблагодарить ее. Видно, уж придется отдать ей девочку, раз ей этого так хочется. Да и для Дороти так будет лучше. В конце концов нельзя же думать только о себе.

Филиппа схватила его за руку.

— Эшли, Эшли, что ты говоришь! Неужели вы отнимете у меня мою девочку, самое дорогое, что у меня есть?

Губы ее жалобно сморщились, на глазах выступили слезы, все лицо выражало такое горе, что сэр Эшли не стал продолжать разговор.

На следующее утро, когда Дороти еще спала, леди Моттисфонт тихо подошла к ее постельке, села у изголовья и долго глядела на нее. Наконец Дороти проснулась, открыла глаза и тоже принялась рассматривать Филиппу.

— Мама, ты ведь не такая красивая, как графиня, правда?

— Правда, Дороти.

— Почему не такая, мама?

— Дороти, скажи мне, девочка моя, с кем бы ты хотела жить, с ней или со мной?

Дороти смутилась.

— Мамочка, ты только не сердись, но мне бы так хотелось пожить у графини. Если, конечно, можно, и ты не обидишься, и все останется, как было.

— А она тебя когда-нибудь об этом спрашивала?

— Никогда, мамочка.

В этом и заключалась самая горькая обида: графиня вела себя в этой истории безукоризненно, с какой стороны ни глянь. В полдень леди Моттисфонт вошла в кабинет с выражением спокойной решимости на своем кротком лице.

— Эшли, вот уже пять лет мы с тобой женаты, и я ни разу не спрашивала у тебя о том, что мне и без того хорошо известно,— о происхождении Дороти.

— Ни разу, дорогая Филиппа. Хоть ты и догадывалась обо всем, я это видел, с самого начала.

— Догадывалась об отце, но не о матери. Я долгое время не знала, кто мать Дороти. Теперь я знаю.

— А, тебе и это известно? — заметил он без особого, впрочем, удивления.

— Трудно ли догадаться? Ну что ж, раз это так... я все снова обдумала, поговорила с Дороти и решила отпустить ее. Долг велит мне исполнить желание графини — ведь она рисковала жизнью, чтобы спасти моего... твоего... своего ребенка.

Затем эта самоотверженная женщина поспешно удалилась, чтобы скрыть от мужа свое отчаяние; так-то вот и случилось, что Дороти тут же, в Бате, переменяла и маму и дом. Графиня вскоре уехала в Лондон, взяв с собой Дороти, а баронет и его жена вернулись одни в свое опустевшее гнездо.

Одно дело остаться без Дороти в шумном Бате, но совсем другое жить без нее в тиши уединенной усадьбы. Однажды Эшли, сойдя к ужину, не нашел за столом жены. Все последнее время она была как-то особенно молчалива и печальна, и теперь сэръ Эшли не на шутку встревожился. Не сказав никому ни слова, он вышел из дому и принялся искать ее в парке; вдруг между деревьями мелькнуло ее платье, как раз в той стороне, где последние дни она любила бродить одна. Аллея вела вниз к озеру, в которое впадала речушка, он бросился туда и вовремя — в эту самую минуту послышался всплеск. Подбежав к берегу, он различил на воде светлое пятно. Вытащить ее было делом одной минуты, он на руках отнес ее в спальню, сам раздел и уложил в постель. Филиппа недолго пробыла в воде и скоро очнулась. Она призналась мужу, что поступила так, потому что у нее отняли ее дочку, как она все еще называла Дороти. Сэръ Эшли побранил ее, сказал, что нельзя так поддаваться горю. Сделанного не воротишь, да так оно, пожалуй, и лучше. Филиппа покорно приняла его укоризны и согласилась, что поступила дурно.

После этого она как будто стала спокойнее, хотя сэръ Эшли нередко заставлял ее в слезах то над куклой Дороти, то

над ее лентой, то над башмачком, и он решил увезти жену на север Англии, чтобы переменить климат и обстановку. Как увидим позже, и то и другое оказалось самое благотворное действие на здоровье и душевное состояние Филиппы, хотя по-прежнему при малейшем упоминании о ребенке она вся настораживалась. Когда они вернулись домой, графиня с Доротой были в Лондоне, но месяца через два и они приехали в Фернелл Холл; вскоре после этого сэр Эшли вошел в комнату жены и принялся выкладывать новости.

— Кто бы мог подумать, Филиппа! Ведь ей так хотелось, чтобы ей отдали Дороту.

— О чем это ты?

— Наша соседка графиня выходит замуж! Говорят, в Лондоне нашла себе жениха.

Леди Моттисфонт была весьма удивлена, подобная возможность ей и в голову не приходила. Распри из-за Дороты заслонили собой все, а что, казалось, было в этом неожиданно: графиня еще молода, ей нет и тридцати, хороша собой.

— Но что особенно интересно для нас, вернее для тебя,— продолжал ее муж,— это ее любезное предложение. Графиня согласна отдать тебе Дороту. Видя, как ты безутешна, она решила расстаться с ней.

— Видя, как я безутешна? Как бы не так! — быстро возразила Филиппа.— Всякому понятно, почему она теперь готова отдать Дороту.

— Право, дорогая, какое нам дело до графини, до ее фантазий, раз Дорота будет снова с нами. Нищим выбирать не приходится.

— Я не нищая больше,— с гордым и таинственным видом заявила Филиппа.

— Что ты хочешь этим сказать?

Леди Моттисфонт ничего не ответила. Но было ясно, что она охладела к той, из-за кого лишь месяц назад проливала горькие слезы.

Такая резкая перемена в ее настроении скоро объяснилась. Филиппа после пяти лет супружеской жизни вдруг почувствовала, что станет матерью, и взгляд ее на многие вещи стал иным. Самая важная перемена состояла, пожалуй, в том, что Дорота, без которой она не мыслила прежде своего существования, перестала быть ей необходима.

А между тем графиня, ввиду предстоящей свадьбы, решила покинуть Фернелл Холл, не дожидаясь, пока кончится срок аренды, и вернуться в свой хорошенький домик в Лондоне. Но устроить все было не так-то просто, и прошло полгода, если не больше, прежде чем она смогла навсегда уехать из этих мест; все это время графиня жила то в Лондоне, то в Фернелл Холле. В свой последний приезд сюда она встретила с сэром Эшли Моттисфонтом; это было через три дня после того, как жена баронета подарила мужу сына и наследника.

— Мне надо поговорить с вами,— сказала графиня, устремив на него свой ясный взгляд,— о милой сиротке, которую я взяла к себе на время и хотела удочерить... Но теперь я выхожу замуж и, боюсь, это будет неудобно.

— Что ж, я предвидел это,— ответил сэр Эшли, не сводя глаз с графини. По ее щекам медленно катились две слезинки, видно, нелегко ей было так говорить о своей Дороти.

— Не судите меня строго,— умоляюще произнесла графиня и, справившись с волнением, продолжала,— может быть, леди Моттисфонт все-таки возьмет Дороти, для меня это сейчас очень важно, да и Дороти хуже не будет. Для всех, кроме нас с вами, Дороти — это всего лишь одна из моих причуд, а леди Моттисфонт так ведь страдала тогда, так не хотела отпускать ее... Согласится ли она теперь ее взять? — спросила графиня с затаенным беспокойством.

— Попробую еще поговорить с ней. Дороти пока будет жить здесь, в Фернелл Холле?

— Да. Мне самой надо ехать, но дом еще месяц остается за мной.

Сэр Эшли заговорил с женой о Дороти, только когда здоровье Филиппы несколько поправилось; и как раз в тот день из Лондона пришло известие о свадьбе графини. Но чуть только с уст Эшли сорвалось имя Дороти, жена прервала его раздраженно:

— Я не стала относиться к Дороти хуже. Но пойми, есть существо, которое мне ближе и дороже, чем она. Вспомни, она сама выбрала графиню, когда я спросила, у кого бы ей хотелось жить.

— Можно ли за это обижаться на ребенка! Ведь это наша Дороти.

— Нет, не наша,— ответила Филиппа и указала на кроватку.— Вот — наш.

— Так ты, значит, не хочешь брать Дороти,— воскликнул изумленный баронет.— Но ведь ты же чуть не умерла с горя, когда пришлось с ней расстаться!

— Не буду с тобой спорить, Эшли. Но теперь я не могу взять на себя ответственность за судьбу Дороти. Место ее занято.

Сэр Эшли вздохнул и вышел из комнаты. В тот день, как было еще раньше условлено, Дороти приехала в Динслей Парк в гости, но сэр Эшли не повел девочку к жене и даже не сказал, что она здесь. Он сам развлекал ее, как мог, они гуляли в парке, играли вдвоем. Потом сэр Эшли сел на корень старого вяза и, взяв Дороти к себе на колени, грустно проговорил:

— У одной мамы муж, у другой ребенок, куда же теперь тебе деваться, Дороти, а ведь совсем недавно перед тобой гостеприимно раскрывались двери сразу двух домов.

— Можно мне поехать к моей красивой маме в Лондон? —

спросила Дороти, почувствовав по голосу сэра Эшли, что что-то произошло.

— Боюсь, что нет, малышка. Ты жила у графини, пока ей было скучно.

— Ну, тогда я останусь в Динслей Парке с тобой и с моей другой мамой.

— Нет, и этого нельзя,— сказал он с горечью.— У нас теперь есть свой маленький мальчик.— И с этими словами сэр Эшли наклонился к Дороти и поцеловал ее, стараясь скрыть намернувшиеся слезы.

— Никому я не нужна,— печально проговорила Дороти.

— Нет, Дороти, есть кто-то, кому ты нужна,— успокаивал он ребенка.— Ну, а к кому бы еще ты хотела поехать?

Не так уж много было у Дороти знакомых, и она назвала крестьянина, у которого жила еще до того, как леди Моттисфонт вздумала взять ее к себе в Динслей Парк. Больше у Дороти не было никого в целом свете.

— Что ж, пожалуй, там тебе будет лучше всего и спокойней. Я буду приходить к тебе, маленькая моя, приносить игрушки и конфеты, вот увидишь, там тебе будет так же хорошо.

И, однако ж, когда пришло время и Дороти снова поселилась в маленьком доме у доброй крестьянки, она не переставала тосковать о прекрасных огромных залах Фернелл Холла и Динслея, и еще долгое время ее крохотные ножки, привыкшие к мягким пушистым коврам и дубовому паркету, зябли на холодном каменном полу, где ей теперь приходилось играть, а ручки то и дело покрывались ссадинами от студеной воды, какой она теперь умывалась. Но грубые ботинки, подбитые гвоздями, все-таки немного грели, и вот мало-помалу жалобы и слезы из-за этих и десятка других таких же горестей стали утихать, и Дороти постепенно свыклась со всеми тяготами и невзгодами крестьянской жизни; она выростала здоровой, крепкой и даже красивой девушкой. Сэр Эшли никогда не переставал заботиться о ней, но она так и не получила воспитания, какое мечтали ей дать сперва леди Моттисфонт, а потом ее вторая мама — своенравная и взбалмошная графиня. У последней скоро появились другие Дороти, которые полностью завладели ее сердцем и досугом, а в сердце леди Моттисфонт безраздельно царствовал ее дорогой мальчик. Прошли годы, и Дороти, которую так горячо любили когда-то сразу две мамы и которую потом обе мамы так легко позабыли, вышла замуж, помнится мне, за одного почтенного дорожного подрядчика, того самого, который, если не ошибаюсь, перестраивал и ремонтировал шоссе, идущее из Уинтончестера на юго-запад через Нью-Форест, и в любви этого простого, доброго человека нашла бедная девушка счастье, которого не сумели ей дать ее знатные родители.

ГЕРЦОГИНЯ ГЕМПТОНШИРСКАЯ

рассказ тихого джентльмена

Тому назад лет пятьдесят тогдашний герцог Гемптонширский, пятый носитель этого титула, был первым человеком в своем графстве, а тем более — в окрестностях Бэттона. Он происходил из древнего рода Сакслбай, известного своей приверженностью короне и еще до получения герцогского звания насчитывавшего по мужской линии немало прославленных воинов и духовных особ. Прилежному историку графства понадобился бы целый день, чтобы скопировать в боковом приделе приходской церкви многочисленные надгробные статуи и надписи на бронзовых досках, посвященные их памяти. Самого герцога, однако, мало интересовали старинные летописи на металле и камне, даже если они касались его собственных предков. Свои помыслы он предпочитал отдавать низменным и грубым забавам, которые ему в изобилии доставляло его положение. При случае он умел заткнуть рот какому-нибудь из своих подчиненных крепким ругательством, действовавшим как бомба, и он, бывало, подолгу пререкался со священником о сравнительных достоинствах петушиного боя и травли медведей.

Внешность у этого вельможи была незаурядная. Цвет лица его напоминал листья медного бука. Сложения он был богатырского, но немного сутулился; рот имел большой, а вместо тросточки носил с собой необструганный ствол небольшого деревца либо мотыгу, которой нещадно рубил попадавшие на пути кусты чертополоха. Замок его стоял в парке, окруженный со всех сторон, кроме южной, густыми вязами; и, когда светила луна, с большой дороги было видно, как поблескивает вдали каменный фасад, осененный тяжелыми ветвями, словно белое пятно на фоне мрака. Жилище это, хоть и называлось замком, почти не было укреплено, да и возводилось оно с большим вниманием к удобству обитателей, чем те неприступные твердыни, к коим, строго говоря, применимо это наименование. То был помещичий дом, внутри распланированный

скучно, как шахматная доска, а снаружи украшенный, в подражание замкам, фальшивыми бастиями и бойницами, за которыми высились зубчатые дымовые трубы. В безветренную погоду, в тот утренний час, когда по коридорам, как призраки, снуют служанки, разжигая камины, и в узких полосках света, проникших сквозь щели ставен, словно подмигивают и улыбаются фамильные портреты,— десятка полтора тонких голубых дымок отвесно поднимались из этих труб, а потом, растекаясь вширь, повисали высоко над домом, точно огромный плоский балдахин. Вокруг раскинулись на десятки тысяч акров прекрасные, плодородные земли майората: живописные лужайки и боросы повсюду, где их можно было увидеть из окон замка, а дальше — скромные пашни, заслоненные от любопытных глаз искусно расположенными насаждениями.

Следующим после владельца всего этого богатства должен быть назван второй человек в приходе — настоятель церкви, его преподобие достопочтенный мистер Олдборн, вдовец, чересчур сухой и суровый для священника. Внешний его облик — белоснежный шейный платок, аккуратно причесанные седые волосы, жесткие черты лица — никак не свидетельствовал о душевной теплоте, без которой так трудно пастырю делать добро своим ближним. Последним в ряду — Нептуном среди этих местных планет — был младший священник мистер Элвин Хилл. Это был красивый юноша, кудрявый, с мечтательными глазами — до того мечтательными, что если долго глядеть в них, казалось, будто возносишься и паришь среди летних облаков,— с лицом свежим, как цветок, и без признаков усов и бороды. Было ему лет двадцать пять, но на вид — не более девятнадцати.

У настоятеля была дочь по имени Эммелина, девушка такая кроткая и простодушная, что чуть ли не все в той округе успели заметить, оценить и обсудить ее красоту, когда сама она еще и не догадывалась о том, что красива. С детства она мало видала людей; при встрече с мужчинами испытывала страх и смущение. Всякий раз, как в доме ее отца появлялся какой-нибудь незнакомый ей посетитель, она убегала в сад и оставалась там до его ухода, браня себя за малодушие, но не умея преодолеть его. Добродетельность Эммелины заключалась не в стойкости характера, но в прирожденном нерасположении ко всему дурному, привлекавшему ее не больше, чем мясо привлекает травоядных. Прелесть ее лица, повадок и нрава не оставила равнодушным посвященного в духовный сан Антиноя, а также и герцога, который, хоть и не смыслил ничего в тонком обращении и всегда держался неуклюже по отношению к прекрасному полу,— словом, отнюдь не был дамским угодником,— однако же, увидев неожиданно Эммелину, вскоре после того как ей исполнилось семнадцать лет, воспылал к ней прямо-таки неистовой страстью.

Случилось это однажды летом на опушке рощицы между

замком и домом священника; герцог стоял там, наблюдая за подземной работой крота, а девушка вдруг пробежала в нескольких шагах от него с непокрытой головой, ярко освещенная солнцем. Герцог вернулся домой потрясенный, как человек, увидевший ангела. Он поднялся в свою картинную галерею и провел там несколько времени, разглядывая портреты красавиц, давно успокоившихся в могиле, и словно впервые задумавшись над тем, какую важную роль эти женщины сыграли в продлении рода Сакслбай. Он пообедал в одиночестве, за обедом немало выпил и поклялся, что Эммелина Олдборн будет принадлежать ему.

А надо же было случиться, что тем временем между этой девушкой и младшим священником завязались втайне какие-то нежные отношения. Что именно у них произошло, навсегда осталось неизвестным, но отец ее явно этого не одобрял. Он повел себя холодно, твердо и неумолимо. Помощник его вскоре исчез из прихода, исчез почти внезапно, после того как однажды вечером в саду между ними разыгралась ссора, и попеременно с их гневными возгласами, как стоны умирающих среди грохота битвы, слышались мольбы и рыдания женщины. А спустя немного времени было объявлено, что скоро — до странности скоро — состоится бракосочетание герцога с мисс Эммелиной Олдборн.

День свадьбы наступил и прошел: она стала герцогиней. За весь этот день никто, казалось, не вспомнил о незадачливом любовнике, а может, кто и вспомнил, да счел за благо утаить свои мысли. Одни, кто посмелее, говорили о вельможных супругах в шутовском тоне, другие отзывались о них в словах изящных и почтительных, — смотря по тому, что подсказывал каждому его пол и свойства характера. И только вечером звонари на колокольне, среди которых Элвин пользовался особенной симпатией, немножко отвели душу разговорами о скромном молодом человеке и о сожалениях, возможно, терзающих женщину, которую он любил.

— Неужто вы не понимаете, что тут что-то неладно? — сказал, отирая вспотевший лоб, тот звонарь, что ведал дискантовым колоколом. — Я-то знаю, в какую конюшню ей хотелось бы нынче вечером поставить своих лошадей, когда они остановятся на ночлег.

— Скажи лучше, что знал бы, если бы имел понятие, где сейчас молодой мистер Хилл, а это никому во всем приходе не известно.

— Кроме как той леди, в чью честь мы сегодня трезвонили.

Но о том, сколь велико было горе Эммелины, не подозревали в то время ни эти добрые поселяне, ни даже те, кто общался с нею гораздо ближе, — так искусно она скрывала свою тоску. Однако вскоре после того, как молодые воротились в замок, состояние духа юной супруги перестало быть тайной. Ее слуги и служанки рассказывали, что она, как дурочка, пла-

чет горячими слезами, когда всякая разумная женщина перебирала бы свои новые платья. В церкви, вместо того чтобы считать перстни на пальцах, дремать или посмеиваться про себя, разглядывая молящихся стариков и старух, как делали в прежние времена красавицы из герцогского дома, она истово молилась, сидя одна, незаметная, как мышка, на огромной резной скамье. Казалось — пить из хрусталя и есть на серебре для нее не бо́льшая радость, чем хлебать из глиняной плошки. Мысли ее и правда были заняты чем-то другим, и это не ускользнуло от внимания ее супруга. Поначалу он только насмеялся над ней и советовал выбросить из головы размазну-священника. Но время шло, и попреки его становились все язвительнее. Он не верил, когда она клялась, что не подерживала связи с прежним своим возлюбленным с тех пор, как рассталась с ним в присутствии отца. Это повело к бурным сценам, о которых нет нужды рассказывать подробно; страшные последствия их не замедлили сказаться.

Однажды темным тихим вечером, месяца через два после свадьбы герцога, какой-то человек вошел через ворота в аллею, ведущую от большой дороги к замку. Не доходя до него шагов двести, он свернул с широкой аллеи на кружную тропинку и по ней добрался до кустов, посаженных у самого дома. Спустя несколько минут на башне замка пробили часы, и тогда в тот же укромный уголок скользнула с противоположной стороны фигура женщины. Две тени мгновенно слились воедино, как две капли росы на листе, а потом отделились друг от друга, и женщина потупила голову.

— Эммелина, ты просила меня прийти, и я пришел, да простит меня бог! — хрипло проговорил мужчина.

— Ты решил покинуть Англию, Элвин, — сказала она прерывающимся голосом. — Я слышала, ты отплываешь через три дня из Плимута на корабле «Слава Запада»?

— Да. Я не могу больше жить в Англии. Здесь жизнь для меня подобна смерти.

— Моя жизнь еще хуже — хуже смерти. Страх смерти не толкнул бы меня на такую крайность. Слушай, Элвин, я за тобой послала, чтобы просить тебя — позволь мне уехать с тобой или хоть быть где-нибудь недалеко от тебя. Что угодно, только бы не оставаться здесь.

— Уехать со мной? — переспросил он в изумлении.

— Да, да. Или хоть научи меня, что мне делать. Как-нибудь помоги мне! Не ужасайся, выслушай меня. Только жестокость могла вынудить меня к этому. Если бы еще он меня не трогал, я бы примирилась со своей долей; но он меня мучает, и если я здесь останусь, то скоро, очень скоро, сойду в могилу.

В ответ на его смятенный вопрос она пояснила, что герцог мучает ее из ревности.

— Он хочет вырвать у меня признание, он не верит, что

мы с тобой не виделись с тех пор, как отец сговорил меня за него и мне пришлось подчиниться родительской воле.

Бедный священник сказал, что это воистину дурные вести.

— Но неужели он с тобою жестоко обращается? — спросил он.

— Да, — отвечала она чуть слышно.

— Что же он делает?

Она опасно огляделась вокруг и заговорила сквозь слезы:

— Чтобы заставить меня признаться в том, в чем я не повинна, он измышляет всякие способы, какие — этого я не смею рассказать, — лишь бы довести меня до полного изнеможения, чтобы мне стало все равно, в чем ни каяться. Вот я и решила написать тебе, ведь больше друзей у меня нет. — И прибавила с печальной иронией: — Я подумала, раз он все равно мне не верит, пусть уж будет прав, дам ему хотя бы повод для подозрений.

— Эммелина, — спросил он, весь дрожа, — ты не шутишь, ты вправду хочешь... хочешь бежать со мной?

— А ты думаешь, я в такое время могла бы шутить?

Минуты две он молчал, потом ответил:

— Тебе нельзя ехать со мною.

— Почему?

— Это грех.

— Не может это быть грехом. Я за всю свою жизнь не помышляла ни о чем греховном, так неужели же стану теперь, когда я денно и ночью молюсь о том, чтобы смерть избавила меня от страданий!

— И все-таки это дурно, Эммелина.

— Разве дурно спастись от огня, который жжет тебя?

— Но от нареканий ты все же не спасешься.

— Элвин, Элвин! — вскричала она. — Заклинаю тебя, увези меня с собой! Я знаю, вообще-то это нехорошо, но ведь случай совсем исключительный! За что мне послано такое испытание? Я никому не делала зла, я многим помогала и надеялась быть счастливой; а пришло горе. Неужели господь насмеялся надо мной? Меня некому было поддержать, я уступила. А теперь жизнь для меня позор и тяжкое бремя... Ах, если бы ты знал, чего мне стоило обратиться к тебе с этой просьбой, ты не отказал бы мне, ведь от этого зависит вся моя жизнь!

— Помоги нам бог, это выше сил человеческих! — простонал он. — Эмми, ты — герцогиня Гемптонширская, супруга герцога. Тебе нельзя со мной ехать.

— Значит, я отвергнута? Отвергнута? — вскрикнула она, как безумная. — Элвин, ты в самом деле это сказал?

— Да, моя дорогая, моя бедная! С болью в душе я это сказал и повторяю. Тебе нельзя уехать. Прости меня, но выхода нет. Пусть я погибну, пусть погибнешь ты, но вместе бежать нам нельзя. Божеский закон этого не допускает. Прощай навсегда, на веки веков.

Он оторвался от нее, выбежал из кустарника и скрылся во мраке.

Три дня спустя после этой встречи и прощания Элвин отплыл дождливым утром из Плимута на пассажирском корабле «Слава Запада». Его красивые кроткие черты были отмечены печатью такой душевной муки, какой не могли бы наложить на них десять лет обычных житейских невзгод. Когда скрылась из глаз родная земля, он попытался по мере сил привести себя в стоическое состояние духа. Попытки эти, в сочетании с нравственной силой, позволившей ему устоять против соблазна страстей, которому подвергла его Эммелина, столь бездумно ему доверившись, до некоторой степени увенчались успехом, хотя часто, слишком часто в ропоте водной шири, на которую он взирал день за днем, ему чудились звуки ее незабвенного голоса.

Он составил себе строгий распорядок дня, чтобы легче было заглушать жгучие сожаления, которые по временам терзали его, когда он отдавался грезам о том, что могло бы быть, не послушай он голоса совести. Ежедневно он в течение долгих часов сосредоточивал свои мысли на философских трудах, которые взял с собой, и лишь изредка разрешал себе на несколько минут задуматься об Эммелине, — так занемогший эпикуреец, против воли обращаясь в скрягу, по капле отмеривает себе пьянящий напиток, причину своего недуга. В пути случилось несколько происшествий, обычных для переезда по морю в те времена: шторм, штиль, человек за бортом, рождение ребенка и похороны, причем последнее печальное событие потребовало его участия, — как единственный на корабле священник, он читал заупокойную службу. В начале следующего месяца корабль прибыл в Бостон, и оттуда Элвин отправился в Провиденс, где жил его дальний родственник.

Пробыв там недолгое время, он возвратился в Бостон и усердно взялся за работу, что очень помогло ему стряхнуть с себя мрачную меланхолию, все еще им владевшую. Недавние переживания ослабили и замутили его веру, поэтому он решил, что не может в ближайшее время достойно нести обязанности духовного пастыря, и попросил место учителя в школе. Тут ему пригодились некоторые рекомендации, полученные перед отъездом из Англии, а вскоре молва о нем как о серьезном ученом и почтенном человеке дошла до попечителей одного колледжа. Кончилось тем, что он оставил школу и водворился в этом колледже в качестве преподавателя риторики и ораторского искусства.

Так он жил и трудился, движимый единственно решимостью добросовестно исполнять свой долг. В зимние вечера он сочинял элегии и сонеты, изливая свои чувства в стихах, большей частью посвященных «Одной несчастной леди», а летом, если не бывал занят, проводил конец дня, наблюдая из своего окна, как удлиняются тени, и сравнивая их в воображе-

нии с тенями своей жизни. На прогулках он всегда смотрел, в какой стороне восток, и думал об океане, простершемся там на две тысячи миль, и о том, что осталось за его далью. Словом, каждую свободную минуту он уносился мыслями к той, что была для него лишь воспоминанием и едва ли могла стать чем-нибудь иным.

Прошло девять лет, и под действием их лицо Элвина утратило очарование молодости, ранее отличавшее его. Он был добр к своим ученикам и приветлив со всеми, с кем ему приходилось общаться; но ключ своей жизни, свою тайну, хранил так же крепко, как если бы был немым. Беседуя со знакомыми об Англии и о своей тамошней жизни, он обходил эпизод с Эммелиной и Бэттонским замком, точно ничего этого и не было в его прошлом. При всей своей неизмеримой важности для него те короткие дни промелькнули так быстро, что теперь, через столько лет, он и сам бы, возможно, не помнил о них, если бы не событие, которым они были отмечены.

И вот однажды, проглядывая на досуге старую газету, присланную из Англии, он увидел коротенькую заметку, которая для него, однако, заключала целые фолианты волнующего содержания, звенела ритмом более страстным, нежели все строфы всех поэтов земли. То было объявление о смерти герцога Гемптонширского,— он умер бездетным, оставив после себя только вдову.

Весь ход мыслей Элвина мгновенно принял другое направление. Взглянув еще раз на газету, он убедился, что получил ее уже давно, но по небрежности отложил, не читая. Если бы не вздумалось ему разобрать бумаги в своем кабинете, он мог бы еще много лет оставаться в неведении. Со смерти герцога прошло уже семь месяцев. Элвин не в силах был больше трактовать с кафедры об искусственно подобранных синекдохах, антитезах и метафорах,— в душе его сами собой рождались все эти риторические фигуры, но их он не смел произнести вслух. Нужно ли удивляться, что он предался блаженным мечтам о счастье, раз оно теперь, впервые за долгие годы, казалось возможным? Ведь он и сейчас не любил ничего и никого на свете, кроме Эммелины. Его безмолвный романтический монолог вылился в решение — возвратиться к ней, не теряя ни часа.

Но он не мог сразу же бросить работу. Лишь четыре месяца спустя ему удалось освободиться от всех своих дел, однако, хоть и снedaемый нетерпением, он не уставал повторять себе: «Если она не разлюбила меня за девять лет, то не разлюбит и за десять; перемена в жизни и одиночество окажут на нее свое действие, она вспомнит прежние времена, станет думать обо мне еще нежнее; каждый новый день сулит мне все более радостную встречу».

Но вот кончилась и вынужденная отсрочка, и, прибыв благополучно в Англию через год с небольшим после смерти

герцога, он однажды к концу зимнего дня добрался до деревушки Бэттон.

Так велико было нетерпение Элвина, что, несмотря на поздний час, он не мог удержаться, чтобы теперь же не взглянуть на замок, в который Эммелина десять лет назад вошла на свое горе молодою хозяйкой. Он шел парком, задумчиво глядя вперед, где знакомые очертания дома вырастали на темнеющем небе, и вскоре с интересом заметил, что и впереди и позади него по тенистой аллее, ведущей к воротам замка, бодро шагают по двое, по трое деревенские жители. Не опасаясь быть узнанным, Элвин осведомился у одного из них, что здесь происходит.

— Ее светлость устраивает для своих арендаторов праздник, как повелось еще при герцоге и при его отце, она не хочет нарушать старый обычай.

— Вот как. Она, что же, после смерти герцога живет здесь одна?

— Одна как перст. Но хоть званых вечеров у нее и не бывает, ей приятно, когда здешние жители веселятся, она частенько их сюда приглашает.

«Добра по-прежнему», — подумал Элвин.

Он подошел к замку; боковые ворота были гостеприимно распахнуты, а залы и переходы в этом крыле ярко освещены множеством свечей, ронявших горячие капли на свежую зелень, которой были увиты люстры, и на шелковые платья фермерских жен, с довольным видом прохаживающихся по комнатам под руку с мужьями. Элвин беспрепятственно вошел в замок вместе с остальными, — сегодня вход для всех был свободный. Не замечаемый никем, он остановился в углу большой залы, где вскоре должны были начаться танцы.

— Хоть ее светлость только что сняла траур, — сказал кто-то стоявший рядом, — а все равно она обещала, что сойдет вниз и откроет бал с соседом Бейтсом.

— Кто это сосед Бейтс? — спросил Элвин.

— Старик, которого она очень уважает, самый старый из всех ее арендаторов. Ему недавно стукнуло семьдесят восемь.

— Ах да, я помню, — сказал Элвин со вздохом облегчения.

Танцоры построились парами и замерли в ожидании. В дальнем конце залы отворились двери, и вошла дама в черном шелковом платье. Она с улыбкой поклонилась гостям и заняла свое место в первой паре.

— Кто это? — спросил в недоумении Элвин. — Вы как будто сказали, что ее светлость...

— Это и есть ее светлость, — отвечал его собеседник.

— А где же другая?

— Никакой другой нет.

— Но ведь это не та герцогиня Гемптонширская, кото-

рая... которая...— У Элвина язык отнялся, он не мог продолжать.

— Что это с вами? — спросил его новый знакомый, увидев, что он отступил на шаг и прислонился к стене.

Несчастный Элвин пробормотал, что у него в боку закололо от долгой ходьбы. А тут заиграла музыка, начался бал, и сосед его, заглядевшись на то, как эта непонятная герцогиня продельвает сложные фигуры танца, на время забыл о его существовании.

Воспользовавшись этим, Элвин постарался взять себя в руки. Страдать было ему не внове.

— Как случилось, что эта женщина стала вашей герцогиней? — спросил он твердым, ясным голосом, уже вполне овладев собой.— Где другая герцогиня Гемптонширская? Ведь она была. Я это наверняка знаю.

— Ах, вы про ту? Ну, она-то давным-давно сбежала с младшим священником. Мистер Хилл его звали, если мне память не изменяет.

— Как так сбежала? Этого же не было,— сказал Элвин.

— А вот так и сбежала. Месяца через два после свадьбы она встретилась с этим священником в кустах возле дома. Нашлись люди, что видели их и кое-что слышали из их разговора. Они условились обо всем, а дня через три отплыли из Плимута.

— Это неправда.

— Ну, если это ложь, тогда уж не знаю, что правда. Ее отец до смертного часа был в этом уверен, и герцог тоже, да и все в округе. Ох, и подняли тогда кутерьму! Герцог проследил ее до Плимута.

— До Плимута?

— Да, до Плимута, и там его люди выяснили, что она пришла в корабельную контору и спросила, записался ли мистер Элвин Хилл пассажиром на «Славу Запада»; а когда узнала, что да, то и сама записалась, только под чужим именем. Позже, уже после отплытия корабля, герцог получил от нее письмо, она ему все рассказала. А сюда так и не вернулась. Его светлость много лет жил один, на нашей герцогине он женился всего за год до своей смерти.

Изумление Элвина нельзя описать никакими словами. Но как ни был он ошеломлен и растерян, на следующий день он побывал у герцогини Гемптонширской, которую все еще считал не настоящей. Выслушав его, она сперва встревожилась, потом стала надменна и холодна, потом, смягчившись при виде его отчаяния, ответила откровенностью на откровенность. Она показала ему письмо, найденное в бумагах покойного герцога и подтверждавшее то, что Элвин узнал накануне. На почтовом штемпеле стояла дата отплытия «Славы Запада», и в письме Эммелина кратко сообщала, что уехала на этом корабле в Америку.

Элвин употребил все усилия, чтобы до конца раскрыть тайну. От всех он слышал одно и то же: «Она сбежала с младшим священником». Но когда он немного расширил круг своих поисков, то узнал и кое-что более существенное. Ему назвали имя одного плимутского лодочника, который, когда герцог хватился своей жены и стал ее разыскивать, будто бы заявил, что поздно вечером, перед отплытием «Славы Запада», сам перевез беглянку с берега на корабль.

Порыскав несколько дней по переулкам и пристаням плимутского порта, Элвин, неотступно преследуемый этими невероятными словами: «Сбежала с младшим священником», — нашел-таки старого лодочника. Тот охотно повторил свой рассказ. Он хорошо помнил этот случай и подробно описал — как в свое время описывал герцогу — платье и наружность уезжавшей леди; сомнений не оставалось: это самое платье Элвин видел на Эммелине в вечер их прощания.

Прежде чем отправиться за океан для дальнейших поисков, Элвин, теряясь в догадках, постарался раздобыть адрес капитана Уилера, который вел «Славу Запада», когда сам Элвин был на ней пассажиром, и тут же написал ему письмо.

Все подробности этой истории, какие старый моряк мог вспомнить или разыскать в своих документах, сводились к тому, что перед одним из его тогдашних рейсов на корабль действительно явилась женщина, назвавшаяся так, как упомянул в своем письме Элвин; что она ехала в общей каюте среди самых бедных переселенцев; что она умерла дней через пять после выхода из Плимута; что по виду она казалась женщиной благородной и воспитанной. Почему она не записалась в первый класс, почему ехала без вещей — этого никто не мог взять в толк: пусть денег у нее было мало, такой женщине нетрудно было бы их достать. «Мы похоронили ее в море, — писал далее капитан. — Как сейчас помню, отпевал ее молодой священник, пассажир первого класса».

Словно молния озарила эту картину в памяти Элвина. Было ясное, ветреное утро, ему только что сказали, что корабль идет со скоростью ста с лишним миль в сутки. И тут стало известно, что одна несчастная молодая женщина на нижней палубе заболела лихорадкой и лежит в бреду. Весть эта сильно встревожила пассажиров, потому что санитарные условия на корабле оставляли желать лучшего. А вскоре судовой лекарь объявил, что она умерла. Вслед за этим Элвин узнал, что хоронить ее будут без задержки, опасаясь заразы. И вот теперь перед глазами его возникла картина похоронного обряда, в котором он и сам играл не последнюю роль. На корабле не было своего священника, поэтому капитан пришел к нему с просьбой отслужить заупокойную службу. Он согласился; и вечером, когда прямо перед ним опускался за горизонт красный шар солнца, он читал среди стоявших в молчании пассажиров и матросов: «Посему предаем тело ее водной пучи-

не, да обратится в тлен, в чаянии воскресения, когда отдаст море мертвых, бывших в нем».

Капитан сообщил ему также адреса судовой экономки и других лиц, служивших в то время на «Славе Запада». Элвин посетил их одного за другим. Повторные описания платья умершей, цвета ее волос и других примет погасили последнюю искру надежды на возможную ошибку.

Теперь наконец прояснился весь ход событий. В тот злополучный вечер, когда он покинул Эммелину, запретив ей следовать за собой, так как это было бы грехом, она, очевидно, послушалась. В темноте она украдкой пошла за ним следом, как несчастная собачонка, которая не отстаёт, хоть ее и гонят. Она ничего не могла захватить с собой, кроме того, что было у нее тогда в руках; и так, почти ничего при себе не имея, и пустилась в путь. В намерения ее, несомненно, входило открыть ему свое присутствие на корабле, как только она найдет в себе для этого достаточно мужества.

Так развернулась перед внутренним взором Элвина десятилетней давности глава его романа. То, что неимущей пассажиркой была юная герцогиня Гемптонширская, никогда не стало достоянием гласности. Хиллу незачем было дольше оставаться в Англии, и вскоре он покинул ее берега, теперь уже навеки. Перед отъездом он поведал свою повесть одному другу детства — деду человека, который только что рассказал ее вам.

Глядящему на нее сзади ее каштановые волосы представлялись какой-то загадкой, чудом. Под черной касторовой шляпой с плюмажем из черных перьев длинные локоны, перевитые и переплетенные, точно прутья корзины, являли собой пример искусства изощренного, хотя, быть может, и не согласного со строгим вкусом. Подобные волны и кольца следовало бы, создав однажды, оставлять в неприкосновенности на целый год или хотя бы на месяц; и оттого, что это творение существовало всего один день — на ночь его разрушали,— было жаль затраченного времени и труда.

А ей, бедняжке, приходилось все это делать собственными руками — у нее не было горничной. Да и вообще, в смысле внешнего блеска ей нечем было похвастаться, кроме этой нарядной прически. Отсюда столь беспредельное терпение.

Молодая женщина была калекой, хотя по ее внешности об этом можно было и не догадаться,— она сидела в кресле на колесах, которое выкатили вперед поближе к эстраде на зеленой лужайке, где в этот теплый июньский день шел концерт. Дело происходило в небольшом парке или частном саду, каких немало на окраинах Лондона; местное благотворительное общество давало концерт, чтобы собрать средства на какое-то из своих начинаний. Огромный Лондон — это тысяча обособленных миров, живущих каждый своей жизнью, и, хотя за пределами ближайших кварталов ни цели концерта, ни исполнители, ни этот парк никому не были известны, на лужайке собралось порядочно публики, слушавшей с интересом и вполне обо всем осведомленной.

Многие, слушая музыку, разглядывали даму в кресле — ее роскошные волосы привлекали внимание, тем более что сидела она у всех на виду. Лица ее не было видно, но описанные уже хитросплетения локонов, изящные ушко и шейка, тонко очерченная матовая щека наводили на мысль, что женщина,

должно быть, очень хороша собой. Подобные надежды иногда приносят разочарование,— так случилось и на этот раз: когда дама наконец повернула голову, сидевшие сзади увидели, что она вовсе не такая красавица, как они предполагали и даже, сами не зная почему, надеялись.

Прежде всего — недостаток, которого, увы, рано или поздно никому не избежать! — дама была не столь молода, как им казалось. Впрочем, бесспорно, лицо ее было привлекательно и вовсе не говорило о болезни. Черты ее можно было рассмотреть всякий раз, когда она оборачивалась к мальчику лет двенадцати — тринадцати, стоявшему рядом с ней, чья шапочка и куртка свидетельствовали о том, что он учится в одной из широко известных аристократических школ. Стоявшие неподалеку слышали, что он называл ее мамой.

По окончании концерта, когда публика начала расходиться, многие нарочно прошли поближе к ней. Почти все оглядывались, стараясь получше рассмотреть эту женщину, вызывавшую общий интерес, а она неподвижно сидела в кресле, ожидая, пока освободится для нее дорога. Она как будто ничего не имела против удовлетворения их любопытства и иногда сама поднимала навстречу обращенным к ней взглядам свои темные, приветливые, кроткие и чуть печальные глаза.

Ее вывели из сада и покатали по улице, и вскоре она и мальчик, шагавший рядом, исчезли из виду. Проводив их взглядом, некоторые принялись расспрашивать об этой женщине: им рассказали, что она вторая жена священника из соседнего прихода, что она хромая и что в прошлом у нее, кажется, была какая-то история, правда, вполне невинная, ну а все-таки что-то было.

По дороге домой мальчик выразил надежду, что с отцом за их отсутствие ничего не случилось.

— Сегодня ему вроде получшало, так что, наверное, все в порядке,— ответила она.

— Не «получшало», мамочка, а «стало лучше»,— нетерпеливо и даже раздраженно поправил питомец знаменитой аристократической школы.— Пора знать такие вещи.

Мать смиренно приняла это замечание, нисколько не обиженная, и не отплатила ему той же монетой, хотя могла бы посоветовать ему вытереть хорошенько губы, облепленные крошками от пирога, которым он тайком лакомился, извлекая по кусочку из кармана. Далее миловидная женщина и мальчик продолжали свой путь молча.

Неправильности речи имели некоторое отношение к истории ее жизни; она задумалась, и мысли ее, видно, были не из веселых. Она как будто спрашивала себя, разумно ли она поступила, избрав жизненный путь, приведший ее к такому положению вещей.

В глухом уголке Северного Уэссекса, миль за сорок от Лондона, в окрестностях благоденствующего городка Олдбрикэ-

ма раскинулась живописная деревушка с церковью и домиком пастора,— сын ее никогда их не видал, но ей-то они были хорошо знакомы. Это была ее родная деревня Геймэд, и именно здесь произошло событие, перевернувшее всю ее жизнь; ей в ту пору было всего девятнадцать лет.

Как хорошо помнила она этот первый акт своей маленькой трагикомедии — тот весенний вечер, когда у священника умерла жена. С тех пор прошло уже много лет, она стала его второй женой; но в те далекие времена она служила в его доме простой горничной.

Когда все, что можно было сделать, было сделано, и конец все же наступил, она, уже в сумерках, собралась пойти к своим родителям, жившим в той же деревне, и сообщить им печальную новость. Отворив садовую калитку, она поглядела в ту сторону, где высились огромные деревья, заслоняя бледный свет закатного неба, и ничуть не удивилась, различив у ограды темную фигуру, хотя для приличия лукаво воскликнула:

— Ох, Сэм, до чего ты меня напугал!

Это был ее знакомый, молодой садовник. Она подробно рассказала ему о последних событиях, и оба они примолкли, охваченные тем возвышенным, спокойной-философским настроением, которое всегда является, когда несчастье постигает кого-то рядом, но не самого философа. Однако на этот раз случившееся имело и прямое отношение к ним.

— А ты как — и теперь будешь служить у пастора? — спросил он.

Об этом она еще не думала.

— Не знаю,— сказала она.— Наверное, все останется по-прежнему.

Они шли рядом по дороге к дому ее матери. Потом рука его обвилась вокруг ее талии. Она тихонько высвободилась, но он опять ее обнял, и на этот раз она не сопротивлялась.

— Вот что, Софи, милая, неизвестно еще, оставят тебя или дадут расчет, а тебе, может, захочется иметь свой уголок, так ты знай, вот скоро я устроюсь попрочней,— и мы сможем зажить своим домком!

— Ишь ты какой скорый! Да я еще ни разочку не сказала, что ты мне нравишься. Это ты за мной бегаешь!

— Что же, разве я не имею права попытаться счастья, как другие? — Они уже подошли к дому ее родителей, и он хотел поцеловать ее на прощанье.

— Нет, Сэм, не смей! — воскликнула она, прикрыв ему губы ладонью.— Уж сегодня-то мог бы вести себя поприличней.— И она убежала, так и не позволив себя поцеловать и не пригласив его зайти.

Овдовевшему пастору было в то время лет под сорок; он происходил из хорошей семьи; детей у него не было. В своем маленьком приходе он и раньше вел довольно замкнутый образ

жизни, отчасти потому, что владельцы соседних поместий бывали здесь только наездами; теперь же тяжелая утрата укрепила в нем привычку к уединению. Он еще реже появлялся на людях, еще меньше принимал участие в той суете, которые в нашем мире называют прогрессом. Долгое время после смерти жены все в доме шло по-прежнему: служанка, кухарка, садовник и горничная делали, что им надлежало, или не делали — смотря по настроению, пастора это не заботило. Но однажды кто-то удивился, зачем одинокому человеку столько слуг. Справедливость этой мысли поразила его, и он решил несколько сократить свое хозяйство. Однако Софи, горничная, опередила его, заявив как-то вечером, что хочет взять расчет.

— Почему? — спросил священник.

— Сэм Гобсон за меня сватается, сэр.

— Вот как,— и что же, вам хочется замуж?

— Нет, не очень. Но надо же иметь свой угол. А то мы слыхали, что кому-то из нас придется уйти.

Через два дня она сказала:

— Если вы не против, сэр, я пока обожду брать расчет. Мы с Сэмом поссорились.

Он поглядел на нее. Прежде он особенно к ней не присматривался, хотя часто замечал ее тихое присутствие в комнате. Какая она нежная, и движения мягкие, как у котенка! С другими слугами ему как-то не приходилось общаться, только с ней. Что же будет, если она уйдет?

Ушла не Софи, а другая служанка, и жизнь опять потекла по прежнему руслу.

Однажды пастор, мистер Твайкотт, захворал, и Софи пришлось носить ему наверх еду; и вот как-то раз, только дверь за ней притворилась — он услышал шум на лестнице. Она оступилась, упала вместе с подносом и сильно подвернула ногу, так что не могла на нее ступить. Позвали деревенского врача; священник вскоре оправился, но Софи долго еще была прикована к постели; ей сказали, что никогда уже она не сможет много ходить или подолгу быть на ногах. Едва почувствовав себя лучше, она пошла поговорить с пастором, когда он был у себя один. Ей запретили ходить и хлопотать по хозяйству — ей это и вправду трудно,— так что она должна уйти. А работу подходящую она себе найдет, у нее тетя белошвейка.

Священник, до глубины души тронутый всем, что она из-за него перенесла, воскликнул:

— Нет, Софи, больная у вас нога или здоровая — я все равно вас не отпущу. Вы должны остаться со мной навсегда!

Он подошел ближе, и вдруг — Софи потом никогда не могла объяснить, как это случилось,— она вдруг почувствовала на щеке прикосновение его губ. И он тут же попросил ее стать его женой. Чувство, которое Софи испытывала к пастору, не

было, пожалуй, любовью — это было почтение, граничившее с благоговением. Даже если бы ей очень хотелось уйти из этого дома, вряд ли она решилась бы в чем-либо отказать человеку, воля которого была для нее священна; поэтому она без дальних размышлений согласилась выйти за него замуж.

В одно прекрасное утро, когда, по обыкновению, открыли двери церкви, чтобы проветрить помещение, и щебечущие птицы впорхнули внутрь и расселись под потолком, здесь у алтаря свершилась брачная церемония, о которой никто в округе не был заранее оповещен. В одну дверь вошли пастор и священник из соседнего прихода, в другую — Софи в сопровождении двух необходимых свидетелей, — и спустя некоторое время из церкви вышли только что повенчанные муж и жена.

Мистер Твайкотт отлично сознавал, что, хотя репутация Софи была безупречна, этим шагом он погубил себя в глазах общества; поэтому он предпринял соответствующие меры. Он обменялся приходом со знакомым пастором с южной окраины Лондона, и, как только представилась к тому возможность, новобрачные переехали из утонувшего в зелени, уютного деревенского домика с садом в тесный пыльный дом на длинной прямой улице, променяв чудесный перезвон колоколов на самый отвратительный лязг одинокого колокола, какой когда-либо терзал человеческое ухо. И все это ради Софи. Здесь никто не знал о ее прошлом; семейная их жизнь не вызывала такого любопытства, как то было бы в маленьком деревенском приходе.

Жена из Софи получилась очаровательная, лучше и пожелать нельзя, но как супруга человека, имеющего определенное положение в обществе, она имела немало недостатков. Она легко усваивала все, что касалось домашнего уюта и манер, но этого природного чутья оказалось недостаточно для приобретения того, что называется культурой. Уже более четырнадцати лет она была замужем, и муж потратил немало усилий на ее образование, но частенько вместо «их», она говорила «ихний», и этим не снискала уважения у тех немногих знакомых, которых приобрела. Более всего ее печалило сознание, что единственный сын, на образование которого они не жалели средств, теперь уже настолько вырос, что стал замечать ее промахи; а он не только их замечал, но еще и раздражался при этом.

Так жила она в городе, часами выкладывала свою пышную прическу, и постепенно ее когда-то яркий румянец побледнел. Нога после несчастного случая так и не поправилась, и она вынуждена была почти совсем отказаться от прогулок. Муж со временем полюбил Лондон — ему нравилось, что здесь живет свободно и никто не вникает в чужие семейные дела; но он был на двадцать лет старше Софи и недавно тяжело заболел. В этот день, однако, он как будто чувствовал себя лучше, и она решилась вместе с сыном Рэндольфом пойти послушать музыку.

Но вот мы видим ее снова, на этот раз в печальном одеянии вдовы.

Мистер Твайкотт так и не выздоровел и теперь лежал на переполненном кладбище южной окраины столицы среди покойников, из которых никто при жизни не только не был знаком с мистером Твайкоттом, но и фамилии-то его никогда не слышал. Сын исполнил свой долг, проводив отца до могилы, и снова вернулся в школу.

Пока происходили эти перемены, все обращались с Софи, как с ребенком, каким она и была, если не по возрасту, то по натуре. По завещанию мужа она могла распоряжаться только скромным годовым доходом, оставленным ей лично. Все остальное он, опасаясь, что Софи по ее неопытности могут обмануть, поручил опекунам. Сыну был обеспечен полный курс школы, затем поступление в Оксфордский университет, по окончании которого его ждал священнический сан; и самой Софи оставалось только есть да пить, чем-то заполнять свой досуг, завивать и укладывать свои каштановые локоны и следить за тем, чтобы все в доме было в готовности к приезду сына на каникулы.

Муж, предвидя, что скончается на много лет раньше Софи, незадолго до смерти купил на ее имя небольшой особнячок на той же длинной прямой улице, где находилась и церковь с пасторским домиком. В этом особняке она и обосновалась теперь и часто подолгу сидела у окна, глядя на крошечный кусочек газона перед домом и дальше, через решетку палисадника, на никогда не затихающую улицу; или, высунувшись из окна второго этажа, устремляла взор вдоль строя закопченных деревьев и грязно-серых фасадов, от которых в пыльном воздухе эхом отдавался шум, столь обычный для главной улицы городского предместья.

Между тем сын со своей школьной ученостью, безупречно правильной речью и высокомерием, усвоенным в аристократическом интернате, мало-помалу утрачивал то широкое сочувствие всему миру, простирающееся даже на солнце и луну, с которым он, подобно всем детям, родился и которое мать его, сама дитя природы, так в нем любила; теперь его внимание привлекал лишь узкий круг из нескольких тысяч богатых и титулованных особ — капля в море прочих людей, ни в коей мере его не интересовавших. Он все больше и больше отдалялся от матери. Нет ничего удивительного в том, что Софи, которая жила в предместье, где селились лишь мелкие торговцы и клерки, и разговаривала только с двумя своими служанками, вскоре после смерти мужа утратила даже и тот светский лоск, который она при нем усвоила, и теперь сын видел в ней только деревенскую женщину, за чьи ошибки и происхождение ему как джентльмену суждено было мучительно краснеть. Он был еще недостаточно взрослым, — а может быть, тут и годы бы не по-

могли, — чтобы понять, как бесконечно малы эти пороки по сравнению с нежностью, переполнявшей ее сердце и остававшейся не излитой до той поры, пока сын не станет способным принять этот драгоценный дар или пока не найдется для этого какой-нибудь другой человек. Если бы Рэндольф жил дома, с ней, она бы целиком отдала это чувство ему; но сейчас он, по-видимому, так мало в нем нуждался — и оно оставалось затаенным в глубине ее сердца.

Жизнь ее была невыносимо однообразна: прогулок пешком она совершать не могла, кататься по городу, да и вообще разъезжать — не любила. Так, без всяких перемен, прошло почти два года, а она все сидела у окна и смотрела на пыльную улицу и вспоминала деревню, где она родилась и куда ей так хотелось вернуться, пусть даже ей пришлось бы — ах, какое это было бы счастье! — работать в поле простой поденщицей.

Мало бывая на воздухе, Софи плохо спала и часто ночью или ранним утром вставала поглядеть на пустынную в это время дорогу, вдоль которой выстроились фонари, точно караульные в ожидании торжественного шествия. И действительно, каждую ночь перед рассветом здесь двигалось некое шествие — возы, нагруженные овощами, направлялись на Ковент-Гарденский рынок. В этот безмолвный сумеречный час они проползали мимо, воз за возом, а на возах — зеленые бастионы из капусты, которые покачивались, словно вот-вот упадут, но никогда не падали, крепостные стены из корзин с бобами и горохом, пирамиды белоснежной репы, паланкины с разной мелкой овощью — все это проползало мимо, влекомое дряхлыми лошадьми, ночными работниками, которые между приступами гулкого кашля, казалось, терпеливо размышляли, отчего это им суждено трудиться в сей мирный час, когда все живое давно отдыхает. Она любила, когда уныние и расшалившиеся нервы гнали прочь сон, завернувшись в плед, с сочувствием глядеть на лошадей, наблюдать, как, проплывая мимо фонаря, вспыхивает живыми красками свежая зелень, как потные бока животных блестят и дымятся после долгих миль пути.

Какое-то особое очарование таилось для нее в этих проезжающих по городским улицам деревенских повозках и в их возницах тоже деревенского вида, — жизнь их, казалось ей, совсем не похожа на ту суету, которая царилла на улице в дневные часы. Однажды под утро она заметила, что какой-то человек на возу с картофелем пристально разглядывает домá на улице, и ей почудилось в нем что-то знакомое. Она решила подстеречь его снова. Старомодный фургон с желтым передком узнать было нетрудно, и на третью ночь она опять его увидела. Да, она не ошиблась, это был Сэм Гобсон, который много лет назад был садовником в Геймэде и чуть было не стал тогда ее мужем.

Случалось и раньше, что она вспоминала о нем и спрашивала себя, не была бы жизнь с ним в деревенском домике более

счастливым уделом, чем та, которую она избрала. Но тогда она думала о нем без особой нежности, а теперь, когда она изнывала от скуки, его появление, как это и понятно, пробудило в ней живейший интерес. Она легла в постель и задумалась. Эти огородники обычно прибывают в город в час или в два ночи, а когда же они возвращаются? Ей смутно помнилось, что пустые возы, совсем неприметные днем среди уличной сутолоки, проезжают здесь что-то около полудня.

Был еще только апрель, но в то утро она тотчас после завтрака велела поднять раму и уселась у окна, освещенная бледным весенним солнцем. Она делала вид, что шьет, а сама не сводила глаз с улицы. Наконец между десятью и одиннадцатью она увидела долгожданный фургон, порожняком возвращавшийся домой. Но на этот раз Сэм сидел на козлах, погруженный в раздумье, и не озирался по сторонам.

— Сэм! — крикнула она.

Сэм вздрогнул, обернулся — и лицо его озарилось радостью. Он подозвал какого-то мальчугана подержать лошадь, соскочил с повозки и подбежал к окну.

— Мне трудно ходить, Сэм, а то бы я сошла, — сказала она. — Ты знал, что я тут живу?

— Да, миссис Твайкотт, я знал, что вы живете где-то поблизости. Я часто тут кругом поглядывал, думал, увижу вас.

Он вкратце рассказал ей, как вышло, что он очутился здесь. Садовничать в деревне около Олдбрикэма он бросил уже давно; теперь он служит управляющим у фермера в пригороде к югу от Лондона, и в его обязанности входит раза два-три в неделю доставлять фургон с овощами на Ковент-Гарденский рынок. Она с любопытством спросила, почему он переехал именно в эту часть Лондона, и он сказал, что год или два назад прочел в олдбрикэмской газете о кончине их бывшего геймэдского викария, который был потом настоятелем церкви в южном предместье Лондона; мысль, что Софи живет здесь, засела у него в голове, и он все кружил по этим местам, пока наконец не устроился к своему фермеру.

Они поговорили о родной деревушке в милом их сердцу Северном Уэссексе, о местах, где в детстве любили играть. Она старалась не забывать, что теперь она дама из общества и не должна слишком откровенничать с Сэмом. Но долго выдержать она не смогла, голос ее задрожал, глаза наполнились слезами.

— Вам, видно, не очень-то весело живется, миссис Твайкотт? — сказал он.

— Откуда же быть веселью! Я только в позапрошлом году похоронила мужа.

— Я знаю. Но я не про то. Вам не хочется вернуться в наши родные места?

— Мое место здесь, на всю жизнь. Это мой дом. Но я понимаю... — И вдруг Софи перестала сдерживаться. — Да! Хочется! Господи, я так тоскую по родным местам, *нашим*

родным местам! Ах, Сэм, поселиться бы там, и никуда бы не уезжать — и там бы и умереть! — Она опомнилась. — Что это на меня вдруг нашло? У меня ведь есть сын, чудесный мальчик. Он сейчас в школе.

— Где-нибудь по соседству, да? Я видал несколько школ на этой улице.

— Что ты! В такой грязной дыре! Нет, он в закрытой школе, это одна из лучших в Англии.

— А-а! Ну конечно! Я и забыл, что вы уже столько лет важная дама.

— Нет, я не стала важной дамой, — сказала она, — и никогда не стану. Но мой сын — настоящий джентльмен, и мне... из-за этого... так трудно!

* * *

Знакомство, возобновленное столь необычным путем, продолжалось. Часто ночью или перед полуднем она выглядывала из окна, чтобы перекинуться словечком с Сэмом. Но он всякий раз останавливался лишь ненадолго, и ей так было досадно, что она не может хоть немного проводить единственного своего старого друга и поболтать с ним. Однажды ночью в начале июня, когда после нескольких дней отсутствия она опять появилась на своем посту у окна, он вошел в калитку и тихо сказал:

— Ведь вам бы полезно побыть на чистом воздухе, правда? У меня сегодня только полфургона. Почему бы вам не прокатиться со мной до Ковент-Гардена? Я на капусте постелил мешок, сидеть вам будет удобно. А потом вернетесь домой в кебе, никто и знать ничего не будет.

Сначала она отказалась, потом, трепеща от волнения, поспешно оделась потеплей и, накинув пальто и вуаль, соскользнула вниз по перилам — она еще раньше приладилась это делать на случай какой-нибудь крайности. Сэм встретил ее на пороге — он, как пушинку, поднял ее на руки и пронес через палисадник к фургону. Ни души не было на ровной прямой улице, только часовые-фонари шагали в обе стороны, уходя в бесконечную даль и превращаясь в едва заметные точки. Воздух был свежий-свежий, словно ранним утром в деревне, на небе сверкали звезды, и только на северо-востоке брезжила светлая полоска. Сэм бережно усадил Софи на приготовленное для нее место и тронул лошадей.

Они непринужденно болтали, как это бывало в старину, только время от времени Сэм себя одергивал, когда думал, что становится слишком фамильярным. Раз или два она неуверенно промолвила, что не следовало бы ей пускаться в эту поездку.

— Но дома я так одинока, — прибавила она, — а сейчас мне так хорошо.



— Ну, и надо будет опять поехать, миссис Твайкотт. Лучше времени для прогулки не выберешь.

Светало. На улицах появились деловитые воробьи, город вокруг оживал. Когда они подъехали к реке, уже совсем рассвело, и на мосту им в глаза сверкнуло яркое утреннее солнце, вынырнув из-за собора св. Павла, и протянувшаяся к востоку пустынная река вся блистала. В этот ранний час ни одного суденышка не виднелось на ее поверхности.

У Ковент-Гардена Сэм усадил Софи в кеб, и они расстались, открыто глядя друг на друга, как старые друзья. Доехала она без приключений, прихрамывая, прошла через палисадник и вошла в дом, никем не замеченная, отперев дверь своим ключом.

Свежий воздух и общество Сэма подействовали на нее благотворно: она раздумянулась, стала почти красивой. Теперь, кроме сына, у нее было еще кое-что, ради чего стоило жить. И вместе с тем она не могла отделаться от какого-то чувства вины: правда, как человек с чистой душой, она знала, что в этой поездке не было ничего дурного, но, с точки зрения светских условностей, это был недопустимый поступок.

Все же вскоре она снова уступила искушению поехать с Сэмом, и на этот раз разговор их был явно нежного характера: Сэм сказал, что хоть в прошлом она и причинила ему столько горя, он все равно никогда ее не забудет. После некоторых колебаний он поведал ей о своем плане, который он давно задумал, а теперь можно бы и за дело взяться, он

даже и денег прикопил. Эта работа в Лондоне ему не по сердцу, его мечта — открыть зеленую лавку в Олдбрикэме, городке в их родном графстве. А тут и случай подвернулся — хозяева одной лавки, пожилые люди, хотели уйти на покой.

— За чем же остановка, Сэм? — спросила она, и сердце у нее упало.

— Вот не знаю, как вы, — захотите ли поехать со мной? Наверное, нет — да вам и нельзя! Столько лет вы были настоящей леди, — как же вам теперь выходить за такого, как я.

— Да, навряд ли это можно, — согласилась она, сама напуганная подобным предположением.

— А если бы можно, — продолжал он с чувством, — у вас только и было бы работы — посидеть в задней комнатке да приглядеть за товаром через стеклянную переборку, если я куда выйду, — чтобы свой глаз был. И больная нога не помешала бы... И жили бы вы у меня как благородная, милая Софи, уж как бы я вас берег! — уговаривал он.

— Сэм, — проговорила она, пожимая его руку, — скажу тебе прямо, будь дело только во мне, я бы согласилась, даже с радостью, хоть со вторым замужеством я потеряю все, что у меня есть.

— Ну и что же! Эдак еще лучше — никому не будем обязаны.

— Какой ты добрый, Сэм, милый ты мой. Но тут еще одно. Сын у меня... Иногда бывает, я загрущу, и мне мерещится, что он и не сын мне вовсе, а будто бы покойный муж только доверил мне за ним ходить, пока он не вырастет. Словно у меня и прав на него никаких нет, весь он только отцовский. Он такой образованный, а я неученая, я вроде и матерью его быть недостойна... Сыну-то ведь придется все рассказать.

— Ясное дело. — Сэм понял ее мысли, ее тревогу. — И все-таки вы вольны поступать по-своему, Софи... то есть миссис Твайкотт, — поправился он. — Ведь из вас двоих он ребенок, а не вы!

— Ах, это не так просто! Если бы можно было, Сэм, я бы согласилась. Подожди немного, дай мне подумать.

Этого было для него достаточно, и он весело простился с ней. Но она была в ином настроении. Как заговорить об этом с Рэндольфом? Можно, конечно, дожидаться, пока он поступит в Оксфордский университет, тогда то, что она выйдет замуж, не повлияет на его судьбу. Но стерпит ли он самую мысль о ее замужестве? А если нет — хватит ли у нее сил пренебречь его волей?

Близился день, в который обычно каждый год устраивался крикетный матч между закрытыми школами, и хотя к этому времени Сэм уже уехал в Олдбрикэм, она все еще ничего не рассказала сыну. В тот день миссис Твайкотт чувствовала себя бодрее, чем обычно, — она явилась на матч вместе с Рэндоль-

фом и даже изредка вставала с кресла, чтобы немного пройтись. Ей пришло в голову, что хорошо было бы заговорить с сыном на трудную тему как бы невзначай, прогуливаясь в толпе зрителей, когда мальчик, взбудораженный матчем, будет в веселом настроении и домашние дела сочтет пустяковыми по сравнению со спортивными победами. И вот эти двое, столь близкие и в то же время столь далекие друг другу, гуляют под горячим июльским солнцем; и Софи видит множество мальчиков, на которых, как и на ее сыне, широкие белые воротники и маленькие шапочки, а вокруг — ряды великолепных экипажей, подле которых валяются свидетельства обильных закусок — кости, корки от пирогов, бутылки из-под шампанского, стаканы, тарелки, салфетки, фамильное серебро, а в экипажах горделиво восседают отцы и матери, и нет среди них ни одной бедной женщины, подобной ей. Какое это было бы счастье, если бы эти люди не завладели всеми помыслами Рэндольфа, если бы он не тянулся к ним, не стремился бы им во всем подражать! Послышались крики — родственники игроков восторгались удачным ударом — и Рэндольф высоко подпрыгнул, чтобы рассмотреть, что творится на поле. Софи уже было заготовила нужную фразу, — но она замерла у нее на устах. Нет, обстановка все-таки неподходящая. Контраст между тем, о чем расскажет Софи, и этой выставкой роскоши, которой Рэндольф привык считать себя сродни, может оказаться роковым. И она оставила разговор до более удобного времени.

Это произошло однажды вечером, когда они вдвоем коротали время в своем скромном домике на окраине, где вся обстановка была далеко не аристократической, а, наоборот, самой скромной. Софи спросила наконец сына: что он скажет, если она вторично выйдет замуж? И тут же постаралась уверить его, что если это и произойдет, то не скоро, во всяком случае, тогда только, когда сын уже будет жить отдельно от нее.

Мысль показалась мальчику разумной, и он спросил: значит, она уже кого-нибудь выбрала? Она помедлила с ответом, и в нем вспыхнуло подозрение.

— Надеюсь, мой будущий отчим настоящий джентльмен? — сказал он.

— Не то чтобы джентльмен, как ты это понимаешь, — робко ответила она. — Он из таких же, как я была до знакомства с твоим отцом. — И она ему все рассказала.

На мгновение лицо юноши застыло, потом залилось краской, — он упал головой на стол и разрыдался.

Мать подошла к нему, она целовала его лицо там, где он не прикрыл его руками, гладила по спине, точно он снова, как когда-то, был ребенком, и сама плакала.

Придя в себя после этой вспышки, он тотчас убежал в свою комнату и заперся там.

Она пыталась завязать с ним переговоры через замочную

скважину и, стоя у двери, поджидала, не ответит ли он. Он долго не отвечал и наконец строгим голосом сказал:

— Я стыжусь тебя! Ты меня погубишь! Какой-то огородник! Мужлан! Невежда! Все джентльмены Англии будут презирать меня!

— Не надо, не надо — я, наверное, не права. Я постараюсь пересилить себя! — горестно восклицала она.

В то же лето, еще до того как Рэндольф уехал в школу, от Сэма пришло письмо, в котором он извещал Софи об удачном завершении своей покупки. Все уже оформлено, теперь у него самый большой магазин в городе — с овощным и фруктовым отделениями, и свой дом он теперь сможет так обставить, что и Софи жить в нем будет не стыдно. Нельзя ли приехать к ней повидаться?

Она встретилась с ним тайком и попросила еще подождать, сейчас она не может дать окончательный ответ. Осень тянулась долго; наконец на рождество сын прибыл домой, и она снова затеяла с ним разговор о Сэме. Но юный джентльмен остался непреклонен.

Шли месяцы, и ни мать, ни сын не касались этой темы; потом она опять пробовала заговорить, он и слушать ее не хотел, она умолкала — и все начиналось сызнова; так прошло долгих четыре или пять лет, а Софи, это кроткое создание, продолжала убеждать и упрашивать сына. Наконец верный Сэм уже более решительно потребовал ответа. Вскоре после этого Рэндольф, теперь уже студент Оксфордского университета, приехал домой на пасху, и Софи вновь завела с ним разговор о своем замужестве. Вот примет он духовный сан, говорила мать, заживет своим домом, а она со своей неправильной речью и своим невежеством будет для него только обузой. Пусть он лучше просто вычеркнет ее из своей жизни.

Теперь он гневался уже не так по-ребячьи, как раньше, но никакие доводы не могли сломить его упорство. Однако и Софи на сей раз проявила больше настойчивости, и сын усомнился — не вздумала бы она сделать по-своему в его отсутствие. Возмущенно и презрительно высказываясь об ее избраннике, он пока держал ее в повиновении, но однажды он подвел ее к маленькому кресту над алтарем, который устроил у себя в спальне, чтобы там молиться в уединении, и заставил мать опуститься на колени и дать клятву, что без его согласия она не выйдет замуж за Самуэля Гобсона.

— Это мой долг по отношению к отцу, — заявил он.

Несчастливая поклялась, втайне надеясь, что когда Рэндольф примет духовный сан и будет поглощен своими новыми обязанностями, он смягчится. Но не тут-то было. И хотя мать могла бы счастливо жить в сельской простоте со своим верным зеленщиком и никому в мире не было бы от этого хуже, сын оставался непоколебим: ученость уже успела вытравить в нем человеческие чувства.

Время шло. Хромота Софи еще усилилась; бедняжка почти никогда не покидала своего дома на длинной улице южного предместья, и сердце ее сохло от тоски.

— Почему я не могу сказать Сэму, что согласна, почему? — жалобно бормотала она, когда никого не было поблизости.

Года четыре спустя в дверях самой большой зеленой лавки в Олдбрикэме стоял пожилой человек. Это был хозяин лавки, однако сегодня вместо будничного рабочего костюма он был во всем черном; и витрина лавки была наполовину прикрыта ставнями. От станции показалась траурная процессия; миновав его дом, она проследовала через город по дороге к деревне Геймэд. Сняв шляпу, человек полными слез глазами провожал двигавшиеся мимо экипажи, а из траурной кареты гладко выбритый молодой человек в одежде священника бросил на лавочника мрачный взгляд.

ТРАГЕДИЯ ДВУХ ЧЕСТОЛЮБИЙ

I

В окно влетали крики деревенских мальчишек вперемишку со взрывами хохота с порога харчевни, но братья Холборо упорно продолжали свои занятия.

Они сидели в доме мельничного слесаря, в спальняй комнате, и самоучкой разбирались в греческих и латинских текстах. Не гомеровские сказания о битвах и схватках, не странствия аргонатов, не трагедия фиванского царя воспламеняли их воображение и заставляли одолевать науку. Они корпели над Новым заветом по-гречески, уйдя с головой в сложное, трудное по языку Послание евреям.

Жаркое летнее солнце, клонясь к западу, коснулось лучами низкого покатога потолка, и тени от развесистой ивы скользили по стенам, точно по ним двигались, то и дело перестраиваясь, призрачные войска. За растворенным окном, пропускавшим в комнату отдаленные звуки, раздавался чей-то совсем близкий голос. Это окликнула их снаружи сестра, миловидная четырнадцатилетняя девочка.

— Я вижу ваши макушки. И охота вам сидеть взаперти! С уличными мальчишками вы не водитесь, и это очень хорошо, но со мной-то можно бы поиграть!

Пускаться в разговоры с такой собеседницей было ниже их достоинства, и они двумя-тремя словами отделались от нее. Она ушла разочарованная. Вскоре где-то совсем близко послышались шаги, и один из братьев выпрямился на стуле.

— Идет, кажется,— негромко проговорил он, глядя в окно.

Из-за угла дома, пошатываясь, вышел человек в светло-коричневой плисовой куртке и штанах, какие спокон веков носят деревенские мастеровые. Старший брат, покраснев от гнева, встал и зашагал вниз по лестнице. Младший так и присидел за столом до тех пор, пока брат не вернулся.

— Роза его видела?

— Нет.

— А другие?

— Нет.

— Куда ты его увел?

— В сарай. Пришлось силой — не хотел идти, а теперь свалился и спит. Вот тебе и вся причина его отлучки. Так я и думал! Значит, жернова у мельника Кенча не отшлифованы, маховик на лесопилке не работает, да сколько еще людей победнее ждут, когда он удосужится починить им лоды!

— А мы корпим над этим! Зачем? Какой смысл? — сказал младший, резким движением захлопнув лексикон Доннегана. — Ах! Если бы нам удалось получить материнские девятьсот фунтов, чего бы мы только не сделали на такие деньги!

— Как она точно подсчитала нужную сумму! По четыреста пятьдесят фунтов каждому. И я не сомневаюсь, что, расходуя их бережливо, мы своего бы достигли.

Потеря этих девятистот фунтов не давала им покоя, как саднящая рана. Это были те деньги, которые их мать скопила с величайшим трудом, добавляя к неожиданно полученному наследству каждый пенни, что попадал ей в руки, и отказывая себе решительно во всем. На эти сбережения она думала осуществить свою заветную мечту — послать сыновей, Джошуа и Корнелиуса, в университет, где, как ей было доподлинно известно, четырехсот — четырехсот пятидесяти фунтов им хватило бы каждому на все время учения, ибо что касается бережливости, то тут за них можно было не беспокоиться. Но она умерла года за два до этого, положив последние силы на достижение своей цели; деньги достались их отцу и почти все ушли у него между пальцев. С исчезновением денег рухнули и возможности и надежды сыновей на университетский диплом.

— Такое меня зло берет, просто думать об этом не могу, — сказал старший брат, Джошуа. — Трудимся мы, трудимся одни, без всякого руководства, а что нам это даст? Самое большее — место учителя в церковноприходской школе, или кончим духовную семинарию и станем захудалыми священниками без прихода.

Старший брат говорил со злобой, в глазах младшего была только грусть.

— Проповедовать слово божие можно и без полного облачения, — вяло сказал он, лишь бы подбодрить и себя и брата.

— Проповедовать слово божие можно, — ответил Джошуа, чуть заметно скривив губы, — а достичь высокого сана — нельзя.

— Ну что ж, наберемся терпения и будем зубрить дальше.

Джошуа промолчал, и они снова угрюмо склонились над книгами.

Виновник всей этой беды, слесарь Холборо, который похрапывал сейчас в сарае, был, несмотря на некоторую свою безалаберность, преуспевающим механиком, пока пристрастие к неумеренному употреблению спиртных напитков не овладело им полностью, что весьма пагубно отразилось на его делах. Чем

дальше, тем мельники все чаще и чаще обращались с заказами к другим слесарям, и работа у Холборо велась уже в одну смену, тогда как раньше ее хватало на две. Чем дальше, тем ему все труднее и труднее стало расплачиваться с рабочими в конце недели, и хотя теперь их осталось всего два-три человека, они сплошь и рядом сидели сложа руки.

Солнце опустилось еще ниже и скрылось совсем, крики деревенских мальчишек стихли, спальню, в которой братья сидели над книгами, окутала темнота, и за окнами ее все дышало покоем. Никто и не подозревал, какие честолюбивые мечты кипели в груди двоих юношей за тихими, увитыми плющом стенами этого дома.

Через несколько месяцев братья уехали из родной деревни и поступили в учительскую семинарию, но до отъезда они успели определить свою младшую сестру Розу в школу на модном курорте, постаравшись выбрать какую получше, насколько позволили это их средства.

II

По дороге от станции к одному провинциальному городку шел человек в семинарской одежде. Человек этот неотрывно читал на ходу книгу, лишь изредка поднимая глаза, чтобы не столкнуться со встречными и проверить, не сбился ли он с пути. Те, кто помнил двоих братьев из дома деревенского слесаря, узнали бы в этом бродячем книгочее старшего из них, Джошуа Холборо.

Раньше лицо Джошуа выражало лишь юношескую силу, теперь в нем чувствовался ум зрелого человека. Характер легко читался в его чертах. По ним нетрудно было угадать, что он все больше и больше печется о своем будущем, что он непрестанно «склоняет ухо свое к поступи дня грядущего», вряд ли внемля чему-либо другому. Неумное его честолюбие обуздывалось волей; замыслов было много, но не все они созревали; он не позволял мечтам уводить его слишком далеко, чтобы не отвлекаться от ближайших целей.

Пока что все складывалось благоприятно. Вскоре после того как ему удалось получить место школьного учителя, он добился доступа к епископу епархии, далекой от его родных мест, и епископ, угадав в нем богатые задатки, взял его под свое покровительство. Теперь он учился на втором курсе духовной семинарии в городе с кафедральным собором и в недалеком будущем ждал рукоположения в священники.

Он вошел в город, свернул на боковую улицу, потом во двор и, только ступив под каменную арку ворот, отвел глаза от книги. По арке бежала полукругом надпись: «Церковно-приходская школа» — а столбы были так стертые, как могут стереть камень только бока и спины мальчишек да океанские

валы. Через минуту-другую до его слуха донесся монотонный гул ребяческих голосов.

Корнелиус, учительствовавший здесь, положил указку, с помощью которой он привлекал внимание учеников к мысам Европы, и шагнул ему навстречу.

— Это его брат Джош, — шепнул один из старшеклассников. — Он будет священником, а сейчас учится в семинарии.

— Корни тоже пойдет в священники, когда накопит денег, — сказал другой мальчик.

Поздоровавшись с братом, которого он не видел несколько месяцев, Корнелиус стал объяснять ему свой метод преподавания географии.

Но старшего Холборо это не интересовало.

— А сам ты занимаешься? — спросил он. — Книги, что я посылал, пришли?

Книги были получены, и Корнелиус стал рассказывать о своих занятиях.

— Непременно работай по утрам. Когда ты встаешь?

Младший ответил:

— В половине шестого.

— Летом мог бы и раньше — в половине пятого. Синтаксическим разбором и переводом лучше всего заниматься с самого утра. Не знаю почему, но когда меня клонит ко сну даже над какой-нибудь легкой книжкой, делать подстрочник я все-таки могу — в этой работе, видимо, есть что-то механическое. Нет, Корнелиус, отставать нельзя. Если ты решил уйти из школы к рождеству, тебе придется много поработать.

— Да, придется.

— Надо поскорее получить заручку епископа. Он познакомится с тобой, и тогда место священника тебе обеспечено, я в этом ни минуты не сомневаюсь. Наш ректор советует сделать так: ты приедешь к нам, когда у нас начнутся экзамены в присутствии его преосвященства, и тебе устроят свидание с ним. Постарайся понравиться ему. Я убедился на собственном опыте, что вся соль в этом, а не в верности догматам. И быть тебе, Корни, если не священником, то уж дьяконом-то навверняка.

Младший все молчал, думая о чем-то.

— Роза тебе пишет? — спросил он наконец. — Я сегодня получил от нее письмо.

— Да. Эта девчонка слишком уж щедра на письма. Тоскует по дому, хотя Брюссель, наверно, приятный город. Надо, чтобы она получила там как можно больше пользы для себя. Сначала я думал, что после школы в Сэндберне одного года в Брюсселе ей хватит, а потом решил — пусть пробудет там еще год, хотя станет это мне не дешево.

Их суровые лица сразу смягчились, лишь только речь зашла про сестру, о которой они пеклись более ревностно, чем о самих себе.

— Но откуда ты возьмешь такие деньги, Джошуа?

— Деньги у меня уже есть.— Он оглянулся и, увидев, что двое-трое школьников стоят близко к ним, отошел в сторону.— Помнишь фермера, у которого участок был по соседству с нашим? Так вот, он дал мне в долг под пять процентов.

— А как ты ему выплатишь?

— Буду погашать по частям из своей стипендии. Нет, Корнелиус, останавливаться на полпути нельзя. С годами Роза станет не скажу красавицей, но очень привлекательной девушкой. Я это давно предвижу. И если ей не следует полагаться только на свое хорошенькое личико, то личико вкупе с умом составят ее счастье, или я сильно ошибаюсь в своих суждениях и оценках. Для того чтобы занять подобающее ей место в жизни, для того чтобы выйти в люди вслед за нами, она должна стать образованной, деликатной барышней, вся с головы до пят. И вот увидишь, так оно и будет. Я скорее заморю себя голодом, чем возьму ее из этой школы.

Они огляделись по сторонам, присматриваясь к школе, в которой им довелось встретиться. Корнелиусу вид этой классной комнаты был знаком и привычен, но Джошуа — человеку черствому и попавшему сюда из другого, не столь убогого места, она неприятно резнула глаз, напомнив то, что для него уже отошло в прошлое.

— Я буду очень рад, когда ты наконец выберешься отсюда,— сказал он,— взойдешь на кафедру и прочтешь свою первую проповедь.

— И добавь уж заодно — когда я получу богатый приход.

— Да... Но нельзя так непочтительно говорить о церкви. Ты еще убедишься, что для любого деятельного человека церковь — достойное поприще, на котором можно свершить многое,— с жаром проговорил Джошуа.— Препраждать путь потокам неверия, по-новому истолковывать старые понятия, букву закона заменять истинным его толкованием, искать в нем дух божий...— Он задумался, прозревая свое будущее, стараясь убедить себя, что не тщеславие движет им, а ревность поборника веры. Он воспринял учение Христа и готов был отстаивать его до последней капли крови только ради той славы и чести, которая есть удел воина.

— Если церковь наша гибка и сможет подчиниться духу времени, тогда ей ничто не грозит,— сказал Корнелиус.— Если же нет... Ты только подумай! На днях я купил у букиниста «Апологию христианства» Пэйли — самое лучшее издание, с широкими полями, книга в прекрасной сохранности. И за сколько купил? Всего за девять пенсов. Судя по такой цене — дела нашей церкви не блестящи.

— Нет, нет! — чуть ли не в гневе воскликнул старший брат.— Это только доказывает, что она не нуждается в заступничестве. Люди видят истину без подспорья со стороны. Кроме того, мы связали свою жизнь с христианской догмой

и должны держаться ее, несмотря ни на что. Я сейчас штурвую «Отцов церкви» Пьюзи.

— Ты еще будешь епископом, Джошуа!

— Ах! — воскликнул старший брат, с горечью покачав головой.— Все бы могло быть... все! Но где у меня диплом доктора богословия или диплом доктора права? Как же можно думать о епископстве без этих привесков? Архиепископ Тиллотсон был сыном портного из Соурби, но он окончил Кларк-колледж. Я... мы с тобой оба никогда не удостоимся чести величать Оксфорд или Кэмбридж нашей *alma mater*¹. Боже мой! Когда я думаю о том, кем мы могли бы стать, какую светлую дорогу преградил нам этот ничтожный, мерзкий...

— Не надо! Не надо!.. А, да что там! Я сам не меньше тебя думаю об этом, и чем дальше, тем все чаще и чаще. Ты уже давно получил бы диплом... может быть, даже звание члена колледжа, и мне недолго бы осталось ждать степени.

— Довольно, перестань,— сказал старший брат.— Терпение, терпение — вот что нам нужно.

Они грустно посмотрели в окно, сквозь грязные его стекла, за которыми виднелось только небо. Мало-помалу мысль о их неотступной беде снова завладела ими; Корнелиус первый нарушил молчание, прошептал:

— Он был у меня.

Джошуа словно помертвел, и лицо у него стало неподвижное, как застывшая лава.

— Когда? — отрывисто спросил он.

— На той неделе.

— Как он сюда добрался, в такую даль?

— Приехал поездом просить денег.

— А!

— Сказал, что к тебе тоже поедет.

Судя по ответу Джошуа, он покорился судьбе. Конец их разговора омрачил ему остаток дня, убив в нем всякую жизнерадостность. К вечеру он собрался домой, и Корнелиус проводил его до станции. В поезде, на обратном пути в фаунтоллскую духовную семинарию, Джошуа уже не читал. Неизбывная беда грязным пятном марала всю его жизнь, и прошлую и будущую. На следующий день он вместе с другими семинаристами сидел на хорах в соборе, и мысли об этой беде темнили в его глазах пурпурное сияние, падавшее из витражей на пол собора.

Был летний день. В соборной ограде стояла такая тишина, какая бывает на ее зеленой лужайке в перерыве между воскресными службами, и только непрерывное грачиное карканье нарушало ее. Джошуа Холборо кончил свою аскетическую трапезу, вошел в библиотеку и остановился на минуту

¹ Мать-кормилица (*лат.*).

у большого окна, выходящего на лужайку. По ней медленно шагал человек в плисовой куртке и помятой белой шляпе с вытертым ворсом; под руку он вел высокую цыганку, в ушах у которой болтались длинные медные серьги. Человек этот намершиво оглядывал фасад собора, и Холборо по лицу и фигуре узнал в нем своего отца. Кто была женщина, он не имел ни малейшего понятия. Едва до сознания Джошуа дошло, какое нашествие ему угрожает, как на тропе, ведущей от калитки через погост, появился ректор семинарии, которого молодой семинарист почитал больше, чем самого епископа. Парочка поравнялась с ректором, и к ужасу Джошуа отец обратился к почтенному священнослужителю с каким-то вопросом.

О чем у них шла речь, угадать было трудно. Но вот Джошуа, обливаясь холодным потом, увидел, что отец фамильярно положил руку на плечо ректору; брезгливое движение и поспешный уход последнего были как нельзя более выразительны. Женщина все это время молчала, а когда ректор отошел, они двинулись прямо к семинарской калитке.

Холборо стремглав бросился по коридору и выскочил во двор через боковую дверь, рассчитывая перехватить их до того, как они подойдут к главному входу. Он настиг их за кустами лавра.

— Черт побери, а вот и сам Джош! Нечего сказать, почтительный у меня сынок! Мало того что не подумал прислать отцу табачку по такому случаю, еще заставляет разыскивать себя за тридевять земель!

— Прежде всего, кто это? — белый как полотно и все же с достоинством спросил Джошуа Холборо, поведя рукой в сторону пышнотелой женщины с длинными серьгами.

— Как кто? Моя супруга, а твоя мачеха. Ты разве не знаешь, что я женился? Она помогла мне однажды добраться домой с рынка, и по дороге мы с ней столкнулись, да и ударили по рукам. Правильно я говорю, Селина?

— Истинное слово, все так и было, — жеманясь, прощбетала женщина.

— В каком это заведении ты поселился? — спросил слесарь. — Исправительный дом, что ли?

Джошуа, покорный судьбе, не вникал в слова отца. Терзаясь внутренне, он только собрался спросить, не нужно ли им чего — может быть, пообедать — как отец перебил его, сказав:

— Да я сам хочу пригласить тебя закусить с нами чем бог послал. Мы остановились в «Петухе и бутылке», а сейчас идем повидаться с ее родней в Бинегаре, на ярмарке, где они стоят табором. Хорошо ли кормят в «Петухе», я не знаю, не могу ручаться, но джин у них такой, какого мне давно не приходилось пить.

— Благодарствую, но я уже позавтракал и, кроме того,

вообще не пью,— сказал Джошуа, догадываясь по винному перегару, которым несло от отца, что его отзыву о джине можно верить.— У нас здесь порядки строгие, и мне нельзя показываться сейчас в «Петухе и бутылке».

— Ну, и шут с вами, ваше преподобие. Впрочем, может, вы соизволите раскошелиться на угощение тем, кому там можно показываться?

— Ни единого пенни не дам,— твердо ответил молодой человек.— Ты и так довольно выпил.

— Премного вам благодарен. Кстати, кто этот голенастый попик в башмаках с пряжками, который нам встретился? Он так от нас прыснул, точно испугался, как бы мы его не отравили.

Джошуа холодно пояснил, что это ректор семинарии, и осведомился с опаской:

— Ты сказал ему, кого ищешь?

Вопрос этот остался без ответа. Старший Холборо вместе со своей дородной женой цыганкой — если она действительно была его законная жена — зашагали по направлению к Хай-стрит и вскоре скрылись из виду. Джошуа вернулся в библиотеку. Несмотря на всю свою выдержку, он проливал горючие слезы над книгой и был куда более жалок в тот день, чем его незванный гость — слесарь. Вечером он сел за письмо брату, подробно написал ему о том, что произошло, о новом позоре, обрушившемся на их голову,— об отцовской жене-цыганке, а в конце поделился своим планом: раздобыть денег и уговорить супружескую чету эмигрировать в Канаду. «Это единственный выход,— писал он.— Наше положение невыносимо. Для преуспевающего художника, скульптора, музыканта, писателя — для тех, кто повергает общество к своим ногам, родители-парики, родители — человеческая мразь не препятствие. В иных случаях это даже придает им романтический ореол. Но священник англиканской церкви с таким родством! Корнелиус, для нас это гибель! Преуспеть на нашем поприще можно лишь тогда, когда люди будут знать, что ты, их пастырь, во-первых, человек из порядочного общества, во-вторых, человек со средствами, в-третьих, ученый, в-четвертых, хороший проповедник и, пожалуй, только в-пятых, истинный христианин. Но прежде всего они всей душой своей, всем сердцем, всей силой разума должны верить, что ты доподлинный джентльмен. Я примирился бы с тем, что мой отец мелкий ремесленник, и попытал бы счастья, будь он хоть мало-мальски достойный, порядочный человек. Христианская догма зиждется на смирении, и с помощью божией я не посчитался бы ни с чем. Но это бродяжничество, эта позорная связь! Если он не примет моих условий и не уедет из Англии, это уничтожит нас обоих, а меня вдобавок и убьет. Ведь не сможем же мы жить, отказавшись от своей высокой цели и низведя нашу любимую сестру Розу на уровень падчерицы какой-то цыганки!»

III

В один прекрасный день весь приход Нэрроуберна был охвачен волнением. Прихожане вышли с утренней службы, и все только и говорили, что о новом младшем священнике, мистере Холборо, который в то утро впервые совершал богослужение один, без настоятеля.

Никогда еще молящиеся не испытывали таких чувств, слушая своего пастыря. Монотонному бормотанью, узаконенному в этой тихой старой церкви чуть ли не за столетие, видимо, пришел конец. Прихожане, как припев, повторяли библейский текст: «Господь! О, будь моей опорой!» Здешние старожилы не помнили, чтобы проповедь когда-нибудь служила единственной темой для разговоров на всем пути от паперти до церковной калитки, если не считать, разумеется, пересудов о присутствующих и обмена новостями за неделю.

Волнующие слова проповедника весь день не шли у прихожан из ума. Но так как равнодушие к церкви давно уже стало здесь привычным, то все, кто был в тот день на богослужении, — и юноши, и девушки, и пожилые, и старики, возвращаясь, словно против воли, к проповеди Холборо, заговаривали о ней как бы ненароком, да еще с притворным смешком, — до такой степени смущала их самих новизна этих ощущений.

И вот что любопытно: проповедник новой школы расшевелил не только непритязательных сельских жителей, привыкших за сорок лет к старику, пекшемуся о их душах, — не меньшее впечатление произвел Холборо и на тех, кто занимал помещичью скамью, включая и самого сквайра. Казалось, эти люди должны были бы знать цену такой вот бьющей на эффект проповеди, должны были бы отличить истинную суть от блесков красноречия. И все же новый священник покорила их, как и остальных прихожан.

Здешний сквайр, молодой вдовец мистер Фелмер, был в церкви с матерью, далеко еще не старой женщиной, которая заняла свое прежнее место в доме, похоронив невестку, скончавшуюся от родов через год после замужества и оставившую после себя болезненную, слабенькую девочку. Со дня своей утраты Фелмер уединился в Нэрроуберне, никуда не выезжал оттуда и, не видя для себя ничего впереди, потерял всякий интерес к жизни. Он с радостью вернул матери роль хозяйки в своем опустевшем доме, а сам погрузился в заботы о пометье, правда, не таком уж большом. Миссис Фелмер была женщина жизнерадостная, прямодушная; она самолично делала закупки на рынке, самолично раздавала милостыню бедным, любила скромные садовые цветы и навещала своих подопечных в деревне даже в проливной дождь. Эти двое — единственные важные персоны в Нэрроуберне, были захва-

чены красноречием Джошуа не меньше, чем обитатели коттеджей.

Нового пастора представили сквайру несколько дней назад, но свидание было очень кратким, и теперь, заинтересовавшись этим человеком, сквайр и его мать дождались, когда он выйдет из ризницы, и все втроем пошли к калитке. Миссис Фелмер в самых теплых выражениях заговорила о проповеди, о том, как посчастливилось приходу, что к ним приехал такой священник, и спросила, хорошо ли он устроился в деревне.

Чуть покраснев, Холборо ответил, что он поселился в поместительном доме у одного фермера, и назвал его имя.

Не скучно ли ему будет там, особенно вечерами, продолжала миссис Фелмер; они рады видеть его у себя и как можно чаще. Когда он пообедает с ними? Может быть, сегодня? Ведь ему, наверно, будет тоскливо провести свой первый воскресный день в одиночестве?

Холборо ответил, что он пришел бы с радостью, но, к сожалению, вынужден отказаться.

— Я, собственно, не один,— добавил он.— Моя сестра, недавно вернувшаяся из Брюсселя, опасалась, подобно вам, как бы я не загрустил тут, и приехала вместе со мной на несколько дней — помочь мне устроиться и вообще наладить мою жизнь на новом месте. Она не пошла в церковь, потому что очень устала, и теперь ждет меня дома.

— Так чего же лучше! Приводите и вашу сестру. Я буду очень рада познакомиться с ней. Жаль, что я раньше не знала! Скажите ей, пожалуйста, что мы и не подозревали о ее приезде.

Холборо пообещал непременно передать все это сестре, а вот сможет ли она прийти сегодня, он поручиться не может. На самом же деле все зависело только от него, так как для Розы воля старшего брата была чуть ли не законом. Но он не был уверен, найдется ли у сестры подходящий для такого случая туалет, и решил, что ей нельзя появляться в помещицком доме в невыгодном для себя виде, когда впереди, может быть, представится не один случай сделать это при более благоприятных обстоятельствах.

Он быстро, размашистыми шагами возвращался домой. Вот что принес ему первый же день на новом месте! Пока все складывалось отлично. Он удостоился духовного сана, получил хороший приход, который будет почти всецело под его началом, так как здешний настоятель дряхлый старик. Первая его проповедь произвела глубокое впечатление на прихожан, а то, что он всего лишь младший священник, видимо, не будет ему помехой. Более того, уговоры и немалая сумма денег решили дело: отец со своей цыганкой отбыл в Канаду, откуда им вряд ли удастся вмешаться в его жизнь.

Роза выбежала навстречу брату.

— Какая ты нехорошая, что не пошла к службе,— сказал он.

— Да, мне потом самой стало жалко. Но я так не люблю ходить в церковь, что даже твоей проповедью не соблазнилась. Это, конечно, очень дурно с моей стороны.

Девушка в светлом батистовом платье, говорившая таким шутивным тоном, была белокурая, стройная, грациозная, как сильфида, и держалась она с той кокетливой *désinvolture*¹, которую англичанки перенимают за границей, а прожив на родине месяц-другой, теряют начисто.

Шутливость была отнюдь не свойственна Джошуа; жизнь казалась ему слишком сложной вещью, чтобы предаваться легкомыслию. Он коротко, деловито передал сестре полученное приглашение.

— Так вот, Роза, надо идти, это решено... если у тебя есть что надеть. Сумеешь что-нибудь освежить в такой спешке? Ты, разумеется, не догадалась захватить в наше захолустье вечернее платье?

Но Роза недаром жила в Брюсселе — ее нельзя было заставить врасплох.

— А вот и догадалась,— сказала она.— Надо всегда быть готове.

— Молодец! Значит, в семь часов.

Наступил вечер, и в сумерки они отправились в путь, причем Роза, остерегаясь росы, сунула шелковые туфли под мышку, а подол юбки подоткнула, так что плащ торчал на ней колом. Джошуа не позволил сестре переобуться в доме и заставил ее проделать это в саду под деревом, чтобы никто не догадался, что они шли пешком. Он беспокоился, придавая большое значение таким мелочам. Роза считала и сборы, и прогулку, и званый обед приятным времяпрепровождением, и только, а для Джошуа это знаменовало собой серьезный шаг в жизни.

Какая неожиданная сестра оказалась у младшего священника! Миссис Фелмер не могла скрыть своего удивления. Она думала увидеть какую-нибудь простушку и недоверчиво посматривала на свою гостью. Если бы эта юная девица пришла в церковь вместе с братом, приглашения на обед в Нэрроуберн Хаус вероятнее всего не последовало бы.

Совсем по-иному вел себя молодой вдовец, ее сын. Мистер Фелмер был похож на человека, который проснулся, думая, что еще только светает, и вдруг увидел вокруг яркий солнечный день. Он с трудом удерживался, чтобы не потянуться и не зевнуть гостям прямо в лицо, так странно казалось ему то, что предстало его глазам. Когда все сели за стол, он сначала заговорил с Розой тоном местного вельможи, однако женское обаяние новой знакомой вскоре усмирило его, и

¹ Непринужденность (*фр.*).

брюссельская прелестница заметила, что хозяин пристально разглядывает ее губы, руки, стан, словно дивясь искусству творца, создавшего все это. А потом мистер Фелмер уже не разбирает подробностей, он просто восхищался своей собеседницей, что было гораздо приятнее для них обоих.

Он больше молчал; она охотно болтала. Фелмеры, перед которыми благоговели в приходе, показались ей сущими провинциалами, и это освободило ее от всякого смущения. За последние годы владелец Нэрроуберн Хауса так отвык от общества, жизнь его так сузилась, что только сегодняшней вечер напомнил ему, сколько приятного и разнообразного есть в мире. Его мать, преодолев минутные сомнения, видимо, решила, что сын сам себе голова, и занялась священником.

Как ни предусмотрителен, как ни упорен был Холборо в достижении поставленных перед собой целей, но результаты этого обеда превзошли все его расчеты. В своих честолюбивых замыслах он рисовал себе Розу эдаким хрупким, милым созданием, которому старший брат — человек талантливый, должен помочь как-то пробиться в жизни. Но теперь ему вдруг стало ясно, что такой дар природы, как привлекательная внешность, пожалуй, позволит сестре добиться большего для них обоих, чем его природный ум. Пока он терпеливо пробивал туннель в горах, Роза, того и гляди, могла одним взмахом крыл перепорхнуть через вершину.

На следующий день он написал письмо брату, занимавшему теперь его прежнюю комнату в семинарии, и в самых восторженных словах поведал ему о неожиданном-негаданном «дебюте» Розы в помещичьем доме. Ответное письмо, полученное с обратной почтой, было полно поздравлений, впрочем, отравленных известием о том, что их отцу не понравилось в Канаде; жена бросил его, и он, стосковавшись там один, решил вернуться домой.

Радуясь успехам, выпавшим за последнее время на его долю, Джошуа почти забыл о своей застарелой беде, к тому же смягченной расстоянием. Но теперь она снова придвинулась к нему. В этом немногословном известии он увидел больше, чем его младший брат. Оно было тем самым облаком, что величиною в ладонь человеческую, однако предвещает бурю.

IV

В декабре месяце, дня за два до рождества, миссис Фелмер и ее сын прогуливались по широкой дорожке вдоль восточной стены дома. Дождь, моросивший каких-нибудь полчаса назад, перестал, и они воспользовались этим, чтобы пройтись перед завтраком.

— Видите ли в чем дело, матушка,— говорил сын,— человека в таком положении, как я, она не может не заинтере-

совать. Вспомните, что моя жизнь была покалечена с самого же начала, что я надломился, общество мне претит, политическая карьера меня не привлекает и главная моя цель, главная надежда — растить в тиши малютку, которую Энни оставила после себя. Вспомните все это, и тогда вы поймете, что лучшей жены, чем мисс Холборо, мне не найти, так как с ней я, по крайней мере, не впаду в спячку.

— Если ты влюблен, я полагаю, тебе надо жениться,— сухо и будто отвечая не на мысли сына, а на свои собственные, проговорила миссис Фелмер.— Но ты убедишься, что ей не захочется жить здесь взаперти и никого не видеть, ничего не знать, кроме забот о ребенке.

— Вот тут мы с вами расходимся во мнениях. То, что она «из простых», как вы говорите, и ничего собой не представляет, это, на мой взгляд, еще одно ее достоинство. Отсутствие знатной родни, как известно, не способствует развитию честолюбия. Насколько я понимаю мисс Холборо, жизнь, которая ожидает ее здесь — предел ее мечтаний. Она шагу не ступит за ворота нашего парка, если будет знать, что нам это не желательно.

— Ты влюблен, Альберт, ты решил жениться и подыскиваешь оправдания, чтобы придать большую благоденственность такому шагу. Ну что ж, поступай по-своему. Я над тобой не властна, и советовать со мной тебе незачем. Ты решил уже на святках сделать ей предложение? Скажи откровенно.

— Вовсе нет! Пока я просто обдумываю все это. Если она и дальше не разочарует меня... что ж, тогда посмотрим. Но признайтесь сами, ведь она нравится вам?

— Охотно признаюсь. Она очаровывает с первого взгляда. Но у твоего ребенка — и вдруг такая мачеха! Тебе, видимо, хочется поскорее отделаться от меня?

— Нет, что вы! И я далеко не так опрометчив, как вам думается. Мне вовсе не свойственно спешить с решениями. Просто в голове у меня зародилась такая мысль, и я сразу же делюсь ею с вами, матушка. Если вам это не по душе, скажите.

— Я молчу, молчу. Если ты решил твердо, постараюсь как-нибудь с этим примириться. Когда она приезжает?

— Завтра.

Тем временем у младшего священника, успевшего известить собственным домом, шли предпраздничные приготовления. Розу, которая за год дважды гостила у брата недели по две, по три и так очаровала здешнего сквайра, ждали в Нэрроуберн на рождество, а кроме нее, Джошуа пригласил и Корнелиуса, чтобы встретить праздник по-семейному. Роза должна была приехать поздно вечером, так как оттуда, где она жила, путь был не близкий, Корнелиус же днем, и Джошуа решил встретить брата по дороге со станции.

В скромном жилище священника все было готово к приему гостей, и он вышел из дому с чувством такой бодрости и

благодарности судьбе, какое вряд ли когда испытывал раньше. Его собственная репутация теперь так упрочилась, что это и Корнелиусу должно облегчить путь к духовному сану; и старшему брату не терпелось поговорить с младшим о своих делах, о многом его расспросить, хотя им предстояла и другая, более животрепещущая тема. Джошуа смолоду считал, что в деревенском захолустье служитель церкви может — разумеется, до известного предела, добиться веса в обществе с меньшей затратой сил, чем человек любой иной профессии, иного рода занятий, и все складывалось как будто так, что подтверждало правильность его расчетов.

После получаса ходьбы он увидел брата впереди на тропинке, и через несколько минут они сошлись. Особенно интересных новостей у Корнелиуса не было, но дела его шли неплохо, и ничто, казалось, не могло объяснить ту странную сдержанность, с которой он говорил. Джошуа приписал это усталости от занятий и начал о Розе — о скором приезде сестры и о возможных последствиях ее третьего появления в Нэрроуберне.

— К пасхе она станет его женой, друг мой любезный, — заключил он, стараясь подавить торжествующие нотки в голосе. Корнелиус покачал головой.

— Поздно! Надо было ей раньше приехать.

— Как так?

— Вот прочитай. — Вынув из кармана фаунтоллскую газету, он ткнул пальцем в заметку, которую Джошуа и прочел. Это была хроника выездной сессии суда — разбиралось самое заурядное дело о нарушении общественной тишины и спокойствия; обвиняемого приговорили к тюремному заключению сроком на семь суток за перебитые стекла.

— Ну и что же? — сказал Джошуа.

— Я как раз проходил по той улице вечером и все видел — это был наш отец.

— Позволь!.. Он же согласился остаться в Канаде, и я послал ему еще денег! Как же так?

— А вот так. Он вернулся. — По-прежнему угрюмо Корнелиус досказал все до конца. Он был свидетелем уличного скандала, не замеченный отцом, и слышал, как тот говорил, будто едет к дочери, которая выходит замуж за богатого джентльмена. Во всей этой безобразной истории радоваться можно было только одному: фамилию слесаря перепутали — в судебной хронике стояло «Джошуа Элборо».

— Мы погибли! Погибли накануне верной победы! — сказал старший брат. — И откуда он узнал, что Роза собирается замуж? Боже мой! Корнелиус! Опять ты с дурными вестями! Видно, тебе на роду так написано!

— Да, действительно, — сказал Корнелиус. — Бедная Роза!

Убитые позором, братья чуть ли не в слезах прошли остаток пути. Вечером оба отправились встречать сестру и при-

везли ее со станции в шарабане. И вот сестра их вошла в дом, села вместе с ними за стол, и, глядя на нее, ничего не подозревающую, они на время почти забыли о своем тайном горе.

Наутро их навестили Фелмеры, и следующие два-три дня прошли весело. То, что сквайр поддается охватившему его чувству, что он готов принять окончательное решение, было уже несомненно. В воскресную службу Корнелиус читал евангелие, Джошуа произнес проповедь. Миссис Фелмер относилась к Розе по-матерински, видимо, примирившись с неизбежным. Юная красавица должна была всю вторую половину дня провести с пожилой леди и распоряжаться угощением для поселян, которое устраивалось у сквайра по случаю рождества, а потом остаться там обедать: вечером братья зайдут за нею и проводят домой. Их тоже приглашали к обеду, но они отказались, сославшись на неотложное дело.

Дело это было не из веселых. Им предстояло встретиться с отцом, выпущенным из тюрьмы, и уговорить его не показываться в Нэрроуберне. Любыми средствами надо было заставить старика вернуться в Канаду или на прежнее пепелище в деревню — куда угодно, лишь бы он не стал на их пути и не погубил надежд Розы на завидную партию, ибо это вот-вот должно было решиться.

Как только обитатели Нэрроуберн Хауса увезли Розу к себе, братья вышли из дому, не пообедав, даже не выпив чая. Корнелиус, которому слесарь неизменно адресовал свои письма, если уж брался за перо, вынул из кармана и перечел на ходу короткую записку, погнавшую их в путь. Она была отослана накануне, как только старик узнал о своем освобождении, и в ней говорилось, что он сразу же отправляется к сыновьям, что идти ему придется пешком, так как денег у него нет; что часам к шести следующего дня он рассчитывает добраться до городка Айвела — на полдороге в Нэрроуберн, — там поужинает в трактире «Замок» и там же дождетсы сыновей, кои, надо полагать, приедут за ним в коляске парой или в другом экипаже, чтобы ему не появляться в Нэрроуберне как бродяге и тем не позорить их.

— Он все же считается с нашим положением, — сказал Корнелиус.

Джошуа уловил насмешку, сквозившую в отцовском письме, и промолчал. Молчание затянулось почти на всю дорогу. Когда они вошли в Айвел, там уже горели уличные фонари, и братья решили, что Корнелиус, которого никто не знал в этих местах и который к тому же был одет в обыкновенное платье, а не как священник, зайдет в трактир один. В ответ на свой вопрос, заданный в темноте подворотни, он услышал, что человек, соответствующий его описаниям, ушел из трактира с четверть часа назад, предварительно поужинав на кухне. Ушел — нетрезвый.

— Так, значит... — проговорил Джошуа, когда Корнелиус

рассказал ему об этом на улице,— значит, мы с ним повстречались затемно и прошли мимо! Да, теперь припоминаю — по ту сторону Хенфордского холма кто-то брел пошатываясь, но вечером, да за деревьями, разве разглядишь?

Братья быстро зашагали назад, однако им долго никто не попадался. Когда же три четверти пути были пройдены, они услышали чьи-то неровные шаги и различили впереди белеющую в темноте фигуру. Уверенности, что это отец, у них не было. Но вот с тем пешеходом поравнялся другой — единственный встречный в этих безлюдных местах,— и братья ясно услышали, как первый спросил дорогу в Нэрроуберн. Встречный ответил — ответил правильно, что для скорости надо свернуть у перелаза за следующим мостом и пойти по тропинке, которая ведет оттуда через луга.

Дойдя до моста, братья тоже свернули на ту тропинку, но догнать виновника своих бед им удалось не раньше, чем они одолели еще два-три перелаза и увидели впереди, за деревьями, огни помещичьего дома. Слесарь сделал остановку в пути и сидел возле живой изгороди. Завидев их, он крикнул:

— Я иду в Нэрроуберн. Вы кто такие?

Они подошли к нему — пусть узнает, и спросили, почему он не дождался их в Айвеле, как сам же предлагал в письме.

— Ах, черт! Я и забыл! — сказал слесарь. — Ну, что вам от меня требуется? — Тон у него был злобный.

Последовали бесконечные переговоры, обострившиеся после первого же намека, что ему не следовало бы появляться в Нэрроуберне. Слесарь вынул из кармана бутылку и стал подзадоривать сыновей выпить, если, мол, они на самом деле желают ему добра и считают себя настоящими мужчинами. Джошуа и Корнелиус уже несколько лет не брали в рот спиртного, но решили, что лучше не отказываться и не раздражать отца без нужды.

— Что это? — спросил Джошуа.

— Слабенькое — джин с водичкой. Не бойся, не опьянешь. пей прямо из бутылки.

Джошуа так и сделал, а слесарь подтолкнул бутылку кверху, чтобы заставить сына хлебнуть побольше. Джин, как расплавленное олово, обжег ему желудок.

— Ха-ха-ха! Вот так! — крикнул старик Холборо. — А ведь это неразбавленное! Ха-ха-ха!

— Зачем же обманывать! — сказал Джошуа, теряя самообладание, несмотря на все свои усилия сдержаться.

— А затем, дружок, что ты сам меня обманул — загнал в эту проклятую страну, будто бы радея о моем благе. Ханжи, лицемеры! Развязать руки себе хотели, и только. Но теперь еще посмотрим, кто кого, черт побери! Вы у меня перестанете проповеди читать! Моя дочь выходит замуж за здешнего сквайра. Я все знаю — в газетах читал!

— Рано еще об этом...

— Нет, врешь, не обманешь! Я ей отец и на свадьбу приду как отец, а не пустишь — такое подниму, что не обрадуешься! Этот джентльмен вон в том доме живет?

Джошуа Холборо чуть ли не корчило от сознания собственного бессилия. Фелмер еще не сказал последнего слова, мать вряд ли дала ему окончательное согласие; ссора с отцом на виду у всего прихода разрушит их воздушный замок — самый прекрасный из всех, какие когда-либо строились. Слесарь встал с земли.

— Если сквайр живет здесь, я пойду навещу его. Скажу, только что прибыл из Канады с богатым приданым для дочки. Ха-ха-ха! Ничего, мол, против вас не имею, и вы тоже меня не обидите. Но место в семье я займу такое, какое отцу полагается, от прав своих не отступлюсь и гордецов обуздаю!

— Ты своего уже добился! Где эта женщина, что ходила с тобой?

— Женщина? Она была моя жена, самая что ни на есть законная, не в пример твоей матери — та-то обзаконилась только после того, как ты у нее родился.

Много лет назад до Джошуа дошли слухи, будто отец соблазнил их мать в раннюю пору их знакомства и с некоторым запозданием покрыв грех, но из отцовских уст ему пришлось услышать об этом впервые. Чаша была переполнена, и у него не стало больше сил. Он в изнеможении прислонился к живой изгороди.

— Кончено! Из-за него мы все погибнем!

Слесарь зашагал прочь, торжествующе помахая палкой, а братья так и остались стоять на месте. Они видели эту жалкую фигуру, горделиво шествующую по тропинке, а дальше — освещенные окна оранжереи в Нэрроуберн Хаусе, где, может быть, Альберт Фелмер сидел рядом с Розой, держал ее за руку и просил стать хозяйкой у него в доме.

Белесый силуэт, неуклонно двигавшийся туда, неся гибель всему этому, мало-помалу сливался с темнотой и вдруг сразу исчез за плотиной. Послышался плеск воды.

— Он свалился в запруду! — крикнул Корнелиус, устремляясь туда, где исчез их отец.

Джошуа очнулся от оцепенения и догнал брата, не дав ему пробежать и десяти шагов.

— Стой, стой! Что ты делаешь?

— Надо его вытащить!

— Да, да... надо. Но подожди, подожди минуту...

— Джошуа!

— Ее будущее, ее счастье, Корнелиус... и наше с тобой доброе имя... и наши надежды выбиться в люди всем троим...

Он до боли стиснул брату руку, и, стоя рядом, почти не дыша, они вслушивались — барахтанье и всплески в запруде все еще продолжались, а над ней, сквозь покачивающиеся на



ветру голые ветки такой надеждой светились окна зимнего сада в помещицьем доме!

Всплески и барахтанье стали слабее, и до них донесся захлебывающийся голос:

- Помогите... Тону! Рози!.. Рози!..
- Бежим!.. Спасем его! О Джошуа!
- Да, да!.. Спасем!

И все-таки они не сделали ни шагу вперед, а выжидали, цепляясь друг за друга, думая об одном и том же. Ноги не повиновались им, словно на них были свинцовые гири. На лугу все стихло. Братьям казалось, что за окнами зимнего сада движутся людские тени. Самый воздух там был словно напоен нежными поцелуями.

Наконец Корнелиус рванулся вперед, и почти следом за ним — Джошуа. Им было достаточно двух-трех минут, чтобы

подбежать к берегу речки. В этом месте было не так глубоко, темнота еще не успела сгуститься, и светлую плисовую одежду отца можно было бы разглядеть, если бы он лежал на дне, но они так ничего и не увидели. Джошуа посмотрел вверх и вниз по течению.

— Его снесло в дренажную трубу,— сказал он.

У моста речка сразу сужалась чуть ли не вдвое и уходила под полукруглую арку или пролет, сделанный для того, чтобы во время сенокоса подводы могли выезжать прямо на луг. Но в зимнее время вода поднималась высоко, и волны, набегаая, с плеском разбивались о свод этой арки. Джошуа увидел, как что-то светлое скользнуло туда. Секунда — и все исчезло.

Братья перешли к нижнему выходу из-под арки, но с той стороны ничего не выплыло. Они долго ходили с одного конца запруды к другому, стараясь разглядеть, что делается под мостом, и все безуспешно.

— Надо было сразу же бежать к реке,— мучаясь угрызениями совести, сказал Корнелиус, когда они совсем выбились из сил и промокли до нитки.

— Да, надо было сразу,— с трудом выговорил Джошуа. Он увидел отцовскую палку, валявшуюся на берегу, схватил ее и глубоко загнал в тину среди камышей. Они зашагали прочь от моста.

— Как по-твоему... надо сказать? — прошептал Корнелиус, когда они подходили к дому Джошуа.

— Зачем? Какой смысл? Теперь все равно ничему не поможешь. Подождем, пока его не отыщут.

Они вошли в комнаты, переоделись, а потом отправились в Нэрроуберн Хаус и попали туда к десяти часам. Кроме их сестры, у Фелмеров было только трое гостей: сосед помещик с женой и дряхлый старик настоятель.

Роза, хоть и рассталась с братьями всего лишь утром, сжала им руки так горячо, сияя такой радостью, будто они не виделись долгие годы.

— Какие вы оба бледные,— сказала она.

Братья сослались на усталость — им пришлось сделать большой конец пешком. Все, кто был в гостиной, держались так, точно таили про себя нечто очень интересное, сосед помещик с женой многозначительно посматривали по сторонам, а сам Фелмер играл роль хозяина рассеянно, занятый какими-то волнующими его мыслями. Гости поднялись в одиннадцать часов, отказавшись от предложенной коляски, так как путь им всем предстоял не дальний, а дорога была сухая. Фелмер проводил их по темному саду несколько дальше, чем требовалось этикетом, и вполголоса пожелал Розе доброй ночи, немного отстав с ней от других.

Когда они вышли на дорогу, Джошуа спросил, через силу стараясь взять шутливый тон:

— Роза, что происходит?

— Ах, я...— пролепетала девушка.— Он...

— Ну, хорошо, не надо, если тебя это смущает.

Роза была так взволнована, что сначала не могла и двух слов связать. Куда девалась ее светскость, вывезенная из Брюсселя! Но потом, несколько успокоившись, она продолжила:

— Я вовсе не смущаюсь, и ничего особенного не произошло. Только он сказал, что ему нужно кое о чем поговорить со мной, а я сказала, что сейчас не надо. Предложения он еще не сделал и будет говорить сначала с вами. Он и сегодня бы поговорил, только я просила его не торопиться. И, по-моему, он придет завтра.

V

Прошло полгода, наступила летняя пора; в лугах косили и убирали сено. Помещичий дом стоял как раз напротив, и не удивительно, что на сенокосе часто обсуждали вдоль и поперек все дела и поступки сквайра и его молодой жены — сестры младшего священника, вызывавшей к себе всеобщий интерес, а у многих даже восхищение.

Роза была так счастлива, как только может быть счастлива женщина. Она так и не узнала, какая участь постигла ее отца, и порой удивлялась, пожалуй, с чувством облегчения, почему он не пишет ей из Канады. Вскоре после ее свадьбы Джошуа получил приход в одном небольшом городке, а освободившееся в Нэрроуберне место младшего священника занял Корнелиус.

Оба они с затаенной тревогой ждали, когда же обнаружат труп отца, а его все не находили. В любой день могло случиться, что какой-нибудь мальчик или кто из взрослых прибежит с этой вестью, но пока таких вестников не было. Шли дни, недели, месяцы; назначили и отпраздновали свадьбу; Джошуа совершил свое первое богослужение в новом приходе — и все тихо, никто не уяснется, никто не вскрикнет, наткнувшись на останки слесаря.

Но теперь, в июне, когда на лугах начался покос, для удобства косцов пришлось открыть шлюзовые затворы и спустить воду из запруды. Тогда-то утопленника и обнаружили. Один из работников, нагнувшись с косой в руках, увидел перед собой весь пролет арки — и под ним что-то темное в путанице водорослей на обнажившемся дне. Произвели следствие, но опознать труп не было никакой возможности. Рыбы и вода успели потрудиться над слесарем; на нем не было ни часов, ни какой либо другой приметной вещи, и дня через два при разборе этого дела следователь вынес вердикт, гласивший, что неизвестный человек утонул, что и было причиной его смерти.

Поскольку труп был обнаружен в приходе Нэрроуберна, тут его и следовало похоронить. Корнелиус написал Джошуа письмо с просьбой приехать и совершить погребальный обряд или

прислать кого-нибудь вместо себя; сам он не в состоянии сделать это. Джошуа приехал — лишь бы обошлось без чужих людей — и молча прочел распоряжение следователя, которое передал ему гробовщик.

«Я, Генри Джайлс, следователь Центрального округа графства Уэссекс, настоящим приказываю совершить погребение тела, принадлежащего — как установлено при слушании дела с присяжными — неизвестному лицу мужского пола, взрослому...» и так далее.

Джошуа Холборо, как мог, отслужил заупокойную службу и пришел с кладбища к Корнелиусу. Они отказались позавтракать у сестры под тем предлогом, что им нужно обсудить кое-какие приходские дела. Позже днем она сама пришла к ним, хотя они уже побывали утром в Нэрроуберн Хаусе и не рассчитывали увидеться с ней еще раз.

Сияющие глаза, золотистые волосы, нарядная шляпка, палевые перчатки Розы, красота ее — все это словно озарило комнату ярким светом, непереносимым для них, погруженных во тьму.

— Я забыла вам рассказать об одном странном случае, — сразу же начала она. — Это было месяца за два до нашей свадьбы. Нет ли тут какой связи с тем несчастным, которого похоронили сегодня? Помните, я была в Нэрроуберн Хаусе и дожидалась, когда вы за мной зайдете. Мы с Альбертом молча сидели в оранжерее, и вдруг нам послышался крик. Мы отворили дверь в сад, и пока Альберт бегал за шляпой, оставив меня одну, крик послышался снова, а я была тогда так взволнована, что мне почудилось, будто это меня окликнули. Но когда Альберт вернулся, все уже было тихо, и мы решили, что это не на помощь звали, а просто кто-нибудь кричал спяну. Потом все это забылось, и только сегодня, после похорон, я вдруг подумала: что, если мы слышали тогда голос того несчастного человека? Имя, конечно, мне примерещилось, а может, у него жену или дочь звали как-нибудь похоже?

Когда Роза ушла, братья долго сидели молча; потом Корнелиус сказал:

— Вот увидишь, Джошуа, рано или поздно она все узнает.

— От кого?

— От одного из нас. Неужели мы навсегда сохраним свою тайну? Что же, по-твоему, человеческое сердце — это окованный железом сундук?

— Бывает и так, — ответил Джошуа.

— Нет! Все узнается. Мы сами скажем.

— Скажем? И погубим, убьем ее? Обесчестим ее детей и навлечем позор на благоденствующий дом Фелмеров? Да лучше... лучше мне утонуть, как он утонул, чем пойти на такое! Нет, нет! Ни за что! Неужели ты не согласен со мной?

Эти слова, видимо, убедили Корнелиуса, и на том их разговор кончился. С того дня братья долго не виделись, а к концу

следующего года у Фелмеров родился сын и наследник. Неделю, если не больше, местные жители каждый вечер звонили во все три церковных колокола и веселились, попивая эль мистера Фелмера, а ко дню крестин Джошуа снова приехал в Нэр-руберн.

Среди всех, кто собрался на это торжество в доме Фелмера, братья были самыми безучастными гостями. Им не давал покоя призрак в светлой плисовой одежде. Вечером они вдвоем шли домой через луг.

— За нее я теперь покоен, — сказал Джошуа. — А ты тянешь лямку, как на поденщине, и, видно, будешь тянуть ее до конца своих дней. А я с этим нищенским приходом... Чего я добился в конце-то концов? Положа руку на сердце, Корнелиус, церковь — это жалкое поприще для людей маленьких, безвестных, особенно когда рвение их начинает угасать. За ее пределами, в миру, — там, где не мешают ни традиции, ни догма, можно сделать для общества гораздо больше. Не знаю, как ты считаешь, а по мне лучше чинить мельничную снасть и иметь кусок хлеба и свободу.

Сами не замечая, куда идут, они свернули к речке и остановились на берегу. Перед ними была хорошо знакомая им запруда. Вот шлюзовые затворы, вот дренажная труба; сквозь прозрачную воду виднелось усеянное галькой дно. Ликующие жители Нэрруберна все еще звонили в церкви, и треньканье колоколов доносилось и сюда.

— Смотри, что это?.. Ведь здесь я спрятал его палку! — сказал Джошуа, глядя на камыши. И вдруг под легким порывом ветра что-то белое затрепетало там, куда он показывал Корнелиусу.

Из камышовых зарослей поднимался стройный тополек, и это тополевые листья сверкнули серебром в сумерках.

— Его палка принялась! — сказал Джошуа. — Я помню, она была свежесрезанная... наверно, вырезал где-нибудь по дороге.

А деревце все серебрилось при каждом дуновении ветерка, и у них не стало сил смотреть на это. Они повернулись и отошли от речки.

— Он снится мне каждую ночь, — чуть слышно проговорил Корнелиус. — Сколько мы ни изучали евангелие, а не пошло это нам на пользу, Джош! Снести крестные муки, презрев поругание, — вот в чем истинное величие духа! Знаешь, о чем я часто думаю теперь?.. Лучше положить конец всем своим терзаниям вон там, в том самом месте.

— Я тоже об этом думал, — сказал Джошуа.

— Когда-нибудь мы так и сделаем.

— Да, может быть, — хмуро ответил Джошуа.

Унося с собой эту мысль, с тем чтобы обдумывать ее все дни и все ночи, равно глухие для них, они пошли домой.

В ЗАПАДНОМ СУДЕБНОМ ОКРУГЕ

I

Человек, смутивший мирную жизнь двух женщин, о которых речь пойдет впереди — кстати говоря, это был ничем не выдающийся молодой человек, — впервые узнал об их существовании поздним октябрьским вечером в городе Мелчестере. Войдя внутрь церковной ограды, он тщетно пытался разглядеть гроздившееся перед ним и весьма совершенное в своем роде произведение английской средневековой архитектуры, чьи высокие сужающиеся кверху башни поднимались к небу с окружающей его ровной сырой лужайки. Сейчас, ночью, присутствие собора ощущалось не столько зрением, сколько слухом — невидимые в темноте стены отражали шум и гам, проникавший с улицы, которая вела на городскую площадь, и гулкое эхо отдавалось у него в ушах.

Отложив до утра попытку изучить опустевшее здание, человек стал внимательно прислушиваться к городскому шуму, в котором можно было различить дребезжанье шарманок, удары гонга, звон колокольчиков, шелканье трещоток и невнятные возгласы людей. В той стороне, откуда доносился этот разноголосый рев, в воздухе стояло какое-то призрачное сиянье. Человек двинулся туда. Пройдя под сводами ворот, он зашагал по ровной прямой улице и вскоре очутился на площади.

Едва ли где-нибудь еще в Европе ему довелось бы найти место, где так близко соседствовали бы столь разительные контрасты. Яркие краски и полыхавшие везде огни приводили на память восьмой круг Дантова ада, и вместе с тем тут царил безудержное веселье, словно на Олимпе, каким изобразил его Гомер. Коптящее пламя бесчисленных керосиновых ламп освещало палатки, ларьки, киоски и прочие временные сооружения, заполнявшие огромную площадь. На фоне этого тусклого медного сиянья, словно стая мошкар в лучах заходящего солнца, проносились туда-сюда, вверх, вниз и по кругу десятки людских фигур, большей частью повернутых в профиль. Они

двигались так ритмично, что казалось, были пущены в ход каким-то неведомым механизмом. Да их и в самом деле приводила в движение машина — то были фигуры людей, катавшихся на качелях, гигантских шагах и на трех паровых каруселях, установленных в центре площади. Именно отсюда и доносились звуки шарманок.

Поразмыслив, молодой человек предпочел освещенную яркими огнями жизнерадостную толпу мрачному памятнику архитектуры. Невольно подлаживаясь к ухваткам окружающих, он раскурлил короткую трубку, сдвинул шляпу набекрень, заложил руку в карман и подошел к самой большой и многолюдной паровой машине — так называли карусели их владельцы. ярко разукрашенная карусель вертелась полным ходом. В эту минуту медные трубы помещенного в центре музыкального инструмента, под звуки которого двигались по кругу люди, обратились прямо на молодого человека, а установленные под углом друг к другу длинные зеркала, вращающиеся вместе со всей машиной, словно гигантский калейдоскоп, отбрасывали ему в глаза отражения вертящихся людей и коней.

Теперь можно было разглядеть, что молодой человек совсем не похож на большинство людей в толпе. По виду это был один из тех не лишенных лоска и даже утонченности молодых людей, какие встречаются только в больших городах, и главным образом в Лондоне. Деликатного сложения, прилично, хотя и не по моде одетый, он мог быть врачом, священником или юристом. Ничто не обличало в нем грубых или практических наклонностей; внешность его, напротив, свидетельствовала о натуре мягкой и чувствительной. В наш век, когда господствующей страстью стало мелкое честолюбие, которое явно вытесняет освященное временем чувство любви, его едва ли можно было назвать типичным представителем среднего сословия.

Вертящиеся фигуры проходили у него перед глазами с безмятежной грацией, тем более неожиданной, что спокойствие и изящество движений отнюдь не свойственны подобной толпе. При помощи какого-то хитроумного приспособления (поистине чуда карусельной техники) деревянные кони скакали галопом, причем в то время как один взвивался на дыбы, другой, соседний, опускал копыта наземь. Наездники, совершенно зачарованные движениями коней, наслаждались одним из самых веселых развлечений нашего времени. Здесь были люди всех возрастов — от шести до шестидесяти лет. Вначале молодой человек не различал отдельных лиц, но постепенно взор его привлекла самая хорошенькая девушка из множества катавшихся на карусели.

Не та девушка в светлом платье и шляпке, которую он заметил вначале, нет, другая — в черной пелерине, серой юбке, в светлых перчатках и... нет, даже не она, а та, что позади нее — в малиновой юбке, темном жакете, коричневой

шляпке и перчатках. Эта девушка, без сомнения, была лучше всех.

Остановив на ней свой выбор, наш праздный наблюдатель принялся разглядывать свою избранницу — насколько это было возможно за те короткие промежутки, когда она попадала в поле его зрения. Целиком поглощенная катаньем, она не замечала ничего вокруг. Лицо ее сияло безудержным восторгом. В эту минуту она забыла о себе, о других, обо всем на свете — не только о своих заботах. Ему же, полному смутной печали и модной в те годы меланхолии приятно было видеть это юное существо, счастливое, словно в раю.

Страшась неизбежной минуты, когда безжалостный машинист, притаившийся где-то за блестящим причудливым сооружением, решит, что эта партия наездников уже достаточно накаталась на свой пенни, и остановит весь сложный аппарат, состоящий из паровой машины, деревянных коней, зеркал, труб, барабанов, тарелок и прочего, он равнодушно смотрел, как мимо проносятся другие фигуры — две менее привлекательные девушки, старуха с ребенком, двое подростков, чета молодоженов, старик, куривший глиняную трубку, франтоватый юноша с кольцом на пальце, молодые женщины, сидящие в колеснице, двое поденщиков-плотников и все остальные, — и с нетерпением ожидал, когда снова появится пленившая его сельская красотка. Он никогда еще не встречал такой прелестной девушки, и с каждым новым оборотом карусели она производила на него все более сильное впечатление.

Наконец машина остановилась, и со всех сторон послышались вздохи наездников. Он поспешил туда, где, по его расчетам, она должна была сойти. Новая партия наездников уже начала занимать опустевшие седла, а девушка все сидела на прежнем месте, видимо намереваясь прокатиться вторично. Молодой человек подошел к ее коню и, улыбаясь, спросил, нравится ли ей катанье.

— Очень! — отвечала девушка, сияя глазами. — Больше всего на свете!

Завязать с ней разговор оказалось совсем нетрудно. Откровенная, даже чересчур откровенная от природы, Анна к тому же имела так мало жизненного опыта, что не научилась еще искусству сдержанности, и он очень скоро сумел преодолеть ее робость и заставить ее отвечать на вопросы. Девушка рассказала ему, что приехала в Мелчестер из деревни на Большой равнине, в первый раз в жизни видит паровую карусель и никак не возьмет в толк, что это за машина. Здесь она живет у миссис Харнхем. Та сама предложила взять ее в служанки и обучить всему, что для этого нужно, если Анна окажется достаточно понятливой. Миссис Харнхем — молодая леди, до замужества ее звали мисс Эдит Уайт, и жила она в деревне по соседству с Анной. Хозяйка очень добра к Анне, потому что знает ее с детства. Она сама всему ее обучает. Миссис Харн-

кем — ее единственный друг в целом свете. Детей у хозяйки нет, ну она и привязалась к Анне, и никого другого ей не надо, даром что Анна только недавно приехала. Миссис Харнхем никогда не придирается к ней, и только попроси — отпускает погулять. Муж этой молодой леди — богатый виноторговец, но миссис Харнхем его не очень-то любит. Живут они совсем недалеко — днем отсюда видно. Самой Анне в Мелчестере нравится гораздо больше, чем в заброшенной деревне, а в будущее воскресенье она купит себе новую шляпку за пятнадцать шиллингов девять пенсов.

Потом она спросила у своего нового знакомого, где он живет, и он сказал, что в Лондоне. В этом древнем дымном городе живут все люди, о которых можно сказать, что они живут, а не только прозябают, — и они даже умирают, если приходится с ним расстаться. Два-три раза в год он бывает по делам в Уэссексе; вчера приехал из Уинтончестера, а через два дня уедет в соседнее графство. Но за одно свойство он все же предпочитает провинцию столице — только здесь можно встретить таких прелестных девушек, как Анна.

Потом веселая карусель закружилась опять, и красивый молодой человек, освещенная яркими огнями толпа на базарной площади, дома, стоящие по краям, и весь необъятный мир — все снова завертелось перед глазами беззаботной девушки, все поплыло в одну сторону, а в зеркалах, находившихся справа, все несло в противоположном направлении. Ей казалось, что сама она — единственная неподвижная точка в этой кружащейся, ослепительной, призрачной вселенной и что самое большое, главное во всем этом — фигура ее недавнего собеседника. Каждый раз, когда Анна проходила часть своей орбиты, расположенную ближе к нему, оба, улыбаясь, взглядывали друг на друга, и на их лицах появлялось то особенное выражение, которое сейчас еще, быть может, не означает ничего, но которое так часто в дальнейшем приводит за собою страсть, тоску, близость, разрыв, преданность, перенаселение, тяжкий труд, удовлетворенность, покорность судьбе, смирение и отчаяние.

Когда они снова замедлили свой бег, юноша подошел к Анне и предложил ей прокатиться еще раз.

— Я плачу! — воскликнул он. — Эх, куда ни шло — пропадать так пропадать!

Она засмеялась и смеялась так, что на глазах у нее выступили слезы.

— Почему вы смеетесь, милая девушка? — спросил он.

— Потому... потому что вы ведь ученый, у вас, наверно, много денег, и вы это в шутку говорите.

— Ха-ха-ха! — засмеялся юноша. Он галантно вынул деньги, и она снова завертелась по кругу.

Глядя на то, как он с трубкой в руках, в грубой куртке и широкополой фетровой шляпе, надетых для прогулки, улыбаясь, стоит среди пестрой толпы, кто мог бы подумать, что это

Чарльз Брэдфорд Рэй, эсквайр, молодой юрист, обучавшийся в Уинтончестере, получивший в Линкольнз-инне право адвокатской практики. Участвуя в выездной сессии по западному судебному округу, он случайно задержался в Мелчестере из-за мелкого арбитражного дела — остальные его собратья уже перекочевали в столицу соседнего графства.

II

Дом, о котором говорила девушка, стоял в дальнем конце площади. Это было довольно большое, внушительного вида здание со множеством окон, выходящих на площадь. У окна на втором этаже сидела дама лет двадцати восьми — тридцати. Шторы были еще не задернуты, и дама, подперев голову рукою, рассеянно озирала причудливую картину за окном. В просторной гостиной было темно, но отсветы уличных фонарей ярко освещали ее задумчивое лицо, темные глаза и тонкие нервные губы — лицо, которое скорее можно было назвать привлекательным, нежели красивым.

Мужчина, появившийся откуда-то сзади, подошел к окну.

— Это ты, Эдит? — спросил он. — А я тебя не заметил. Почему ты сидишь в темноте?

— Смотрю на ярмарку, — равнодушно отозвалась дама.

— Да что ты? По-моему, одно безобразие — шум, крик!

И когда только прекратится эта несносная канитель!

— А мне нравится.

— Что ж, о вкусах не спорят.

Из вежливости он с минуту постоял у окна, затем вышел из комнаты.

Вскоре миссис Харнхем позвонила.

— Анна еще не возвращалась? — спросила она у служанки.

— Нет, мэм.

— Ей давно пора быть дома. Я отпустила ее всего на десять минут.

— Может, пойти поискать ее, мэм? — живо отозвалась служанка.

— Нет, незачем. Она послушная девушка и скоро вернется сама.

Однако, когда служанка удалилась, миссис Харнхем встала, прошла в свою комнату, надела плащ, шляпу и спустилась вниз к мужу.

— Я хочу посмотреть ярмарку, а заодно поискать Анну, — сказала она. — Я за нее отвечаю и должна следить, чтобы с нею ничего не случилось. Ей уже давно пора вернуться. Ты пойдешь со мной?

— Ничего с ней не сделается. Я видел ее на карусели, она болтала со своим молодым человеком. Впрочем, если

хочешь, я пойду, хотя я предпочел бы уйти куда-нибудь совсем в другую сторону.

— Ну что ж, ступай, если хочешь. Я пойду одна.

Выйдя из дому, она смешалась с толпой, запрудившей площадь, и вскоре увидела Анну верхом на вертящемся коне. Как только карусель остановилась и Анна спрыгнула наземь, миссис Харнхем подошла поближе и строго сказала:

— Анна, как можно быть такой непослушной? Я ведь отпустила тебя всего на десять минут.

Анна не знала, что отвечать, и молодой человек, отошедший было в сторону, поспешил к ней на помощь.

— Пожалуйста, не сердитесь на нее,— вежливо сказал он.— Это я виноват, что она задержалась. Она была такая хорошенькая верхом на этой лошадке, что я уговорил ее прокатиться еще раз. Уверяю вас, ничего плохого тут с ней быть не может.

— В таком случае оставляю ее на ваше попечение,— сказала миссис Харнхем, поворачиваясь, чтобы идти обратно.

Однако ей не сразу удалось уйти. Что-то позади привлекло внимание толпы, все устремились туда, и супругу вино-торговца так крепко прижали к новому знакомцу Анны, что она не могла двинуться с места. Лица их оказались совсем рядом, и она, так же как и Анна, чувствовала на своей щеке дыхание молодого человека. Им оставалось только улыбнуться этому досадному происшествию, но ни один из них не произнес ни слова, и все трое ждали, что будет дальше. Вдруг миссис Харнхем почувствовала, что ее пальцы сжимает чья-то мужская рука, и по лицу юноши поняла, что это его рука, но она поняла также и то, что он думает, будто держит руку Анны. Вряд ли она могла бы объяснить, что помешало ей рассеять это недоразумение. Не удовлетворившись одним пожатием, молодой человек шуточно просунул два пальца ей в перчатку и стал гладить ее ладонь. Наконец толпа начала редеть, но прошло еще несколько минут, прежде чем миссис Харнхем смогла уйти.

«Интересно, как это они познакомились? — размышляла она, уходя.— Анна, право же, слишком вольно себя держит, а он безнравственный, но очень милый».

Слегка взволнованная поведением и голосом незнакомца, а также нежным пожатием его руки, она, вместо того, чтобы идти домой, повернула обратно, спряталась в укромный уголок и стала следить за юной парой. В сущности, подумала миссис Харнхем (почти столь же легко поддающаяся чувству, как и сама Анна), вполне простительно, что Анна поощряет его ухаживания. В конце концов неважно, как она познакомилась с ним. Ведь он такой благовоспитанный, и притом такой обаятельный, и глаза у него такие красивые. При мысли о том, что он на несколько лет моложе ее, миссис Харнхем почему-то вздохнула.

Наконец парочка покинула карусель, и миссис Харнхем

услышала, как молодой человек сказал, что проводит Анну до дому. Итак, Анна нашла себе поклонника и, по-видимому, весьма преданного. Он очень заинтересовал миссис Харнхем. Подойдя к дому виноторговца — в это время там было уже довольно пустынно — они постояли минуту-другую в темноте возле стены, где их не было видно, а потом разошлись. Анна направилась к дверям, а молодой человек вернулся обратно на площадь.

— Анна,— сказала миссис Харнхем, подходя к дому,— я все время смотрела на тебя. Мне, право, кажется, что этот молодой человек поцеловал тебя на прощанье.

— Да видите ли,— смущенно забормотала Анна,— он сказал, что если мне все равно... мне ведь от этого вреда не будет, а ему будет очень приятно.

— Так я и знала! Но ведь ты только сегодня с ним познакомилась?

— Да, мэм.

— И ты, конечно, сказала ему, как тебя зовут и кто ты такая?

— Он меня спросил.

— Однако о себе он ничего не рассказал?

— А вот и рассказал! — с торжеством вскричала Анна.— Он Чарльз Брэдфорд из Лондона.

— Если он порядочный человек, я, разумеется, не имею ничего против этого знакомства,— заметила хозяйка Анны, вопреки всем своим принципам расположенная в пользу молодого человека.— Впрочем, если он попытается встретиться с тобой снова, придется еще подумать. И откуда в тебе такая прыть — только месяц, как приехала в Мелчестер, никогда в жизни не видела мужчины в городском костюме и, смотрите пожалуйста — ухитрился увлечь молодого лондонца!

— Я его не увлекла. У меня и в мыслях не было,— смущенно проговорила Анна.

Войдя в дом и оставшись в одиночестве, миссис Харнхем подумала, каким благовоспитанным и благородным молодым человеком казался спутник Анны. Нежное прикосновение его руки глубоко взволновало ее, и она никак не могла понять, чем привлекла его простушка Анна.

На следующее утро Эдит Харнхем, по обыкновению, отправилась в Мелчестерский собор. Войдя в церковную ограду, она сквозь туман снова увидела того, кто накануне вечером так поразил ее воображение. Он задумчиво разглядывал уходящую ввысь громаду нефа. Потом, когда Эдит уселась, он тоже вошел в церковь и сел через проход от нее.

Молодой человек не обращал особенного внимания на миссис Харнхем, она же не сводила с него глаз и все больше дивилась — что могло привлечь его к неотесанной деревенской девушке? Подобно своей служанке, хозяйка имела весьма смутное представление о молодых людях нашего века. В противном

случае она удивлялась бы гораздо меньше. Рэй посидел немного, оглядываясь по сторонам, потом, не дожидаясь конца службы, внезапно встал и ушел, и миссис Харнхем — одинокая впечатлительная женщина — утратила всякий интерес к хвале, возносимой Иисусу. О, зачем она не вышла замуж за какого-нибудь жителя Лондона, постигшего все тонкости любви — вот хотя бы как этот юноша, который по ошибке погладил ее руку?

III

Дело, назначенное к слушанию в мелчестерском суде, было несложное, и разбор его занял всего несколько часов; в выездной сессии в Кэстербридже, главном городе соседнего графства, тоже входящего в Западный судебный округ, Рэй не участвовал и поэтому туда не поехал. В третьем городе открытие сессии было назначено на следующий понедельник, а разбор дел начинался во вторник утром. Естественный порядок вещей требовал, чтобы Рэй прибыл туда в понедельник вечером; но жители этого города увидели его развевающуюся мантию и болтающуюся за спиной косицу белого парика, завитого ярусами по лучшим образцам ассирийских барельефов, только в среду, когда, выйдя из своей квартиры, он торопливо зашагал по Хай-стрит. Однако, хоть Рэй и вошел в здание суда, делать ему там было нечего. Усевшись за судейский стол, покрытый синим сукном, он чинил перья, а мысли его витали где-то очень далеко от разбираемого дела. Вспоминая свои необдуманные поступки, на которые еще неделю назад вовсе не считал себя способным, он испытывал глубокое недовольство собой.

На другой день после ярмарки ему снова удалось встретиться с Анной. Они ходили на земляную крепость Старого Мелчестера, и он настолько увлекся прелестной сельской девушкой, что остался в городе на воскресенье, понедельник и вторник. За это время они виделись еще несколько раз, и в конце концов он одержал полную победу — девушка теперь принадлежала ему душой и телом.

Необузданная страсть к простой, бесхитростной девочке, неопытность которой так легко толкнула ее в объятия Рэя, была, как он думал, следствием его уединенной жизни в городе. Он глубоко сожалел, что ради удовлетворения мимолетного желания так легкомысленно играл ее чувством, и теперь надеялся только, что ей не придется из-за него страдать.

Она просила его вернуться, плакала, умоляла. Он обещал приехать и намеревался сдержать свое слово, считал, что не имеет права ее бросить. Конечно, такие случайные связи всегда обременительны, но благодаря расстоянию в сотню миль (ограниченному воображению девушки оно покажется целой тысячей) это летнее увлечение, надо надеяться, не слишком усложнит ему жизнь, а воспоминание об ее простодушной любви

может даже принести известную пользу — его меньше будет тянуть к разным городским удовольствиям, и ничто не будет отвлекать его от работы. Три-четыре раза в год он будет выезжать в Мелчестер на сессию суда и тогда сможет видаться с нею.

Вымышленное, или, вернее, неполное имя, которым он назвал себя, когда еще не думал, как далеко может зайти это знакомство, сорвалось с его губ случайно, без всякой задней мысли. Он и позже не пытался рассеять заблуждения Анны, но, уезжая, решил, что нужно дать ей адрес писчебумажной лавки неподалеку от своей квартиры, куда она могла бы посылать ему письма, адресуя их на инициалы «Ч. Б.».

Кончилась сессия, и Рэй отправился домой. По пути он опять заехал в Мелчестер и провел еще несколько часов со своей прелестной дикаркой. В Лондоне потянулись скучные однообразные дни. Часто рыжевато-коричневый туман обволакивал улицы, отгораживая его комнату и его самого от всего мира, и в такие вечера при свете газа жизнь начинала казаться ему настолько нереальной, что он оставлял свои занятия и принимался глядеть в огонь, снова и снова возвращаясь мыслью к доверчивой девочке из Мелчестера. Иногда его вдруг охватывала такая нежность к ней, что он не мог найти себе места. Он входил через северную дверь под полутемные церковные своды уголовного суда, смешивался с толпой молодых адвокатов, одетых подобно ему и, подобно ему, не занятых в деле; протискивался в ту или иную переполненную народом судебную камеру, где шел какой-нибудь громкий процесс, как будто был его участником, — впрочем, полицейские, стоявшие у дверей, отлично знали, что он имеет не больше отношения к этому делу, чем праздные зеваки, с восьмью часами утра толпившиеся у входа на галерею, ибо они, как и сам Рэй, принадлежали к той категории людей, которые живут одними надеждами. Но он продолжал эти бесцельные скитания и все время думал только о том, как не похожи участники этих сцен на розовую, свежую Анну.

Он очень удивлялся, почему эта крестьянская девушка до сих пор ничего ему не написала — ведь он сказал, чтобы она писала, когда ей только вздумается. Поразительная сдержанность со стороны столь юного существа! В конце концов он послал ей коротенькое письмецо с просьбой ответить. С обратной почтой ответа не было, но спустя еще день владелец писчебумажного магазина вручил ему надписанный аккуратным женским почерком конверт со штемпелем Мелчестера.

Рэй получил письмо, и этого было достаточно, чтобы удовлетворить его мечтательное воображение. Он не спешил вскрывать конверт, заранее предвкушая заключающиеся в нем сладкие воспоминания и нежные клятвы, и прошло добрых полчаса, прежде чем он приступил к чтению. Наконец, усевшись возле камина, он развернул записку и был приятно удивлен, не обна-

ружив в ней ничего избобличающего дурной вкус. Он никогда еще не получал такого прелестного послания от женщины. Написанное, разумеется, очень бесхитростным языком, письмо содержало весьма поверхностные мысли, но от него веяло такой девичьей скромностью, таким сдержанным женским достоинством, что Рэй перечел его два раза подряд. Письмо заполняло четыре страницы, по старинному обычаю несколько строчек было написано на полях, бумага была самая обыкновенная, совсем не того цвета и формата, какой был тогда в моде. Но что из того? Ему приходилось получать письма от женщин, которые по праву считали себя светскими дамами, но ни в одном из них не было такой задушевности, такого неподдельного чувства. В письме нельзя было найти ни одной особенно тонкой или остроумной мысли, в нем подкупало все вместе взятое и, кроме просьбы написать или приехать еще раз, там не содержалось ни единого намека на какие бы то ни было претензии по отношению к нему. Еще недавно Рэю и в голову бы не пришло поддерживать подобную переписку, но теперь он послал ей, подписавшись все тем же неполным именем, коротенькое письмецо, в котором просил писать, обещал скоро приехать и в заключение добавлял, что никогда не забудет, как много они значили друг для друга в те короткие дни, когда были вместе.

IV

Вернемся теперь немного назад, к тому дню, когда Анна получила письмо от Рэя.

Письмо передал ей в собственные руки почтальон, разославший утреннюю почту. Покраснев до ушей, Анна вертела письмо в руках.

— Это мне? — спросила она.

— Ну да, ты разве не видишь? — улыбаясь, отвечал почтальон.

Он сразу догадался, что это за послание и отчего она так смутилась.

— Конечно, вижу, — сказала Анна. Взглянув на письмо, она принужденно засмеялась и покраснела еще больше.

Выражение растерянности не покинуло лица Анны и после ухода почтальона. Она вскрыла конверт, поцеловала бумагу, спрятала письмо в карман и задумалась. Постепенно глаза ее наполнились слезами.

Через несколько минут Анна понесла чай в спальню миссис Харнхем. Хозяйка посмотрела на нее и сказала:

— Ты что-то сегодня грустишь, Анна. Что с тобой?

— Я не грущу, а радуюсь, только...— Анна подавила вздох.

— Так что же с тобой?

— Я получила письмо, да что в нем толку, раз я не могу его прочесть?

— Давай, я прочту тебе, если хочешь.

— Но ведь оно от одного человека... я не хочу, чтобы его кто-нибудь читал,— прошептала Анна.

— Я никому не скажу. Оно от того молодого человека?

— Наверно.

Анна нерешительно вынула письмо и сказала:

— Прочтите, пожалуйста, мэм.

Смушение и тревога Анны объяснялись очень просто — она не умела ни читать, ни писать. Она выросла у тетки — жены дяди, в одной из глухих деревушек Большой Средне-Уэссекской равнины, где, даже после того как ввели всеобщее обучение, не было ни одной школы ближе, чем за две мили. Тетка Анны сама была неграмотная, и никому не пришлось в голову заинтересоваться девочкой и поучить ее чему-нибудь. Тетка, хоть и не родная, не обижала Анну, девочка была сыта, одета и обута. Миссис Харнхем, взяв Анну к себе в дом, научила ее правильно говорить. На этот счет девушка оказалась довольно смышленной (нередкое явление среди простонародья) и очень скоро усвоила все обороты речи своей хозяйки. Кроме того, миссис Харнхем снабдила ее букварем, тетрадкой и заставила учиться грамоте, но это уж давалось Анне труднее. А тут как раз пришло письмо.

В темных глазах Эдит Харнхем вспыхнула искра любопытства, но, верная взятой на себя роли, она постаралась читать письмо как можно более равнодушным и монотонным голосом. Наконец она добралась до последней фразы, в которой молодой человек, между прочим, просил Анну прислать ему нежный ответ.

— Пожалуйста, ответьте ему за меня, мэм! — взмолилась Анна.— Вы ведь напишете лучше, хорошо? Если он узнает, что я не умею писать, я от стыда сквозь землю провалюсь.

Некоторые намеки, содержащиеся в письме, заставили миссис Харнхем насторожиться, а расспросив Анну, она убедилась в справедливости своих подозрений. Эдит глубоко огорчилась, узнав, что теперь вся жизнь девушки зависит от того, как будет дальше развиваться эта связь. Она упрекала себя за то, что не пресекла в самом начале легкое ухаживание, которое имело такие серьезные последствия для этой бедняжки, находящейся на ее попечении, хотя раньше, видя их вместе, она не считала себя вправе подавлять зарождающееся молодое чувство. Однако сделанного не воротить, и теперь, как единственная покровительница девушки, она обязана ей помогать. Поэтому миссис Харнхем не ответила отказом на настойчивую просьбу Анны написать ответ молодому человеку, чтобы по возможности продлить его привязанность; хотя при других обстоятельствах она, по всей вероятности, посоветовала бы ей избрать в наперсницы кухарку.

Итак, нежный ответ был составлен и переписан Эдит Харнхем. Именно это письмо так восхитило Рэя. Письмо было

написано в присутствии Анны на ее простенькой бумаге и в какой-то мере продиктовано ею, но весь дух, которым оно было проникнуто, вся его жизнь — все исходило от Эдит Харнхем.

— Ты, может, хоть подпишешься? — спросила она. — Ведь ты уже научилась писать свое имя?

— Нет, нет! — отшатнулась Анна. — Я так плохо пишу! Ему будет стыдно за меня, и он больше никогда не приедет!

Как мы уже видели, это письмо, в котором Анна так мило и скромно просила Рэя написать ей еще раз, оказалось достаточно убедительным. Ему так приятно получать от нее весточки, гласил его ответ, что она непременно должна писать каждую неделю. Так и пошло: Анна и ее хозяйка каждую неделю тем же порядком сочиняли письма, причем писала Эдит, Анна же просто стояла рядом. Ответы читала и растолковывала Анне та же Эдит. Анна же опять стояла рядом и слушала.

Однажды поздним вечером, отправив шестое по счету письмо, миссис Харнхем сидела у догорающего камина. Супруг ее давно ушел в спальню, а она погрузилась в глубокую задумчивость, при которой человек не замечает ни времени, ни холода. Состояние это было вызвано совершенным ею странным поступком. В этот день, впервые после приезда Рэя, Анна ненадолго уехала к своим деревенским друзьям на равнину, и в ее отсутствие вдруг пришло письмо. Не дождавшись возвращения служанки, Эдит ответила на свой страх и риск, из глубины собственного сердца. Писать ему, зная, что все высказанное ею здесь никому на свете не будет известно, кроме них двоих, — это было для Эдит таким великим счастьем, что она не устояла перед соблазном.

Почему это было таким счастьем для нее?

Эдит Харнхем чувствовала себя очень одинокой. Под влиянием родителей, разделявших общий большинству англичан взгляд, что для женщины неудачный брак с нелюбимым человеком лучше, чем свободная независимая жизнь, полная разнообразных интересов и досуга, она в возрасте двадцати семи лет (приблизительно за три года до описываемых событий) согласилась в качестве *ris aller*¹ выйти замуж за известного нам пожилого виноторговца. Очень скоро она убедилась, что совершила большую ошибку. Этот брачный союз так и не разбудил глубоких чувств, дремавших в ее сердце.

Теперь она ясно сознавала, что всей душой предалась человеку, который не знает о ней ничего, кроме разве имени. Его внешность, голос и нежное прикосновение пленили ее с самого начала, и по мере того, как она писала ему письмо за письмом и читала его нежные ответы, пробужденное им чувство все росло и росло, в свою очередь усиливая его страсть.

¹ На худой конец (*фр.*).

пока наконец между ними обоими не возникло какое-то магнетическое притяжение, несмотря на то, что одна из сторон выступала в чужом обличье. То обстоятельство, что он сумел за два дня соблазнить другую женщину, придавало ему еще большую обаятельность в глазах Эдит — таково свойство женской природы! — хотя сама она, быть может, этого и не понимала.

Письма к Рэю, подписанные чужим именем, были проникнуты сокровенными и пылкими чувствами самой Эдит, которая по необходимости выражала их самыми простыми словами. Эти письма приводили в величайший восторг простушку Анну — она, конечно, никогда в жизни не смогла бы сочинить таких изящных посланий, способных увлечь молодого человека, даже если бы умела изложить свои мысли на бумаге. Эдит скоро убедилась, что юный адвокат отвечает именно ей. Те фразы, что Анна время от времени вставляла в текст, явно не производили на него никакого впечатления.

Анна так и не узнала об обмене письмами в ее отсутствие. Вернувшись на следующее утро домой, она вдруг заявила, что хочет немедленно повидаться со своим поклонником — ей нужно что-то ему сказать, — и пусть миссис Харнхем напишет, чтобы он сейчас же приехал.

Анна была какая-то взволнованная и встревоженная, что, конечно, не укрылось от внимания миссис Харнхем. В конце концов девушка разразилась слезами и, упав к ногам Эдит, призналась, что скоро станут явными последствия ее связи.

Эдит Харнхем была слишком великодушна, чтобы в подобных обстоятельствах у нее могла возникнуть мысль бросить Анну на произвол судьбы. Настоящая женщина никогда так не поступит ради себя самой, хотя без колебания сделает это, чтобы защитить тех, кто для нее дорог.

Несмотря на то что Эдит совсем недавно писала Рэю, она тотчас составила от имени Анны новое послание, в котором деликатно, но вполне прозрачно намекала на то, что произошло.

Рэй сразу же сообщил, что чрезвычайно озабочен известием и готов немедленно приехать.

Однако неделю спустя девушка принесла хозяйке новое письмо, в котором говорилось, что молодой человек никак не может выкроить время для поездки. Анна была в отчаянии. Тем не менее по совету миссис Харнхем она не стала осыпать упреками возлюбленного, как обычно поступают молодые женщины в подобных случаях. Сейчас самое важное — это поддерживать в молодом человеке романтический интерес к ней. Поэтому Эдит от имени своей подопечной просила его не тревожиться и не спешить с поездкой, если ему не удобно. Она не хочет быть для него обузой, портить ему карьеру и мешать его важным делам. Она только хотела ему рассказать, а теперь пусть он выбросит все это из головы. Пусть только продолжа-

ет писать ей такие же ласковые письма; а когда он придет на весеннюю сессию суда, у них будет время решить, что делать дальше.

Легко можно предположить, что чувства Анны не вполне соответствовали этим великодушным словам, но хозяйка сказала, что нужно поступать именно так, и Анна покорилась.

— У вас все так красиво получается, и я сама то же чувствую, только сказать не умею! А когда вы читаете мне письмо, я вижу, что это оно и есть.

Отправив письмо и оставшись одна, Эдит Харнхем склонилась на спинку стула и заплакала.

— О, как бы я хотела, чтоб это был мой ребенок! — прошептала она. — Но боже мой, откуда у меня такие греховные мысли!

V

Письмо глубоко взволновало Рэя — не столько содержащимся в нем известием, сколько тем, как Анна к нему отнеслась. Никаких упреков, только забота об его благополучии, готовность к самопожертвованию, сквозившая в каждой строчке! Все это говорило о таком благородстве характера, какого он даже и не ожидал встретить в женщине.

— Да простит мне господь, — произнес он дрожащим голосом. — Я вел себя как последний негодяй. Я не знал, что это за сокровище!

Он поспешил утешить Анну, заявил, что ни в коем случае ее не покинет, что постарается найти для нее пристанище. А пока — если хозяйка не возражает — пусть она остается на прежнем месте.

Однако именно с этой стороны Анну подстерегала беда. То ли мистер Харнхем от кого-то услышал или еще как-нибудь узнал о положении Анны — сказать трудно, но только, несмотря на просьбы и мольбы Эдит, девушке пришлось покинуть дом. Она решила на время вернуться к тетке. При этом возник вопрос о письмах, и так как девушка не могла самостоятельно поддерживать начатую от ее имени переписку, а действовать совместно дальше было уже невозможно, Анна попросила миссис Харнхем — своего единственного друга, владеющего пером, — получать письма и сразу же отвечать на них, а уж потом отсылать их к ней в деревню; может быть, там найдется надежный человек, который будет ей их читать. После чего Анна, захватив свой сундучок, уехала.

Таким образом, Эдит оказалась в странном положении: она вела переписку с человеком, который не был ее мужем, но к которому она обращалась как жена и обсуждала с ним то, что к ней самой не имело никакого отношения, между тем как настоящая жена его вовсе не участвовала во всем этом.

Совершенно войдя в свою роль, Эдит вкладывала в эту переписку свое собственное тайное чувство, сильное и всепоглощающее, хотя и представлявшее собой всего лишь игру воображения. Она вскрывала и прочитывала каждое письмо, словно оно было адресовано только ей, и отвечала на него так, как подсказывало ей сердце.

Все то время, пока в отсутствие Анны продолжалась переписка, чувствительная Эдит Харнхем пребывала в состоянии какого-то мечтательного восторга, порожденного воображаемой близостью с чужим возлюбленным. Вначале чувство порядочности заставляло ее пересылать Анне все его письма и даже краткие копии ответов, но постепенно эти «копии» становились все короче и короче, а многие письма Рэя так и не были пересланы Анне.

От природы эгоистичный и — по крайней мере внешне — склонный потворствовать своим инстинктам (свойство, порождаемое извращенным искусственной цивилизацией обществом), Рэй, в сущности, был человеком честным и справедливым. Он действительно питал нежную привязанность к этой деревенской девушке, и привязанность его стала еще нежнее, когда он убедился, что она способна в самых простых словах выразить самые глубокие чувства. Он долго размышлял, колебался и в конце концов решил посоветоваться со своей незамужней сестрой, много старше его самого, женщиной умной и доброжелательной. Признавшись сестре во всем, он показал ей несколько писем.

— Она, как видно, получила приличное образование,— заметила мисс Рэй,— и к тому же не лишена ума и природного такта.

— Да, она так мило пишет — видно, в этих начальных школах их все-таки чему-то учат.

— Невольно начинаешь сочувствовать ей, бедняжке.

Под влиянием этой беседы Рэй решился на поступок, которого, вероятно, никогда не совершил бы по собственному почину. Несмотря на то, что сестра не дала ему никаких прямых советов, он написал Анне — подписавшись на этот раз уже настоящим именем,— что не может больше жить без нее и потому намеревается весной приехать, чтобы жениться на ней и тем разрешить все затруднения.

Об этом смелом решении известила Анну миссис Харнхем, которая немедленно выехала в деревню. От радости Анна запрыгала, как девочка. Она тут же сказала хозяйке, что отвечать, и, вернувшись домой, Эдит тотчас выполнила эти нехитрые указания, согрев очередное письмо своим собственным страстным чувством.

— О! — простонала она, бросая перо.— У Анны — этой несчастной дурочки — не хватает ума, чтобы оценить его. А я... почему не я ношу под сердцем его ребенка?

Наступил февраль. Переписка продолжалась уже четыре

месяца; в одном из писем Рэй, между прочим, говорил о своем положении и видах на будущее. Он писал, что, предлагая ей руку, решился было оставить адвокатскую практику, — практика эта давала ему очень небольшой доход, да и продолжать ее после женитьбы на Анне было бы, по всей вероятности, затруднительно. Но потом, увидев по письмам, какие богатства ума и доброты таятся в ее натуре, он решил отказаться от этих, все же огорчительных для него, намерений. Он уверен, что при ее способностях, после того, как она изучит обычаи лондонского общества под его наблюдением или, быть может, с помощью гувернантки, из нее получится супруга, вполне достойная юриста, даже если он достигнет должности лорд-канцлера. Судя по ее письмам, у нее гораздо больше оснований называться леди, чем у многих лорд-канцлерских жен.

— О, бедный, бедный юноша! — сокрушалась Эдит Харнхем.

Отчаяние ее было теперь столь же велико, сколь и охватившая ее безрассудная страсть. Это она довела несчастного до такой крайности — до женитьбы, которая его погубит; однако из сострадания к своей служанке она не могла помешать ему осуществить свой план. На этой неделе Анна собиралась в Мелчестер, но вряд ли можно будет показать ей последнее письмо молодого человека — оно слишком уж много говорило о втором лице, незаконно занявшем место первого.

Когда Анна приехала, хозяйка позвала ее в свою комнату, чтобы побеседовать наедине. Анна с радостным волнением заговорила о близкой свадьбе.

— Знаешь, Анна, — отвечала миссис Харнхем, — по-моему, ты должна рассказать ему всю правду — что я писала за тебя письма. Ведь если он узнает об этом после того, как ты станешь его женой, могут получиться большие неприятности.

— Ах нет, милая миссис Харнхем, пожалуйста, ничего не говорите ему сейчас, — в отчаянии взмолилась Анна. — Если вы это сделаете, он, пожалуй, на мне и не женится, а что я тогда стану делать? Совсем беда мне будет. И потом я уже научилась писать лучше. Я взяла с собой тетрадку, что вы мне дали, и каждый день пишу. Это ужасно трудно, но я стараюсь изо всех сил и непременно научусь писать как следует.

Эдит заглянула в тетрадь. Прописи она сделала своею рукою, и буквы, выведенные девушкой, казались жалкой пародией на почерк ее хозяйки. Но если бы Анне даже удалось точно воспроизвести руку миссис Харнхем, все равно вдохновение Эдит осталось бы ей недоступным.

— Вы так красиво пишете, — продолжала Анна, — и все, что я хочу сказать, у вас получается гораздо лучше, чем у меня, так неужели вы теперь бросите меня в беде?

— Хорошо, — отвечала Эдит. — Только... только я думаю, что мне не следует продолжать.

— Почему?

Непреодолимое желание поделиться с кем-нибудь своим чувством заставило Эдит сказать правду.

— Потому что я боюсь, как бы мне самой им не увлечься.

— Но ведь этого не может быть!

— Почему ты так думаешь, дитя мое?

— Потому что вы уже замужем,— наивно отвечала Анна.

— Да, разумеется, этого не может быть,— поспешно проговорила хозяйка, радуясь тому, что у нее остается возможность еще два или три раза излить свои чувства.— А ты пока научись писать свое имя как можно лучше — вот смотри, я напишу его тебе здесь.

VI

Вскоре Рэй написал, чтобы Анна готовилась к свадьбе. Однажды решившись на поступок, который сам считал романтической нелепостью, молодой человек начал действовать быстро и энергично. Он хотел, чтобы бракосочетание состоялось в Лондоне — меньше вызовет толков. Эдит Харнхем предпочла бы Мелчестер, Анне было все равно. В конце концов он одержал верх, и миссис Харнхем с мрачным усердием принялась готовить Анну к отъезду. Словно решив испить чашу до дна, она хотела во что бы то ни стало сама присутствовать при крушении своей мечты и еще раз увидеть человека, который посредством некоей телепатии приобрел над ней такую власть. С принужденной веселостью она сказала Анне, что поедет с ней в Лондон и «довеет уж дело до конца». Анна обрадовалась — ведь только одна Эдит могла достойно выполнить роль подруги и свидетельницы. А не то, не ровен час, у образованного жениха раньше времени появится мысль, что он совершил непоправимую с точки зрения света ошибку.

Туманным мартовским утром Рэй вышел из наемной кареты, остановившейся у дверей бюро регистрации браков в Юго-Западном округе Лондона и учтиво помог сойти Анне и сопровождавшей ее миссис Харнхем. Анна была очень мила в своем модном наряде, купленном с помощью миссис Харнхем,— хотя и не столь мила, как на мелчестерской ярмарке, когда она, еще невинная девочка, одетая в простенькое деревенское платье, сидела верхом на деревянном коне.

Миссис Харнхем приехала утренним поездом; молодой человек — приятель Рэя — встретил их у дверей бюро, и все четверо вошли вместе. До этой минуты Рэй совсем не знал жены винооторговца, если не считать их первой мимолетной встречи, да и теперь, взволнованный предстоящим событием, только наскоро познакомился с нею.

Церемония бракосочетания в бюро регистрации браков длится недолго, но даже за это короткое время Рэй успел

почувствовать, что его и спутницу Анны влечет друг к другу какая-то странная, таинственная сила.

Когда с формальностями брака — или, вернее, с закреплением ранее существовавших отношений — было покончено, все четверо в одной карете отправились на квартиру Рэя, только что снятую им в одном из новых пригородов Лондона, — на отдельный дом у него не хватало средств. Здесь Анна разрезала маленький торт, который Рэй накануне купил в кондитерской по дороге из Линкольнз-инна. На том ее деятельность и окончилась. Друг Рэя почти тотчас удалился, и после его ухода Эдит и Рэй стали оживленно беседовать. Разговор, в сущности, велся только между ними, Анна же, словно смиренное домашнее животное, молча слушала, мало что понимая. Рэй, казалось, был неприятно удивлен и смущен ее неспособностью принять участие в беседе.

В конце концов, стараясь скрыть свое разочарование, он сказал:

— Миссис Харнхем, моя дорогая женушка так разволновалась, что сама не своя. Я вижу, что ей надо немного отдохнуть после такого события, тогда уж она сможет облечь в слова те тонкие чувства, которыми она дарила меня в своих письмах.

Новобрачные собирались в тот же день уехать в Нолси и провести там первые дни совместной жизни. Когда приблизился час отъезда, Рэй попросил жену пройти в соседнюю комнату, где был письменный стол, и написать несколько строк его сестре, которая по нездоровью не смогла присутствовать на свадьбе, сообщить ей, что церемония состоялась, поблагодарить за подарок и выразить надежду поближе с ней познакомиться, ибо теперь она также и ее сестра, а не только сестра Чарльза.

— Изложи все это так мило и поэтично, как ты умеешь, — добавил он. — Мне очень хочется, чтобы ты ей понравилась и чтобы вы подружились.

Анна немного смутилась, однако покорно отправилась выполнять его просьбу, Рэй же остался беседовать с гостьей. Молодая женщина долго не возвращалась, и муж, внезапно поднявшись с места, пошел за ней.

Войдя в соседнюю комнату, он увидел, что Анна с глазами, полными слез, все еще сидит, склонившись над письменным столом. Рэй с интересом взглянул на лежавший перед ней лист бумаги — ему хотелось полюбоваться тем, с каким тактом жена его выразит свои добрые намерения в столь деликатных обстоятельствах. Каково же было его изумление, когда вместо письма он увидел несколько бессвязных строк, нацарапанных почерком восьмилетнего ребенка.

— Анна! — вскричал он, глядя на нее остановившимся взором. — Что это значит?

— Это значит... это значит, что я лучше не умею.

— Что за вздор!

— Не умею! — упрямо повторила она, горько плача. —



Я... я не писала этих писем, Чарльз! Я только говорила ей, что писать. И то не всегда! Но я научусь, я быстро научусь, мой милый, любимый муженек! Ты ведь простишь меня за то, что я тебе раньше не сказала?

Опустившись на колени, она робко обняла его и прижалась к нему лицом.

С минуту он стоял неподвижно, потом поднял ее, резко повернулся и, закрыв за собою дверь, вошел в гостиную, где сидела Эдит. Та уже почуяла недоброе, и оба пристально посмотрели друг на друга.

— Правильно ли я понял? — спросил он с каким-то тупым спокойствием. — Это вы писали за нее письма?

— Иначе нельзя было, — отвечала Эдит.

— Она диктовала вам все, что вы мне писали?

— Не все.

— В сущности, очень мало?

— Да, очень мало.

— Значит, бóльшую часть этих строк, что я получал каждую неделю, вы писали по собственному своему разумению, хотя и от ее имени?

— Да.

— А многие из этих писем вы, может быть, писали, даже не советуясь с нею?

— Да.

Отвернувшись от нее, он прислонился к книжному шкафу и закрыл лицо руками. При виде его отчаяния Эдит побелела как полотно.

— Вы обманули, погубили меня,— бормотал он.

— Ах, не говорите так! — в тоске воскликнула она и, вскочив со стула, положила руку ему на плечо.— Я этого не вынесу.

— Вы меня обманули и таким путем овладели моим сердцем! Зачем вы это сделали? Зачем?

— Вначале я пожалела ее. Я пыталась спасти простодушную девочку от грозившей ей беды! Но я должна признаться, что продолжала эту переписку, потому что она доставляла мне радость.

Рэй поднял глаза.

— Почему это доставляло вам радость? — спросил он.

— На такой вопрос мне не должно отвечать.

Под его пристальным взглядом губы ее вдруг задрожали, она опустила полные слез глаза. Отвернувшись, она сказала, что ей пора на поезд, и попросила сейчас же вызвать карету.

Рэй подошел и взял ее за руку. Она не отняла руки.

— Подумать только! — сказал он.— Ведь мы с вами друзья — нет, мы влюбленные, нежно влюбленные — и все это сделалось в письмах!

— Да, должно быть, это так.

— И даже больше.

— Больше?

— Конечно, больше. Зачем закрывать на это глаза? По закону я женат на ней — да поможет бог нам обоим,— но душою и сердцем я ваш супруг, и нет для меня другой жены на свете.

— Замолчите!

— Нет, я не замолчу! Зачем не договаривать, если вы уже наполовину признались? Да, я вступил в брак с вами, а не с ней. Сейчас я больше ничего не скажу. Но, моя жестокая возлюбленная, я требую от вас только одного.

Она ничего не ответила, и, наклонившись, он привлек ее к себе.

— Если все, что написано в этих письмах, было одним только вымыслом, тогда позвольте мне поцеловать вас в щеку,— твердо проговорил он.— Если же вы писали то, что думали, дайте мне ваши губы. Помните: это будет в первый и последний раз.

Она подняла к нему лицо, и он долгим поцелуем припал к ее губам.

— Вы простили меня? — спросила она, плача.

— Да.

— Но ведь вся ваша жизнь разбита!

— Не все ли равно! Так мне и надо,— сказал он, пожимая плечами.

Она отстранилась, вытерла глаза и прошла в соседнюю комнату, проститься с Анной, которая, не ожидая, что хозяйка так скоро уедет, все еще пыталась совладать с письмом.

Рэй проводил Эдит вниз, и несколько минут спустя она уже ехала в кебе по направлению к вокзалу Ватерлоо.

Рэй вернулся к жене.

— Брось это письмо, Анна,— ласково сказал он.— На сегодня хватит. Одевайся. Нам тоже пора ехать.

Простодушная девочка, подбодренная мыслью о том, что она замужем, с восторгом убедилась, что, узнав всю правду, супруг ее остался таким же добрым, как и прежде. Она не знала, что будущее представляется ему в виде каторги, где он, утонченный горожанин, обречен маяться до конца своих дней бок о бок с прикованной к нему деревенской простушкой.

Тем временем Эдит возвращалась в Мелчестер. На лице ее застыло выражение отчаяния, а губы все еще трепетали от его страстного поцелуя. Наступил конец ее мечты. Муж пришел на станцию встретить Эдит, но не разглядел ее в сумерках, она же, погруженная в свои мысли, не заметила его и вышла из вокзала одна.

Миссис Харнхем не стала нанимать кеб и машинально направилась к дому. Тишина, царившая в комнатах, показалась ей настолько невыносимой, что она, не зажигая света, поднялась наверх, в каморку, где прежде спала Анна, и некоторое время сидела в раздумье. Затем она вернулась в гостиную и, сама не зная, что делает, тяжело опустилась на пол.

— Я погубила его! Я погубила его! — повторяла она.— И все потому, что не хотела предать ее.

Спустя полчаса в дверях появилась чья-то фигура.

— Кто там? — спросила Эдит испуганно: в комнате было совсем темно.

— Твой муж, кто же еще? — отвечал почтенный коммерсант.

— Ах да, муж! Я и забыла, что у меня есть муж,— прошептала она.

— Мы с тобой разминулись на вокзале,— сказал он.— Ну, как Анна? Окрутили ее, что ли? Давно пора.

— Да, Анна замужем.

В то самое время, когда Эдит ехала домой, в поезде, мчавшемся по направлению к Нолси, в купе второго класса сидели друг против друга Анна и ее муж. Рэй держал в руках бумажник, набитый густо исписанными смятыми листками. Расправляя один за другим эти листки, он читал их и молча вздыхал.

— Что вы делаете, милый Чарльз? — спросила Анна так робко, словно он был каким-то божеством, и подвинулась поближе к окну, возле которого он сидел.

— Перечитываю прелестные письма за подписью «Анна», — с мрачной покорностью отвечал он.

В УГОДУ ЖЕНЕ

I

Пасмурным зимним днем в церкви св. Иакова в Хэвенпуле медленно сгущался сумрак от низко нависших туч. Было воскресенье. Служба только что кончилась, проповедник еще стоял на кафедре, склонив голову на руки, а прихожане со вздохом облегчения поднимались с колен, собираясь разойтись.

С минуту в церкви стояла такая тишина, что слышен был шум прибоя из гавани. Потом ее нарушили шаги причетника, который, как обычно, пошел открывать западную дверь, чтобы выпустить прихожан. Однако едва он успел подойти к двери, как снаружи кто-то приподнял щеколду, и темная фигура человека в одежде моряка четко обрисовалась в светлом проеме двери.

Причетник отступил, а моряк, спокойно прикрыв за собою дверь, прошел в глубь церкви и остановился у ступеней, ведущих к алтарю.

Священник, в это время преклонивший колени в краткой молитве о себе самом, на которую имел право после стольких молитв о других, поднял глаза, затем встал и вопросительно посмотрел на неожиданного пришельца.

— Прошу прощения, сэр,— обратился моряк к священнику,— громкий его голос был отчетливо слышен во всей церкви.— Я пришел возблагодарить бога за спасение на водах,— в это плаванье мой корабль чуть было не погиб. Ведь, кажется, так положено, ну, и я бы хотел, если вы не против?

Священник, помолчав, нерешительно ответил:

— Я-то не против, разумеется, не против. Только об этом обычно предупреждают перед службой, чтобы можно было вставить нужные слова в общий благодарственный молебен. Но, если хотите, можно прочитать молитву, которую читают после бури на море.

— Ладно, молитву так молитву,— согласился моряк.

Причетник открыл молитвенник на странице с благодарственными славословиями, и священник стал читать, а моряк, став на колени, отчетливо повторял слово за словом. Прихожане, застыв на своих местах и слушающая разинув рты, машинально тоже опустили на колени. Но они не сводили глаз с одинокой фигуры моряка, который, положив шляпу рядом с собой и молитвенно сложив руки, стоял коленопреклоненный на самой середине алтарной ступени, обратившись лицом к востоку, и, видимо, даже не замечал, что на него все смотрят.

По окончании благодарственной молитвы он поднялся с колен, прихожане тоже, и все вместе вышли из церкви. Когда свет угасающего дня упал на лицо моряка, старожилы узнали его,— то был не кто иной, как Шэдрак Джолиф, молодой человек, который родился и вырос в Хэвенпуле, но уже несколько лет здесь не показывался. Рано потеряв родителей, он вынужден был совсем молодым уйти в море, поступив на корабль, совершавший торговые рейсы в Ньюфаундленд.

По дороге из церкви он разговорился кое с кем из местных жителей и рассказал им, что с тех пор, как он покинул родные места, он успел уже стать капитаном и владельцем небольшого каботажного судна, которое недавно, милостью providения, спаслось от шторма,— и сам он вместе с ним. Впереди Джолифа шли две девушки; они были в церкви, когда он появился там, и с глубоким интересом следили за всем, что потом происходило, а теперь, на обратном пути, делились друг с другом впечатлениями. Одна была хрупкая и тихонькая, другая — высокая, статная и говорливая. Капитан Джолиф некоторое время разглядывал их свободно выходящие по плечам волосы, их спины и ножки.

— Кто такие? — шепотом спросил он своего спутника.

— Та, что поменьше,— Эмили Ханнинг, а высокая — Джоанна Фиппард.

— А, теперь вспомнил.

Он поравнялся с ними и украдкой взглянул им в лица.

— Узнаешь меня, Эмили? — спросил он, устремляя на нее смеющийся взгляд своих карих глаз.

— Кажется, узнаю, мистер Джолиф,— застенчиво ответила Эмили.

Ее темноглазая подруга посмотрела на него в упор.

— Вот лицо мисс Джоанны я не так хорошо помню,— продолжал он.— Но я знал ее близких и родичей.

Так они шли вместе и разговаривали; Джолиф вспоминал подробности своего счастливого спасения, а когда они добрались до Слуп-Лэйн, где жила Эмили Ханнинг, та распрощалась, с улыбкой кивнув ему головой. Немного погодя моряк расстался и с Джоанной, и, так как делать ему особенно было нечего, он повернул обратно, к дому Эмили. Она жила вместе с отцом, который именовал себя финансовым

экспертом, но так как занятие это давало ему весьма постоянный доход, то дочь его держала маленькую писчебумажную лавку. Джолиф застал их, как раз когда они собирались пить чай.

— Э, да я, оказывается, попал прямо к чаю,— сказал он.— Что ж, не откажусь от чашечки.

После чая он засиделся, рассказывая разные истории из своей морской жизни. Заглянуло несколько любопытных соседей, их пригласили зайти. Как уж это случилось — неизвестно, но только Эмили Ханнинг в тот воскресный вечер отдала свое сердце моряку, а через неделю-другую это чувство стало у них взаимным.

Как-то раз лунным вечером — примерно через месяц после описанных событий — Шэдрак шел по длинной и прямой дороге, поднимавшейся к восточному предместью, где дома были более фешенебельные,— если только здесь, близ этого старого порта, что-либо заслуживало такое название,— как вдруг впереди он увидел девушку, которую принял было за Эмили, так как она несколько раз на него оглянулась. Но это оказалась Джоанна Фиппард. Он любезно поздоровался с нею и пошел рядом.

— Уходите-ка лучше,— сказала она,— а то Эмили будет ревновать.

Он пропустил ее замечание мимо ушей и остался.

Что было сказано и что произошло между ними в тот лунный вечер, сам Шэдрак не мог бы толком объяснить; но так или иначе, Джоанна сумела отбить его у своей соперницы, хотя Эмили была и моложе ее и милей. С того дня Шэдрака все чаще видели с Джоанной и все реже в обществе Эмили, и скоро в городе стали поговаривать, что сын старого Джолифа, вернувшийся из плавания, собирается жениться на Джоанне к великому горю ее подруги.

Однажды утром, вскоре после того как пошли такие слухи, Джоанна приделась, чтобы идти в город, и направилась к переулку, где жила Эмили. Весть о том, что Эмили очень горюет, потеряв Шэдрака, дошла и до Джоанны, и она почувствовала угрызения совести.

Джоанна вовсе не считала моряка таким уж подходящим женихом. Ей было приятно его ухаживание, ее привлекало положение замужней женщины, но Джолифа она никогда по-настоящему не любила. Прежде всего она была честолюбива, а моряк едва ли даже был ей ровней; меж тем она, как красивая женщина, могла рассчитывать, что ей удастся благодаря замужеству подняться выше по общественной лестнице. Она давно уже подумывала, что не стоит, пожалуй, препятствовать возвращению Джолифа к Эмили, раз ее подруга так любит его. Поэтому она написала Шэдраку письмо с отказом и захватила это письмо с собой, решив послать, если при встрече с Эмили увидит, что та и впрямь так о нем тоскует.

Джоанна дошла до Слуп-Лэйн и спустилась по ступенькам в писчебумажную лавку, находившуюся в полуподвале. В это время дня отца Эмили никогда не бывало дома. Но на сей раз, видимо, не было и Эмили, потому что никто не отзывался. Покупатели так редко сюда заглядывали, что отлучка на каких-нибудь пять минут не могла принести большого ущерба. Джоанна осталась ждать в тесной лавке, где были выставлены разные предметы, сами по себе пустячные, но разложенные с таким чисто женским вкусом, что скудость товара не бросалась в глаза. Вдруг Джоанна заметила, что на улице перед витриной стоит какой-то человек, как будто погруженный в созерцание грошовых книжек, писчей бумаги и развешанных на бечевке печатных картинок. Это был капитан Джолиф Шэдрак; он внимательно всматривался сквозь стекло, желая убедиться, что Эмили в лавке одна. Джоанне как-то не захотелось встречаться с ним здесь, где все говорило об Эмили, и она незаметно юркнула в дверь, ведущую в жилую комнату за лавкой. Она не раз так делала в прежние времена, когда дружила с Эмили и была в доме своим человеком.

Джолиф вошел в лавку. Сквозь тонкую занавеску, закрывавшую стеклянную дверь, Джоанна видела, что Джолиф очень огорчился, не застав Эмили в лавке. Он хотел уже уйти, но в этот миг в дверях показался силуэт Эмили, торопливо возвращающейся откуда-то. При виде Джолифа она отпрянула, как будто готова была повернуть назад.

— Не убегай, постой, Эмили! — сказал он. — Чего ты испугалась?

— Я не испугалась, капитан Джолиф. Но... но это так неожиданно... я невольно вздрогнула.

Судя по голосу, сердечко у нее дрогнуло еще сильнее, чем она сама.

— Я проходил мимо и решил зайти, — сказал он.

— Вам нужна бумага? — Она поспешно отошла за прилавок.

— Да нет, Эмили, зачем ты туда прячешься? Почему не побудешь со мной? Ты сердиться на меня?

— За что мне на вас сердиться?

— Так иди же сюда, давай поговорим по-хорошему.

С каким-то нервным смешком Эмили вышла из-за прилавка и остановилась возле Шэдрака, на виду у Джоанны.

— Ну, вот умница, — сказал он. — Милочка ты моя!

— Не называйте меня так, капитан Джолиф, называйте так другую, у нее на это больше прав.

— Я знаю, о чем ты. Но, честное слово, Эмили, до сегодняшнего утра я даже и не думал, что ты хоть сколько-нибудь меня любишь, а то бы никогда этого не сделал. Я очень хорошо отношусь к Джоанне, но я же понимаю, что с самого начала она просто дружила со мной, больше ничего. А теперь

я вижу, к кому нужно было мне посвататься. Знаешь, Эмили, когда мужчина возвращается домой после долгого плавания, он с женщинами совсем как слепой, ни чуточки в них не разбирается. Все они для него одинаковы, все красивы, ну он и готов пойти за первой, которая его поманит, а любит она его или нет и не случится ли после ему самому полюбить другую — об этом он не думает. С самого начала ты мне понравилась больше всех, но ты была такая гордая, такая недоτροга, я подумал, что ж, мол, ей навязываться, ну и ушел к Джоанне.

— Не надо так говорить, мистер Джолиф, не надо,— сказала Эмили, задыхаясь от волнения,— ведь вы скоро женитесь на Джоанне, и нехорошо... нехорошо...

— О Эмили, дорогая моя! — вскричал Джолиф, заключая ее маленькую фигурку в объятия, прежде чем она успела понять, что происходит.

Джоанна за своей занавеской побледнела, хотела отвести глаза, но не могла.

— Только тебя одну я люблю так, как мужчина должен любить женщину, на которой хочет жениться. Я понял это, когда Джоанна сказала, что не станет меня удерживать. Ей хочется кого-нибудь получше, я знаю, а за меня она согласилась пойти просто по доброте сердечной. Такая красавица простому моряку не пара, ты больше для этого подходишь.— Он поцеловал ее, потом еще и еще, и ее гибкое тело трепетало в его объятиях.

— А правда ли это?.. Вы уверены, что Джоанна собирается порвать с вами? Скажите, это правда? Потому что, если не так...

— Я знаю, она не захочет сделать нас несчастными. Она отпустит меня.

— Ах, дай бог... дай бог, чтобы отпустила! А теперь идите, капитан Джолиф.

Он, однако, не спешил уходить, пока наконец кто-то не зашел в лавку купить на пенни сургуча,— только тогда он удалился.

Глядя на Джолифа и Эмили, Джоанна чувствовала, что ее снедает жгучая зависть. Теперь ее беспокоило только одно— как бы незаметно скрыться. Надо уйти так, чтобы Эмили не узнала о ее посещении. Джоанна прокралась из комнаты в коридор, затем через парадную дверь бесшумно выскользнула на улицу.

Нежная сцена, которой она только что была свидетельницей, заставила ее переменить свое прежнее решение. Нет, она не отпустит Шэдрака! Дома она немедленно сожгла письмо и попросила мать, если зайдет капитан Джолиф, сказать, что ей нездоровится и она не может к нему выйти.

Но Шэдрак не пришел. Он прислал Джоанне записку, в которой простыми словами описал свои чувства и просил ее,

раз уж она сама намекала, что и ее чувства к нему только дружеские, согласиться на расторжение помолвки.

Сидя дома и глядя в окно на гавань и остров за нею, он ждал, ждал ответа, но ответа все не было. Оставаться дольше в неизвестности стало ему нелегко, и, когда стемнело, он отправился на Хай-стрит. Ему не терпелось повидаться с Джоанной, чтобы узнать свою судьбу.

Мать девушки сказала, что Джоанне нездоровится и она не может к нему выйти, а когда он стал расспрашивать, добавила, что все это, вероятно, из-за его письма, которое ее очень расстроило.

— Вы, должно быть, знаете, о чем я писал ей, миссис Фиппард? — спросил он.

Да, миссис Фиппард знала, и письмо это было для них большим ударом. Тогда Шэдрак, обозвав себя в душе негоде-дем, стал объяснять, что, если письмо так огорчило Джоанну, значит, все это недоразумение — ведь он думал, что идет навстречу желаниям Джоанны. А раз это не так, то он от своего слова не отказывается, и пускай Джоанна забудет про письмо, словно его и не было.

На следующее утро девушка велела передать ему на словах, что просит проводить ее вечером домой после молитвенного собрания. Он так и сделал, и когда они рука об руку шли по улице, она спросила:

— Так, значит, у нас все по-прежнему, Шэдрак? Ведь письмо ты послал по ошибке, из-за того что мы не поняли друг друга?

— Все по-прежнему, раз ты так хочешь, — ответил он.

— Да, я так хочу, — проговорила она, и лицо ее приняло жесткое выражение, — она думала в эту минуту об Эмили.

Шэдрак был религиозным и до щепетильности порядочным человеком и слово свое привык держать, чего бы это ему ни стоило. Вскоре его с Джоанной обвенчали, — он постарался как можно мягче сообщить Эмили, что впал в заблуждение, воображив, что невеста к нему равнодушна.

II

через месяц после свадьбы умерла мать Джоанны, и молодым пришлось погрузиться в житейские заботы. Теперь, когда у Джоанны не осталось никого из родных, она не допускала и мысли, чтобы муж снова отправился в плавание, но вот вопрос: чем же ему здесь заняться? В конце концов решено было купить на Хай-стрит бакалейную лавку, хозяин которой как раз продавал свое дело вместе с запасами товаров. Шэдрак в торговле ровно ничего не смыслил, немногим больше понимала в этом деле и Джоанна, но они надеялись, что со временем приобретут опыт.

И вот они посвятили лавке все свои силы, много лет подряд держали ее, но без особого успеха. У них родилось двое сыновей, и мать боготворила их, хотя к мужу никогда не испытывала страстной любви; им она отдавала без остатка все свое внимание, все свои заботы. Но торговля шла кое-как, и мечты дать сыновьям образование и вывести их в люди угасали, сталкиваясь с действительностью. Дальше грамоты их учение не пошло, зато, живя с детства у моря, они наловчились во всем, что относилось к мореплаванию, такому привлекательному для мальчиков их возраста.

Наряду с повседневными домашними делами и заботами о своей семье, мысли Джолифа и Джоанны постоянно занимал еще один предмет — семейная жизнь Эмили. По странной прихоти случая, которая заставляет иногда обратить внимание на тех, кто затаился в тихом уголке, и пройти мимо тех, кто на виду, милую девушку заметил и полюбил один преуспевающий купец из местных жителей, вдовый, на несколько лет старше ее, но еще довольно молодой. Сначала Эмили заявила, что никогда ни за кого не выйдет замуж; однако мистер Лестер проявил терпение и настойчивость и добился наконец, что она дала согласие, хотя и с неохотой. Плодом их брака были тоже двое детей; они подрастали, делали успехи,— и Эмили всем говорила, что никогда и не думала найти такое счастье в замужестве.

Дом почтенного купца — одно из тех основательных кирпичных строений, которые в провинциальных городах иной раз вклиниваются среди старинных домиков,— выходил фасадом на Хай-стрит, почти напротив бакалейной лавки Джолифов, и для Джоанны было сущей мукой сознавать, что женщина, чье место она когда-то захватила из одной только зависти, теперь, достигнув благосостояния, каждый день видит из своих окон запыленные сахарные головы, кучки изюма и жестянки с чаем, выставленные в убогой витрине лавки, хозяйничать в которой выпало на долю ей, Джоанне. Так как торговля сильно сократилась, Джоанне приходилось одной управляться со всеми делами, и она прямо-таки умирала от досады и унижения при мысли, что Эмили Лестер, сидя в своей просторной гостиной, могла с той стороны улицы наблюдать, как Джоанна суетится за своим прилавком, угождая покупателям, которые и покупали-то на грош,— но как-никак они поддерживали торговлю, значит, нужно было радушно встречать их и даже на улице проявлять к ним любезность, меж тем как Эмили спокойно шествовала мимо с детьми и гувернанткой, беседуя как равная с самыми именитыми жителями города. Вот что выиграла Джоанна, не позволив Шэдраку Джолифу, который не так уж был ей и дорог, отдать свою любовь другой женщине.

Шэдрак был добрый, порядочный человек, он хранил верность жене и в поступках своих и в помышлениях. Время

подрезало крылья его чувствам, и былая любовь к Эмили уступила место привязанности к матери его сыновей; он забыл уже давнюю мечту своего сердца, Эмили вызывала в нем только чисто дружеское чувство. Так же относилась к нему теперь и Эмили. Будь у Джоанны хоть какой-нибудь повод к ревности, это, возможно, принесло бы ей некоторое удовлетворение. Но и Эмили и Шэдрак совершенно примирились со всем, что она сама для них подстроила, и именно это особенно разжигало в ней досаду.

У Шэдрака совсем не было той мелочной расчетливости, которая необходима розничному торговцу, всегда имеющему дело с многочисленными конкурентами. Спросит какой-нибудь покупатель, действительно ли бакалейщик может рекомендовать тот чудесный заменитель яиц, что был навязан лавке настойчивым коммивояжером,— а Шэдрак ответит, что «коли не положишь в пудинг яиц, так нечего удивляться, что он яйцами и не пахнет»; а спросят его о «настоящем кофе-мокка» — в самом ли деле это настоящий мокка,— и он угрюмо ответит: «Такой же настоящий, как во всех мелочных лавках».

Однажды в знойный летний день муж с женой были в лавке одни. Солнце отражалось от большого кирпичного дома напротив, и от этого в лавке было особенно жарко и душно. Джоанна посмотрела на парадную дверь Эмили, где остановилась нарядная карета. В последнее время эта Эмили стала говорить с ней каким-то покровительственным тоном.

— Шэдрак, вся беда в том, что ты не деловой человек,— с грустью сказала жена.— Да и торговле ты не обучен, а невозможно разбогатеть на таком деле, за которое взялся случайно.

Джолиф согласился с ней — он всегда и во всем с ней соглашался.

— Ну, и наплевать мне на богатство,— беззаботно ответил он.— Мне и так хорошо, как-нибудь проживем.

Сквозь ряды банок с маринадами она опять посмотрела на дом по ту сторону улицы.

— Да, как-нибудь...— повторила она с горечью.— Но вот повезло же Эмили Лестер, а ведь в какой бедности раньше жила! Ее мальчики поступят в колледж — а нашим-то, подумай, дальше приходской школы дороги нет.

— Да, ты оказала Эмили большую услугу, лучше никто бы не сумел,— заметил он добродушно,— ведь ты сама отстранила ее от меня и положила конец этой сентиментальной чепухе между нами, вот она и могла дать согласие Лестеру, когда он посватался.

Джоанна прямо вскипела от досады.

— Не поминай старого! — взмолилась она.— Лучше подумай ради наших мальчиков, ради меня, если не ради себя самого, как нам разбогатеть.

— Ну вот,— сказал он уже серьезно,— по правде говоря,

я сам всегда чувствовал, что не гожусь для мелкой торговли, только не хотелось спорить с тобой. Мне, должно быть, побольше места нужно, чтоб я развернуться мог; ширь нужна, чтоб свой курс держать,— не то что здесь, среди знакомых да соседей. Я мог бы разбогатеть не хуже других, возьмиись я за свое дело.

— Хорошо, кабы мог! А какое же это твое дело?

— Вот пойти бы снова в плаванье.

В свое время именно она заставила его осесть в городе, потому что не хотела вести жизнь соломенной вдовы, как все жены моряков. Но теперь честолюбие подавило в ней все прочие соображения, и она сказала:

— Ты считаешь, что только так можешь чего-нибудь добиться?

— Только так, это уж я верно знаю.

— А ты хотел бы опять уйти в море, Шэдрак?

— Не то чтобы хотел — удовольствие в том небольшое. Сидеть здесь, в нашей комнатке за лавкой, куда приятнее. Говоря по правде, я не люблю моря. Никогда его особенно не любил. Но если речь о том идет, чтоб добыть богатство для тебя и для наших мальчиков, тогда другое дело. Только этим путем и может добыть его такой бывалый моряк, как я.

— А долго надо для этого плавать?

— Как повезет. Может, и недолго.

Наутро Джолиф вынул из комода морскую куртку, которую носил в первые месяцы по своем возвращении, отчистил ее от моли, надел и пошел на набережную. В порту и теперь вели торговлю с ньюфаундлендскими купцами, хотя и в меньших размерах, чем прежде.

Вскоре Джолиф вложил все свои средства в покупку брига на паях и был назначен на нем капитаном. С полгода ушло на каботажное плавание, так что у Шэдрака было время смыть ту сухопутную ржавчину, которая выросла на нем за «лавочный» период его жизни,— а весною бриг отплыл к Ньюфаундленду.

Джоанна жила дома со своими сыновьями, которые к этому времени уже выросли. Теперь это были крепкие, здоровые юноши, охотно исполнявшие всякую работу, какая подвертывалась в гавани или на набережной.

«Ничего, пускай немножко потрудятся,— думала нежная мать,— теперь нужда их заставляет, но когда Шэдрак возвратится, одному будет только семнадцать, а другому восемнадцать; тогда уж они в порт ни ногой. Найдем им учителей, и они получат настоящее образование. А при тех деньгах, что у них будут, они тоже могут стать джентльменами не хуже, чем сыночки этой Эмили Лестер с их алгеброй и латынью».

Уже близок был срок возвращения Шэдрака, уже срок прошел, а тот все не появлялся. Джоанну уверяли, что тре-

вожиться нет оснований, ведь с парусными судами всегда может выйти задержка, точно рассчитать нельзя. И эти уверения оказались справедливыми; после месяца напрасного ожидания однажды дождливым вечером сообщили, что корабль входит в гавань,— и вот уже в коридоре послышались шаги — развалистая моряцкая поступь Шэдрака, и он вошел в комнату. Мальчиков не было, они побежали его встречать, но разминутись с ним,— так что Джоанна сидела дома одна.

Когда улеглось первое волнение встречи, Джолиф объяснил, что опоздание вышло из-за небольшой торговой сделки, рискованной, но очень выгодной.

— Я решил пойти на все, чтоб только не обмануть твоих надежд,— сказал он.— И я думаю, ты согласишься, что я их не обманул.

Тут он вытащил огромную холщовую сумку, толстую и набитую, как кошель великана, которого убил Джек, развязал его и высыпал содержимое в подол Джоанне, сидевшей в кресле у огня. Груда соверенов и гиней (в те времена еще существовали на свете гиней) бухнулась в подол, оттянув его до земли.

— Вот! — сказал с удовлетворением Джолиф.— Я говорил тебе, милая, что все у меня выйдет как надо. Ну, вышло или нет?

В первую минуту лицо ее просияло торжеством, но потом снова как бы померкло.

— Да, верно, куча денег,— сказала она.— А это *все*?

— Все?! Да ты знаешь ли, милая, сколько тут, если посчитать? До трех сотен наберется! Целое состояние!

— Да... да... Для моряка это состояние, а вот здесь, на суше...

Но она пока отложила разговоры о денежных делах. Вскоре пришли мальчики; в ближайший воскресный день Шэдрак воздал благодарение богу, на этот раз более обычным путем — в общем благодарственном молебне. А через несколько дней, когда возник вопрос, на что употребить эти деньги, он заметил, что Джоанна словно бы не так довольна, как он надеялся.

— Видишь ли, Шэдрак,— сказала она,— мы-то считаем на сотни, а они,— она кивнула на дом по ту сторону улицы,— они считают на тысячи. За то время, что тебя тут не было, они завели себе парный выезд.

— Ого! В самом деле?

— Ах, милый мой Шэдрак, жизнь-то идет, не останавливается. Что ж, как-нибудь устроимся. Но все-таки они богаты, а мы по-прежнему бедны.

Большая часть года прошла без сколько-нибудь заметных событий. Джоанна все печалилась, хлопотала по дому и в лавке, мальчики продолжали заниматься всякой работой в порту.

— Джоанна,— сказал как-то Шэдрак,— я вижу по тебе, что привез еще недостаточно.

— Да, недостаточно,— ответила она.— Моим мальчикам придется зарабатывать на жизнь, плавая на судах, которые принадлежат Лестерам; а когда-то я была побогаче ее.

Джолиф не умел спорить и в ответ только пробормотал, что можно, пожалуй, еще раз уйти в море. Он несколько дней все о чем-то раздумывал и однажды вечером, вернувшись домой из гавани, вдруг сказал:

— Я добился бы этого, милая, еще за один рейс, наверняка бы добился, если бы... если бы...

— Чего бы добился, Шэдрак?

— Чтобы ты считала на тысячи, а не на сотни.

— Если бы что?

— Если бы мог взять с собой мальчиков.

Она побледнела.

— И говорить об этом не смей! — вскричала она.

— Да почему?

— И слышать не хочу. В море так опасно. А я хочу, чтобы они жили как джентльмены без всяких опасностей. Не пушу их рисковать жизнью. Нет, ни за что, ни за что!

— Ладно, милая, тогда не надо.

На другой день она долго молчала, потом вдруг спросила:

— Если бы ты взял их с собою, это было бы, верно, гораздо выгодней?

— Да, я бы с ними нажил втрое больше, чем в одиночку! Под моим присмотром каждый из них управился бы не хуже меня самого.

Немного погодя она попросила:

— Расскажи мне обо всем подробней.

— Видишь ли, мальчики умеют водить судно не хуже иного шкипера, честное слово. Нигде в Северном море нет таких труднопроходимых мест, как у песчаных отмелей возле нашей гавани, а они с детства здесь плавают. И на них во всем можно положиться. Они такие спокойные и надежные, что я не променял бы их на шестерых вдвое старше.

— А в море *очень* опасно? Да и о войне, кажется, поговаривают? — спросила она с тревогой.

— Ну конечно, без риска не обходится. А все-таки...

Мысль о море крепла и разрасталась, сокрушая и угнетая материнское сердце. Но Эмми слишком уж заважничала,— как это снести! Джоанна не могла удержаться от постоянных попреков мужу за их сравнительную бедность. Когда сыновьям рассказали о задуманном предприятии, они, такие же покладистые, как и отец, выразили полную готовность пуститься в плавание; правда, оба они, как и отец, не слишком любили море, но, ближе узнав все подробности плана, искренне воодушевились.

Теперь все зависело от решения матери. Она долго его оттягивала, но в конце концов дала согласие: юноши поедут

с отцом. Шэдрак очень этому обрадовался. До сих пор господь хранил его, и Шэдрак всегда возносил ему благодарения. Бог и впредь не оставит тех, кто ему предан.

В это предприятие Джолифы вложили все деньги, какие у них были. Даже запасы товара для лавки были сведены к самому малому — лишь бы Джоанне прожить до приезда мужа с сыновьями, — продержаться этот «нюфаундлендский срок». Она представить себе не могла, как вынесет томительное одиночество, — ведь в прошлый раз сыновья оставались с нею. Но она собрала все свои силы для предстоящего испытания.

Судно нагрозили сапогами и башмаками, готовым платьем, рыболовными снастями, маслом, сыром, канатами, парусиной и другими товарами; а обратно оно должно было привезти нефть, меха, шкуры, рыбу, клюкву — все, что подвернется. Кроме Ньюфаундленда, предполагалось по дороге заходить и в другие порты, что тоже сулило немалую прибыль.

III

Бриг ушел в море в понедельник весенним утром; но Джоанна не присутствовала при его отплытии. Джолиф понимал, что ей будет слишком тяжело на это смотреть, тем более что она же сама была всему причиной. Поэтому он сказал ей накануне, что они отплывают завтра около полудня, — и Джоанна, проснувшись в пять часов утра и услышав суету на лестнице, не сошла тотчас вниз, а продолжала лежать в постели, собираясь с силами для предстоящего расставания; она думала, что они уйдут из дома около девяти, — так ведь было в прошлый раз, когда ее муж отправился в плавание. А когда она наконец спустилась вниз, то обнаружила только несколько слов, нацарапанных мелом на покато́й крыше конторки; но ни мужа, ни сыновей уже не было. В торопливо написанных строчках Шэдрак сообщал ей, что они ушли, не прощаясь, чтобы избавить ее от тягостных проводов, а сыновья приписали пониже: «До свиданья, мама!»

Она кинулась на набережную, оглядела всю гавань, все море до самого горизонта, но только и увидела, что мачты и надутые паруса брига «Джоанна», — человеческих фигур уже нельзя было различить.

— Сама, сама их послала! — в исступлении вскричала она, заливаясь слезами.

Дома сердце у нее чуть не разорвалось при виде этого «До свиданья», написанного мелом. Но когда она опять вышла в лавку и посмотрела через дорогу на дом Эмили, ее исхудалое лицо озарилось торжеством: теперь, думалось ей, недалеко уже день, когда она стряхнет с себя иго раболепства.

Надо отдать справедливость Эмили Лестер, — ее мнимая надменность была лишь плодом воображения Джоанны. Конечно, жена купца жила и одевалась лучше, чем Джоанна —



и этого Эмили скрыть не могла,— но при встречах со своей бывшей подругой, теперь очень редких, она всеми силами старалась не дать ей почувствовать разницу в их положении.

Прошло первое лето; Джоанна кое-как поддерживала свое существование торговлей в лавке, где мало что оставалось, кроме прилавка да витрины. Сказать по правде, Эмили была ее единственным крупным покупателем, и ласковая готовность миссис Лестер закупать все без разбора, не обращая внимания на качество, горько уязвляла Джоанну, потому что в этом чувствовалась снисходительность покровительницы, почти благодетельницы.

Началась долгая, тоскливая зима; конторка была повернута к стене, чтобы сохранить написанные мелом прощальные слова,— Джоанна ни за что не согласилась бы стереть их; и часто она поглядывала на них сквозь слезы. Красивые

мальчики Эмили приехали домой на рождественские каникулы; шла речь о том, что они поступят в университет; а Джоанна все жила, словно бы затаив дыхание, как человек, с головой погруженный в воду. Еще одно лето — и «нююфаундендский срок» окончится. Незадолго до того, как ему истечь, Эмили зашла к своей бывшей подруге. Она слышала, что Джоанна стала тревожиться: уже несколько месяцев не было писем от мужа и сыновей. Шелка Эмили так надменно зашуршали, когда, воспользовавшись не слишком любезным приглашением Джоанны, она прошла за прилавок, а оттуда в заднюю комнату.

— У тебя во всем удача, а мне ни в чем не везет! — сказала Джоанна.

— Но почему ты так считаешь? — спросила Эмили. — Я слышала, они должны привезти целое состояние.

— Ах, вернутся ли они сами? Переносить эту неизвестность не по силам женщине. Ты подумай, все трое — на одном корабле! И уже столько месяцев никаких вестей!

— Но время еще не прошло. Не надо заранее говорить о несчастье.

— Ничто не вознаградит меня за это мучительное ожидание!

— Так зачем же ты позволила им уехать? Ведь вам жилось неплохо.

— Я их заставила это сделать! — воскликнула Джоанна, вдруг с яростью обрушиваясь на Эмили. — И скажу тебе почему! Я не могла вынести, что мы только перебиваемся кое-как, а вы живете в богатстве и довольстве. Вот теперь я тебе все сказала, можешь меня возненавидеть!

— Я никогда не стану ненавидеть тебя, Джоанна.

И впоследствии она доказала, что говорила правду. Началась осень, бриг уже давно должен был вернуться в порт; но не видать было «Джоанны» в фарватере между отмелями. Теперь уж и правда были основания тревожиться. Джоанна Джолиф сидела у огня, и каждый порыв ветра отзывался в ней холодной дрожью. Всегда она боялась моря и чувствовала к нему отвращение. Для нее это было вероломное, беспокоеное, скользкое существо, с торжеством упивающееся женским горем. «И все-таки,— твердила Джоанна,— они должны, должны вернуться!»

Шэдрак, вспоминала она, говорил перед отъездом, что, если они останутся живы и невредимы и предприятие их увенчается успехом, он пойдет в церковь, как тогда, в первый раз,— и вместе с сыновьями, преклонив колени, возблагодарит бога за благополучное возвращение. Каждое воскресенье, утром и днем, она ходила в церковь, садилась на переднюю скамью, поближе к алтарю и уже не отводила глаз от той ступени, где когда-то, в расцвете молодости, стоял на коленях Шэдрак. Она точно, до дюйма, помнила то место, которое касались его колени двадцать лет тому назад, его склонен-

ную фигуру, лежавшую рядом шляпу. Бог милостив, ее муж опять будет стоять здесь; и оба сына — по бокам, как он говорил, — вот здесь Джордж, а там Джим. Она так подолгу и так пристально смотрела на ступень, что уже, словно воочью, стала видеть их там, — вот они все трое, возвратившись из плавания, стоят на коленях: две тонких фигуры, ее мальчики, а между ними более плотная; руки сложены для молитвы, и головы четко выделяются на белом фоне восточной стены. Мечта превратилась в галлюцинацию: стоило Джоанне обратить туда утомленный взор — и она уже видела их.

Правда, пока что их все нет и нет, но господь милосерд, просто ему еще не угодно облегчить ей душу. Это — во искупление греха, который совершила она, Джоанна, превратив сыновей и мужа в рабов своего тщеславия. Но есть же предел искуплению, а ее мукам не было предела, — она была близка к отчаянию. Давно уже прошел срок, когда должен был вернуться корабль, но он не вернулся. Джоанне во всем, что она видела или слышала, постоянно чудились знаки его прибытия. Если, стоя на холме и глядя на простирившийся внизу Ла-Манш, она замечала вдруг крошечное пятнышко на юге у самого горизонта, нарушавшее вечное однообразие водной пустыни, она уже знала — это не что иное, как площадка грот-мачты на «Джоанне»! А дома, стоило ей слышать голоса или какой-нибудь шум с угла возле винного погреба, где Хай-стрит выходит на набережную, — и она вскакивала с криком: «Они!»

Но это были не они. Каждое воскресенье на ступенях алтаря преклоняли колени три призрака, а не трое живых людей. Бакалейная лавка как-то сама собой перестала существовать. От одиночества и горя Джоанна погрузилась в такую апатию, что совсем перестала пополнять запасы товара, и это разогнало последних покупателей.

Эмили Лестер всячески пыталась поддержать в нужде несчастную женщину, но та упорно отвергала ее помощь.

— Я не люблю тебя! Видеть тебя не могу! — хриплым шепотом говорила Джоанна, когда Эмили приходила к ней.

— Но я же хочу помочь тебе, Джоанна! Облегчить хоть немного твою горе.

— Ты — важная дама, у тебя богатый муж и красивые сыновья! Что тебе нужно от несчастной старухи, потерявшей все на свете?

— Мне нужно, Джоанна, чтобы ты перешла жить к нам. И не оставалась больше одна в этом мрачном доме.

— А вдруг они вернуться — а меня нет? Ты хочешь разлучить меня с ними! Нет, я останусь тут. Я не люблю тебя, и не жди от меня благодарности, сколько бы добра ты мне ни делала!

Однако пришло время, когда Джоанна, не получая никакого дохода, оказалась не в состоянии уплатить за наем лавки

и дома. Ее стали убеждать, что нет уже никакой надежды на возвращение Шэдрака с сыновьями, и она скрепя сердце согласилась жить под кровом Лестеров. Там ей предоставили отдельную комнату наверху, и она могла уходить и приходиться, когда ей вздумается, не встречаясь ни с кем из семьи. Волосы у нее поседелели, глубокие морщины избороздили лоб, она исхудала и ссутулилась. Но она все еще ждала пропавших, и, когда случилось ей встретиться на лестнице с Эмили, она угрюмо говорила:

— Знаю, зачем ты перетасила меня сюда! Они вернуться, не найдут меня дома и с горя, может, опять уйдут. Ты хочешь отомстить мне за то, что я отняла у тебя Шэдрака!

Эмили Лестер кротко сносила все упреки измученной горем женщины. Она была уверена — как и все в Хэвенпуле, — что Шэдрак и его сыновья не вернуться. Уже много лет как судно считали пропавшим. Тем не менее, стоило Джоанне проснуться ночью от какого-нибудь шума, и она вскакивала с постели, чтобы при свете мигающей лампы посмотреть на лавку по ту сторону улицы и убедиться, что это не они.

Была сырая и темная декабрьская ночь. Шесть лет уже прошло после отплытия брига «Джоанна». Ветер дул с моря и гнал промозглый туман, от которого казалось, будто тебе по лицу проводят мокрой фланелевой тряпкой. Джоанна сотворила свою обычную молитву об отсутствующих с таким жаром, с такой надеждой, какой не знала уже долгие месяцы, и около одиннадцати часов заснула. Шел уже, должно быть, второй час ночи, как вдруг она, внезапно пробудившись, вскочила. Ей послышалось — нет, она ясно слышала шаги на улице и голоса Шэдрака и сыновей у бакалейной лавки, — они просили открыть им дверь. Джоанна спрыгнула с кровати, что-то накинула на себя, бегом сбежала по широкой, застланной ковром лестнице; поставив свечу на столик в прихожей, она сняла дверные засовы и цепочку и вышла на улицу.

Туман, наплывавший от набережной, мешал ей даже на таком близком расстоянии разглядеть дверь в лавку. Джоанна мигом перебежала через дорогу. Что это? Никого нет. Несчастливая женщина металась босая по улице — нигде ни души! Она вернулась к лавке и стала что есть силы колотить в дверь — в прежнюю свою дверь... Их, наверно, пригласили переночевать, чтобы не будить ее... Прошло несколько минут, прежде чем из окна выглянул молодой человек, новый хозяин бакалейной лавки, — внизу на мостовой он увидел какой-то жалкий человеческий остов, едва прикрытый одеждой.

— Приходил кто-нибудь? — донесся до него знакомый голос.

— Ах, это вы, миссис Джолиф! — мягко сказал молодой человек, который знал, как терзается Джоанна напрасным ожиданием. — Нет, никто не приходил.

ГРУСТНЫЙ ГУСАР ИЗ НЕМЕЦКОГО ЛЕГИОНА

I

Все та же холмистая пустошь раскинулась здесь, и ветры веют над зелеными травами точно так же, как и в те богатые событиями времена. Плуг не провел тут борозды, и сегодня, как и тогда, земля одета толстым слоем дерна. Вот здесь был лагерь; и до сих пор еще видны остатки земляного барьера, через который прыгали полковые лошади, и места, где возвышались некогда курганы кухонных отбросов. Вечерами, когда я брожу один по этим пустынным холмам, в шуршании ветра по траве и зарослям чертополоха мне поневоле слышатся звучавшие здесь когда-то зовы трубы, и сигналы горна, и побрякивание уздечек; мерещатся призрачные ряды палаток и войсковых обозов. Из-за парусиновых стен доносятся горлантные звуки чужой речи и обрывки песен фатерланда, ибо в ту пору здесь стояли лагерем солдаты Королевского немецкого легиона.

Это было почти девяносто лет назад. Британская военная форма тех времен с ее громадными эполетами, несуразной треуголкой, широкими штанами, гетрами, огромным патронташем, башмаками на пряжках и тому подобными красотами, показалась бы теперь варварской и нелепой. Понятия людские с тех пор изменились; нынче каждый день приносит какое-нибудь новшество. Тогда солдат был воплощением величия, ореол божественности еще окружал в иных странах королей, и война почиталась делом благородным.

Одинокие помещицы дома и небольшие деревушки ютятся по лощинам между этими холмами, и редко когда можно было здесь встретить приезжего, покуда королю вдруг не вздумалось избрать приморский городок милях в пяти к югу отсюда для своих ежегодных морских купаний, вследствие чего военные батальоны тучей осели по окрестностям. Нужно ли добавлять, что отголоски многих занятных историй, относящихся к тому живописному времени, и по сей день еще живы в этой местности, доступные уху любопытствующего

слушателя? Некоторые из них я уже пересказывал, большинство забыл; но одну из них я не пересказывал еще ни разу и уж, во всяком случае, никогда не смогу забыть.

Эту историю рассказала мне сама Филлис. Она была уже тогда старой женщиной семидесяти пяти лет, а ее слушатель — пятнадцатилетним мальчишкой. Она строго-настрого велела мне никому не рассказывать подробностей о ее участии в описываемых событиях, пока она не будет лежать «в сырой земле, мертвая и всеми забытая». Она прожила после этого еще двенадцать лет, и вот уже почти двадцать лет, как она умерла. Забвение, которого она в скромности и смирении для себя чаяла, постигло ее лишь отчасти, и это, увы, обернулось по отношению к ней несправедливостью, потому что те обрывки ее истории, какие стали известны в округе еще при жизни Филлис и не позабылись до сих пор, как раз наиболее неблагоприятны для ее репутации.

Все началось с прибытия Йоркского гусарского полка — одного из тех иностранных легионов, о которых уже говорилось выше. До этого времени возле дома ее отца было как в пустыне — по неделям не встретишь живой души. Послышится ли шуршание юбок, будто гостя в саду переступила порог, — это просто ветер играет сухим листом; почудится ли, что экипаж подъехал к дому, — это отец в саду точит серп о камень, чтобы заняться на досуге любимым делом — подрезанием буксовых кустов на границах своих владений. Если раздастся глухой стук, будто кто-то сбросил на землю багаж с задка кареты, — это просто пушка выпалила где-то далеко в море; а высокий мужчина, что стоит в сумерках у ворот, оказывается тисовым деревцем, искусно подстриженным в виде пирамиды. Тихо и безлюдно было тогда в сельских местностях, не то что теперь.

А между тем как раз в эти дни король Георг вместе со всем двором пребывал на своем излюбленном приморском курорте, не далее как в пяти милях отсюда.

Одинок жила девушка, но еще более одинок был ее отец. Если ее жизнь протекала как бы в сумерках, то он жил в глубокой тьме. Но ему тьма была по сердцу, а ее эти сумерки угнетали. Доктор Гроув имел некогда врачебную практику, но из-за его склонности к уединенным размышлениям над метафизическими проблемами она постепенно сократилась до того, что перестала окупать даже связанные с нею расходы, вследствие чего он с ней разделался, снял в этом затерянном уголке за ничтожную плату тесный и ветхий дом — не то помещичий, не то крестьянский, и стал жить здесь на небольшой доход, которого в городе им бы, конечно, не хватило. Большую часть времени он проводил у себя в саду и год от года становился все раздражительнее, по мере того как в нем укреплялось сознание, что он зря растратил жизнь в погоне за иллюзиями. Он все реже и реже виделся с людьми. Филлис

выросла такая робкая, что, если во время ее коротких прогулок по окрестностям ей случалось повстречать незнакомого человека, она смущалась под его взглядом и краснела по самые плечи.

И все-таки даже здесь достоинства Филлис были замечены, и нежданный-негаданный поклонник просил у отца ее руки.

Король, как упоминалось выше, пребывал в соседнем городке, где он расположился в Глостерском летнем замке; и его присутствие привлекло в городок все местное дворянство. Среди этой праздной публики многие — так по крайней мере они сами утверждали — имели связи и знакомства при дворе, в их числе был некий Хамфри Гоулд, человек холостой, не слишком юный, но и не старый, не то чтобы красавец, но и не урод. Чересчур степенный для роли «жеребчика» (как называли тогда неженатых кутил), он представлял собой тип светского человека более умеренного толка. Сей тридцатилетний холостяк попал как-то к ним в деревню, увидел Филлис и познакомился с ее отцом с целью быть ей представленным; она сумела чем-то настолько воспылменить его сердце, что визиты стали почти каждодневными, и в конце концов он сделал ей предложение.

Поскольку он принадлежал к одной из уважаемых местных фамилий, все считали, что Филлис, повергнув его к своим стопам, одержала, для девушки в ее стесненных обстоятельствах, блестящую победу. Как у нее это получилось, она и сама толком не знала. В те времена неравные браки рассматривались скорее как нарушение законов природы, чем как простое отступление от общепринятого, — к чему сводятся более современные взгляды; и потому, когда на мещаночку Филлис пал выбор такого благородного джентльмена, это было все равно, как если б ей предстояло быть заживо взятой на небо; хотя человек, не очень разбирающийся в этих тонкостях, не нашел бы, пожалуй, особой разницы в положении жениха и невесты, ибо названный Гоулд был гол как сокол.

Именно на это финансовое обстоятельство он ссылался — быть может, в полном соответствии с истиной, — отодвигая срок их бракосочетания, так что, когда с наступлением холодов король на всю зиму удалился из тех мест, мистер Хамфри Гоулд также отбыл в город Бат, пообещав возвратиться к Филлис через недельку-другую. Пришла зима, миновал назначенный срок, но Гоулд все еще откладывал свой приезд, так как ему не с кем было, по его словам, оставить дома престарелого отца. Филлис, по-прежнему проводившая дни в одиночестве, ни о чем не тревожилась. Человек, невестой которого она считалась, был для нее желанным мужем по многим соображениям; отец ее очень одобрял помолвку; однако такое невнимание со стороны жениха если и не причиняло Филлис боли, то, во всяком случае, задевало ее самолюбие. Любви в истинном смысле этого слова она, по ее собственному при-

знанию, к нему никогда не испытывала, но глубоко его уважала, восхищалась систематичностью и упорством, с каким он добивался своего, и ценила его осведомленность обо всем, что делали, делают или собираются делать при дворе; к тому же ей не чуждо было чувство гордости из-за того, что он остановил свой выбор именно на ней, хотя мог бы направить поиски в гораздо более высокие сферы.

Но он все не возвращался, а весна между тем вступила в свои права. Письма от него приходили регулярно, но тон их был весьма сдержанный; так можно ли удивляться, если девушка, оказавшаяся в столь неопределенном положении и не испытывавшая особо горячих чувств к жениху, впала под конец в уныние? Весна вскоре сменилась летом, а с летом в их места снова прибыл король, но Хамфри Гоулд по-прежнему не появлялся. Все это время считалось, что их помолвка, поддерживаемая письмами, остается в силе.

И вот тут-то жизнь местных жителей вдруг озарилась золотым сиянием, и радостное волнение охватило юные души. Это сияние исходило от вышепомянутых Йоркских гусар.

II

Нынешнее поколение имеет, надо полагать, лишь весьма смутное понятие о Йоркских гусарах, столь знаменитых девяносто лет тому назад. Это был один из полков Королевского немецкого легиона; впоследствии они как-то выродились, но тогда их блестящие мундиры, великолепные лошади, а главным образом их заграничный вид и усы (в те дни украшение редкостное) всюду привлекали к ним толпы почитателей и почитательниц. Вместе с остальными полками гусары расположились лагерем по окрестным холмам и лугам,— потому что соседний город сделался на все лето резиденцией короля.

Их лагерь был разбит на возвышенном месте, откуда открывался широкий вид — вперед на остров Портленд, к востоку до мыса Св. Альдхельма и к западу чуть не до самого Старта.

Филлис, хотя и не просто деревенская девушка, была, однако, не меньше всех прочих взволнована этим нашествием военных. Дом ее отца стоял несколько в стороне, в конце деревенской улицы, на пригорке, так что он приходился почти вровень с верхушкой колокольни, находившейся в низменной части прихода. Прямо за их садом начиналась поросшая траву широкая пустошь, которую пересекала тропинка, проходившая у них под самым забором. Филлис еще со времен своего детства сохранила привычку забираться иногда на ограду и сидеть там на самом вершине,— это не трудно было сделать, так как ограды в этой местности кладут из камней всухую, не скрепляя раствором, и между камней всегда найдется углубление для маленькой ножки.

Однажды она сидела так на садовой стене, уныло глядя вдаль, как вдруг внимание ее привлекла одинокая фигура, приближавшаяся по тропинке. Это был один из прославленных немецких гусар. Он шел, глядя в землю, как человек, который бежит общества других людей. Он бы, наверное, и голову опустил, не только глаза, если б не жесткий стоячий воротник. Когда он приблизился, она разглядела, что лицо его выражает глубокую печаль. Он не замечал ее и молча шагал по тропинке, пока не очутился под самой стеной.

Филлис была немало удивлена, видя этого храброго солдата в таком унынии, ибо по ее представлению о военных и о Йоркских гусарах в особенности (составленному исключительно понаслышке, так как ей ни разу не приходилось разговаривать с военным), жизнь у них была такая же веселая и яркая, как их мундиры.

В это мгновение гусар взглянул вверх и заметил ее. В своем белом платье с глубоким вырезом и белой муслиновой косыночкой, прикрывающей шею и плечи, вся залитая яркими лучами летнего солнца, она не могла не поразить его взгляда. Он слегка покраснел от неожиданности, но, даже не сбившись с ноги, прошел мимо.

Весь день лицо иностранца стояло у Филлис перед глазами, такое оно было необычайное, такое красивое, а глаза такие голубые, такие печальные и рассеянные. И вполне естественно, что на следующий день в тот же самый час она уже опять сидела на ограде, поджидая, покуда он снова покажется на тропинке. На этот раз он шел, читая на ходу письмо, и когда заметил ее, то поступил так, как будто ожидал или, во всяком случае, надеялся ее увидеть. Он замедлил шаги, улыбнулся и учтиво приветствовал ее. Кончилось тем, что они обменялись несколькими словами. Она спросила, что он читает, и он с готовностью ответил, что перечитывает письма матери из Германии; он получает их нечасто, объяснил он, и утешается тем, что по многу раз перечитывает старые. Этим и ограничился их первый разговор; но за ним последовали другие.

Филлис рассказывала, что он говорил по-английски довольно плохо, но она его понимала, так что препятствием для их знакомства это служить не могло. Когда же речь заходила о чем-нибудь сложном и деликатном, что он не в силах был выразить теми английскими словами, какие были в его распоряжении — о каких-нибудь тонкостях, о чувствах, — на помощь языку, надо думать, приходили глаза, а позднее на помощь глазам приходили губы. Короче говоря, знакомство это, ненароком завязавшееся и с ее стороны довольно неосторожное, углублялось и крепло. Подобно Дездемоне, она пожалела его, и он поведал ей свою историю.

Звали его Маттеус Тина, и родиной его был Саарбрюккен, где в то время все еще жила его мать. Ему было двадцать два года, но он уже получил чин капрала, хотя пробыл в

армии совсем недолго. Филлис всегда говорила, что в английских полках среди рядовых нельзя было встретить таких хорошо воспитанных и образованных молодых людей, какими бывали порой эти солдаты-иностранцы, манерами и внешностью скорее походившие на наших офицеров.

Постепенно от своего нового друга Филлис узнала о Йоркских гусарах то, чего никак не ожидала о них услышать. Оказывается, они были далеко не так веселы, как можно было бы предположить по их пестрым мундирам, наоборот, все в их полку были охвачены глубочайшим унынием, все так страдали от тоски по родине, что часто становились даже не способны к службе.

Тяжелее всего приходилось молодым солдатам, только недавно к нам прибывшим. Они ненавидели Англию и английский уклад жизни, совершенно не интересовались королем Георгом и его островным королевством и мечтали только поскорее выбраться из нашей страны и никогда больше ее не видеть. Телом они были здесь, но душою и сердцем — на любимой родине, о которой они — люди храбрые и во многом настоящие стоики — не могли говорить без слез. Маттеус Тина особенно жестоко страдал от тоски по родине, — мечтательный, от природы склонный к задумчивости, он тем острее ощущал всю горечь изгнания, что оставил дома одинокую старушку мать, которую некому было без него утешить.

Растроганная всем этим и живо заинтересованная его историей, Филлис, хотя и не погнушалась знакомством с простым солдатом, однако (во всяком случае, по ее собственным словам) довольно долго не позволяла ему преступить границы простой дружбы, — все время, пока считала, что ей предстоит стать женой другого; хотя вполне возможно, что она отдала Маттеусу свое сердце еще задолго до того, как успела это осознать. Садовая ограда сама по себе препятствовала какой бы то ни было близости, а он никогда не отваживался зайти в сад или хотя бы попросить на то ее позволения, так что беседовали они всегда на открытом месте, разделенные каменной стеною.

III

Но вскоре через одного знакомого в доме Филлис были получены новые известия о мистере Хамфри Гоулде, ее на редкость холодном и терпеливом женихе. Джентльмен этот говорил кому-то в Бате, что считает свой уговор с мисс Филлис Гроув далеко еще не окончательным и что, ввиду своего вынужденного отсутствия, вызванного болезнью отца, который до сих пор не в состоянии заняться делами, он полагает, что следует пока воздержаться от определенных обязательств с обеих сторон. Он не ручается, говорил он, что не направит своего внимания в какую-либо иную сторону.

Это известие, хотя и основанное только на слухах и, стало быть, полного доверия не заслуживавшее, как нельзя лучше вязалось с тем обстоятельством, что письма от жениха приходили редко и отнюдь не отличались теплотой, так что Филлис ни на минуту не усомнилась в его достоверности; и с этого времени она полагала себя свободной подарить свое сердце тому, кому пожелает. Иного взгляда держался ее отец: он без дальних слов объявил, что все это ложь и клевета. Он с детства знает семейство Гоулдов; есть одна пословица, лучше всего выражающая их взгляд на женитьбу: «Не люби меня горячо, да люби меня долго». Хамфри человек честный и ему никогда в голову не придет так легкомысленно отнестись к своей помолвке.

— Ты знай себе жди и не волнуйся,— сказал он дочери.— Увидишь, в свое время все уладится.

Услышав это, Филлис подумала было, что ее отец состоит с мистером Гоулдом в переписке, и сердце у нее сжалось, ибо, несмотря на свои первоначальные намерения, она с большим облегчением встретила известие о том, что ее помолвка кончилась ничем. Но потом она поняла, что отец и не думал писать Хамфри Гоулду, он не мог обращаться с таким вопросом к ее жениху, так как это означало бы, что он ставит под сомнение честь означенного джентльмена.

— Ты просто ищешь повода для того, чтобы поощрять легкомысленные ухаживания какого-нибудь из этих иностранных молодчиков,— резко сказал ей отец, в последнее время обращавшийся с ней особенно сердито.— Я все вижу, хоть и не все говорю. Не вздумай и шагу ступить за ворота без моего позволения. Если хочешь поглядеть лагерь, я как-нибудь в воскресенье сам тебя туда поведу.

Филлис согласна была покоряться отцу в поступках, но она считала, что в своих чувствах она теперь вольна. Она уже больше не боролась со своим увлечением, хотя ей никогда и в голову не приходило рассматривать немецкого гусара как поклонника с серьезными намерениями, каким мог бы для нее стать англичанин. Молодой солдат-иностранец был в ее глазах каким-то идеальным существом, не имеющим ничего общего с обыкновенными земными жителями; он сошел к ней неведомо откуда и скоро снова исчезнет неведомо куда. Он был для нее только чудной мечтой — не больше.

Они встречались теперь каждый день, большей частью в сумерках — в короткий промежуток между заходом солнца и той минутой, когда звук горна призовет его в палатку. Быть может, она и сама держалась теперь свободнее, а уж гусар-то — во всяком случае; с каждым днем он становился все нежнее, да и она, прощаясь с ним теперь после этих кратких бесед, протягивала ему каждый раз со стены руку, которую он с чувством пожимал. Однажды он так долго не выпускал ее пальцев, что она воскликнула:

— Осторожнее! Забор у нас белый, и с поля все видно!

В тот вечер он долго медлил, не решаясь расстаться с нею, и в конце концов едва успел вовремя добежать через луг до лагеря. А в другой раз случилось так, что он напрасно ждал ее в обычный час на их обычном месте свидания, — она не пришла. Огорчение его было несказанно велико; он стоял как окаменелый, уставившись в стену невидящим взглядом. Пропел горн, прозвучала барабанная дробь — он даже не пошевелился.

А ее задержали какие-то случайные дела. Когда же она все-таки пришла и увидела его, она очень встревожилась, потому что час был поздний, и она, так же как и он, слышала звуки, возвещающие лагерный отбой. Она стала умолять его, чтоб он, не медля, шел назад.

— Нет,— хмуро отозвался он.— Я не могу сейчас уйти, как только вы пришли,— я целый день мечтал об этой минуте.

— Но ведь вас могут разжаловать за опоздание.

— Пусть. Я бы уже давно покинул этот свет, когда б не два человека — моя возлюбленная здесь и моя матушка в Саарбрюккене. Я ненавижу армию. Одна минута, проведенная с вами, значит для меня больше, чем любое повышение в чине.

И он остался, и они разговаривали; и он рассказывал ей о своем родном городе и вспоминал разные забавные случаи из своего детства, а она вся трепетала при мысли о том, чем он рискует, задерживаясь здесь. И только когда она, не желая больше ничего слушать, простилась с ним, спрыгнула со стены и ушла, вернулся он к себе в лагерь.

Когда они увиделись в следующий раз, он был уже без нашивок, украшавших прежде его рукав. За опоздание его разжаловали в рядовые; и так как Филлис считала себя причиной этого, огорчение ее было особенно велико. Но теперь их роли переменялись, наступил его черед утешать ее.

— Не грустите, *meine Liebliche*, — сказал он.— Что бы ни случилось, у меня от всего есть лекарство. Во-первых, даже если предположить, что я верну себе нашивки, разве ваш отец позволит вам выйти замуж за капрала Йоркского гусарского полка?

Она вся зарделась. Столь практический вопрос не приходил ей прежде в голову — Маттеус Тина представлялся ей таким неземным существом. Но долго раздумывать в поисках ответа ей было незачем.

— Нет, отец не позволит этого, никогда не позволит,— мужественно призналась она.— Об этом нечего и думать. Друг мой, прошу вас: забудьте меня. Боюсь, что я гублю ваше будущее, вашу карьеру.

— Все нет,— возразил он.— Только вы и придаете мне силы выносить это жалкое существование в чужой стране. Если бы еще здесь была моя родина и моя матушка была со мной, я мог бы чувствовать себя счастливым и в теперешнем моем положении и старался бы стать хорошим солдатом. Но

это не так. И потому выслушайте меня внимательно. Мой план таков. Вы уедете вместе со мной ко мне на родину и станете моей женой, и мы заживем все вместе — матушка, вы и я. Я не из Ганновера, — вы это знаете, — хотя и завербовался в армию, как ганноверец, моя родина — Саар, она не воюет с Францией, так что стоит мне только туда попасть, и я свободен.

— Но как же попасть туда? — спросила Филлис. Его предложение изумило, но вовсе не оскорбило ее. Жизнь в отцовском доме с каждым днем становилась все печальней и мучительней; родительская любовь, казалось, совсем иссякла в сердце ее отца. В деревне она всегда была чужой, непохожей на других, простых и веселых девушек, а за последнее время Маттеус Тина сумел заразить ее своей страстной тоской по далекой родине, матери и отчужденному дому.

— Но как, как? — повторяла она, не получая ответа. — Разве вы сможете откупиться?

— Ах нет, — сказал он. — Это в наши дни совершенно невозможно. Но я попал сюда против своей воли; так почему бы мне попросту не убежать? Именно сейчас настал подходящий момент, потому что на днях мы снимаемся с лагеря, и я вас, может быть, никогда уже больше не увижу. Вот мой план: как-нибудь вечером на будущей неделе — нужно только, чтобы погода была тихая, — мы с вами встретимся в условленный час на дороге в двух милях отсюда. Ничего неприличного для вас в этом не будет, так как убежим мы не вдвоем, а втроем — я приведу с собой преданного мне друга, эльзасца Христофа, он недавно зачислен в наш полк и согласился принять участие в побеге. Видите вон ту бухту? Мы с Христофом заранее обойдем все лодки, стоящие там на причале, и присмотрим себе подходящую, а затем подыдем к вам. У Христофа есть карта Ла-Манша, мы все вместе вернемся в бухту и в полночь, перерубив палку, уйдем на веслах, огибая мыс, а на следующее утро мы уже на французском берегу, где-нибудь возле Шербура. Остальное проще простого, — я скопил довольно денег для путешествия по суше и знаю, где достать гражданское платье. Я напишу матушке, и она встретит нас на пути домой.

В ответ на ее расспросы он добавлял все новые и новые подробности, так что у Филлис не осталось сомнений в выполнимости его плана. Но грандиозность затеи пугала девушку, и она так бы, наверное, и не отважилась принять участие в этом отчаянном предприятии, если бы в тот же вечер, едва только она вошла в дом, отец не завел с ней такого многозначительного разговора:

— Ну, как насчет Йоркских гусар? — спросил он.

— Пока еще они стоят здесь, но на днях как будто собираются сняться с лагеря, — отвечала она.

— Не увливай, пожалуйста, своих поступков ты все равно не скроешь! Ты все время встречалась с одним из этих молодчиков, люди видели, как ты гуляла с ним. Эти иностранцы —

дикари, они не многим лучше французов! Я решил — не перебивай меня, я еще не кончил — я решил, что, куда они не ушли, ты здесь больше ни одного дня не останешься. Поедешь к тетке.

Напрасно она уверяла отца, что никогда в жизни не гуляла ни с одним солдатом и ни с одним мужчиной на свете, кроме него самого. Да и возражала она не очень горячо, потому что хотя отец и ошибался на этот раз в подробностях, но по существу был недалек от истины.

Дом тетки, сестры отца, всегда был для Филлис настоящей тюрьмой. Она как раз недавно у нее гостила, и память о царившем там мраке была еще свежа, поэтому, когда отец велел ей идти наверх и укладывать вещи, ее охватило отчаяние. Впоследствии, рассказывая об этих тревожных днях, она никогда не пыталась найти оправдание своим поступкам, как ни колебалась она вначале, но в тот вечер, оставшись одна, она твердо решила присоединиться к своему возлюбленному и его другу и бежать вместе с ними в ту страну, которая в ее воображении была расцвечена самыми привлекательными красками. Она говорила мне, что одно помогло ей преодолеть собственную нерешительность: несомненная чистота и честность намерений Маттеуса Тины. Он обнаружил столько целомудрия и доброты, он всегда обходился с Филлис с таким почтением, для нее совершенно непривычным, что в доверии к нему она почерпнула мужество для предстоящего опасного путешествия.

IV

На следующей неделе, в один из теплых тихих вечеров, должен был состояться побег. Было условлено, что Тина встретит Филлис на дороге, в том месте, где от нее ответвляется проселок, ведущий в деревню. Христоф должен был еще раньше спуститься в бухту, сесть в лодку, обойти на веслах мыс Нот, или Сторожевой, как именовался он в те дни, и встретить их по другую сторону мыса, куда они должны были добраться пешком, — сначала по мосту через бухту, а потом поднявшись на Сторожевой холм и спустившись по другому его склону.

Лишь только отец поднялся к себе в спальню, Филлис тут же вышла за порог с узелком в руках и пустилась бегом по проселку. Час был не ранний, на деревенской улице не было ни души, и она добралась до перекрестка никем не замеченная. Здесь она стала в темном углу между изгородями, откуда ей был бы виден всякий, кто подойдет по главной дороге.

Так она простояла, поджидая своего возлюбленного, не больше минуты — нервы ее были настолько напряжены, что и этот короткий срок показался ей непереносимо долгим, — как вдруг вместо шагов послышался стук колес почтовой кареты, спускавшейся под гору. Она понимала, что Тина не покажется



до тех пор, пока дорога не будет совершенно свободна, и с нетерпением ждала, чтобы карета проехала мимо. Но, поравнявшись с тем местом, где притаилась девушка, карета сбавила скорость и вместо того, чтобы поехать, как обычно, дальше, в нескольких шагах от нее остановилась. Один из пассажиров вышел, и она услышала его голос. Это был Хамфри Гоулд.

Следом за ним сошел еще один человек; потом прямо на траву выгрузили багаж, и карета снова покатила своей дорогой по направлению к городку на побережье, где была летняя резиденция короля.

— Где же этот парень с лошастью и повозкой? — обратился ее бывший поклонник к своему спутнику. — Надеюсь, нам не придется долго ждать? Я велел ему быть здесь ровно в половине десятого.

— А подарок для нее у вас цел?

— Для Филлис? Да, конечно. Он в этом сундуке. Надеюсь, ей понравится.

— Еще бы. Какой женщине не понравится такой великолепный залог примирения?

— Ну, знаете ли, она его заслужила. Я все-таки нехорошо обошелся с нею. Последние два дня она, признаться, не выходит у меня из головы. Ну, да что там, не будем больше об этом говорить. Не может быть, чтоб она оказалась такой порочной, как про нее рассказывают. Я совершенно уверен, что девушка с ее понятиями не станет ввязываться в историю с каким-то солдатом-ганноверцем. Не верю я этому, и все тут.

Поджидая свой экипаж, собеседники обронили еще несколько слов, которые, словно во внезапной вспышке, открыли Филлис всю чудовищность ее поведения. Потом подъехала повозка, и разговор оборвался. Багаж взвалили на повозку, туда же уселись и сами приезжие, и лошадь двинулась в том направлении, откуда незадолго перед этим пришла Филлис.

Она теперь так сильно раскаивалась в своем легкомыслии, что чуть было тут же не последовала за ними; но, спохватившись, поняла, что простая справедливость по отношению к Маттеусу велит ей дождаться его и честно объявить, что она передумала,— как ни тяжело ей будет говорить ему это. Она горько укоряла себя за то, что поверила слухам, будто Хамфри Гоулд считает помолвку расторгнутой, между тем как в действительности — ведь она только что сама это слышала — он ни на минуту не усомнился в ее постоянстве. Да, конечно, сердце ее принадлежит другому человеку. Жизнь без него будет унылой и безрадостной. Но чем больше она думала, тем меньше у нее в душе оставалось решимости принять его предложение,— так неопределенны, так неосмотрительны и опасны были все его планы. Она ведь дала обещание Хамфри Гоулду и только из-за ложного известия о его неверности сочла, что это обещание не имеет силы. Внимание, которое он ей выказал, привезя подарки, растрогало ее, да, она должна сдержать свое слово, и пусть уважение заменит любовь. Она не может поступить бесчестно. Она останется здесь, выйдет замуж за Хамфри Гоулда и всю жизнь будет несчастна.

Таковыми рассуждениями старалась она придать себе твердость духа,— и вот наконец фигура Маттеуса Тины показалась за изгородью у дороги. Филлис шагнула ему навстречу, он легко перескочил через изгородь, и... избежать этого было невозможно: он прижал ее к своей груди.

«В первый и последний раз»,— смятенно подумала Филлис, когда руки его обвились вокруг ее стана.

Как она справилась со своей мучительной задачей, это Филлис помнила потом очень смутно. Она всегда считала, что сумела тогда выполнить принятое решение только благодаря великодушью своего возлюбленного, который, как только она, запинаясь, сказала ему, что она передумала, что она не может,

что она боится бежать с ним, воздержался от всяких попыток уговорить ее, как ни опечален он был ее словами. Позволил он себе настаивать, и она, любившая его так нежно, конечно, не выдержала бы искушения. Но он не сделал ничего, чтобы повлиять на ее волю.

Она со своей стороны, опасаясь, как бы с ним не случилось беды, стала заклинять его остаться. Но это, по его словам, было невозможно.

— Я не могу подвести своего друга,— пояснил он.

Если б речь шла только о нем одном, он бы отказался от своего намерения. Но там, на берегу, его ждет Христоф с лодкой, компасом и картой, скоро начнется отлив, матушка уже предупреждена о его приезде, он должен ехать.

Много драгоценных минут было потеряно, покуда он медлил, не в силах оторваться от своей возлюбленной, которая так и не изменила принятого решения, хоть оно и причиняло ей жестокую муку. Наконец они простились, и он стал спускаться под гору. Но прежде чем замер звук его шагов, она почувствовала, что непременно должна хотя бы издали увидеть его еще раз. Она неслышно побежала вслед за ним и остановилась там, откуда ей снова видна стала его удаляющаяся фигура. Одно мгновение нахлынувшие на нее чувства были настолько сильны, что она чуть было не бросилась за ним вдогонку, чтобы связать свою судьбу с его судьбою. Но она не в силах была это сделать. Да и вряд ли можно было ожидать от Филлис Гроув храбрости, которой в критический момент не достало Клеопатре Египетской.

Она разглядела еще, как впереди на дороге к нему присоединилась другая такая же фигура. То был его друг Христоф. Потом оба скрылись из виду и теперь шагали, должно быть, по направлению к городу, торопясь достичь гавани, расположенной в четырех милях отсюда. С чувством, близким к отчаянию, она повернулась и медленно пошла к дому.

Со стороны лагеря донеслась барабанная дробь; но для нее лагерь больше не существовал. Он теперь был для нее пуст и мертв, точно стан ассирийцев, над которым пронесся Ангел смерти. Она бесшумно вошла в дом, никем не замеченная, и легла в постель. Горе, поначалу не дававшее ей уснуть, затянуло ее под конец в омут тяжелого забытья. Наутро отец встретил ее внизу у лестницы.

— Мистер Гоулд приехал!— с торжеством сообщил он.

Хамфри остановился в гостинице и уже заходил к ним, справлялся о Филлис. Он привез ей в подарок очень красивое зеркало в кованой серебряной оправе, которое отец теперь держал перед нею. Мистер Гоулд обещал не позже чем через час зайти еще раз и пригласить Филлис на прогулку.

В те дни красивые зеркала были редкостью в деревенских домах, не то что теперь. Такой подарок не мог не пленить Филлис. Она посмотрелась в зеркало, увидела, какой у нее

потухший взгляд, и постаралась придать ему живость. Она была в том подавленном состоянии, когда женщина продолжает машинально двигаться по пути, который, как она считает, для нее предначертан. Мистер Хамфри, оказывается, все это время на свой, сдержанный, лад оставался верным старому уговору; значит, и ей надо делать то же, ни единым словом не обмолвившись о собственной ошибке. Она надела капор и накидку, и когда в назначенный час он подошел к их дому, она уже поджидала его на пороге.

V

Филлис поблагодарила его за чудесный подарок, но после этого говорил уже только один Хамфри. Он пересказал ей все последние новости придворной жизни — тема, на которую она с готовностью откликнулась, радуясь тому, что откладываются всякие личные разговоры. И его сдержанный тон постепенно успокоил ее смятенное сердце и встревоженный ум. Не будь ее собственное горе так велико, она бы, конечно, заметила его замешательство. Но вот он замолчал и, решившись, заговорил уже о другом.

— Я рад, что вам понравился мой скромный подарок, — сказал он. — По правде говоря, я надеялся с его помощью умиловать вас, так как хочу обратиться к вам с просьбой. Помогите мне выбраться из большого затруднения!

Филлис и представить себе не могла, чтобы этот независимый мужчина, которым она во многих отношениях восхищалась, мог испытывать какие-то затруднения.

— Филлис, я не медля открою вам свою тайну, ибо у меня в самом деле есть ужасная тайна, которую я должен вам поведать прежде, чем просить у вас совета. Дело в том, что я женат; да, я по секрету от всех женился на одной прелестной девушке; если б вы были с нею знакомы — а я надеюсь, что вы непременно познакомитесь, — вы бы сами не пожалели слов ей в похвалу. Но она не совсем отвечает тем требованиям, какие выдвигает мой отец — вы знаете эти отцовские понятия, — и мне пришлось скрыть это от него. Он, несомненно, поднимет страшный шум, но мне кажется, что с вашей помощью я сумел бы в конце концов его успокоить. Если б только вы согласились оказать мне дружескую услугу и подтвердить моему отцу, когда я ему во всем признаюсь, что вы все равно никогда не стали бы моей женой или что-нибудь, знаете, в таком же роде, — это, поверьте, очень помогло бы мне уладить дело. Мне страшно важно склонить его на свою сторону и не впасть в немилость.

Что отвечала ему на это Филлис, какие давала ему советы, она и сама не помнила. Но это неожиданное открытие принесло ей огромное облегчение. В ответ ей так хотелось рассказать ему собственную печальную историю; и будь на месте Хамфри

женщина, Филлис тотчас же излила бы ей свое горе. Но ему она не решилась открыться; к тому же у нее были веские основания хранить все в тайне, хотя бы до тех пор, пока ее возлюбленный и его товарищ не окажутся в безопасности.

Вернувшись домой, она уселась в укромном уголке и, уже почти раскаиваясь в том, что отказалась от побега, долго грезила о Маттеусе Тине, вспоминая каждую их встречу, от первой и до самой последней. У себя на родине среди своих соотечественниц он, наверное, скоро забудет ее, забудет даже, как ее звали.

Печаль ее была так велика, что она несколько дней даже не выходила из дому. Но вот наступило одно утро, когда сквозь густую пелену тумана едва проглядывала зеленовато-серая заря да смутно проступали очертания палаток и ряды лошадей у коновязей. Дым от походных кухонь тяжело стлался по земле.

Единственным местом на английской земле, куда еще тянуло Филлис, был дальний угол сада, где она прежде так часто взбиралась на ограду, чтобы поговорить с Маттеусом Тиной, и сюда направилась она в то промозглое утро, несмотря на сырость и туман. Каждая травинка стояла, униженная тяжелыми шариками влаги, слизняки и улитки повыползли на грядки. Со стороны лагеря доносились привычные глухие звуки, а на дороге слышны были торопливые шаги фермеров, спешивших в город, потому что предстоял базарный день. Она заметила, что благодаря своим частым посещениям успела вытоптать всю траву в этом углу сада и что на стене в тех местах, куда она обычно ставила ногу, карабкаясь вверх, прилипли комочки земли. Она приходила сюда по большей части в сумерки и даже не подозревала, что следы ее будут так отчетливо видны при свете дня. Вероятно, именно они и открыли отцу ее секрет.

Так она стояла в печальном раздумье, как вдруг ей почудилось, будто к знакомым лагерным звукам примешалось что-то новое. Как ни безразлично было ей теперь все, что происходит в лагере, она все же взобралась по своим привычным каменным ступенькам на ограду. Сначала зрелище, представившееся ей, вызвало в ней тревогу и недоумение; но вдруг она замесрла, вцепившись пальцами в стену, и с окаменевшим лицом стояла, глядя прямо перед собой широко открытыми от ужаса глазами.

Посреди лагеря на зеленом поле длинными рядами выстроился весь гусарский полк, а перед фронтом на земле стояли два пустых гроба. Непривычные звуки, привлечшие ее внимание, исходили от приближавшейся процессии. Впереди шел полковой оркестр, играя похоронный марш, за ним на похоронных дорогах ехали под стражей двое солдат этого же полка в сопровождении двух священников. А позади теснилась толпа привлеченных любопытством крестьян. Траурная процессия проставала вдоль всего фронта, возвратилась на середину и

остановилась возле гробов; обоим приговоренным завязали глаза, они опустились на колени, каждый у своего гроба, и наступила короткая пауза — они молились.

Двадцать четыре солдата стрелкового взвода стояли напротив, держа карабины наготове. Командир на коне высоко поднял обнаженную саблю, взмахнул ею в воздухе, опустил к ноге — и грянул залп. Оба несчастных упали, один ничком на гроб, другой — навзничь.

Одновременно с залпом из сада доктора Гроува раздался пронзительный вопль, и что-то свалилось внутрь с ограды. Но в то время никто из собравшихся на поле не обратил на это внимания. Двое расстрелянных были Маттеус Тина и его друг Христоф. Стоявшие в карауле солдаты поспешили уложить их тела в гробы, но полковник англичанин подсказал к ним и громким голосом приказал:

— Выбросить их на землю — в назидание остальным!

Гробы поставили стоймя, и мертвецы упали лицом в траву. Затем полк построился поэскадронно и медленным шагом промаршировал мимо лежащих на земле трупов. Когда этот парад окончился, тела снова уложили в гробы и увезли прочь.

Услышав залп, доктор Гроув выбежал из дому и увидел в саду свою несчастную дочь, распростертую у ограды. Ее перенесли в комнаты, но сознание не скоро вернулось к ней, и в течение многих дней доктор опасался за ее рассудок.

Впоследствии выяснилось, что неудачливые беглецы из Йоркского гусарского полка срезали, как они и намеревались, в ближайшей гавани с причала лодку и вместе с двумя другими товарищами, которые страдали от жестокого обращения своего полковника, благополучно переплыли Ла-Манш. Но, сбившись с пути, они пристали к острову Джерсею, думая, что это французский берег. Здесь сразу поняли, что они дезертиры, и передали их в руки властей, на суде Маттеус и Христоф вступились за тех двоих, заявив, что их товарищи согласились на побег, только поддавшись их уговорам. В результате тех приговорили к розгам, а смертные приговоры были вынесены только зачинщикам.

Если как-нибудь, приехав в известный со времен короля Георга приморский курортный городок, вы вздумаете прогуляться до соседней деревни, что под горою, и перелистать там кладбищенские книги, где регистрируются погребения, вы найдете в них две такие записи:

«Мат. Тина, капрал Его Вел. Йоркского гусарского полка, расстрелянный за дезертирство, похоронен 30-го дня июня месяца 1801 года, в возрасте 22 лет. Место рождения — г. Саарбрюккен, Германия».

«Христоф Блесс, рядовой Его Вел. Йоркского гусарского полка, расстрелянный за дезертирство, похоронен 30-го дня

июня месяца 1801 года, в возрасте 22 лет. Место рождения — Лоторген, Эльзас».

Им вырыли могилы за церквушкой, у самой ограды. Ни крестов, ни могильных плит там нет, но Филлис показывала мне это место. Пока она была жива, могилы всегда содержались в порядке, но теперь холмики поросли крапивой и почти сровнялись с землей. Однако деревенские старожилы, еще от своих родителей слыхавшие об этой истории, и по сей день помнят, где похоронены два солдата. Неподалеку оттуда лежит и Филлис.

1890

СТАРИННЫЕ ХАРАКТЕРЫ

Время действия — осень с ее золотом и синевой, вторая половина субботнего дня, место действия — главная улица городка, известного своим базаром. На квадратном дворе перед гостиницей «Белый олень» стоит большой фургон, крытый брезентом, на котором виднеется вылинявшая от непогоды надпись: «Бэртен, перевозки до Лонгпаддла». Фургоны эти, каких здесь много, несмотря на их неуклюжесть, считаются вполне приличным средством передвижения и пользуются большой популярностью у людей почтенных, но не обремененных излишними деньгами; те из фургонов, что оборудованы получше, не уступают, пожалуй, старинным французским дилижансам.

Фургон, о котором идет речь, отправляется ровно в четыре, а сейчас, как показывают часы на башенке в конце улицы, половина четвертого. Вот уже начинают появляться посыльные из магазинов со свертками в руках, они забрасывают свертки в фургон и уходят, насвистывая, не заботясь об их дальнейшей судьбе. Без двадцати четыре приходит пожилая женщина, ставит свою корзинку в фургон, не спеша забирается туда сама, усаживается, складывает руки и поджимает губы. Пускай еще и лошадей не думают запрягать, да и самого возчика не видно, а она уже заняла себе уголок. Без четверти четыре появляются еще две женщины, в которых она узнает жену почтмейстера Верхнего Лонгпаддла и жену приходского писаря, а они узнают в ней владелицу бакалейной лавочки из этой же деревни. За пять минут до назначенного срока прибывают учитель мистер Профитт в мягкой фетровой шляпе и кровельщик Кристофер Туинк, большой искусник по части сооружения соломенных крыш; а когда часы уже бьют четыре, во двор торопливо входят церковный причетник с женой, торговец семенами со своим престарелым отцом и приходский писарь, а также мистер Дэй, не признанный миром художник-пейзажист, человек уже в летах, проживший всю жизнь в родной деревне и не продавший

ни единой картины за ее пределами; однако надо сказать, что его посягательства на искусство пользуются неизменной поддержкой односельчан, чья вера в его гениальность столь же примечательна, как и пренебрежение к нему со стороны всего остального человечества; эти добрые люди так усердно приобретают его картины (правда, всего за несколько шиллингов каждую), что на стенах любого дома в приходе красуется по три-четыре этих великолепных творения.

А Бэртен, хозяин фургона, уже хлопочет вокруг, вот и лошади запряжены, Бэртен разбирает вожжи и ловко вспрыгивает на козлы — видно, это ему дело привычное.

— Все, что ли, тут? — спрашивает он через плечо разместившихся в фургоне пассажиров.

Поскольку те, кого там не было, не могли заявить о своем отсутствии, он, естественно, заключил, что все в сборе, и после нескольких толчков и рывков фургон со своим живым грузом выехал со двора. Легкой рысцой лошади побежали по дороге, но немного не доезжая до моста, за которым кончался городок, Бэртен вдруг круто натянул вожжи.

— А, черт! — воскликнул он. — Я же забыл пастора!

Сидевшие поблизости от маленького оконца в задней стенке фургона посмотрели, не видно ли пастора на дороге, но там его не оказалось.

— И куда он запропастился, хотел бы я знать, — продолжал возчик.

— Ему, бедняге, в его годы, давно уже пора бы иметь самостоятельный приход.

— И пора бы научиться не опаздывать, — добавил возчик. — Я же сказал ему «ровно в четыре». «В четыре так в четыре», говорит, а теперь вот его и нет. Такой солидный человек, старый священнослужитель, а слову своему не хозяин. Может, вы, мистер Флакстон, знаете, в чем дело, — вы ведь с ним часто встречаетесь, — обратился он к причетнику.

— Я с ним и правда разговаривал всего полчаса назад, — отвечал сей достойный муж, всем своим видом показывая, что он и в самом деле на короткой ноге со своим духовным начальством. — Но он не сказал, что задержится.

Вопрос разрешился сам собой — в эту минуту из-за угла фургона вырвался сноп лучей, отраженных очками пастора, а следом появилось его раскрасневшееся от спешки лицо, реденькие седые бакенбарды и развевающиеся полы длинного узкого пальто. Никто не стал его укорять, видя, что он и сам огорчен, и пастор, запыхавшись, вскарабкался в фургон.

— Ну, теперь-то уж все тут? — вторично спросил возчик.

Фургон опять тронулся и покатил дальше по дороге, когда они проехали шагов триста и приближались уже ко второму мосту, за которым, как известно каждому уроженцу тех мест, дорога делает поворот и экипаж исчезает из поля зрения

провожающих его взглядами городских зевак, почтмейстерша вдруг воскликнула, глядя в заднее оконце:

— Остановитесь!

— Что такое? — спросил возчик.

— Какой-то человек нам машет!

Снова толчок, и фургон остановился.

— Еще, значит, кто-то опоздал? — сказал возчик.

— Да уж, видно, так!

Все ждали молча. Кто сидел поближе, смотрели в окошко.

— И кто бы это мог быть? — продолжал Бэртен.— Ну подсудите сами, как тут поспеть вовремя, когда то и дело застреваете? Да у нас вроде и все места заняты. Ума не приложу, кто это может быть!

— Одет прилично,— сказал учитель, которому с его места лучше всех было видно.

Незнакомец, убедившись, что его поднятый зонтик привлек внимание, неторопливо приближался к остановившемуся фургону. Платье на нем было явно не местного покроя, хотя трудно сказать, в чем именно заключалась разница. В левой руке он нес небольшой кожаный саквояж. Подойдя к фургону, он взглянул на выведенную на нем надпись, как бы удостовераясь, что остановил именно тот экипаж, который ему нужен, и спросил, найдется ли для него место.

Возчик ответил, что, хотя фургон полон, еще один человек, надо полагать, как-нибудь усядется, тогда незнакомец забрался в фургон и сел на место, которое другие пассажиры, потеснившись, ему освободили. И снова лошади тронули, и фургон покатил со своим грузом из четырнадцати душ, больше уже не останавливаясь.

— Вы ведь не здешний, сэр? — спросил возчик.— По вас сразу видно.

— Да нет, я отсюда родом,— ответил незнакомец.

— Да? Гм.

Последовавшая за этим пауза недвусмысленно выражала недоверие к словам нового пассажира.

— Я о Лонгпаддле говорю,— упрямо продолжал возчик,— там-то я, кажись, всех в лицо знаю.

— Я родился в Лонгпаддле и мальчиком жил в Лонгпаддле, и мой отец и дед тоже из Лонгпаддла,— спокойно возразил незнакомец.

— Ах ты господи! — воскликнула из глубины фургона лавочница.— Да уж не сын ли это Джона Лэкланда — ну подумать только! Того, что тридцать пять лет тому назад уехал в чужие края с женой и детьми? Быть не может! А все-таки — вот слышу я ваш голос — ну точь-в-точь голос Джона!

— Совершенно верно,— подтвердил незнакомец.— Джон Лэклэнд мой отец, а я его сын. Тридцать пять лет тому назад, когда мне было одиннадцать лет, мои родители эмигрировали за океан, взяв с собой меня и сестру. В то утро Тони Кайтс

отвез нас и наши пожитки в Кэстербридж, и он был последним человеком из Лонгпаддла, которого я видел. На той же неделе мы отплыли в Америку, и там мы жили все это время, и там же остались мои родные — все трое.

— Они живы или умерли?

— Умерли,— ответил он тихим голосом.— А я вот вернулся на родину, у меня давно уже зародилась мысль — не твердое намерение, а так, мечта, что хорошо бы через годик-другой сюда приехать и провести здесь остаток своих дней.

— Вы женаты, мистер Лэкленд?

— Нет.

— Ну и как, повезло вам в жизни, сэр, или, вернее, Джон,— я ведь знала тебя малышом... Разбогател ты в этих новых странах,— ведь там, говорят, все богатеют?

— Нет, я не богат,— ответил мистер Лэкленд.— И в новых странах, я вам скажу, попадаютс я неудачники. Не всегда в гонках побеждает быстрейший, а в битве сильнейший, а даже если и так, то можно ведь оказаться и не быстрейшим и не сильнейшим. Впрочем, хватит обо мне. Я на ваши вопросы ответил, теперь ответьте вы на мои. Я ведь из Лондона нарочно приехал сюда, чтобы посмотреть, какой стал Лонгпаддл и кто в нем сейчас живет. Поэтому я и решил поехать в вашем фургоне,— обратился он к возчику,— а не нанял экипаж.

— Да что,— ответил возчик,— живем поменьше, вроде ничего и не изменилось. Из прежних кое-кого уже нет — вынули, так сказать, старые портреты из рам и вставили на их место новые. Вы вот помянули Тони Кайтса,— что он отвозил вашу семью и ваше имущество в Кэстербридж. Тони, кажись, еще жив, но из Лонгпаддла уехал. После женитьбы он в Льюгейте поселился, неподалеку от Меллстока. Чудной он был парень, этот Тони!

— Когда я его знал, его характер еще не выявился.

— Да характер-то у него был неплохой, вот только на женщин он был слаб. Никогда не забуду, как он женился,— это, я вам скажу, была история!

Мистер Лэкленд молча ожидал продолжения, и возчик так повел свой рассказ:

ТОНИ КАЙТС, АРХИПЛУТ

— И лицо его я как сейчас помню — маленькое, круглое, крепкое, тугое, а кое-где по нему рябинки, ну да не столько их было, чтобы женщин от него отпугнуть, хоть он и сильно оспой переболел, когда еще был мальчишкой. И такой он всегда был хмурый да неулыбчивый, словно посмеяться ему совесть не позволяла. Говоришь с ним, бывало, а он уставится тебе в глаза и даже не моргнет ни разу. И ни волоска у него не было ни на щеках, ни на подбородке,— гладкие были, что твоя ла-

донь. Даже «Портняжки штаны» он умудрялся распевать этот протяжно и гнусаво, на церковный лад: «Вмиг скинули юбки, штаны натянули»,— ну и там все прочее, про что в этой скоромной песне поется. От женщин у него, впрочем, отбою не было, и гулять с ними он был мастак.

Но с годами Тони все больше прилеплялся к одной, звали ее Милли Ричардс. Хорошенькая такая была, маленькая, легкая, нежная. В деревне уже все считали, что они помолвлены.

Вот как-то в субботу под вечер возвращался он на телеге с базара, куда ездил с отцовским поручением. Доехал он до подножья холма, вот этого самого, через который и мы сейчас будем переваливать, и видит, что на вершине дожидается его Юнити Сэллет, одна из наших красоток, до помолвки с Милли он шибко за нею приударял.

Когда Тони поравнялся с нею, Юнити и говорит:

— Не подвезешь ли ты меня домой, голубчик мой Тони?

— С удовольствием, моя милая,— говорит Тони.— Неужто я тебе откажу?

Тогда она ему улыбнулась и прыгнула в телегу, и они поехали дальше.

— Тони,— говорит она с нежным укором.— Ну как это ты мог бросить меня ради той, другой? Чем она лучше меня? Я б тебе была хорошей женой и любила бы тебя куда больше, чем она. Но, видно, те девушки лучше, что прыгают прытче. Вспомни, как давно мы знакомы: почти с детских лет, припомни-ка, Тони.

— Ну, знакомы, это верно,— сказал Тони, пораженный справедливостью ее слов.

— И тебе ни разу не пришлось упрекнуть меня в чем-нибудь, Тони? Ну, скажи, разве это неправда?

— Клянусь богом, ни разу,— говорит Тони.

— И скажешь, я некрасивая, Тони? Ты погляди на меня.

Долго он разглядывал ее, потом говорит:

— Да нет, только, знаешь, я до сих пор и не замечал, что ты такая красивая...

— Красивей, чем она?

Что ответил бы на это Тони, никому не известно, потому что не успел он и рта раскрыть, как видит за углом, поверх изгороди, перо — знакомое перо на шляпке той самой Милли, с которой он хотел сегодня же договориться об оглашении на будущей неделе.

— Юнити,— говорит он как можно мягче.— Видишь, там Милли. И мне очень неприятно будет, если она увидит тебя со мной, а если я тебя ссажу, она все равно увидит тебя на дороге и догадается, что мы ехали вместе. Так что, Юнити, дорогая моя, чтобы не вышло какого шума — тебе ведь это тоже неприятно будет, не меньше, чем мне,— ложись-ка ты скорее в задок телеги, а я тебя прикрою брезентом, и подожди, пока она пройдет мимо. Всего-то одну минутку. Сделай это —

и я еще поразмыслю о том, что ты сказала, и, как знать, может быть, обручусь с тобой, а не с Милли. Ведь у нас с ней еще ничего не решено.

Ну, Юнити Сэллет и согласись. Легла она в задок телеги, а Тони прикрыл ее брезентом, так что в телеге словно ничего и не было, кроме смятого брезента. Сделал он это и поехал навстречу Милли.

— Ах, это ты, Тони,— завидев его, воскликнула Милли и слегка надулась.— Где ты пропадал? Словно и нет меня в Верхнем Лонгпаддле. А я вот вышла тебе навстречу, как ты просил,— мы же с тобой уговорились, что ты меня довезешь до дому и по дороге мы обсудим, как нам жить своим домком,— ведь ты меня сватал и я тебе обещала. Иначе не видать бы вам меня здесь, мистер Тони!

— Ах да, милочка, верно, я тебя просил. Ну конечно же, мы уговорились, только у меня это как-то из головы выскочило! Ты говоришь, подвезти тебя до дому, милая Милли?

— А то как же? Что ж мне иначе делать? Не тащиться же назад пешком, после того как я столько прошла тебе навстречу.

— Нет, нет! Только я думал, что, может быть, ты пойдешь в город повидаться с матерью. Я ее видел там, и она, кажется, ждет тебя.

— Да нет, она уже дома. Она шла напрямик, по полям, и вернулась раньше тебя.

— Вот как, а я и не знал,— говорит Тони. И ему ничего не оставалось, как взять ее к себе на козлы.

По дороге они болтали о том о сем, любовались деревьями, и птичками, и мотыльками, разглядывали коров на лугу и пахарей в поле,— как вдруг видит Тони, что из окна придорожного дома смотрит на них Ханна Джолливер, еще одна из наших красоток, в которую Тони был влюблен задолго до Милли и Юнити и на которой он чуть было не женился. Была она девица куда побойчей Милли Ричардс, только в последнее время она ему что-то на ум не приходила. А выглядывала Ханна из окна теткингого дома.

— Моя дорогая Милли, моя нареченная,— если позволишь так тебя называть,— говорит Тони самым сладким голосом и потише, чтобы его не услышала Юнити.— Вижу я в окне того дома одну женщину и боюсь, что не обойдется дело без шума. Понимаешь ли, Милли, взбрело этой женщине в голову, будто я собираюсь на ней жениться, а теперь узнала она, что я просватал другую, да еще покрасивей ее, ну и боюсь я, не дала бы она воли своему норову, если увидит нас вдвоем. Так вот, Милли, моя, так сказать, нареченная, не окажешь ли ты мне услугу?

— Ну конечно, милый мой Тони,— говорит она.

— Тогда спрячься вот под эти мешки, тут, за козлами, и посиди там, пока мы не проедем мимо этого дома. Она нас еще не заметила. Знаешь, скоро уж рождество, и надо жить тихо и

мирно и не разжигать дурных страстей, что и всегда нехорошо, а сейчас в особенности.

— Я рада услужить тебе, Тони,— сказала Милли, и хоть не очень это ей было по душе, она забралась под мешки и укрылась под самое сиденье, а Юнити, не забываяте, пряталась в другом конце телеги. Так они и ехали, пока не поравнялись с придорожным домиком. Ханна уже разглядела, что едет Тони, и ждала его у окна, поглядывая вниз на дорогу. Она презрительно тряхнула головой и чуть-чуть усмехнулась.

— Ну как, хватит у тебя учтивости подвезти меня до дому? — сказала она, видя, что он готов проехать мимо, отделившись кивком и улыбкой.

— А то как же! И о чем это я думал? — отозвался в смятении Тони.— Но ты как будто в гостях у тетушки.

— Ну, так что ж,— отрезала она.— Разве ты не видишь, что на мне жакет и шляпка? Я просто заглянула к ней по дороге домой. До чего ты иногда бываешь глуп, Тони!

— В таком случае,— гм! — конечно, как же не подвезти,— говорит Тони, которого даже пот прошиб от волнения. Он остановил лошадь, подождал, пока Ханна сошла вниз, и помог ей взобраться на козлы. Потом поехал дальше. Лицо у него вытянулось, насколько может вытянуться такое от природы круглое лицо.

Ханна искоса заглянула ему в глаза.

— Славно, Тони, а? — сказала она.— Люблю с тобой ездить.

Тони тоже посмотрел ей в глаза.

— Да и я с тобой,— сказал он, помолчав. Потом еще поглядел, потом еще, и чем больше он на нее смотрел, тем больше она ему нравилась, так что в конце концов он уже и сам не понимал, как это он мог говорить о женитьбе с Милли или Юнити, когда есть на свете Ханна Джолливер. Они все ближе и ближе подсаживались друг к другу, все теснее жались плечом к плечу, ноги их опирались рядышком в передок, и Тони опять и опять думал: какая же эта Ханна красивая! Он говорил все нежнее и нежнее и в конце концов назвал ее «дорогая Ханна», хоть и шепотом.

— Ну, как у вас с Милли, все уже решено?

— Да не совсем.

— Что? Как тихо ты говоришь, Тони.

— Да вот охрип что-то. Я сказал — не совсем.

— А я думала, уже решено.

— Ну, это как сказать...— Глаза его не отрывались от ее лица, а она все глядела на него. Он диву давался, как это свалил такого дурака, что отказался от Ханны.

— Ханна, радость моя,— наконец не выдержав, крикнул он и схватил ее за руку, забывая и Милли, и Юнити, и все на свете.— Решено? Да я ничего не решаю!

— Ты слышишь? — вдруг говорит Ханна.

— Что? — спрашивает Тони, отпуская ее руку.

— Мне послышалось, что-то там пискнуло под мешками. Ты, должно быть, возил в них зерно, и теперь там полно мышей.— И она стала подбирать повыше свои юбки.

— Да нет, это, верно, ось,— успокоил ее Тони,— она, бывает, скрипит в сухую погоду.

— Ну, может, и ось... Так скажи мне напрямик, Тони, верно ли, что она тебе нравится больше, чем я? Потому что... потому что, хоть я и не подавала виду, но что уж скрывать, ты мне нравишься, Тони, и я не сказала бы «нет», если бы ты спросил меня — ты знаешь о чем.

Тони очень понравилось, что к нему сама льнет девушка, от которой обычно и улыбки-то не дождешься (Ханна временами бывала диковата, как вы, сэр, может быть, помните), и он, сперва оглянувшись через плечо, зашептал ей на ухо:

— Я еще ничего не обещал ей. И я думаю, что смогу разделиться с нею и тогда непременно спрошу тебя о том самом.

— Бросишь Милли? И женишься на мне! Вот чудесно! — громко вскрикнула Ханна и захлопала от радости в ладоши.

Но тут уж не писк раздался, а взвизг — гневный, злобный, а потом такое рыдание, словно у кого-то сердце разрывалось. И под мешками что-то зашевелилось.

— Там кто-то есть! — закричала Ханна, вскакивая с места.

— Да нет, пустяки,— уговаривал ее Тони, моля бога, чтобы он помог ему вывернуться из беды.— Просто я не хотел говорить, думал, ты испугаешься, Ханна. У меня там в мешках пара хорьков. Я их хочу напустить на кроликов. Вот они и грызутся. Только ты никому не говори, а то меня обвинят в браконьерстве. Но ты не бойся, они не вырвутся. И... и... посмотри, какой сегодня чудесный день для такого времени года. Не правда ли, Ханна? Ты в субботу собираешься на базар, Ханна? А как здоровье твоей тетки, Ханна? — И о чем только не спрашивал у нее Тони, лишь бы она опять на заговорила о любви и не услышала бы этого Милли.

А там уж и вопросов у него не хватило, и он давай оглядываться по сторонам — кто бы помог ему выпутаться из этой скверной истории. Уже подъезжая к дому, он увидел в поле отца, и тот махнул ему рукой.

— Не поддержишь ли ты минутку вожжи, Ханна? — сказал он с облегчением,— а я сбегаю в поле, спрошу, что отцу нужно.

Она согласилась, и он побежал в поле, радуясь передышке. Но отец встретил его далеко не ласково.

— Ты что это делаешь, Тони,— говорит старый Кайтс сыну,— разве это можно!

— А что? — спрашивает Тони.

— Да как же, раз ты надумал жениться на Милли Ричардс, так и женись. Но не разъезжай повсюду с дочкой Джолливера. Так ты сраму не оберешься. Я этого не потерплю!

— Я только предложил ей — то есть нет, это она сама попросила довести ее домой.

— Она? Попросила? Ну, так вот что. Будь это Милли — туда-сюда, ладно. Но разъезжать вдвоем с Ханной Джолливер — на что это похоже!

— А Милли тоже тут, отец.

— Милли? Да где же?

— А под мешками. Знаешь, отец, боюсь, что я попал в переделку. Юнити Сэллет тоже тут, вот там, под брезентом. Все три в одной телеге, и что с ними делать — ума не приложу. Пожалуй, всего бы лучше объясниться с которой-нибудь из них вслух, тогда все станет ясно; ну конечно, побрыкаются они немного, да уж ладно. На какой бы ты женился, отец, будь ты на моем месте?

— А какая не просила, чтобы ты подвез ее домой?

— Да Милли. Она согласилась только, когда я ей сам предложил. Но Милли...

— Ну, так и держись Милли. Она из них лучшая... Но постой!

Отец показал на телегу.

— Видишь, она не может справиться с лошадыю. Как это ты доверил ей вожжи? Беги, хватай лошадь под уздцы, а то разом всех невест лишишься.

Тони глянул — и правда, Ханна дергает вожжи, а лошадь не слушается — тронулась с места и пошла себе рысцей, видно, захотелось ей поскорее в конюшню после целого дня работы. Тони бросился догонять телегу.

Ничто не могло сильней отвратить его от Милли, чем совет отца. Милли! Ну нет! Если уж нельзя жениться на всех троих, то пусть это будет Ханна. Так он думал, догоняя телегу. А в телеге тем временем творились чудные дела.

Это, конечно, Милли рыдала там, под мешками, не в силах сдерживать свое возмущение и ярость, — еще бы, услышать такое от жениха! А показаться ей было нельзя от страха, что ее засмеют. Вот она там и вертелась и корчилась — и вдруг что же она видит? Носу в белом чулке возле самой своей головы!

Милли до смерти перепугалась, — она ведь не знала, что, кроме нее, в телеге есть еще и Юнити Сэллет. Но, немного опомнившись от испуга, она решила доискаться, в чем тут дело, и, как змея, скользнула под брезент, а там, глядь, — Юнити собственной персоной.

— Срам какой! — яростно шепчет Милли в лицо Юнити.

— Вот уж именно, — шепчет Юнити. — Прятаться под козлами у молодого человека, хороши вы оба!

— Думай, что говоришь! — шепчет Милли, но уже погромче. — Я с ним помолвлена, я имею право быть здесь. А ты-то какое право имеешь, хотела бы я знать? Что он там тебе нашептывал? Насулил небось невесть чего? Но мало ли что Тони болтает разным женщинам, это все вздор и меня не касается.

— Не обольщайся, милочка,— говорит Юнити.— Берет-то он в жены не тебя и не меня, а Ханну. Я это прекрасно слышала!

А Ханна слышит эти голоса из-под брезента и прямо-таки обомлела от страха, а тут еще лошадь вдруг тронула. Ханна давай дергать вожжи, сама не понимая, что делает. А ссора под брезентом разгорается все жарче,— Ханна с перепугу и вовсе выпустила вожжи. Лошадь пошла крупной рысью и, спускаясь с холма к Нижнему Лонгпаддлу, на повороте так круто свернула, что колеса занесло на обочину, телега накренилась, и все три девицы вывалились на дорогу.

Когда Тони, перетрусивший и запыхавшийся, подбежал к ним, он, к своему облегчению, увидел, что ни одна из его любезных не пострадала,— только поцарапались малость о колючки живой изгороди. Но, услышав, как они друг друга честят, он расстроился.

— Ну, ну, не ссорьтесь, мои милые,— говорит он, в знак уважения снимая перед ними шляпу. Он охотно бы всех их перецеловал, так, чтобы ни одной не было обидно. Но они и слышать о том не хотели, а только визжали и рыдали до полного изнеможения.

— Ну так я, коль уж на то пошло, скажу теперь чистую правду,— говорит Тони, когда они немного поутихли.— Я попросил Ханну быть моею, и она согласилась, и мы собираемся сделать оглашение на будущей...

Тони и не заметил, что тем временем сзади подошел отец Ханны и что у самой Ханны лицо поцарапано терновником и все в крови. А Ханна, чуть завидела отца, так и кинулась к нему и зарыдала пуще прежнего.

— Моя дочь и знать вас не хочет, сэр! — горячо и решительно говорит мистер Джолливер.— Ведь правда, Ханна? Соберись с духом и, если он тебя еще не обидел и честь твоя при тебе,— откажи ему сейчас же!

— Что вы, мистер Джолливер! Клянусь вам, она в целости и сохранности,— так и взвился Тони.— Да и те две тоже. Вы, может, мне не поверите, потому не в моем это обычае, а все же так оно и есть!

— Да, у меня хватит духа отказать ему! — говорит Ханна, отчасти потому, что отец ее был здесь, а отчасти потому, что уж очень разобрала ее досада, да еще и лицо поцарапано.— Когда он тут меня улещал, я же не знала, что он плут и обманщик!

— Как, значит, ты не пойдешь за меня, Ханна! — воскликнул Тони, и нижняя челюсть отвисла у него, как у покойника.

— Никогда! Скорее я совсем не выйду за... за... замуж,— бормотала Ханна, и у ней клубок подступал к горлу, потому что она ни за что не отказала бы Тони, если бы он посватался по-хорошему и если бы не было здесь отца, а лицо у нее не было так поцарапано терном. И, сказав это, она поплелась

прочь, опираясь на руку отца и втайне надеясь, что не все еще потеряно и что Тони опять посватается к ней.

А Тони стоит и не знает, что же ему теперь делать. Милли плакала и рыдала — казалось, все сердце выплечет, но раз отец присоветовал ему Милли, значит, пусть кто угодно, только не она. И он повернулся к Юнити.

— Так как же, Юнити, милая, будешь ты моей? — спросил он.

— Подбирать чужие объедки? Нет, уж спасибо! — говорит Юнити. — Ни за что на свете! — И Юнити тоже уходит, хоть и оглядываясь по временам, не идет ли он за нею.

И остались тут вдвоем Тони и Милли. Она плачет-разливается, а Тони стоит столбом, словно его громом оглушило.

— Ну, Милли, — говорит он наконец, подходя к ней, — уж, верно, суждено нам быть вместе, тебе да мне. А чему быть — того не миновать. Пойдешь за меня, Милли?

— Если ты хочешь, Тони. Но только скажи, ты ведь не всерьез все это им говорил?

— А ты как думаешь! Понятно же, в шутку! — заявил Тони, да еще кулаком пристукнул по ладони.

Ну, тут он расцеловал ее, поднял телегу, сели они оба рядом на козлы и поехали; и оглашение их состоялось в следующее же воскресенье. Я сам на их свадьбе не был, но говорят, что справили ее на славу. Гостей собралось — чуть ли не весь Лонгпадл.

— Должно быть, и вы там были, — обратился рассказчик к причетнику.

— Как же, был, — сказал мистер Флакстон. — И свадьба эта вызвала большие перемены в судьбе двух других людей — я говорю про Стива Хардкома и его двоюродного брата Джеймса.

— Как вы сказали? Хардкомы? — переспросил незнакомец. — Так это имя мне знакомо. И что же с ними случилось? Причетник откашлялся и начал:

ИСТОРИЯ ХАРДКОМОВ

— Да, у Тони свадьба была, пожалуй, из всех самая веселая, а я ведь, сами понимаете, — повернулся он к новому слушателю, — бывал на многих, потому что меня, как служителя церкви, уж обязательно приглашали на все крестины, свадьбы и поминки, таков у нас в Уэссексе обычай.

Дело было в морозную ночь на святках. Среди приглашенных были эти самые Хардкомы из Климммерстона, двоюродные братья Стив и Джеймс, оба мелкие фермеры, только что начавшие обзаводиться собственным хозяйством. С ними, само со-

бой, пришли их нареченные — две тамошние девушки, обе прехорошенькие и веселые. Да еще пришло несколько друзей из Абботкернала, и из Уэтербери, и из Меллстока, и кто его знает откуда еще, словом, народу набралось полон дом.

Из кухни все вытащили, чтобы очистить место для танцев, а старички уселись в соседней комнате играть в карты. Но в конце концов и они побросали карты и пустились в пляс. Танцующих было столько, что, когда первая пара танцевала у большого окна в комнате, прочие, растянувшись, толкались в сених, а конца хоровода и разглядеть нельзя было, — последние пары терялись в темноте двора среди вязанок хвороста.

Мы уже проплясали не один час, и те из нас, что повыше ростом, набили уже себе не одну шишку, то и дело стучаясь головой о потолочные балки, как вдруг один из скрипачей отложил в сторону смычок и заявил, что играть больше не намерен, так как ему охота потанцевать самому. Через час и второй скрипач отложил свой смычок и сказал, что тоже хочет танцевать, так что остался только третий скрипач, а он был старей-престарый, и в руках у него было уже мало силы. Но он все же с грехом пополам пиликал на своей скрипке. Стулья все из комнаты вынесли, а ноги у старика были такие же слабые, как и руки, так что ему пришлось примоститься на выступе стоявшего в углу буфета, а для человека преклонных лет такое сиденье не слишком-то удобно.

Помолвленные, как оно и полагается, танцевали почти без передышки. Нареченные на диво подходили друг к другу, но при том обе пары были совсем разные. Невесту Джеймса Хардкама звали Эмили Дарт, она, как и Джеймс, была тихого, кроткого нрава, и оба они любили спокойную домашнюю жизнь. Стив и его избранница, по имени Оливия Пауэл, были совсем иного склада — подвижные, шумные, они любили бывать на людях, и все их интересовало. Влюбленные решили пожениться в один день, и поскорее. Свадьба Тони как бы раззадорила их. Такое частенько бывает — я, как причастный к этим делам человек, не раз замечал.

Они танцевали с упоением, как танцуют, лишь когда влюблены. И случилось так, что ближе к ночи Джеймс оказался в паре с Оливией, нареченной Стивена, а Стивен танцевал с невестой Джеймса Эмили. Однако, несмотря на такой обмен, незаметно было, чтобы оба жениха танцевали с меньшим удовольствием. Так вот, как я уже сказал, они, обменявшись девушками, отплясывали один танец за другим, и хотя вначале каждый держал возлюбленную другого на некотором расстоянии, опасаясь, что слишком тесные объятия могут вызвать неудовольствие жениха, но постепенно наши кавалеры стали теснее прижимать к себе своих дам, а потом и еще теснее.

Время бежало, и каждый из двоюродных братьев, танцуя с невестой другого, все крепче прижимал ее к себе, когда пары кружились, и любопытно, что ни Джеймс, ни Стивен не обраца-

ли друг на друга ни малейшего внимания. Гулянье шло к концу, и я в тот вечер ничего больше не видел — на другой день мне нужно было с самого утра быть в церкви, и я ушел одним из первых. Об остальном мне уж потом рассказали.

После одного из самых зажигательных танцев, который, как я уже сказал, они отплясывали, обменявшись невестами, молодые люди поглядели друг на друга и тут же вышли на крыльцо.

— Джеймс,— говорит Стив,— а о чем ты думал, когда танцевал с моей Оливией?

— Да, должно быть,— отвечал Джеймс,— о том же, о чем подумывал и ты, когда танцевал с моей Эмили.

— Я думал,— но совсем уверенно начал Стив,— что был бы не прочь с тобой обменяться не только на сегодняшний вечер, а и навсегда.

— Да и я не прочь,— отвечал Джеймс.

— Ну что ж, если, по-твоему, это можно устроить, так я согласен.

— Да. Только вот что скажут девушки?

— По-моему,— сказал Стив,— они не станут очень-то возражать. Твоя Эмили так ко мне льнула, словно была уже, голубка, моей.

— А твоя Оливия — ко мне,— говорит Джеймс.— Я слышал, как бьется у нее сердечко.

Ну, вот они и порешили сказать об этом девушкам по дороге домой. Так и сделали. И когда они расставались этой ночью, у них уже было уговорено обменяться невестами — все под впечатлением жаркой пляски на свадьбе Тони. И в ближайшее воскресенье, когда прихожане, рассевшись в церкви на скамьях, ждали разинув рты, что пастор известит о готовящемся бракосочетании двух пар, они с великим изумлением услышали имена нареченных совсем в неожиданной комбинации. Шепот пошел по церкви, все были уверены, что пастор ошибся, однако оказалось, что оглашение сделано правильно. Как порешили братья, так и обвенчались — каждый с бывшей невестой другого.

Года два обе супружеские четы прожили тихо и мирно, пока не начали понемногу охладевать первые восторги любви, как оно обычно и бывает в браке. И теперь братья в душе все больше и больше дивились — что это на них напало в последнюю минуту и с какой стати переженались они крест-накрест, вместо того чтобы пожениться, как полагалось и как было предназначено природой,— каждый на той, в которую был влюблен сначала. Ясное дело — всему виной была свадьба Тони, и они крепко жалели, что пошли на нее. Тихий домосед Джеймс, большой любитель помечтать да подумать, иногда чувствовал, что его отделяет от Оливии пропасть,— она ведь больше всего на свете любила верховую езду и всякие увеселительные прогулки. А у Стива, который в поисках развлечений

вечно болтался то здесь, то там, жена была большая домоседка. Она любила вышивать либо плести коврики, ее никогда не тянуло из дому — выезжала она, только чтоб угодить мужу.

Вначале братья никому не говорили о своих супружеских неполадках, хотя Стив порой, взглянув на жену Джеймса, украдкой вздыхал, и Джеймс, посмотрев на жену Стивена, вздыхал тоже. Но потом мужчины перестали таиться друг от друга и откровенно сознались оба, что свалили дурака. Посмеиваясь и пошучивая, однако с вытянутыми лицами, братья качали головой, дивясь, как это они под влиянием мимолетной прихоти, в опьянении пляски, отказались от своего первого, разумно сделанного выбора. Но они были люди порядочные и здравомыслящие и потому честно старались примириться со своею участью и не сетовали, раз уж ничего нельзя было изменить и поправить.

Так вот и жили они, пока однажды прекрасным летним днем не отправились все вместе, как делали каждый год еще до свадьбы, погулять. На сей раз они решили съездить в Бадмаут-Регис и, принарядившись, пустились в путь в девять часов утра.

Добравшись до Бадмаут-Региса, они пошли прогуляться по берегу, и влажный бархатистый песок скрипел под их башмаками. Ну прямо как будто сейчас их вижу! Посмотрели на суда в гавани, поднялись на мыс, полюбовались видом, пообедали в гостинице, а потом снова стали парочками прогуливаться по берегу, поскрипывая новыми ботинками по бархатистому песку. Близился вечер, и они присели на одну из скамеек, расставленных вдоль эспланады, послушали, как играет оркестр, а потом стали думать — чем бы еще заняться?

— Я бы,— сказала Оливия (это значит — миссис Джеймс Хардком),— охотнее всего покаталась на лодке. Музыку можно слушать и оттуда, а кроме того так приятно было бы погрести.

— Хорошо придумано. Я — за,— говорит Стивен, любивший все то, что нравилось Оливии.

Тут причетник обратился к пастору.

— Но вы, сэр, лучше всех знаете остальные странные подробности этого странного вечера, изменившего всю их жизнь, ведь вы, не в пример мне, слышали многое от них самих. Так, может, вы и расскажете?

— Если все этого хотят, пожалуйста,— отвечал пастор и продолжал рассказ причетника.

— Жена Стивена не любила моря,— она находила в нем прелесть, только если глядеть с берега, и страшилась одной мысли сесть в лодку. Джеймс тоже не любил воды и сказал, что он бы с большим удовольствием остался и послушал музы-



ку отсюда, со скамейки, но раз жене хочется покататься на лодке, он не против. Порешили на том, что Джеймс и жена его двоюродного брата, Эмили, останутся сидеть на скамейке, наслаждаясь музыкой, а остальные возьмут напрокат лодку — пристань была тут же внизу — и с полчаса покатаются, а потом все вместе отправятся домой.

Такое решение пришлось как нельзя более по вкусу обоим непоседам; Эмили с Джеймсом видели, как они спустились к лодочнику, выбрали маленький желтый ялик и осторожно прошли к нему по узким мосткам. Стив помог Оливии войти в лодку и сел напротив нее. Усевшись, они помахали оставшимся на берегу, потом Стивен взялся за весла и стал грести в такт музыке, а Оливия правила, искусно обходя другие лодки, потому что на гладком, как зеркало, море каталось множество народу.

— Как красиво скользит их лодка, правда? — сказала Джеймсу Эмили (так, во всяком случае, мне потом рассказывали). — И как оба они довольны. Их вкусы во всем сходятся.

— Правда, — сказал Джеймс.

— Если б они поженились, была бы прекрасная пара, — сказала она.

— Да, — подтвердил он. — Жаль, что мы их разлучили.

— Не будем говорить об этом, Джеймс, — сказала она. — К добру ли, к худу ли, мы как решили, так и сделали, и сделанное не веротишь.

После этого они долго сидели молча, а оркестр все играл,

и мимо них прохаживались гуляющие, а лодка уходила все дальше в море, и фигуры сидевших в ней становились все меньше и меньше. Эмили и Джеймс не раз потом рассказывали, что видели, как Стивен на минутку перестал грести, чтобы снять мешавшую ему куртку, но что жена Джеймса все время сидела на корме неподвижно, держа веревки от руля. Только когда они отплыли так далеко, что с берега казались уже совсем крошечными, она повернула голову.

— Она машет нам платком,— сказала жена Стивена, вытаскивая свой собственный и помахала в ответ.

Ялик слегка вильнул в сторону, когда миссис Джеймс отпустила руль, чтобы помахать платком своему мужу и миссис Стивен. Но вот он снова выровнялся, и вскоре фигуры сидевших стали совсем не видны, только маячили два светлых пятнышка — кремовая жакетка Оливии и светлая рубашка Стивена.

Оставшиеся на берегу продолжали беседовать.

— Любопытно, что мы обменялись кавалерами именно на свадьбе у Тони,— сказала Эмили.— Тони во всем был непостоянен, и можно подумать, что его непостоянство заразило в ту ночь и нас. Кто же из вас первый предложил пожениться не так, как мы были помолвлены?

— Да я уж сейчас и не помню,— отвечал Джеймс.— Ты же сама знаешь — потолковали, решили — и оглянуться не успели, как все уж было сделано.

— А все эти танцы,— сказала она.— От них человек иной раз совсем теряет голову.

— Правда,— признался он.

— Джеймс... а тебе не кажется, что они и до сих пор любят друг друга? — спросила миссис Стивен.

Джеймс Хардком подумал немного и согласился: да, пожалуй, нежность еще и сейчас порой вспыхивает в их сердцах.

— Да только ничего серьезного,— добавил он.

— А мне иногда кажется, что Стив частенько думает об Оливии,— тихо сказала миссис Стивен,— особенно когда любитесь, как она скачет верхом мимо наших окон. Я так никогда не умела, да и сейчас до смерти боюсь лошадей.

— Да ведь и я не бог весть какой наездник, хотя в угоду ей и приходится садиться на коня,— отозвался Джеймс Хардком.— Но не пора ли им поворачивать к берегу — вон ведь многие уже вернулись. И о чем только Оливия думает — правит прямо в открытое море! Как взяла это направление сначала, так и держит!

— Заговорились, наверно, и совсем не смотрят, куда идет лодка,— предположила жена Стивена.

— Возможно,— сказал Джеймс.— Я и не знал, что Стивен так здорово умеет грести.

— Как же,— отвечала она.— Он часто бывает здесь по делам и всякий раз пользуется случаем покататься по заливу.

— Уже и лодку чуть видно,— говорит снова Джеймс.— А ведь уже смеркается.

Там, в море, беззаботная пара превратилась в крохотное пятнышко, едва заметное в вечерней дымке. Сумерки все сгущались, и наконец совсем их поглотили. Они исчезли, продолжая стремиться прочь от живущих на берегу, словно хотели, ускользнуть за черту горизонта, в бесконечность, и не возвращаться больше к земле.

А те двое все сидели на скамейке, добросовестно выполняя свое обещание дожидаться Стивена и Оливии. На эспланаде один за другим зажигались фонари, оркестранты убрали свои пюпитры и ушли, на яхтах, бороздивших залив, вывесили сигнальные огни. Маленькие лодки возвращались одна за другой к берегу, пассажиры сходили по мосткам на песок, но Стивена и Оливии не было среди них.

— Как они долго,— сказала Эмили.— Я начинаю зябнуть. Не думала я, что придется так долго сидеть на открытом воздухе.

Тогда Джеймс Хардком сказал, что ему не нужна его куртка, и заставил Эмили ее накинуть. Он заботливо укутал ей плечи.

— Спасибо, Джеймс,— сказала она.— Как, наверно, холодно Оливии в ее легкой жакетке!

Он сказал, что и сам уж об этом думал.

— Но теперь они, должно быть, где-нибудь недалеко, хоть нам их и не видно. Еще не все лодки вернулись. Некоторые любят напоследок немного покататься вдоль берега, пока не истекло время проката.

— А может, нам пройтись по берегу? — сказала она.— Вдруг мы их увидим.

Он согласился, но напомнил, что не следует уходить далеко от скамейки, не то запоздавшая пара может с ними разминуться, и Стив с Оливией рассердятся — ведь они договорились встретиться на эспланаде.

Они стали ходить, как патруль, взад и вперед по песчаному берегу напротив скамейки, а те все не возвращались. Наконец Джеймс Хардком пошел к лодочнику — ведь могло быть, что его жена и двоюродный брат вернулись незамеченные в сумерках и сошли у причала, забыв про условленную встречу на скамейке.

— Все лодки вернулись? — спросил Джеймс.

— Кроме одной,— отвечал лодочник.— И не придумаю, куда запропастилась эта парочка. В темноте еще не дай бог на что-нибудь наскочат.

И снова, все больше и больше беспокоясь, ждали жена Стивена и муж Оливии. Но желтый ялик не возвращался. Быть может, они причалили дальше, за эспланадой?

— Только если хотели уйти, не расплатившись,— сказал лодочник.— Да по ним не похоже, чтоб они так сделали.

Джеймс Хардком знал, что такое предположение невероят-

но. Теперь, припоминая, какие разговоры вели они порой с бра- том о своих женах, он впервые допустил мысль, что, быть может, когда Стив и Оливия остались наедине, старое влечение вновь вспыхнуло в них с такой силой, какой они сами не ожидали — потому что вначале, предпринимая эту прогулку, они, вне всякого сомнения, просто хотели немного развлечься. Может быть, они причалили у ступенек там, дальше по пирсу, чтобы несколько лишних минут побыть друг с другом.

Но он все еще гнал от себя эту мысль и не поделился ею со своей спутницей, а только предложил:

— Давай походим еще.

Так они и сделали, и все ходили между лодочным причалом и пирсом, и жена Стивена, усталая и встревоженная, опиралась на предложенную Джеймсом руку. Становилось совсем поздно. В конце концов Эмили выбилась из сил, и Джеймс решил, что пора возвращаться домой. Оставалась еще слабая надежда, что загулявшие высадились в гавани на другом конце города или еще где-нибудь и поспешили домой другим путем, уверенные, что Джеймс и Эмили не станут ждать их так долго.

Все же Джеймс сказал кое-кому на пристани об исчезновении лодки и просил следить, не станет ли чего о ней известно, но тревоги в тот вечер еще не стал поднимать,— самая мысль о возможном бегстве заставила его быть сдержанным. И, полные недобрых предчувствий, оба покинутых поспешили на последний поезд, уехавший из Бадмаут-Региса, а прибыв в Кэстербридж, наняли экипаж и поехали домой, в Верхний Лонгпадл.

(— По той самой дороге, по которой и мы сейчас едем,— вставил причетник.)

— Да, конечно, по этой самой дороге,— сказал пастор.— Однако ни Оливии, ни Стивена в деревне не оказалось. Как ушли они утром, так больше и не появлялись. Эмили и Джеймс Хардком разошлись по своим домам,— хоть немного отдохнуть,— а на заре снова отправились в Кэстербридж и сели в Бадмаутский поезд — поезда тогда только начали ходить.

За время их непродолжительного отсутствия о пропавших ничего нового не стало известно. Но в ближайшие часы несколько молодых людей заявили, что видели вчера, как какой-то мужчина и женщина в маленькой наемной лодке шли на веслах прямо в открытое море,— они, словно зачарованные, глядели друг другу в глаза, сами не замечая, что делают и куда их несет. Во вторую половину дня Джеймс услышал еще кое-что. Далекое море нашли перевернутую лодку. К вечеру море разбушевалось, и вскоре по городу разнеслась весть, что несколькими милями восточнее, в Лалстэд Бэй, к берегу прибило два мертвых тела. Их доставили в Бадмаут, и здесь в них опознали пропавших. Говорили, что нашли их крепко обнявшимися, губы к губам, а на лицах было то странное, как бы зачарованное, вы-

ражение покоя, которое у них заметили, еще когда они плыли в лодке.

Ни Джеймс, ни Эмили не заподозрили сознательного намерения в поступке несчастных влюбленных. Предумышленного тут ничего не могло быть. Неизвестно, на что их могло в конце концов толкнуть взаимное чувство, но ни ему, ни ей не было свойственно действовать исподтишка. Можно было предположить, что, засмотревшись друг другу в глаза — любимые глаза, которые некогда светили только ему одному или ей одной, оба погрузились в нежные мечты и, не решаясь сознаться в своем чувстве, плыли и плыли вперед, забыв о времени и пространстве, пока ночь не застала их вдали от берега. Но доподлинно ничего не было известно. Так суждено было им умереть. И две половины, из которых природа предполагала составить совершенное целое, не достигли этого при жизни, хотя в смерти своей остались неразлучны. Тела привезли домой и похоронили в один день. Помню, я оглянулся, читая похоронную молитву, и увидел, что на кладбище собрался чуть ли не весь приход.

(— Да, сэр, верно,— сказал причетник.)

— Двое оставшихся,— продолжал пастор (голос его теперь звучал глухо; повествуя о печальной судьбе влюбленных, он, видимо, сам разволновался),— были рассудительнее и дальновиднее и не такие романтики.

Каждого из них это несчастье лишило спутника в жизни, и в конце концов они устроили свою свадьбу так, как было предназначено природой и как они сами первоначально намеревались. Года через полтора Джеймс Хардком женился на Эмили, и брак этот во всех отношениях оказался счастливым. Я и венчал их. Когда Джеймс Хардком пришел ко мне условиться насчет оглашения, он рассказал мне о гибели своей первой жены, и все, что он тогда говорил, я передал вам почти слово в слово.

— А они все еще живут в Лонгпадде? — спросил новый пассажир.

— О нет, сэр,— вмешался причетник,— Джеймс вот уже лет пятнадцать как умер, а жена его померла лет шесть тому назад. Детей у них не было. И Уильям Прайветт жил у них до самой своей смерти.

— А, Уильям Прайветт! И он, значит, тоже умер? — воскликнул мистер Лэклэнд.— Все проходит!

— Да, сэр. Уильям был гораздо старше меня. Ему бы сейчас было уже за восемьдесят.

— А ведь Уильям умер не просто, очень не просто! — вздохнул отец торговца семенами — мрачного вида старик, сидевший в глубине фургона и хранивший до сих пор молчание.

— А что же там такое было? — спросил мистер Лэклэнд.

РАССКАЗ СУЕВЕРНОГО ЧЕЛОВЕКА

— Вы, наверно, помните, какой этот Уильям был молчаливый, да и вообще было в нем что-то странное: если близко к тебе подойдет, так всегда это чувствуешь, даже если его не видишь и он только где-нибудь в доме или сзади, у тебя за спиной,— сейчас потянет в воздухе холодом и сыростью, словно где-то рядом открыли дверь в погреб. Так вот, однажды в воскресенье — Уильям в ту пору, по всему судя, был еще в добром здравии — вдруг что-то случилось с колоколом, что сзывал прихожан в церковь; мне об этом церковный сторож рассказывал, так он божился, что не помнит, чтобы колокол когда-нибудь был таким неподатливым и тяжелым,— должно быть, заржавели болты и подошло время их смазать. Так вот, говорю я, было это в воскресенье. А на следующей неделе, не помню уж, в какой день, жена Уильяма допоздна не ложилась спать — доглаживала белье — она всегда стирала на мистера и миссис Хардком. Муж ее уже час или два как отужинал и лег спать. Гладит она и вдруг слышит, что он спускается по лестнице; остановился, надел сапоги — он всегда оставлял их у первой ступеньки,— потом входит в комнату, где она гладила, и прямоком мимо нее к двери — иначе выйти на улицу нельзя было. Ни он, ни она ничего не сказали: Уильям и всегда-то был скуп на слова, а она так устала, что ей и вовсе было не до разговоров. Он вышел из дому и затворил за собой дверь. Жена не обратила на него особого внимания и продолжала гладить — случалось ведь и раньше, что он вот так же ночью выходил из дому: то ему нездоровилось, то просто не спалось — хотелось раскурить трубочку. Скоро она кончила гладить, а мужа все нет и нет, ну, она подождала еще немного и, чтобы не терять времени даром, поставила утюги на место, а потом собрала ему к утру завтрак. А он все не возвращается, тогда она решила больше не ждать его и поскорее лечь спать — уж очень она умаялась за день. Но так как она считала, что муж где-то недалеко, то оставила дверь незапертой, только написала на ней мелом: «Не забудь закрыть дверь!» (Уильям был очень рассеянный) — и хотела было идти наверх.

Каково же было ее удивление,— да мало сказать удивление, она просто остолбенела,— когда, подойдя к лестнице, увидела его сапоги на том самом месте, где он всегда оставлял их, ложась спать. Она поднялась наверх, открыла дверь в спальню — на кровати крепким сном спал Уильям. Как могло случиться, что она не видела и даже не слышала, как он вернулся? Разве что он тихонько пробрался у нее за спиной, пока она возилась с утюгами? Да и то навряд ли: не может быть, чтобы она его не заметила, ведь комната совсем маленькая. Однако будить и расспрашивать мужа ей не хотелось, и в полной растерянности и тревоге она легла спать, так и не разгадав этой загадки.

Наутро он встал и ушел из дому очень рано, когда жена еще спала. Она с нетерпением ждала его к завтраку. Как он объяснит вчерашнее происшествие? И чем больше думала она об этом теперь, среди бела дня, тем все более странным и непонятным казалось ей то, что произошло ночью. Но когда он пришел и сел за стол, она и рта не успела раскрыть, как он спросил:

— Что это там написано на двери?

Она объяснила ему и спросила, зачем он выходил ночью из дома. Но Уильям ответил, что он как вошел в спальню, так уж больше и не выходил, разулся, лег и тут же заснул и спал без просыпу, пока часы не пробили пять, а тогда встал и отправился на работу.

Бетти Прайветт готова была поклясться, что он выходил из дома, в этом она была совершенно уверена, как и в том, что он не возвращался. Но она так растревожилась, что не стала с ним спорить и заговорила о другом, словно все это и в самом деле ей только примерещилось.

В тот же день идет она по улице и встречает дочку Джима Уидла — Нэнси.

— Что это ты как будто не выспалась сегодня, Нэнси? — говорит она ей.

— Ваша правда, миссис Прайветт, — отвечает Нэнси. — Вы только никому про это не говорите, а вам я, пожалуй, расскажу. Вчера ведь был канун Иванова дня, мы собрались и пошли к церкви, а домой вернулись уж за полночь.

— Да что ты! — удивилась миссис Прайветт. — Неужто и вправду уже Иванов день? Поверишь, до того я захлопоталась, — эдак не то что Иванов, а и Михайлов день не заметишь как пройдет.

— И страху же мы вчера натерпелись! Такое видали...

— Что же вы видели?

(Вы, может, и не помните, сэр, уж больно вы молоды были, когда уехали в дальние края, а у нас в приходе верят, что под Иванов день можно узнать, кому какая судьба выпадет: суждено кому встретиться со смертью в этот год — тень того человека ровно в полночь войдет в церковь. Коли она потом выйдет — одолеет тот человек свою немочь, коли нет — не миновать ему могилы.)

— Что же вы видели? — спрашивает жена Уильяма.

— Да не стоит, пожалуй, рассказывать, — неохотно отвечает Нэнси.

— Моего мужа вы видели, — тихо говорит Бетти Прайветт.

— Ну, раз уж вы сами об этом сказали... — мнетя Нэнси. — Нам и вправду почудилось, будто мы его видели, но там было так темно и так страшно, может, это был и не он.

— Ты добрая девушка, Нэнси, это ты, меня жалеючи, говоришь, а только что уж тут скрывать. Он ведь так и остался в церкви, да? Видишь, я и сама знаю не хуже твоего.

Нэнси ничего не ответила, и больше они об этом не говорили.

А три дня спустя Уильям Прайветт и Джон Чайлз косили луг мистера Хардкома. В полдень они присели под деревом перекусить. И как сидели, так и уснули. Джон Чайлз проснулся первый и вдруг видит — у Уильяма изо рта выползает большущая белая мучная моль — их у нас называют «душа мельника». Выползла и тут же улетела. Джону даже как-то не по себе стало, ведь Уильям в молодости много лет работал на мельнице. Джон посмотрел на солнце и понял, что проспали они довольно долго. Уильям не просыпался, и Джон окликнул его: пора было начинать косить. Но Уильям все спал, и тогда Джон подошел к нему и тронул за плечо. Уильям был мертв.

В тот самый день старый Филипп Хукхорн пошел к источнику набрать воды. И когда он уже хотел уходить, то увидел, что с другой стороны к источнику спускается — кто бы вы думали? — Уильям, да, да, Уильям! Лицо бледное, и смотрит как-то странно. Филипп Хукхорн очень удивился: много лет тому назад в этом самом источнике утонул маленький сын Уильяма — единственный его ребенок, Уильям так горевал после смерти ребенка, что с тех пор его ни разу не видели возле источника. Все знали, что он готов сделать крик в полмили, лишь бы обойти его стороной. Филипп вернулся в деревню, стал спрашивать соседей, и оказалось, что Уильям и не мог в тот день быть у источника: в это время он косил луг мили за две от деревни. А потом уж стало известно, что скончался Уильям в тот самый час, как видели его у источника.

— Довольно грустная история,— заметил Лэкленд после минутной паузы.

— Да, да. Что поделаешь, в жизни всякое бывает,— сказал отец торговца семенами.

— Вы, наверно, не знаете, мистер Лэкленд, какая оказия приключилась с Эндри Сэчелом и Джейн Волленс из-за скримптонских пастора и причетника? — спросил кровельщик, человек с веселой искоркой в глазах, который до сих пор, сидя в передней части фургона ногами наружу, больше поглядывал вперед на разные предметы, возникавшие в отдалении.— У них такое чудное дело вышло с этим пастором и причетником — эдакое не часто случается. Может, эта история вас позабавит и разгонит грусть.

Лэкленд ответил, что ничего об этом случае не знает, но Сэчела помнит хорошо и с удовольствием послушает рассказ о нем.

— Нет, сэръ, это вы старика Сэчела помните, а Эндри — его сын, он всего года три, как женат, и как раз когда он женился, и вышел тот случай, про который, если хотите, я вам расскажу,— а может, кто-нибудь другой расскажет?

— Нет, нет, сосед, кому, как не вам, об этом рассказывать! — раздалось несколько голосов, мистер Лэкленд тоже при-

соединился к общей просьбе, добавив, что до отъезда хорошо знал семью Сэчелов.

— Как вы человек новый, — прошептал Лэкленду возчик, — я вас поостерегу — не принимайте всего на веру, что Кристофер рассказывает.

Лэкленд кивнул.

— Ну что ж, я расскажу, — сказал кровельщик тоном человека, намеревающегося строго придерживаться фактов. — Только история-то больше касается пастора и причетника, чем Эндри, так что ее приличней бы рассказывать кому-нибудь из духовных, ну да уж ладно.

ЧУДНÁЯ СВАДЬБА

— А вышло все это, надо вам сказать, оттого, что Эндри в те времена любил выпить — теперь-то он, разумеется, капли в рот не берет и хорошо делает. Джейн, его невеста, была, понимаете ли, постарше Эндри, намного ли старше — я вам в точности не скажу: она не нашего прихода, а о таких делах только по церковной записи в точности узнать можно. Но, во всяком случае, и годами она была постарше своего жениха, — да были и еще кое-какие щекотливые обстоятельства...

(— Ах, бедняжка! — вздохнули женщины.)

...одним словом, надо было торопиться с венчанием, пока Эндри не пошел на попятный, так что Джейн была рада-радехонька, когда наконец в одно ноябрьское утро она вместе с Эндри, его братом и невесткой отправилась в церковь, чтобы сочетаться с ним законным браком. Эндри вышел из деревни еще затемно, и провожавшие махали ему вслед фонарями и кидали в воздух шляпы.

Приходская церковь была в миле с лишком от деревни, а так как погода выдалась на редкость хорошая, ну они и решили после венчания отправиться в Порт Бреди и провести там денек: поглядеть на корабли, на море, на солдат, а то что за радость возвращаться из церкви к тетке Джейн, у которой она жила, да и скучать там весь вечер.

Так вот, в то утро многие заметили, что Эндри по дороге в церковь то и дело писал вензеля. Накануне у соседей были крестины, и Эндри, приглашенный в крестные, всю ночь напролет усердно омывал младенца добрым элем, рассудив, что навряд ли когда еще сподобит бог нынче крестить, завтра венчаться, а наутро, того и гляди, родителем оказаться. Как тут не выпить ради такой благодати.

Так он в эту ночь и не прилег ни на минуту и отправился в церковь прямо с крестин. Вот и получилось, что, когда он со своей нареченной вошел в церковь, пастор (а был он человек строгих правил, по крайней мере — в церкви) посмотрел на Эндри и говорит эдак язвительно:

— Что же это такое, молодой человек? С самого утра и уже наакались! Постыдились бы хоть для такого дня!

— Совершенно справедливо, сэръ,— говорит Эндри.— Однако на ногах я держусь, оно для нашего дела и достаточно. Я даже по одной половице могу пройти не хуже кого иного, не в обиду вам будь сказано (признаться, тут он малость разгорячился),— и если бы ты, пастор Билли Тугуд, крестил всю ночь напролет вот так же на совесть, как я, так ты бы сейчас и вовсе на ногах не стоял, провалиться мне на этом месте, коли не так!

Услышав такую отповедь, пастор Билли (у нас его иначе и не звали) помрачнел, насупился,— он был человек вспыльчивый и не любил, чтобы его задевали,— и сказал очень решительно:

— Я тебя венчать в таком виде не могу и не стану. Ступай домой, протрезвись,— и захлопнул свою библию на все защелки, словно мышеловку.

Тут невеста в слезы: плачет навзрыд и просит и молит не откладывать венчания; уже очень она боялась упустить Эндри, после стольких трудов! Да нет, не тут-то было.

— Не могу я совершать святое таинство над нетрезвым человеком,— говорит мистер Тугуд.— Это грешно и неприлично. Мне жаль вас, дочь моя, я понимаю, что вам нельзя мешкать, но сейчас идите домой. И как это вы решились привести его сюда в таком виде?

— Так ведь трезвый он и совсем не пойдет,— всхлипнула она.

— Ну, тут уж я вам ничем не могу помочь,— говорит пастор, и как она его ни умоляла, он ни на какие уговоры не поддался. Тогда она принялась за дело по-другому:

— Может быть, сударь, вы пойдете домой, а нас оставите здесь, и я ручаюсь, что через часок-другой он будет трезвей самого судьи. А я уж тут постерегу его. Ведь если он выйдет из церкви невенчаный, его обратно на аркане не затащишь!

— Ну, хорошо,— говорит пастор.— Даю вам два часа, а потом вернусь.

— Только, ради бога, сударь, закройте дверь покрепче, чтобы нам нельзя было выйти,— просит Джейн.

— Хорошо,— говорит пастор.

— И чтобы никто не знал, что мы здесь.

Тут пастор снял свой новенький белый стихарь и ушел, а прочие стали уговариваться, как им сохранить это в тайне, что было не трудно, потому что место было безлюдное, а час ранний. Свидетели, брат Эндри с женой, которые вовсе не желали, чтобы Эндри женился на Джейн, и пришли сюда скрепя сердце, сказали, что не намерены торчать еще два часа в этой дыре и хотят вернуться домой в Лонгпадл к обеду. Они так твердо стояли на своем, что причетник под конец сказал,— ладно уж, можно и без них обойтись. Пусть себе идут домой, как если бы

венчание уже состоялось и молодые отправились в Порт Бреди. А когда вернется священник, за свидетеля сойдет любой прохожий, да и сам он, причетник.

На том и порешили, родные Эндри тут же ушли, а причетник затворил церковную дверь и приготовился уже повесить на нее замок. Тут невеста, думая все о своем, шепнула ему сквозь слезы:

— Дорогой мой сэр, не оставляйте нас тут, в церкви, кто-нибудь увидит в окно, и пойдут такие толки, такая сплетня, что я этого не переживу. Да и мой любезный Эндри, как бы он не сбежал от меня. Заприте нас лучше на колокольне, мой дорогой сэр. Я уж его туда как-нибудь втащу.

Причетник охотно согласился помочь бедняжке, и они вдвоем втащили Эндри на колокольню. Там он их и запер, а сам пошел домой с тем, чтобы вернуться часика через два.

Только что пастор Тугуд пришел домой из церкви, как вдруг видит: проезжает под его окном джентльмен в красном фраке и охотничьих сапогах. Увидал его пастор и с великой радостью вспомнил, что в этот день по соседству с его приходом назначена псовая охота. И так ему туда захотелось, потому что в душе он был ярым охотником.

Сказать по правде, чуть выйдя из церкви или с какой-нибудь требы, он уже ни о чем другом, кроме охоты, и думать не мог. Нечего греха таить,— занятие это было ему не по карману, и в седле он сидел мешок мешком, и его вороная кобыла была старая, с облезлым, словно у крысы, хвостом, а его охотничьи сапоги и того старей, все порыжелые и потрескавшиеся. Однако он на своем веку затравил не одну сотню лисиц. Он жил холостяком и летом, укладываясь в кровать, каждый раз откидывал одеяло в ногах и заползал в постель головой вперед, как лиса в нору, в память о славной зимней охоте. А каждый раз, как на усадьбе сквайра справляли крестины, Билли ни за что, бывало, не упустит случая за праздничным столом как следует спрыснуть это событие старым портвейном.

Причетник, который был у пастора и за конюха, и за садовника, и за главного управителя, только что принялся за работу в саду, как тоже увидел охотника в красном фраке, а за ним еще много дворян и дворянчиков, и свору гончих, и егеря Джима Тредхеджа, и загонщиков, и еще пропасть всякого народа. Причетник любил травлю не меньше самого пастора: увидит свору гончих, и уж себя не помнит, и удержу ему тогда никакого нет. И грядки свои, и рассаду — все позабудет. Так и тут: кинул он на землю лопату — и скорей к пастору. А тот и сам не меньше его рвался на охоту.

— Я насчет вашей кобылки, сэр,— мямлит причетник, а сам весь дрожит от нетерпения.— Она у нас застоялась, ее промять, промять бы надо. Разрешите, я этим займусь и поезжу часок-другой?

— Это ты верно говоришь, промять ее нужно. Я вот сам сейчас этим займусь,— говорит пастор.

— Сами? Ну, а как быть с вашим меринком, сэр? С ним и вовсе сладу нет, так он застоялся. Если изволите, я и его подседлаю?

— Ну, что же. Выводи и его,— говорит пастор, которому только бы самому поскорее выбраться, а до причетника и дела нет.

Натянув поживей охотничьи сапоги и рейтузы, он поскакал к месту сбора, намереваясь вернуться в самом скором времени. Только что он скрылся из глаз, как причетник оседлал меринка и полетел вслед за ним. Прибыв к месту сбора, пастор нашел там всех своих друзей, и началась у них потеха. Гончие, как только их спустили, сразу пошли по следу, и все поскакали за ними. И вот, позабыв о своем благом намерении тотчас же воротиться, скачет наш пастор вслед за другими охотниками по пустырям между Липпетс-Вудз и Грин-Копс и, обернувшись на всем скаку, видит, что причетник поспекает за ним по пятам.

— Ха-ха, милейший! И ты тут? — говорит он.

— Тут, сэр, тут,— говорит причетник.

— Хорошая пробежка для коней.

— Воистину так, сэр. Хи-хи!

И вот летят они, как ветры буйные, все вперед и вперед через Грин-Копс, потом наперерез к Хайер-Джертон, потом через шоссе в Климерстон-Ридж, потом дальше к Йелбери-Вуд, по горам и долам, причетник следом за пастором, а пастор, чуть отстав от собак.

Никогда еще не бывало у них такой славной травли, как в этот день, и ни пастор, ни причетник ни разу и не вспомнили о необвенчанной парочке, ожидавшей их на колокольне.

— А вашим лошадам, сэр, это пойдет на пользу,— говорит причетник, только на полголовы отставая от пастора.— Отличная это мысль пришла вашему преподобию — промять их нынче на травле. А то, глядишь, не сегодня завтра ударят морозы, и придется бедным животинам неделями стоять в конюшне.

— Нельзя им застаиваться, никак нельзя. Блажен, иже и скоты милует,— отвечает ему пастор.

— Хи-хи,— посмеивается причетник, хитро подмигивая пастору.

— Ха-ха,— вторит пастор, уголком глаза скосившись на причетника.— Ату ее! — кричит он, видя, что лиса в этот миг показалась на поле.

— Ату ее! — вторит причетник.— Вон она! Ах ты дьявол, да их там две!

— Ну-ну! Чтобы я больше не слышал от тебя таких слов! Забыл ты, что ли, какой на тебе сан?

— Воистину так, ваша милость, воистину так. Но, право же, хорошая охота — такая веселая штука, что и о своем

высоком служении забываешь.— И опять краешком глаза он подмигнул пастору, а пастор точно таким же манером ему.

— Хи-хи,— смеется причетник.

— Ха-ха,— вторит пастор Тугуд.

— Ах, сэр,— снова говорит причетник.— Ну, насколько же это приятнее, чем возглашать зимними вечерами «аминь» на ваше «во веки веков»!

— Что верно то верно. Но все хорошо во благовремени,— говорит пастор Тугуд. Он был начитан в писании и на каждый житейский случай имел текст наготове, как и подобает пастору.

Так и скакали они до самого вечера, пока не кончилась эта охота тем, что лиса забежала в домишко старой вдовы и забилась сначала под стол, а потом в футляр стенных часов. Пастор с причетником прискакали одними из первых и видели через окно, как брали лисицу, а часы при этом били без остановки, как им еще никогда не случалось бить. Потом пришлось подумать и о возвращении домой.

Приуныли тут пастор с причетником, потому что и кони были загнаны до полусмерти, и сами всадники еле держались в седле от усталости. Но делать нечего — пустились в обратный путь и плелись все время шагом, то и дело останавливаясь.

— Нет, видно, никогда нам не добраться до дому,— стонал пастор Тугуд, согнувшись в седле в три погибели.

— Ох, не добраться,— вторил ему причетник.— Это нам воздаяние за беззакония наши.

— Воистину так,— бормотал в ответ пастор.

Словом, уже совсем стемнело, когда они въехали наконец в ворота пасторова дома, тишком, как воры, прокравшись по улице, чтобы никто из прихожан не догадался, где они весь день пропадали. Они и сами-то от усталости еле на ногах держались, а еще надо было о лошадях позаботиться, так что и тут ни один, ни другой не вспомнили о недовенчанной парочке. Как только лошади были заведены в стойла и накормлены, а сами они малость перекусили, тотчас же оба завалились спать.

Наутро, когда пастор Тугуд сидел за завтраком, вспоминая вчерашнюю охоту, прибегает вдруг причетник и спрашивает еще в дверях, можно ли войти.

— Как же это мы, ваша милость,— говорит он.— У нас совсем из головы вон, а ведь та пара на колокольне до сих пор не обвенчана.

Пастор так и ахнул, чуть куском не подавился.

— Господи помилуй,— говорит он,— а ведь и правда! Как это вышло нескладно.

— И не говорите, сэр. Ведь мы, может статься, погубили несчастную женщину.

— Ах да! Помню, помню! Ей, по правде сказать, давно уже следовало обвенчаться.

— Подумать только, сэр, а ну как с ней там, на колокольне, что-нибудь случилось, и ни доктора, ни бабки...

(— Ах, бедняжка, — вздохнули женщины.)
...Как бы нас за это в суд не потащили. Да и для церкви, какой это позор для церкви!

— Замолчи ты, ради бога! Ты меня с ума сведешь! — говорит пастор. — И какого черта я их вчера не обвенчал, пьяных ли, трезвых ли! — (Духовные лица в те времена черты-хались не хуже простых смертных). — А ты что, сам ходил в церковь или спрашивал у деревенских?

— Да нет, что вы, сэр! Это я вот только что вспомнил. В церковных делах разве я смею вперед вас соваться? А сейчас, как подумал о них, меня словно обухом по голове. Кажется, тронь пальцем — сейчас упаду!

Ну, тут пастор бросил свой завтрак и вместе с причетником скорей побежал в церковь.

— Да их, наверно, и след простыл, — говорит на ходу мистер Тугуд. — И хорошо бы. Они небось как-нибудь выбрались и давно уже дома.

Все же они вошли в ограду, поглядели на колокольню и видят: высоко в окне белеет малюсенькое личико и крохотная рука помахивает им сверху.

— Бог мой, — говорит мистер Тугуд, — не знаю, как я им теперь на глаза покажусь! — Он тяжело опустился на чью-то могильную плиту. — И надо же было мне вчера к ним так придираться!

— Да, очень жаль, что мы с этим делом тогда же не покончили, — говорит причетник. — Но раз убеждения вашей милости не позволяли вам их венчать — что же, с этим надо считаться.

— Верно, друг мой, верно. А что, по ней не видно... не произошло там с ней чего-нибудь... преждевременного?

— Да мне видно ее только до плеч, сэр.

— Ну, а как лицо?

— Лицо страх какое бледное.

— Да что ты! Ну, будь что будет. Ох, и разломило же у меня поясницу после вчерашнего... Но приступим к делу божию.

Они вошли в церковь и только отперли ход на колокольню, как бедняжка Джейн и ее любезный Эндри выскочили оттуда, как голодные мыши из пустого буфета. Эндри едва живой и вполне трезвый, а его невеста бледная и продрогшая, но во всем прочем такая же, как вчера.

— Как? — говорит пастор, облегченно вздыхая, — вы с тех самых пор так тут и сидели?

— А то как же, сэр, — говорит невеста, падая от слабости на скамью. — И ни кусочка, ни глотка за все это время. Нам никак нельзя было выйти без посторонней помощи, вот мы и сидели.

— Но почему же вы не позвали кого-нибудь? — спросил пастор.

— Она не позволила, — говорит Эндри.

— Стыдно мне было, — всхлипнула Джейн. — Да узнай об

этом кто-нибудь — нас на всю жизнь ославили бы. Раз или два Эндри совсем было собрался ударить в колокол, но потом одумался и сказал: «Нет, лучше нам с голоду подохнуть, чем навек опозориться!» Вот мы все ждали и ждали, а вас все нет и нет.

— Да! И я очень об этом сожалею,— сказал пастор.— Но теперь мы с этим делом мигом покончим.

— Мне... мне бы пожевать чего-нибудь,— говорит Эндри.— Хоть корочку бы какую или луковку, и то бы ладно. Потому я так отошал, что у меня, кажется, все кишки к спине приросли, слышно, как они о стантовую кость трутся.

— Нет, раз уж все мы тут, и в полном порядке,— с беспокоейством сказала невеста,— так давайте скорее кончать!

Эндри согласился повременить с едой, причетник позвал вторым свидетелем одного из прихожан, самого неболтливого, и скоро брачные узы были крепко завязаны, новобрачная успокоилась и заулыбалась, а у Эндри еще пуще живот подвело.

— Ну, а теперь,— сказал пастор Тугуд,— вы оба идите ко мне, мы вас накормим как следует на дорогу.

Они с благодарностью приняли приглашение и, выйдя с церковного двора, пошли одной тропинкой, а пастор с причетником — другой, и никто их не заметил, потому что час был еще ранний. Они вошли в пасторский дом, будто бы только что вернулись из поездки в Порт Бреди, и тут-то уж они набросились на еду и питье и пили и ели до отвала.

Об этом случае долгое время никто не знал, но потом все-таки пошел слухок, а теперь и сами они иной раз со смехом вспоминают, какая у них была чудная свадьба. Хотя и то сказать, не бог весть что получила Джейн за все свои труды и старания. Разве вот только свое доброе имя спасла.

— Это тот самый Эндри, который явился к сквайру на рождество вместе с музыкантами? — спросил торговец семенами.

— Нет, нет,— ответил учитель Профитт.— То был его отец. И все произошло оттого, что Эндри чересчур любил покушать и выпить.

Видя, что все его слушают, учитель сразу начал рассказ:

СТАРЫЙ ЭНДРИ В РОЛИ МУЗЫКАНТА

— Я был тогда еще мальчишкой и пел в церковном хоре; на рождество мы вместе с музыкантами всегда отправлялись в дом сквайра, а сквайр, все его семейство и гости (в тот раз среди них был архидиакон, лорд и леди Баксби и еще много других) рассаживались в большой зале и слушали, как мы играем и поем. Потом нас звали в людскую и угощали превосходным ужином. Так уж было заведено, и Эндри очень хорошо

знал об этом. Мы как раз собирались к сквайру, когда повстречали его.

— Господи,— говорит,— до чего ж мне охота попить вместе с вами! Жареное мясо, индейка, плумпудинг, эль — бывает же счастье людям! А сквайру-то что — одним человеком больше, одним меньше. Я уже слишком стар, чтобы сойти за мальчишку из хора, и чересчур бородат, чтоб меня приняли за девицу из тех, что с вами поют. Вот ежели б вы одолжили мне скрипку и я б пошел с вами как музыкант, а?

Ну, мы пожалели старика и дали ему старую скрипку, хотя Эндри понимал в музыке столько же, сколько лошадь в философии; вместе со всеми Эндри отправился в путь и, крепко зажав скрипку под мышкой, храбро вошел в дом сквайра. Он суетился, раскладывал ноты, устанавливал свечи так, чтоб свет от них падал прямо на ноты, словно это дело было для него самое привычное, и все шло как нельзя лучше, пока мы не запели «Когда узрели пастухи», а потом «Взойди, звезда» и «О, радостные звуки». Только мы кончили последнюю песнь, поднимается мать сквайра, высокая сердитая старуха, большая любительница церковного пения, и обращается к Эндри:

— Послушай-ка, голубчик, ты, я вижу, не играешь вместе со всеми. В чем дело?

Все мы готовы были провалиться сквозь землю. Надо же попасть в такую переделку! У Эндри даже холодный пот на лбу выступил. А мы молчим, ждем — как-то он выпутается из этой истории?

— Беда приключилась, сударыня,— говорит он, кланяясь с самым невинным видом, что твое дитя.— По дороге я упал и сломал смычок.

— Какая жалость,— говорит она.— А нельзя ли его починить?

— Куда там, сударыня,— отвечает Эндри.— Весь изломался.

— Посмотрим, нельзя ли тебе помочь,— говорит она.

На этом как будто все и кончилось, и мы запели «Возрадуйтесь, люди, восстаньте от сна» в ре мажор с двумя диезами. И только мы замолчали, как старуха снова обращается к Эндри:

— У нас на чердаке хранятся негодные музыкальные инструменты, и я велела поискать для тебя смычок,— и протягивает смычок бедняге Эндри, который не то что играть, а и держать его в руках не умел.

— Вот теперь у нас будет полный аккомпанемент,— говорит она.

Что тут было делать? Эндри стоит среди музыкантов, глядит в ноты, а лицо у него все сморщилось, как гнилое яблоко, потому что если кого и боялись в нашем приходе, так именно этой горбоносой старухи. Тогда Эндри пустился на хитрость — спрятался за чью-то спину и давай водить смычком взад-вперед над скрипкой, но не касаясь струн. Со стороны посмотреть,

так показалось бы, что он всю душу вкладывает в игру. Быть может, все и обошлось бы, если бы один из гостей (не кто иной, как архидиакон) не углядел, что Эндри держит скрипку вверх тормашками, прижимая подбородком головку и придерживая рукой конец деки. Все гости встали с мест и окружили Эндри — они решили, что это какой-то новый способ игры на скрипке.

Тут-то все и раскрылось. Мать сквайра велела выгнать Эндри вон, как низкого обманщика, а сквайр заявил, что Эндри должен ровно через две недели освободить дом, который у него арендовал. Это происшествие в значительной мере нарушило мирное течение рождественского вечера.

Однако, когда мы пришли в людскую, Эндри уже сидел там как ни в чем не бывало — по приказу жены сквайра его впустили с черного хода, хотя за минуту перед тем сквайр приказал выгнать его через парадный. А о том, чтобы ему выезжать из дома, больше никто и не заикался. Но Эндри после того случая никогда уже не выступал в роли музыканта; а теперь его и на свете нет, бедняга давно лежит в могиле, чего и нам всем не миновать!

— А я совсем позабыл наших музыкантов с их скрипками и виолончелями,— задумчиво проговорил Лэкленд.— Что они, по-прежнему играют в церкви?

— Где там! — ответил Кристофер Туинк.— Вот уж двадцать лет, как с этим покончено. Теперь там играет на органе один непьющий молодой человек, и очень даже хорошо играет, а все ж таки это не то, что в старые времена, там, в этом органе, нужно все время ручку крутить, и молодой человек мне жаловался — иной раз, говорит, руки все себе отмотаешь, а чувства настоящего в музыке все равно нет.

— Зачем же тогда заменили старых музыкантов?

— Ну, во-первых, такая уж пошла мода, а во-вторых, старые-то наши музыканты один раз здорово оскандалились. Так оскандалились,— помнишь, Джон? — что дальше некуда. Век не забуду! После этого им в церкви и показаться-то было стыдно.

— Как же это они так?

— А вот как.

Кровельщик взгляделся вдаль, словно там скрывались давно-прошедшие времена, и продолжал.

ДЬЯВОЛ НА ХОРАХ

— Случилось это в самое крещение — в тот день им последний раз довелось играть на хорах церкви в Лонгпадде, чего они тогда никак не думали. Надо вам сказать, что это был хороший приходский оркестр. Там были: Николас Пуддинком — первая скрипка, Тимоти Томас — виолончель, Джон Байлс — вторая скрипка, Дан Хорнхэд играл на серпенте, Ро-

берт Даудл — на кларнете, а мистер Никс на гобое — все искусные музыканты, да к тому же крепкие парни со здоровыми легкими, а это для тех, кто на духовых играет, дело немало-важное. Поэтому на святках, когда устраивают много танцулек и вечеринок, спрос на них был большой. Они и жигу могли изобразить — не хуже псалма, а то и лучше, не в укор им будь сказано. Бывало, пославят они Христа у богатого сквайра, сыграют там святочные песни леди и джентльменам и попьют с ними чайку или кофе, — чинно и скромно, ну, прямо сказать, святые, — а через полчасика, глядишь, они уже в таверне «Герб медника» и запузывают «Бойкого сержанта» парам девяти танцоров и глотают стаканами горячий пунш.

Вот и тогда, на тех святках, они кочевали с одной веселой вечеринки на другую, и спать им почти не приходилось. И подошел этот самый день — крещение. В тот год стояли жестокие холода, и музыканты прямо-таки замерзали на хорах, потому что прихожане в морозные дни обогревались внизу печкой, а об оркестре на хорах никто не заботился. Во время утрени, когда мороз был особенно силен, Николас и говорит:

— Не могу я больше, видит бог, я и так смерзся в сосульку, как хотят, но сегодня мы будем греться — не снаружи, так изнутри!

И вот, заранее смешав пиво с подогретой водкой, он принес галлон этого питья в церковь, укутал кувшин потеплее и спрятал его в виолончельный чехол Тимоти Томаса, чтобы сохранить влагу теплой, пока она не потребуется. А потребовался глоточек перед отпущением, другой — во время «Верую», а третий — в начале проповеди. После третьего глотка они согрелись и разомлели. Во время проповеди — а проповедь на беду в тот день была длинная — они заснули и до самого конца спали сном праведных.

День был пасмурный, и к концу проповеди в церкви так стемнело, что только и видна была кафедра пастора, на ней две свечи и его лицо за ними. Закончив наконец проповедь, пастор возгласил вечерний гимн. Но оркестр не подхватил, и прихожане стали оглядываться на хоры, — почему это музыканты молчат. Тут-то маленький Леви Лимпет (он сидел на хорах), толкнул Тимоти и Николаса и крикнул:

— Начинайте же! Начинайте!

— А? Что? — вскинулся Николас, а в церкви было темно, и в голове у него еще бродил хмель, ему и почудилось, будто он все еще на вечеринке, где они перед тем играли всю ночь напролет. И как дернет смычком по струнам, как хватит «Дьявола в портновской» — любимую жигу в наших краях! Все прочие музыканты были не трезвее его, ничтоже сумняшеся, они подхватили мотив и давай нажаривать, сколько было сил и усердия.

Они играли без перерыва, пока наконец от последних басовых нот «Дьявола в портновской» паутина на сводах не затряс-

лась, словно спугнутое привидение, мало того, Николас, удивленный, что никто не двигается с места, зычно выкрикнул (как это он обычно делал на вечеринках, когда танцующие не знали фигур):

— Головные пары! Руки крест-накрест! И когда я напоследок пушу петуха — пусть каждый поцелует свою пару под омелой.

Леви Лимпет так испугался, что кубарем скатился по ступенькам с хоров и побежал напрямик домой. У пастора волосы встали дыбом, когда он услышал, как дьявольская жига гремит по церкви, и, полагая, что музыканты рехнулись, он поднял руку и возопил:

— Стойте! Довольно! Прекратите! Что это такое!

Но они его не слышали, собственная их игра все заглушала, и чем больше он кричал и размахивал руками, тем громче они играли.

Тут все прихожане поднялись со скамей, недоумевая и переговариваясь:

— Что за наваждение? Да нас за это испепелит, как Содом и Гоморру!

Сам сквайр сошел со своей скамьи, обитой зеленой байкой, где вместе с ним слушали богослужение его гости, множество всяких ледей и джентльменов. Он вышел на середину церкви и закричал, потрясая кулаками:

— Что это значит? Такое богохульство в божьем доме! Что это значит?

Тут музыканты наконец что-то расслышали сквозь игру и оборвали жигу.

— Неслыханное безобразие! Просто неслыханное! — кричал сквайр вне себя от ярости.

— Неслыханное! — поддакивал пастор, он тем временем сошел с кафедры и теперь стоял рядом со сквайром.

— Пусть хоть все ангелы сойдут с небес, — сказал сквайр (он был дурной человек, этот сквайр, но тут в первый раз в жизни выступил защитником правого дела). — Пусть хоть сами ангелы небесные сойдут на землю, — кричал он, — а только чтобы этих музыкантов в нашей церкви больше и духу не было. Они оскорбили и меня, и мою семью, и моих гостей, и самого господа бога!

Только тут несчастные музыканты пришли в себя и вспомнили, где находятся, и посмотрели бы вы, как они спускались по лестнице: Николас Пуддинком и Джон Байлс со скрипками под мышкой, Тимоти Томас с виолончелью, а за ними бедный Дан Хорнхэд со своим серпентом и Роберт Даудл со своим кларнетом — тихонькие, словно воды в рот набрали, все старались проскользнуть незаметней. Пастор еще, может, и простил бы их, когда узнал, отчего это все вышло, но сквайр поступил иначе. На той же неделе он послал в город, и оттуда привезли что-то вроде большой шарманки, которая могла испол-

нять двадцать два духовных песнопения, да так правильно и точно, что как ты ни будь греховно настроен, а уж ничего другого на ней не сыграешь, кроме этих самых духовных песнопений. Для верности сквайр приставил самого надежного и почтенного человека вертеть ручку, и с той поры старые наши музыканты у нас в церкви больше не играли.

После этого рассказа все долго молчали.

— А моя старая знакомая миссис Уинтер — та, что жила на ренту,— она, конечно, уже умерла? У нее еще всегда был такой угнетенный вид,— спросил наконец мистер Лэкленд.

Никто из пассажиров, по-видимому, не помнил этого имени.

— Давно уж, наверно, умерла — когда я ее мальчиком знал, ей уже было под семьдесят,— добавил Лэкленд.

— Не знаю, как другие, а я так очень хорошо помню миссис Уинтер,— сказала лавочница.— Да, она умерла и давно уж — тому лет двадцать пять. Вы, наверно, знаете, сэр, отчего у нее был такой, как вы говорите, угнетенный вид и такие ввалившиеся глаза?

— Говорили, кажется, что у нее что-то с сыном случилось. Но я был тогда слишком мал и подробностей не запомнил.

Лавочница вздохнула: перед ее мысленным взором, видимо, оживали картины прошлого.

— Да,— проговорила она.— Дело было в сыне.

Видя, что пассажиры фургона не прочь послушать еще одну историю, она продолжала:

УИНТЕРЫ И ПАЛМЛИ

— Если рассказывать по порядку, то вот с чего все началось. В приходе нашем, когда я была еще девчонкой, две красавицы соперничали между собой. Что уж там у них вышло, бог их ведает, но только были они на ножах, а еще пуще они невзлюбили друг дружку после того, как одна у другой отбила жениха, да и женила на себе. Парня этого звали Уинтером, и в положенный срок у них родился сын.

Другая долго не выходила замуж, но когда ей было уже что-то около тридцати, посватался к ней один смирный человек по имени Палмли, и они поженились. Вы, сэр, не помните того времени, когда Палмли жили еще в Лонгпадде, а я-то все как сейчас помню. У них тоже родился сын, и был он, стало быть, лет на девять-десять моложе сына Уинтеров. Ребенок от рождения был какой-то слабоумный, но мать в нем души не чаяла.

Палмли умер, когда мальчику исполнилось восемь лет, и остались вдова и ребенок нищими. Бывшая ее соперница к тому времени тоже овдовела, но жила не бедно. Из жалости она предложила взять к себе мальчика на посылки, хоть он и был еще слишком мал для такой работы. В то время ее сыну, Джеку,

было лет семнадцать, не больше. Что поделаешь, пришлось бедной вдове отдать сына из дома. И отправился малыш к богатой соседке.

Так вот, как и что там случилось, никто толком не знает, только однажды под вечер хозяйка, миссис Уинтер, послала мальчика с письмом в соседнюю деревню. Дело было в декабре, и темно рано. Мальчонка плакал и просил, чтобы ему позволили не ходить, — боязно было одному возвращаться. Но хозяйка настояла на своем, может, и не потому вовсе, что была такая уж бессердечная, а просто так, не подумав.

И пошел бедняжка. Дорога шла через лес Йелбери, и вот на обратном пути что-то там выскочило из-за дерева и до смерти его напугало. Мальчик после этого стал совсем дурачком, захворал и вскоре умер.

Теперь у несчастной вдовы ничего больше в жизни не осталось, и она проклинала соперницу, которая сперва отбила у нее жениха, а потом и сына погубила. Правда, несчастье с мальчиком произошло не по злой воле миссис Уинтер, хотя, признаться, когда она о том услышала, то не выказала особенного огорчения. Однако как ни горевала бедная миссис Палмли, как ни клялась она отомстить, а подходящего случая не было. И как знать, может, со временем она и забыла бы о своей тяжелой обиде и примирилась бы с одиночеством. Но через год после смерти мальчика к миссис Палмли приехала племянница, которая до того всю свою жизнь прожила в городе Эксонбери.

Эта молодая особа, мисс Гарриэт Палмли, была девушка красивая и гордая. Она и воспитана была иначе, и одевалась, и держала себя не так, как наши деревенские, да оно и понятно: как-никак, приехала-то она из города. Если богатые Уинтеры свысока смотрели на бедную миссис Палмли, то Гарриэт их самих ставила куда ниже себя. Но любовь ни с чем не считается, и надо же было так случиться, что молодой Уинтер с первого взгляда без памяти влюбился в Гарриэт Палмли.

Гарриэт была много образованнее Джека, а деревенские понятия о превосходстве его матери над ее теткой для нее ровно ничего не значили, вот она и не обращала внимания на Джека. Но Лонгпаддл — не бог весть как велик, и волей-неволей им приходилось встречаться, пока Гарриэт там гостила; и скоро этой гордычке стали вроде бы даже нравиться ухаживания Джека.

Однажды, когда они вдвоем собирали в саду яблоки, Джек предложил Гарриэт выйти за него замуж. Она никак не ждала от Джека такой прыти и до того удивилась, что чуть ли не дала согласия, во всяком случае не отказала наотрез, а, напротив, стала даже принимать от него разные подарки.

Но Джек видел, что для нее он всего-навсего простой деревенский парень, а не какой-нибудь завидный жених. В глубине души бедняга понимал, что не видать ему Гарриэт, если

он как-нибудь не отличится. И вот в один прекрасный день он сказал ей:

— Я уезжаю, в другом месте я скорей добьюсь хорошего положения, а здесь мне не на что рассчитывать.

Недели через две он простился с Гарриэт и отправился в Монксбери с намерением наняться к какому-нибудь фермеру управляющим, а затем и самому обзавестись фермой. Оттуда он ей писал каждую неделю, как будто их женитьба была делом решенным.

Но если Гарриэт нравились подарки Джека и то обожание, которое светилось в его глазах, то в письмах он выглядел куда менее привлекательным. Ее мать была школьной учительницей, да и у самой Гарриэт была, что называется, природная способность ко всякого рода писанью. А в те времена, когда грамотеев не развелось еще столько, как теперь, простое умение писать и то уж считалось большим достоинством. Упражнения Джека Уинтера в любовной переписке коробили городской вкус Гарриэт и уязвляли ее самолюбие. В ответ на одно из его последних она, эдак строго и свысока, просила, чтоб он поучился письму да почаще заглядывал бы в учебник правописания, если желает ей угодить (а надо вам сказать, что сама Гарриэт писала гладко, красиво и этим немало гордилась). Послушался ее Джек или нет, неизвестно, только письма его не стали лучше. Раз он отважился написать ей, как всегда, довольно нескладно, что кабы в сердце у нее было к нему побольше тепла, она не так обижалась бы на его почерк и правописание, что и в самом деле — сущая правда.

Ну и вышло так, что в отсутствие Джека тот слабый огонек, что зажегся было в ее сердце, мало-помалу стал меркнуть, а потом и вовсе погас. А Джек все писал и писал и просил объяснить, почему она к нему изменилась; и тогда Гарриэт ответила напрямик, что для нее, родившейся и прожившей всю жизнь в городе, он недостаточно образован, а потому ему не на что надеяться.

То, что Джек Уинтер отставал в письме, вовсе не означало, что чувства его были грубее, чем у других, напротив, он был до крайности чувствителен и обидчив. Узнав причину ее отказа, он испытал такой стыд, унижение и горе, какие нам сейчас нельзя себе и представить, — слава богу, нынче уж не те времена, когда умение писать с красивыми завитушками наполняло людей гордостью, а неумение причиняло боль и страдания. Джек написал ей гневное письмо, а она ответила колкостями и как бы между прочим подсчитала, сколько ошибок он сделал в своем последнем письме. Одно это, писала она, может служить оправданием для всякой девушки, которая не захочет выйти за него замуж. У нее, Гарриэт, муж должен быть ученее.

Джек покорно снес ее отказ, но страдал он тяжело, никому ни слова не говоря про свое горе, и оттого было ему еще тяжелей.

И Джеку уже незачем было оставаться на ферме — он ведь только затем и пошел работать, чтобы создать достойный семейный очаг для Гарриэт, а теперь эта надежда рухнула. По этой причине он отказался от мысли стать фермером и уехал, желая поскорей вернуться домой, к матери.

Не успел Джек возвратиться в Лонгпадл, как увидел, что Гарриэт уже ласково поглядывает на нового своего ухажера — дорожного подрядчика. Джек не мог не признать, что соперник и образованием и манерами на голову выше его самого. Это и в самом деле был куда более разумный выбор для городской красавицы, которая по воле случая попала в деревню и едва ли могла подыскать себе здесь кого-нибудь лучше. Уж он-то мог пообещать ей более завидное положение, не то что Джек, у которого неизвестно еще, что впереди, да и не слишком был он годен на то, чтоб пробиться в жизни. Джек сам понимал, что ее даже и винить нельзя.

Однажды ему случайно попался на глаза листок бумаги, исписанный рукой нового возлюбленного Гарриэт. Слова лились ровно и гладко, словно ручеек, без единой ошибочки, сразу было видно, что писавший привык иметь дело с пером и бумагой, недаром прослыл он в приходе ученым человеком. И тут вдруг Джеку пришло в голову: если рядом с письмами подрядчика положить его собственные, то какими, должно быть, жалкими они будут выглядеть, и до чего смешным покажется все, что он там писал. От такой мысли Джек даже застонал. Он очень жалел теперь, что писал ей. Ему не терпелось узнать, сохранила ли Гарриэт его каракули. Пожалуй, что и сохранила, думал он, женщины имеют такую привычку — беречь письма. А пока эти злосчастные писульки находятся в ее руках, можно ли ручаться, что его глупая, чистосердечная любовь не послужит потехой для Гарриэт и ее теперешнего ухажера, да и не только для них — для всякого, кто увидит эти письма.

Несчастный, измученный вконец юноша боялся и думать об этом и наконец решился попросить Гарриэт вернуть ему письма, как это обычно делают, если помолвка расстроилась. Он час, а может и больше, сидел над коротенькой запиской, писал, переписывал и начинал заново, а когда кончил, послал записочку с мальчишкой к ней домой. Посланный вернулся с устным ответом: мисс Палмли просила передать, что не намерена расставаться с тем, что ей принадлежит, она даже удивляется, как он осмелился ее из-за этого беспокоить.

Такой ответ привел Джека в ярость, и он решил сам пойти за письмами. Выбрав время, когда, как он знал, Гарриэт бывала дома, он постучался и вошел без особых церемоний, хоть Гарриэт и напускала на себя важность, но к ее тетке, чей сын когда-то чистил ему башмаки, Джек отнесился с малым почтением. Гарриэт была в комнате. Они встретились в первый раз после того, как Гарриэт ему отказала. Глядя на нее суровыми и печальными глазами, Джек попросил назад свои письма.



Сначала Гарриэт ответила, что они ей ни на что не нужны, пусть берет хоть сейчас,— и даже вынула пачку из бюро, где они хранились. Но, проглядев одно — то, что лежало сверху,— она вдруг изменила свое решение, сказала, что просьба его вздорная, и поспешно убрала письма в теткинскую рабочую шкапу, которая стояла раскрытой тут же, на столе. Она сразу же заперла шкапу и, смеясь с издевкой, объявила ему, что решила сохранить письма,— может, еще пригодятся как доказательство, что у нее были веские основания не выходить за него замуж.

Джеку кровь бросилась в лицо.

— Отдайте письма! — проговорил он.— Они не ваши!

— Нет, мои,— возразила она.

— Чьи бы ни были, но я хочу их забрать,— сказал он.— Я не хочу быть посмешищем из-за того только, что не умею

писать. У вас теперь есть другой! Вы ему верите и все ему рассказываете. И письма мои ему покажете!

— Возможно,— ответила Гарриэт с холодным спокойствием бессердечной женщины, да она и на самом деле такая была.

Ее вид и голос так взбесили Джека, что он сделал большой шаг к шкатулке, но Гарриэт схватила ее, заперла в бюро и торжествующе посмотрела на Джека. Минуту казалось, что Джек вырвет ключ у нее из рук, но, сдержавшись, он повернулся на каблуках и вышел из комнаты.

Когда Джек очутился на улице, был уже вечер. Он долго шел не останавливаясь, сам не зная куда, мучаясь от сознания, что она во всем взяла над ним верх. Ему все мерещилось, как она рассказывает своему новому возлюбленному или кому-нибудь из знакомых о том, что сейчас произошло между ними, и как все они хохочут над расплывшимися, уродливыми строчками в этих письмах. И мало-помалу в его голове созрело твердое решение: добыть письма любой ценой, во что бы то ни стало.

Глухой ночью он с черного хода вышел из своего дома, пробрался сквозь живую изгородь и, обогнув соседнее поле, вышел с задней стороны к дому Гарриэт. Говорят, в ту ночь была яркая луна, ровным светом заливала она стены домов, и каждый листик плюща, вьющегося по стенам, блестел, словно маленькое зеркальце. Джек много раз бывал у Палмли и знал расположение комнат в их доме не хуже, чем в своем собственном. В гостиной было два окна, заднее, ближе к Джеку, все из мелких стекол в свинцовом переплете,— таким оно осталось и по сей день. Другое окно закрывалось ставнями, но на этом, заднем, не было даже занавески, и лунный свет, проходя через него, ярко освещал комнату, так что Джек, стоя снаружи, мог разглядеть там любой самый маленький предмет. Справа в комнате, как вы, может быть, помните, есть камин — он и сейчас там, а слева тогда стояло бюро. В бюро и находилась рабочая шкатулка Гарриэт (то есть Джек думал, что эта шкатулка Гарриэт, а на самом деле она принадлежала тетке), а в шкатулке были письма. Джек достал свой карманный нож, отковырнул свинцовый переплет и вынул одно стекло. Затем, просунув руку в отверстие, открыл задвижку и через окно влез в комнату. Все спали (в доме, кроме миссис Палмли и Гарриэт, жила еще только девочка-служанка). Джек направился прямо к бюро — это он сам рассказывал,— думая, что оно не заперто,— обычно его не запирали,— но Гарриэт так и не открывала бюро после того, как спрятала там письма. Позже Джек говорил, что в ту минуту он думал только об одном: что вот, мол, спит себе Гарриэт наверху, в своей комнате, и горя ей мало, а ведь как она обидела его, как надсмехалась над ним и его письмами, и, зайдя так далеко, он уже не мог остановиться. Просунув лезвие ножа под крышку бюро, Джек без труда сло-

мал ветхий замок. Внутри он нашел шкатулку из розового дерева — там, куда Гарриэт второпях поставила ее. Вынимать письма из шкатулки было некогда. Он взял шкатулку под мышку, закрыл бюро, поскорей выбрался из дома и аккуратно вставил стекло.

Обратно Уинтер шел тем же путем. От усталости он еле держался на ногах, прокравшись к себе в спальню, он спрятал шкатулку, не посмотрев даже, что в ней. Рано утром он отнес шкатулку в сарай и принялся за дело: одно за другим стал сжигать в печке письма, которые стоили ему такого труда и о которых он не мог без стыда вспомнить. Джек хотел вернуть шкатулку Гарриэт, после того как исправит небольшие повреждения от ножа. На место писем Джек думал положить записочку, последнюю, которую он ей напишет, в ней он с торжеством скажет Гарриэт, что, отказавшись вернуть ему письма, она чересчур понадеялась на его покорность всем ее капризам.

Но, вынув из шкатулки последнее письмо, Джек прямо-таки остолбенел от удивления и ужаса, под письмом, на самом дне лежало десять золотых гиней. «Это, должно быть, карманные деньги Гарриэт», — подумал про себя Джек (на самом деле это были деньги миссис Палмли). Он не успел еще оправиться от такой неожиданности, как вдруг в галерейке, из которой был вход в сарай, послышались шаги. Второпях он сунул шкатулку под сложенный в углу хворост, но поздно — два констебля вошли в сарай и схватили его как раз в тот миг, когда он, нагнувшись, прятал шкатулку. Ему объявили, что он арестован по обвинению в том, что прошлой ночью вломился в дом миссис Палмли, и не успел еще несчастный юноша понять, в чем дело, как его уже вели по узкой тропинке, что соединяет ту часть деревни, где жили Уинтеры, с проезжей дорогой. В окружении полицейских Джек шел по дороге в кэстербриджскую тюрьму.

Поступок Джека приравнялся к ночной краже со взломом, хотя сам Джек и не помышлял ни о какой краже. А кража со взломом — это уголовное преступление, за которое в то время полагалась смертная казнь. Когда Джек вылезал из заднего окна дома Палмли, кто-то заметил его тень на ярко освещенной стене. Кроме того, при нем были найдены шкатулка и деньги, замок от бюро был сломан, стекло в окне выставлено — улики вполне достаточно. Джек, правда, клялся, что хотел взять только письма, и это при других показаниях в его пользу, может, и послужило бы к смягчению его участи. Но подтвердить это могла одна только Гарриэт. А Гарриэт делала так, как ей говорила тетка. Миссис же Палмли вовсе не желала спасти Джека. Пришел час ее торжества. Наконец-то она могла отплатить женщине, которая отняла у нее возлюбленного, а затем погубила и самое дорогое, что у нее было, — маленького сына. Через неделю Джек предстал перед судом. Гарриэт на суд не вызвали, и разбирательство пошло обычным порядком, миссис

Палмли подтвердила все факты, свидетельствовавшие об ограблении. Вступилась бы Гарриэт за Джека, если бы он ее попросил, или нет, кто знает, может быть, из жалости она бы это и сделала, но Джек был слишком горд, чтобы просить хоть о малейшем одолжении ту, которая его оттолкнула, и он к ней не обратился. Суд заседал недолго, и Джеку был вынесен смертный приговор.

Его казнили в субботу. Был холодный и пасмурный мартовский день. Джек был такой худенький и щуплый — совсем мальчик, что пришлось из милосердия повесить его в самых тяжелых кандалах, какие нашлись в тюрьме: иначе петля не переломила бы ему позвонков — собственного его веса было недостаточно. Кандалы оказались для него так тяжелы, что он еле мог подняться на возвышение. В те времена еще не так строго соблюдались правила насчет того, чтобы казненных хоронить непременно в тюрьме, и несчастной матери разрешили перевезти тело домой. Вечером, когда должен был прибыть гроб, в нашей деревне все высыпали на улицу, люди стояли и ждали, каждый у своего дома. Помню, и я, тогда еще совсем маленькая девочка, стояла на улице рядом с матерью. Было совсем темно, на небе загорались звезды. Около восьми часов мы услышали едва уловимый скрип повозки со стороны проезжей дороги. Потом шум затих — это повозка въехала в лощину, потом стало слышно, как она загромыкала на спуске, и вслед за тем въехала в Лонгпадл. Гроб на ночь поставили под лестницей, что ведет на колокольню, а назавтра, в воскресенье, в промежутке между двумя службами, мы похоронили Джека. Под вечер в тот же день была заупокойная служба, и пастор сказал проповедь, для которой выбрал текст: «Он был единственным сыном у матери, а она была вдовой...» Да, жестокое то было время!

А с Гарриэт дальше было вот что. Вскоре она вышла-таки замуж за своего подрядчика. Но не пришлось им спокойно пожить в Лонгпадде — все ведь тут знали, что это она виновата в смерти Джека. Так что они переехали в другой город, подальше от здешних мест. И больше мы о них не слышали. Да и миссис Палмли сочла более удобным к ним перебраться. А та худая женщина с черными глазами, о которой спрашивал приезжий господин, это и была, как вы, наверное, уже догадались, та самая миссис Уинтер, про которую я вам рассказывала. Я хорошо помню, как она жила тут совсем одна, как ее боялись дети и как она до конца своих дней всех чуждалась, хоть и прожила довольно долго.

— Я вижу, в Лонгпадде случались не только веселые, но и грустные события,— заметил мистер Лэклэнд.

— Да, да. Но, слава богу, таких историй, как с Джеком Уинтером, было немного, хотя люди среди нас жили всякие — и хорошие и плохие.

— Вот, например, Джордж Крукхилл,— этот, как мне доподлинно известно, был довольно-таки темной личностью,— вступил в разговор приходский писарь, видимо, и ему захотелось внести свою лепту в обмен воспоминаниями.

— Слышал я, что в школе он был отчаянный озорник.

— Ну так с годами он не исправился. Правда, петля ему ни разу не грозила, но от каторги он бывал на волосок, а однажды сам угодил в яму, которую рыл другому.

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ МИСТЕРА ДЖОРДЖА КРУКХИЛЛА

— Как-то раз,— продолжал приходский писарь,— возвращался Джордж на тощей своей кляче из Мелчестера, где только что кончилась ярмарка. Выбравшись из города, он заметил, что впереди едет верхом на отличнейшей лошади — такая стоит добрых пятьдесят гиней — молодой статный фермер, тоже, видно, возвращаясь с рынка. Когда они поднимались на Биссет Хилл, Джордж постарался нагнать его. Они поздоровались; Джордж заговорил о том, какие здесь плохие дороги, и так, приветливо болтая о том о сем, трусил он рысцой рядом с незнакомцем. Вначале тот отмалчивался, но мало-помалу разговорился, и у них пошла совсем уже дружеская беседа. Оказалось, что он ездил по своим делам на мелчестерскую ярмарку и надеется к вечеру добраться до Шотсфорд-Форум, чтобы завтра поспеть на рынок в Кэстербридже. Подъехав к гостинице в Вудъятсе, путники остановились накормить лошадей, а заодно и выпили — отчего почувствовали друг к другу еще большее расположение. Затем снова двинулись в путь, но недалеко от Шотсфорда, когда они проезжали через деревню Трантридж, их застал дождь; и так как уже совсем стемнело, Джордж стал уговаривать фермера не ехать дальше: под таким дождем, того и гляди, схватишь простуду; а тут, говорят, есть хорошая гостиница — и он, Джордж, думает в ней остановиться. Фермер наконец согласился. Они отдали конюху лошадей, зашли в гостиницу и славно поужинали, толкуя о своих делах, словно давнишние знакомые. Когда наступило время идти на покой, Джордж попросил у хозяина номер на двоих, и они улеглись спать в одной комнате: вот до чего они к тому времени уже подружились.

Перед сном они болтали о всякой всячине, и наконец разговор зашел о том, как, бывает, переодеваются в чужое платье с какой-нибудь целью. Фермер сказал, что не раз слышал о таких проделках, но Джорджу, по его словам, все это было в диковинку. Вскоре фермер заснул.

Рано утром, когда фермер еще крепко спал (я рассказываю все так, как слышал), наш Джордж тихо слез с кровати и облачился в одежду фермера. А в карманах у фермера

были деньги. Джордж, однако, прельстился лишь добротной одеждой и крепкой лошадкой фермера; он, видите ли, на ярмарке обстригал одно сомнительное дельце, и ему не хотелось, чтобы при встрече его сразу могли узнать. В его намерения совсем не входило забирать деньги своего приятеля, или, точнее, брать больше, чем было нужно для того, чтобы заплатить по счету в гостинице. Поэтому, отсчитав необходимую сумму, он оставил кошелек на столе и сошел вниз. В гостинице накануне вечером никто особенно не разглядывал новых постояльцев, и те из слуг, которые в этот ранний час были уже на ногах, не усомнились в том, что Джордж это и есть фермер. Он щедро рассчитался и велел подать себе лошадь фермера, — и опять-таки никто этому не удивился, и он преспокойно поехал на чужой лошади, как на своей собственной.

Через полчаса фермер проснулся и, оглядевшись, обнаружил, что друг его Джордж исчез, надев его платье и великодушно оставив ему свой потрепанный наряд. Однако вместо того чтобы поднять тревогу, он долго сидел в кровати, о чем-то глубоко задумавшись.

— Деньги, деньги он увез, — размышлял он вслух, — вот что жалко. Но зато и одежду тоже...

Тут он увидел, что деньги или по крайней мере большая их часть лежит на столе.

— Ха-ха-ха! — захохотал он и пустился приплясывать по комнате. — Ха-ха-ха! — не унимался он, посылая улыбки своему отражению в зеркальце для бритья и в бронзовом подсвечнике. И при этом махал руками, словно фехтуя невидимой шпагой.

Затем он натянул на себя одежду Джорджа и сошел вниз. Его, видимо, ничуть не огорчило, что его принимают за другого, и даже когда он обнаружил, что ему подсунули старую клячу, а его собственную лошадь увели, он не выказал никакого возмущения. Ему сказали, что друг его уже заплатил по счету, что весьма его обрадовало. Не дожидаясь завтрака, он оседлал лошадь Джорджа и покинул гостиницу.

Он пустил лошадь не по большаку, а по проселочной дороге, не подозревая, что именно по этой дороге поскакал и Джордж. Не успел проехать и двух миль в обличии Джорджа Крукхилла, как вдруг на повороте дороги увидел, что какой-то человек отбивается от двух деревенских констеблей. Это был его дружок, похититель платья и лошади. Но фермер и не подумал броситься к нему и предъявить права на свою собственность; наоборот, он хотел было свернуть в ближайший лесок, только его уже заметили.

— На помощь! На помощь! — кричали констебли. — Именем короля!

Волей-неволей фермеру пришлось подъехать.

— Что случилось? — осведомился он с большим хладнокровием.

— Дезертир! — закричали те. — Его судить будут и расстреляют без всяких разговоров. Несколько дней тому назад он бежал из драгунского полка в Челтенгэме; за ним выслали погоню, но солдаты нигде не могут его найти, и мы обещали: если он нам попадется, непременно схватим и доставим к ним. Понимаете, этот негодяй на следующий же день повстречался с одним почтенным фермером и подпоил его в какой-то гостинице. И давай его улащать — какой, мол, он бравый молодец, да какой бы из него вышел хороший солдат — и уговорил поменяться с ним одеждой, чтобы, видите ли, посмотреть, как ему пойдет военная форма. И простак согласился. Тогда дезертир сказал, что шутки ради сходит показаться хозяйке: интересно, узнает ли она его в другом платье. Ушел — и только его и видели! А фермер Джолис так и остался в чужой солдатской форме. Плут и деньги унес с собой. А когда фермер заглянул в конюшню, то оказалось, что и лошади нет.

— Каков негодяй! — воскликнул фермер. — Так, значит, это и есть тот самый мерзавец? — он показал на Джорджа.

— Нет, нет! — завопил Джордж, причастный ко всей этой истории не больше, чем новорожденный младенец. — Это не я, это — он! Это на нем была одежда фермера Джолиса. Мы ночевали вместе, и он нарочно заговорил о переодевании, чтобы я решил поменяться с ним одеждой. То, в чем он одет, — это все мое!

— Только послушайте этого негодяя! — закричал молодой фермер, обращаясь к констеблям. — Чтобы выгородить себя, он готов обвинить первого встречного. Нет, братец служивый, — не на таких напал!

— Да, да — не на таких напал! — закричали те в один голос. — У него еще хватает нахальства нести эдакий вздор, хотя мы, можно сказать, накрыли его с поличным. Ну да, слава богу, теперь-то мы уже надели на него наручники!

— Да, слава богу, — сказал молодой человек. — Ну, мне пора. Счастливо вам доехать и благополучно его доставить. И он пустил свою клячу во весь дух.

А тем временем констебли, охраняя Джорджа справа и слева, взяв под уздцы его лошадь, двинулись прямо в противоположном направлении — к той самой деревне, где они встретили отряд солдат, высланный на поиски дезертира.

— Пропал я, пропал! Меня теперь расстреляют! — причитал Джордж.

Не прошли они и мили, как отряд встретился им снова.

— Здорово! — сказал старший констебль.

— Здорово! — ответил капрал, возглавлявший отряд.

— Поймали мы вашего-то! — заявил констебль.

— Где же он? — удивился капрал.

— Да вот же! Только он теперь без формы, вот вы его и не узнали.

Капрал с минуту внимательно разглядывал Джорджа, потом покачал головой и сказал, что это совсем не тот.

— Да ведь дезертир-то поменялся одеждой с фермером Джолисом и уехал на его лошади, — ну и вот вам, пожалуйста, все тут — и одежда и лошады!

— Нет, не он, — заявили солдаты. — Наш был высокий, молодой, с родинкой на правой щеке, и выправка у него военная, не то что у этого.

— Я же говорил их милостям, что это не я, — подал голос Джордж. — А они не верят.

Так-то и выяснилось, что молодой фермер это и был сбежавший драгун, а Джордж Крукхилл тут ни при чем. То же самое подтвердил и фермер Джолис, вскоре прибывший на место происшествия. Поскольку Джордж ограбил грабителя, приговор ему вынесли сравнительно мягкий, а дезертира из драгунского полка так и не нашли. Двойное переодевание помогло ему удрать. Впрочем, лошадь Джорджа он бросил, проехав всего несколько миль: увидел, наверно, что ехать на такой кляче труднее, чем идти пешком.

Сомнительные личности Лонгпаддла и темные их происхождения, по-видимому, интересовали мистера Лэкленда гораздо меньше, чем обыкновенные люди и повседневные события, хотя его попутчики и предпочитали повествовать о первых. Под конец он осведомился — в первый раз за всю беседу — о некоторых молодых особах прекрасного пола, вернее, о тех, которые были молоды, когда он покинул родную деревню. Его собеседники, по-прежнему придерживаясь той точки зрения, что из ряда вон выходящее заслуживает больше внимания, нежели обыденное, не позволили ему остановиться на бесхитростных историях тех женщин, которые прожили жизнь тихо и незаметно. Они спросили его, помнит ли он Нетти Сарджент.

— Нетти Сарджент — да, кажется, припоминаю. Это та девушка, что жила вместе с дядей в крайнем доме около рощи, если меня не обманывают воспоминания детства.

— Она самая. Ну, это, я вам скажу, сэр, была девица! Не то чтобы за ней какой грех водился, но никогда нельзя было угадать, что она выкинет. Надо ему рассказать, как она продлила аренду на свой дом, а, мистер Дей?

— Надо, — подтвердил непризнанный миром старый художник.

— Вот вы и расскажите. У вас это поскладнее выйдет, чем у кого другого, да и законы вы лучше знаете.

— Пожалуй, — сказал мистер Дэй и начал:

ХИТРОСТЬ НЕТТИ САРДЖЕНТ

— Так вот она и жила с дядей в доме, что стоит на отшибе у рощи. Девица она была статная и бойкая. Как сейчас помню: волосы у нее были черные, глаза быстрые, задорные, а когда, бывало, захочет поддразнить, сделает эдакую лукавую гримаску! Парни начали за ней бегать, чуть только она успела вырасти из коротеньких платьиц, а потом появился и жених, Джаспер Клифф — вы его, наверно, не знали, — и хотя она могла бы найти себе и получше, но до того он ей пришелся по сердцу, что, кроме него, Нетти и знать никого не хотела. А он был парень себе на уме, и во всяком деле больше всего заботился о собственной выгоде. На языке-то у него, может, была одна Нетти, а в мыслях он держал домик ее дяди, хотя не скажу, чтобы он ее по-своему не любил.

Дом этот, построенный ее прапрадедом, вместе с садом и участком пашни уже несколько поколений находился в пользовании их семьи на правах копигольда; в арендный договор, по старинному обычаю, включалось несколько имен и он считался действительным до смерти последнего из поименованных. Дядя Нетти как раз и был таким последним, и если бы он не возобновил договор, распространив его на своих наследников, после его смерти дом переходил в руки владельца поместья. Но продлить аренду было проще простого: всего только и требовалось, что уплатить несколько фунтов пени и заключить новый договор, — и сквайр никак не мог этому помешать.

Казалось бы, чего лучше — оставить племяннице и единственной родственнице верную крышу над головой, и старику Сардженту давно следовало бы побеспокоиться о продлении аренды, раз уж такой был порядок, что с его смертью все пропало, если не уплатить пени; вдобавок сквайр только о том и думал, как бы забрать обратно дом и землю, и говорил себе каждое воскресенье, когда старик проходил мимо его скамьи в церкви: «Ага, и ноги у него дрожат больше прежнего, и спина еще больше согнулась, а об аренде все еще не заикался — ха! ха! ха! Скоро я очищу этот угол поместья от всяких там копигольдеров!»

Сейчас подумать — так просто непонятно, чего старик дождался, но уж такой это был человек: все собирался с недели на неделю пойти к управляющему сквайра и все откладывал: дескать, в следующий базарный день авось буду посвободней. Надо сказать, что тут была и еще одна загвоздка: старик недолюбливал Джаспера Клиффа, а тот все наседавал на Нетти, заставляя ее наседать на дядю: вот старик нарочно и тянул с этим делом, чтобы досадить корыстолюбивому жениху. В конце концов старик Сарджент захворал, и тут уж Джаспер вышел из терпения: он сам принес деньги на уплату пени, отдал их Нетти и заявил ей без обиняков:

— Не пойму, о чем только вы с ним думаете! Вот деньги,

и не отступайся от него, пока он все не сделает. А если упустишь дом и усадьбу, провалиться мне на этом месте, если я на тебе женюсь! Такая дура не стоит, чтоб на ней женились.

Девушка очень расстроилась и, придя домой, сказала дяде, что если у нее не будет дома, то не будет и мужа. Старый Сарджент денег не взял, еще и посмеялся — сумма-то была пустяковая, но, видя, что племяннице втемяшилось выйти замуж за Джаспера и что ее все равно не отговоришь, только сделаешь несчастной, взялся наконец за дело. Узнав про это, сквайр ужасно разозлился, но поделаться ничего не мог, и был составлен новый договор (в этом поместье копигольдер получал бумагу на владение, хотя в других местах такого порядка заведено не было). Старик Сарджент так ослаб за время болезни, что не мог уже пойти к управляющему, и договорились, что тот сам принесет ему подписанный сквайром документ и по получении денег отдаст его Сардженту, а тот подпишет копию, которая останется у сквайра.

Управляющий обещал прийти в пять часов. Часа за два до назначенного срока Нетти достала приготовленные деньги и только хотела положить их в стол, чтобы они были под рукой, как вдруг услышала за спиной слабый крик, обернулась и увидела, что старик как-то осел в кресле, уткнувшись головой себе в колени. Она бросилась его поднимать, но он был без сознания и никак не приходил в себя. Не помогли ни лекарства, ни виски. Доктор предупреждал Нетти, что старик может умереть внезапно, и похоже было на то, что это конец. Нетти собралась было бежать за врачом, но лицо старика уже побледнело, а руки похолодели, и она поняла, что звать кого-нибудь бесполезно. Он был мертв.

Сообразив, чем ей это грозит, Нетти совсем растерялась. Дом, сад, поле — все пропало, и теперь у нее с мужем не будет собственного угла. Она не думала, что Джаспер способен выполнить угрозу, брошенную сгоряча, но все-таки ей стало страшно. Ну что бы дяде пожить еще два часочка! Шел четвертый час; управляющий должен был прийти в пять, и, если бы все обошлось благополучно, в десять минут шестого дом и усадьба были бы закреплены за ней и Джаспером до самой их смерти, так как оба они значились в новом договоре. А уж как этот бессовестный сквайр обрадуется, что заполучил домик! И добро бы он был ему действительно нужен, а то ведь просто старику стоят поперек горла все эти домишки, участки, усадьбы — независимые островки в обширном океане его владений.

И вдруг Нетти осенила мысль, как сохранить дом, несмотря на дядину непредусмотрительность. Пасмурный декабрьский день клонился к вечеру, и первым делом — так мне рассказывали, а зачем бы людям врать...

(— Верно, так оно и было, — подтвердил Кристофер Туинк, — я как раз в это время там проходил.)

...первым делом она заперла наружную дверь, чтобы никто ей

не помешал. Потом передвинула дядин дубовый столик к камину, подошла к креслу, где все еще сидел покойник — это было, как мне говорили, довольно высокое мягкое кресло на колесиках, — и подкатила его вместе с дядей к столику. Повернув кресло так, чтоб старик сидел спиной к окну, вроде бы нагнувшись над столиком — а столик этот я с детства помню не хуже, чем любую вещь в собственном доме, — Нетти раскрыла перед дядей большую семейную библию и положила его руку на страницу, как будто он водил по ней пальцем. Потом приоткрыла ему глаза и надела на нос очки, так что если посмотреть со спины — сидит себе старик и читает Священное писание. После этого она отперла дверь и села ждать управляющего, а когда стемнело, зажгла свечу и поставила ее на стол рядом с библией.

Можете себе представить, каково было Нетти сидеть там и дожидаться, когда она услышала стук в дверь, у нее сердце чуть из груди не выскочило — так, по крайней мере, мне рассказывали. Отворила она управляющему и говорит, понизив голос:

— Вы уж извините нас, сэр, но дяде сегодня нездоровится, и, боюсь, он не сможет с вами разговаривать.

— Вот тебе раз! — сказал управляющий. — Что ж, выходит, я зря тащился в такую даль из-за этого пустячного дела!

— Что вы, сэр, почему зря? — говорит Нетти. — Разве нельзя сделать это без него?

— Разумеется, нельзя! Он должен уплатить деньги и подписать документ в моем присутствии.

Нетти задумалась.

— Дядя ужас как боится всяких таких дел, вот почему он и тянул так долго. А сегодня я прямо испугалась, как бы он не помешался со страху. Когда я ему сказала, что вы скоро придете с документами, он, бедный, так и застучал последними зубами. Он всегда побаивался разных агентов и сборщиков налогов.

— Бедняга! Но тут уж ничего не поделаешь — я должен его видеть и засвидетельствовать его подпись.

— А что, если мы сделаем так, сэр, чтобы вы видели, как он подписывает, а он бы об этом не знал? Я его успокою, скажу, что вы разрешили сделать не по всей форме и подождете на улице. Ведь если вы увидите, как он подпишет, этого будет достаточно, правда? Он такой больной слабый старик, сэр, и если бы вы были так добры...

— Если я увижу, как он подпишет, этого, конечно, достаточно — больше мне ничего и не надо. Но как же сделать, чтобы я его видел, а он меня нет?

— А вот как, сэр. Пойдемте, пожалуйста, вон туда.

Нетти отвела его на несколько шагов в сторону, и они оказались под окнами дядиной комнаты. Она нарочно не опустила штор, и свет из окна падал на кусты сада. В дальнем

конце комнаты виднелась фигура старика, сидящего, как Нетти его посадила, в кресле, с очками на носу перед книгой, освещенной свечой, управляющий видел его затылок вполоборота, плечи и одну руку.

— Видите, сэр, он читает библию,— говорит Нетти самым кротким голоском.

— Вижу. А я думал, что он не очень-то набобен.

— Нет, библию он читать любит,— заверила его Нетти.— Но сейчас он, кажется, задремал над ней. Оно и понятно — человек он старый, да к тому же еще и болен. Отсюда вам будет видно, как он подпишет, сэр. Уж сделайте поблажку больному.

— Хорошо,— сказал управляющий, закуривая сигарету.— Надо полагать, вы приготовили ту незначительную сумму, которую вам полагается уплатить за возобновление договора?

— Конечно,— ответила Нетти.— Сейчас принесу.

Она вынесла ему деньги, завернутые в бумажку, управляющий их пересчитал и, вынув из нагрудного кармана драгоценные документы, отдал ей тот, который нужно было подписать.

— У дяди немного парализована рука,— добавила Нетти.— Не знаю, какая уж у него получится подпись, да еще со сна.

— Это не имеет значения,— была бы подпись.

— А мне можно поддержать его руку?

— Пожалуйста, моя милая, можете поддержать его руку — это не играет роли.

Нетти вернулась в дом, а управляющий остался курить в саду. Теперь для Нетти начиналось самое трудное. Управляющий, глядя в окно, видел, как она поставила перед дядей чернилицу, то есть чернильницу,— никак не отучусь называть ее по-старому,— и, тронув его за локоть словно для того, чтобы его разбудить, что-то сказала и положила перед ним бумагу, показав, где надо подписывать, она обмакнула перо и вложила ему в руку. Подвинувшись, чтобы помочь ему держать перо, она так ловко стала, что управляющему были видны только часть головы старика и рука: и он увидел, как эта рука вывела подпись. После этого Нетти тотчас же вынесла управляющему документ, и при свете, падающем из окна, он подписался, как свидетель. Затем он вручил ей договор, подписанный сквайром, и ушел; а на следующее утро Нетти сказала соседям, что ее дядя умер ночью в постели.

— Значит, она раздела его и уложила в постель?

— Значит, так. Эта девица была не из трусливого десятка. Вот так она и вернула себе дом и усадьбу, которые, собственно говоря, уже были для нее потеряны, а заполучив их, заполучила и мужа.

Говорят, всякая добродетель вознаграждается, Нетти тоже была вознаграждена за хитрую свою уловку, с помощью которой добыла себе Джаспера. На третьем году супружества он



начал ее поколачивать — не сильно, а так, отвесит иногда оплеуху, со злости Нетти рассказала соседям, что она для него сделала и как теперь в этом раскаивается. Когда умер старый сквайр и во владение вступил его сын, по деревне пополз слухок об этой истории. Но Нетти была приятная молодая бабенка, а сын сквайра — приятный молодой человек и, в отличие от отца, ничего не имел против мелких арендаторов, так что дела поднимать он не стал.

После этого рассказа все приумолкли, а вскоре фургон спустился с холма, за которым начиналась длинная, беспорядочно разбросанная в долине деревня. Когда они въехали на улицу, пассажиры начали один за другим слезать около своих домов. Прибыв в гостиницу и договорившись о ночлеге, мистер Лэклэнд слегка закусил и пошел осматривать места, так хорошо знакомые ему с далекого детства. Взошла луна, озаряя все вокруг, и все же он не находил в знакомых предметах той прелести, какой наделял их в своем воображении, когда находился от них за две тысячи миль. Человека совершенно постороннего наверняка пленила бы эта старая деревня — уголок старой страны, он подпал бы под власть ее своеобразного очарования, но для мистера Лэклэнда оно снижалось преувеличенными ожиданиями, которые породила в нем память детских лет. Он шел по улице, поглядывая то на какую-нибудь печную трубу, то на обветшалую каменную стену, наконец он очутился возле кладбища и вошел за ограду.

При ярком лунном свете нетрудно было разобрать надписи на могильных плитах, и Лэкленд впервые почувствовал себя среди своих. Так вот где они все, кого он оставил в деревне тридцать пять лет тому назад,— Сэллеты, Дарты, Пауэлы, Прайветты, Сардженты, о которых он только что слышал, а вот и другие, еще более знакомые имена: Джиксы, Кроссы, Найты, Олды. Несомненно, члены их семей, а может быть, и кое-кто из тех, кого он знал, еще живы, но для него все они будут незнакомыми людьми. Он думал, что сразу обретет здесь корни, что-то родное, к чему можно прилепиться сердцем, но теперь понял, что, если поселится здесь, ему придется заново налаживать связи с людьми, как будто он приехал сюда впервые. Время и жизнь не захотели ждать, пока он надумает вернуться домой.

Еще несколько дней Лэкленда видели то в гостинице, то на деревенской улице, то на окрестных полях и дорогах, потом он тихо, как призрак, исчез. Кому-то из деревенских он сказал, что в этот приезд хотел только посмотреть на знакомые места и поговорить с жителями,— это он и сделал, что же касается его намерения поселиться в деревне и провести здесь остаток своих дней, оно, по-видимому, никогда не осуществится. С тех пор прошло уже лет двенадцать — пятнадцать, но в деревне он больше так и не появлялся.

МОГИЛА НА РАСПУТЬЕ

Всякий раз, проезжая через Чок-Ньютон, гляжу я на ближнее взгорье, туда, где проселок сходится с пустынной прямоежей дорогой, что размежевывает два соседних прихода, гляжу, и тотчас припоминается мне событие, происшедшее некогда в этих местах; и, хотя теперь, быть может, незачем лишний раз возмущать покой прошлого, все же то, что случилось здесь, достойно внимания.

Был темный, но на редкость сухой и теплый рождественский вечер (как рассказывали потом Уильям Дюи из Меллстока, Майкл Мэйл и другие), когда хор из большого прихода на полпути между городками Айвел и Кэстербридж — Чок-Ньютона, где теперь железнодорожная станция — как раз перед полночью собрался на улице, чтобы исполнить под окнами односельчан рождественские гимны. Эта группа музыкантов и певцов была одной из самых больших в графстве, и не в пример маленькому меллстокскому оркестру, где музыканты, более строго придерживаясь традиции, признавали лишь струнную музыку, чок-ньютонцы на больших воскресных службах выступали с медными и деревянными инструментами и занимали в церкви всю западную галерею.

В тот рождественский вечер было у них две или три скрипки, две виолончели, альт, контрабас, гобой, кларнеты, серпент и семеро певчих. Но для нас интересно не то, чем занимались в этот сочельник музыканты, а то, что им довелось увидеть.

Уже много лет ходили они на святках петь гимны, и ничего особенного с ними не приключалось, но говорят, что в тот вечер двое или трое старейших музыкантов с самого начала были в каком-то особенно торжественном и задумчивом настроении, словно ожидали они, что к ним присоединятся призраки прежних друзей, тех, которые теперь навеки успокоились на погосте, под оседающими холмиками, а встарь частенько певали в чок-ньютонском хоре и в музыке понимали побольше

нынешних; или же что из окна какой-нибудь спальни, вместо хорошо знакомого лица ныне здравствующей соседки, покажется чей-то легкий, призрачный силуэт и давно умолкнувший голос поблагодарит их за новогоднее поздравление. Впрочем, так обстояло дело только со стариками, а молодежь, как всегда, была весела и беззаботна. Когда сошлись они, как было условлено, посреди деревни, у каменного креста перед трактиром «Белая лошадь», кто-то сказал, что время-то ведь еще раннее, полночь не пробило. В прежние времена те, кто Христа славил, не начинали петь, прежде чем рождество не наступит по всем законам астрономии, а идти в трактир допивать пиво музыкантам тоже не хотелось; вот они и решили начать с дальних дворов у дороги на Сидлинч, где люди часов не имели, а потому не могли знать, настала уже полночь или еще нет. Рассудив так, они направились в сторону Сидлинча, а когда вышли на склон, то за домами, вдали на дороге, увидели огонек.

От Чок-Ньютона до Брод Сидлинча около двух миль, и на полпути проселок, поднявшись на взгорье, разделяющее эти деревни, как уже сказано, пересекает под прямым углом длинную, унылую дорогу, которая называется Лонг-Эш-Лэйн и не раз уже упоминалась в наших рассказах,— прямая, как межа у хорошего землемера, она была проложена еще римлянами и тянется на много миль к северу и к югу от этого места. Теперь она заброшена и поросла травой, но в начале нынешнего столетия здесь ездили часто, и дорога содержалась в порядке. Огонек мерцал на самом распутье.

— Кажется, я знаю, в чем тут дело,— сказал один из музыкантов.

С минуту они помедлили, толкуя между собой, не связаны ли в самом деле этот огонек с тем случаем, о котором все они уже слышали, потом решили подойти ближе.

Взобравшись на взгорье, они увидели, что не ошиблись в своих догадках. Справа и слева от них тянулась Лонг-Эш-Лэйн, а у перекрестка, к которому с четырех сторон сходились дороги, подле столба была вырыта могила, и, как раз когда музыканты подошли, четверо парней из Сидлинча, иногда нанимавшиеся на такую работу, сбросили в яму мертвое тело. Рядом стояла лошадь, запряженная в телегу, на которой привезли труп.

Чок-ньютонские музыканты молча постояли на месте, а парни тем временем засыпали яму доверху, утоптали землю, потом побросали лопаты в телегу и собрались уходить.

— Кого это вы тут схоронили? — громко спросил Лот Свонхиллс.— Уж не сержанта ли?

Парни из Сидлинча были так поглощены своим делом, что теперь только заметили фонари чок-ньютонских музыкантов.

— А?.. Погоди-ка, вы не из Ньютона, те, что Христа славить ходят? — в свою очередь спросили могильщики.

— Мы самые. Так, значит, вы схоронили здесь старого сержанта Холвея?

— Да, его. Вы, стало быть, слышали про это?

Музыканты сказали, что не знают подробностей, — слышали только, что сержант застрелился у себя в кладовке в прошлое воскресенье.

— А с чего это он — никому не известно. По крайней мере, у нас, в Чок-Ньютоне, — продолжал Лот.

— Теперь уж известно. Все открылось на дознании.

Музыканты подошли ближе, и сидлинчские могильщики, присев отдохнуть после работы, рассказали им, как было дело.

— Все из-за сына. Не пережил бедный старик такого горя.

— Сын-то у него, помнится, в солдатах? Теперь он с полком в Индии, так, что ли?

— Ну да. А нашим солдатам там тяжеленько пришлось. Зря отец уговорил его пойти в армию. Но и Люку не след было попрекать родителя, ведь тот ему добра желал.

Короче говоря, дело было вот как. Старик, столь печально окончивший свои дни, отец молодого солдата, служившего в Индии, сам был раньше военным, и служба пришлась ему по душе, но он вышел в отставку задолго до начала войны с Францией. Вернувшись в родную деревню, он женился и зажил тихой семейной жизнью. Все же, когда Англия вступила в войну, он очень горевал оттого, что старческая немощь не позволяет ему вновь взяться за оружие. Единственный сын сержанта тем временем вырос, и пора было ему определить свое место в жизни; юноша хотел изучить какое-нибудь ремесло, но отец горячо убеждал его поступить на военную службу.

— Ремеслом теперь не расчет заниматься, — говорил он. — Ежели война с французом не скоро кончится — а по-моему, так оно и будет, — то от ремесла и вовсе проку не жди. Армия, Люк, — вот где твое место. В армии я человеком стал, и тебе того же желаю. Только тебе еще легче будет выдвинуться, времена теперь такие, горячие.

Это не очень-то понравилось Люку, ведь был он юноша тихий и большой домосед. Однако отцу он верил и, наконец сдавшись на его уговоры, поступил в ***скую пехотную часть. Через несколько недель он был назначен в полк, уже отличившийся в Индии под командованием генерала Уэллесли.

Но Люку не посчастливилось. Сперва на родину стороной дошли вести, что он занемог, а совсем недавно, когда старый сержант вышел на прогулку, кто-то сказал ему, что в Кэстербридже лежит письмо на его имя. Сержант послал нарочного, тот съездил в город за девять миль, уплатил сколько следует на почте и привез пакет, — старик надеялся полу-

чить известие от Люка, и в этом не ошибся, но такого письма он не ожидал никак.

Люк, видно, писал его в очень мрачном состоянии духа. Он жаловался, что жить ему стало неважно, и горько упрекал отца за совет посвятить себя делу, к которому у него совсем душа не лежала. А теперь он и славы не стяжал, и горя хлебнул, служа целям, которых не понимает и знать не хочет. Если бы не злополучный отцовский совет, он, Люк, спокойно занимался бы каким-нибудь ремеслом в родной деревне и по своей воле никогда бы ее не покинул.

Прочитав письмо, сержант ушел подальше от чужих глаз и присел на скамью у дороги.

Когда полчаса спустя он встал со скамьи, вид у него был убитый и жалкий, и с той поры старик совсем пал духом. Уязвленный в самое сердце попреками сына, он стал запивать. Жил он один-одинешенек в домике, доставшемся ему от жены, которая умерла за несколько лет перед этим. Однажды утром, незадолго до рождества, в доме сержанта грянул выстрел, и подоспевшие соседи нашли старика уже при смерти. Он застрелился из старинного кремневого ружья, которым, бывало, пугал птиц; судя по тому, что от него слышали накануне, а также по распоряжениям, сделанным им на случай смерти, это был заранее обдуманый поступок, на который его толкнуло отчаяние, вызванное письмом сына. Присяжные вынесли вердикт о самоубийстве.

— Вот и письмо,— сказал один из могильщиков.— Его нашли в кармане покойника. Сразу видать, не один раз он его читал да перечитывал. Ну, да на все воля божья.

Яма была уже засыпана, землю разровняли, даже могильного холмика не осталось. Парни из Сидлинча пожелали нью-тонским музыкантам доброй ночи и ушли, забрав лошадь с телегой, в которой привезли мертвеца. Вскоре шаги их затихли вдаль, и лишь ветер равнодушно свистел над одинокой могилой, тогда Лот Свонхиллс повернулся к старому гобоисту Ричарду Теллеру.

— Слышь, Ричард, не годится эдак поступать с человеком, да еще со старым солдатом. Конечно, не бог весть какой вояка был этот сержант. А все ж надобно о спасении его души подумать, так, что ли?

Ричард ответил, что совершенно с этим согласен.

— А не спеть ли нам гимн над могилой, нынче ведь рождество, а спешить нам некуда, и всего дела-то на десять минут, и кругом пусто. Никто не запретит нам, да и не узнает.

Лот одобрительно кивнул.

— О всякой душе подумать надобно,— повторил он.

— Теперь хоть пой, хоть плюнь на его могилу — покойнику все одно, он теперь далече,— вмешался кларнетист Ноттон, самый отъявленный скептик в хоре.— Но коли все остальные согласны, то и я не прочь.

Они стали полукругом у свежей могилы и огласили ночной воздух гимном, который числился у них под номером шестнадцатым и был избран Лотом как наиболее приличествующий случаю и обстановке:

Грядет спаси-тель бед-ных душ,
И дья-вол пос-рам-лен.

— Чудно́ как-то петь это не живому, а покойнику,— промолвил Эзра Кэттсток, когда, закончив последнюю строфу, они в раздумье медлили у могилы.— Но все же милосерднее, чем просто уйти, как эти парни.

— А теперь — обратно, в Ньютон, пока доберемся до усадьбы пастора, будет уже полпервого,— сказал старший в хоре.

Но едва успели они уложить свои инструменты в футляры, как ветер донес до них стук экипажа, быстро катившего с той же стороны, куда незадолго перед тем удалились могильщики. Чтобы не попасть под колеса на узком проселке, музыканты решили подождать у перекрестка, пока ночной путник проедет мимо.

Через минуту в свете их фонарей показался наемный экипаж со взмыленной лошадей. Когда экипаж поравнялся с указательным столбом, чей-то голос крикнул: «Стой!» Кучер натянул поводья, дверца распахнулась, и на дорогу выпрыгнул солдат в форме одного из линейных полков. Солдат огляделся, и при виде музыкантов на лице его изобразилось удивление.

— Вы сейчас хоронили здесь покойника? — спросил он.

— Нет, мы не из Сидлинча, благодарение богу; мы ньютонский хор. А что здесь сейчас схоронили человека — так это верно; и мы пропели рождественский гимн над бренными его останками... Но кого это я вижу... Молодой Люк Холвей, тот, что воевал в Индии? Или ты его дух, явившийся прямо с поля брани? Выходит, ты и есть сын старика, ты и письмо написал...

— Не спрашивай... не спрашивай меня. Так, значит, погребение окончено?

— Настоящего-то погребения и не было, такого, как положено по христианскому обряду. Но его зарыли, это правда. Тебе, верно, попались по дороге четверо с пустой телегой?

— В канаве, как собаку, и все по моей вине!

Солдат молча постоял над могилой, и музыканты невольно прониклись жалостью к нему.

— Друзья мои,— вымолвил он наконец.— Теперь я, кажется, понимаю. Вы из сострадания спели ему гимн вместо заупокойной молитвы. Благодарю от всего сердца за вашу доброту. Да, я несчастный сын сержанта Ховея, я сын, который повинен в смерти отца не меньше, чем если бы убил его собственной рукой.

— Полно, полно. Не говори так. Он и без твоего письма все тосковал последнее время, мы сами слышали от людей.

— Когда я написал ему, мы были в Индии. Все обернулось против меня. А только я отправил письмо, мы получили приказ вернуться в Англию. Вот почему я сейчас здесь, перед вами. Когда мы добрались до кэстербриджских казарм, я узнал обо всем... покарай меня бог! Я поступлю, как отец, я тоже убью себя. Больше мне ничего не остается.

— Не делай глупостей, Люк Холвей, еще раз тебе говорю, подумай лучше о том, как всей своей жизнью искупить вину. И, может статься, отец твой, глядя на тебя, еще улыбнется с небес.

Люк покачал головой.

— Что-то не верится,— сказал он с горечью.

— Ты постарайся стать таким же хорошим человеком, как твой отец. Еще не поздно.

— Вы так считаете? А я боюсь, что поздно... Но я подумаю. Спасибо за добрый совет. Одна цель в жизни у меня, во всяком случае, есть. Я перенесу тело отца на пристойное христианское кладбище, даже если мне придется сделать это собственными руками. Не в моих силах вернуть ему жизнь, так пусть хоть могила у него будет не хуже, чем у людей. Он не должен лежать на этом презренном месте.

— Вот и пастор наш тоже говорит, что у вас в Сидлинче варварский обычай, и надобно с ним покончить. А тут как-никак старый солдат... Наш пастор, скажу я тебе, не вашему чета.

— Он называет это варварством, да? О, как он прав! — вскричал молодой человек.— А теперь послушайте, друзья.

И Люк завел речь о том, что будет обязан им по гроб жизни, если они согласятся тайно перенести тело самоубийцы на кладбище, но не в Сидлинч, который отныне ему ненавистен, а в Чок-Ньютон. За это он готов отдать все, что имеет.

Люк осведомился, какого мнения на этот счет Эзра Кэттсток.

Кэттсток, виолончелист и одновременно церковный причетник, сказал после минуты раздумья, что молодому человеку следует самому потолковать с пастором.

— Может, он и не станет противиться. Сидлинчский пастор нравом крут, скажу я тебе, и рассуждает он так: ежели человек в сердцах порешил себя, так поделом же ему. А наш пастор — тот совсем других мыслей, глядишь, он и позволит.

— Как его зовут?

— Достопочтенный и преподобный мистер Олдхэм, брат самого лорда Уэссекса. Да ты не робей, это ничего. Обращение у него простое, ежели только ты не нализался так, что от тебя винным духом разит.

— А, тот же пастор, что и раньше. Я схожу к нему. Спасибо. А когда я исполню свой долг...

— Что ж тогда?

— В Испании война. Говорят, наш полк будет туда переброшен. Не пожалею себя, лишь бы стать таким, каким хотел меня видеть отец. Не знаю, чем это кончится, но сделаю все, что в моих силах. Клянусь в этом здесь, над его могилой. Да поможет мне бог.

Люк хлопнул ладонью по столбу с такой силой, что указатель закачался.

— Да, в Испании дерутся: вот случай показать себя.

Тем дело пока и кончилось. Но вскоре стало известно, что по крайней мере в одном солдат сдержал свою клятву, ибо на святках пастор, увидав Кэттстока на кладбище, велел ему подыскать подходящее местечко для останков сержанта, причем заметил, что знавал покойного и не припомнит такого закона, который запрещал бы переносить прах. Но, не желая, чтобы про него говорили, будто он сделал это с целью досадить своему сидлинчскому коллеге, он предупредил Кэттстока, что этот акт милосердия следует совершить ночью и по возможности тайно, а могилу нужно вырыть в дальнем конце кладбища.

— Повидайтесь сегодня же с молодым Холвеем,— добавил пастор.

Но прежде чем Эзра успел что-либо предпринять, Люк сам пришел к нему на дом. Оказалось, что, ввиду нового оборота событий на Пиренейском полуострове, отпуск Люку сократили, и он обязан немедленно вернуться в полк, а потому просит своих новых друзей, чтобы они сами выкопали и снова погребли тело. Все расходы он оплатил заранее и умолял Эзру сделать все как можно скорее.

С тем Люк и уехал. А на другой день Эзра, подумав немного, снова явился к пастору, обуреваемый сомнениями. Он вспомнил, что сержант похоронен без гроба, и, как знать, может быть, ему даже кол забили в сердце. Дело предстояло куда более хлопотное, чем казалось на первый взгляд.

— Мм-да,— пробормотал пастор.— Право, не знаю, как нам и быть.

Вслед за тем из ближнего городка прибыл надгробный камень, который возчику было велено доставить в дом мистера Эзры Кэттстока, все расходы были оплачены. Причетник и возчик вдвоем перенесли надгробье в сарай, а когда Эзра остался один, он надел очки и прочитал краткую и бесхитростную надпись:

*Здесь покоится прах
сержанта ***ского пехотного Его Величества полка
Самуэля Холвея,
почившего в бозе декабря двадцатого дня 180... года.
От Л. Х.*

«Я недостойн называться твоим сыном».

Эзра снова отправился к пастору, в его усадьбу на берегу реки.

— Надгробье привезли, сэр. А только боюсь, никак не обладать нам это дело.

— Хотелось бы услужить ему,— сказал пастор.— Я бы и платы за погребение никакой не взял. Но раз вы и ваши товарищи не беретесь это сделать, не знаю уж, что вам сказать.

— Да видите ли, сэр, я порасспросил сидлинчских могильщиков, тех, что хоронили сержанта, и, как я думал, так все и есть. Они загнали в него шестифутовый кол — из загородки выдернули на овечьем выгоне. Вот и подумаешь, стоит ли браться за это дело, больно уж оно хлопотливое.

— Есть какие-нибудь известия о молодом Холвее?

Эзра слышал лишь, что сын сержанта на днях отплыл в Испанию с последним батальоном своего полка.

— И ежели он и впрямь в такой отчаянности, как мне показалось, ему уж не вернуться в Англию.

— Да, затруднительный случай,— промолвил пастор.

Эзра обо всем рассказал своим друзьям, и тогда один из них предложил поставить надгробный камень на распутье. Но все сказали, что это не годится. Другой советовал установить камень на кладбище, а покойник пусть лежит на прежнем месте, но все решили, что это бесчестно. В результате все осталось как было.

Надгробье долго лежало в сарае у причетника, пока Эзра это не надоело и он не перетащил его в дальний, заросший кустами конец сада. Время от времени кто-нибудь заводил речь об этом камне, но разговор неизменно кончался так: «Ежели вспомнить, как он был похоронен, так нечего нам и трудиться зря».

Втайне они были уверены, что Люк не вернется, и слухи о неудачах, постигших английскую армию в Испании, еще больше подкрепляли эту уверенность. А потому далее разговоров дело не шло. Камень весь оброс плесенью, валяясь под кустами в саду у Эзры, а потом ветер повалил одно из прибрежных деревьев, и оно раскололо камень на три куска. Со временем и эти остатки занесло опавшей листвой и мусором.

Люк не был уроженцем Чок-Ньютона, а в Сидлинче у него не осталось родных, и всю войну о нем не доходило сюда никаких вестей. Но после Ватерлоо и падения Наполеона появился в Сидлинче ротный старшина со множеством нашивок, как оказалось,— прославленный герой. Служба на чужбине так изменила Люка Холвэя, что, только когда он назвался, односельчане признали в нем единственного сына старого сержанта.

Всю Пиренейскую кампанию он верой и правдой служил под командованием Веллингтона, сражался при Бусако, Фуэнтес д'Оноре, Сьюдад-Родриго, Бадахосе, Саламанке, Витории, Катр-Бра и Ватерлоо, а теперь вышел на пенсию, доставшуюся ему столь дорогой ценой, и приехал отдохнуть в родные края.

В Сидлинче он задержался не долее, чем нужно, чтобы перекусить с дороги. В тот же вечер он пошел в Чок-Ньютон пешком через взгорье, мимо указательного столба, и при виде знакомого места промолвил: «Благодарение богу, он не здесь». Близился вечер, когда Люк добрался до Ньютона, но он пошел прямо на кладбище. В сумерках могильные камни были еще видны, и он стал пристально их разглядывать. Но хотя Люк осмотрел всю ближнюю часть кладбища у дороги и всю дальнюю над рекой, он не нашел того, что искал,— могилы сержанта Холвея и надгробья с надписью: «Я не достоин называться твоим сыном».

Он ушел с кладбища и стал расспрашивать местных жителей. Старый пастор давно умер, многие из хора тоже, но мало-помалу старшина доведалься, что отец его все еще лежит на распутии у Лонг-Эш-Лэйн.

Опечаленный, Люк побрел было назад обычным путем, но ему пришлось бы снова пройти мимо столба, потому что другой дороги из Ньютона в Сидлинч не было. А он теперь видеть не мог этого места, в ушах его неотступно звучал укориженный голос отца, поэтому он перелез через изгородь и пошел кривопутком, по вспаханным полям. Не раз среди ратных трудов поддержкой ему была мысль о том, что он возрождает честь семьи и искупает свою вину. И что же — оказывается, отец его, как и прежде, лежит в своей позорной могиле. Разумеется, Люк напрасно вообразил, будто только он один виноват в смерти отца, но Люку с его большой совестью казалось теперь, что все старания восстановить свое доброе имя и умиловить тень оскорбленного отца пошли прахом.

Все же он попытался взять себя в руки и, покинув ненавистный Сидлинч, арендовал в Чок-Ньютоне небольшой, долгое время пустовавший, домик. Там он и жил в полном одиночестве, и ни одна женщина не переступала его порога.

Подшло рождество — первое после возвращения старшины на родину. Вечером в сочельник Люк сидел один у очага, как вдруг послышалось далекое пение, а немного погодя голоса зазвучали уже под самым его окном. Это пришел хор славить Христа, и хотя многие из старых музыкантов, в том числе Эзра и Лот, уже почили навеки, все те же старые гимны исполнялись по тем же старым книгам. Сквозь ставни в дом старшины донеслась знакомая рождественская песнь, которую прежний хор пропел когда-то над могилой его отца:

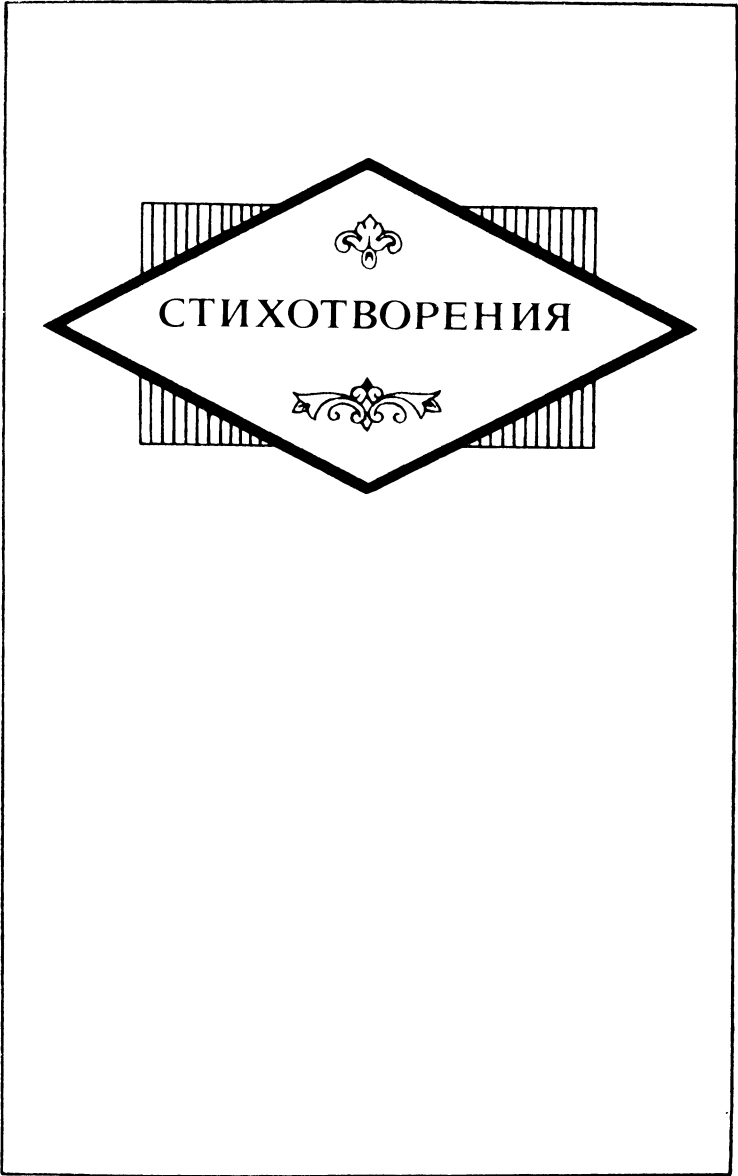
Грядет спаси-тель бед-ных душ,
И дья-вол пос-рам-лен.

Кончив петь, они ушли к другому дому, оставив Люка в безмолвии и одиночестве. Свеча оплыла, но он не пошевелился, пока она не затрещала и не стала меркнуть, колебля на потолке неверные тени.

Наутро рождественское веселье было прервано трагической

вестью, которая мигом облетела всю деревню. На распутье, где был похоронен старый сержант, нашли старшину Холвея,— он прострелил себе голову.

Дома на столе он оставил записку, в которой просил похоронить его у дороги, рядом с отцом. Но записку кто-то нечаянно смахнул на пол, и ее нашли только после погребения, которое было совершено обычным порядком на кладбище.



СТИХОТВОРЕНИЯ

УЭССЕКСКИЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ

НА ПОХОРОНАХ

Плелись за гробом как во сне.
Никто не глянул на меня:
Я шла поодаль, в стороне,
Любимая, а не родня.

Как ночь был черен их наряд —
Я вышла, платья не сменя.
Был бесконечно пуст их взгляд —
Огнем сжигала скорбь меня.

НЕВЕРУЮЩИЙ

(На службе в кафедральном соборе)

Быть среди верующих тенью,
Персоной нежеланной,
Считать их веру, их виденья
Фантазией туманной,
Рожденной силой убежденья —
Таков удел мой странный.

За что навеки обречен
Я жить с душевной раной?
За что средь зрячих я рожден
Слепой и бесталанный?
За что их радостей лишен? —
Твержу я постоянно.

Но если я не их породы,
Всевышним осиянной,
И если нет во мне свободы,
Моим собратьям данной,
Пускай в них милосердья всходы
Взрастят мои изъяны.

Я с человеком схож, который
Стоит средь люда, рьяно
Кричащего: «Вон там просторы!
Там волны океана!»
Но видит сам лишь сумрак бора,
Нависший над поляной.
Мне б, недостойному, смириться
С судьбой, но постоянно
Я слышу: «Он в душе стремится
Сберечь свои изъяны!»

Мне что же — как подбитой птице,
Не взмыть в простор желанный?
Довольно! Нас, кто так томится,
Ждет отдых долгожданный!

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Лицо с увядшей кожей
Отражено в стекле.
Устало сердце, о Боже!
Мне тяжело на земле.

Холодным неучастьем
Не тяготят сердца.
Одна, в смиренье, с бесстрашьем
Ждала бы я конца.

Но время жить мешает,
Последних сил лишив.
Озноб в потемках набегаёт,
Как на берег прилив.

КЭСТЕРБРИДЖСКИЕ КАПИТАНЫ

(Предание о Дж. Б. Л., Т. Дж. Б. и Дж. Л.)

Три капитана ушли воевать
В Индию, а живым
Вернулся один, чтобы лавры пожать,
Снившиеся троим.

И он спешит в старинный придел,
Где в школьные времена
Трое мальчиков на стене
Вырезали свои имена.

Три строчки равной высоты,
Как прежде, рядом, но...
«Им суждено было замышлять:
Исполнить — мне суждено».

«Кто жизнь сбережет, погубит ее»,—
Сказал проповедник — и он,
Невольный слушатель, оглядел
Кривые буквы имен:

Он здесь; их нет — и что же в том?
Иначе бы жребий пал —
Они бы вернулись в родимый дом,
А он вдали лежал.

Но в жизни тех, кто не пришел,
Он видит некий свет:
Он видит величия ореол,
Какого над выжившим нет.

В бессмертной славе, в нездешних лучах
Не ты вернулся, брат:
Нездешнее светит в чужих полях,
Где двое павших спят.

СТИХОТВОРЕНИЯ О ПРОШЛОМ
И НАСТОЯЩЕМ

ОТЪЕЗД

(Саутгемтонские доки, октябрь 1899)

Прощальные марши сошли на нет,
Корабль соленую воду грызет —
Столб красного дыма за горизонт
Ушел, как последний самый привет;

Острее разлуки не видел свет,
И топот мужчин, всходивших на борт
Теперь, как вопрос, над миром простерт:
«Доколе, тевтон, славянин и кельт,

Вы будете из-за распрей на смерть
Таких посылать, ни за что губить,
Когда сумеете преодолеть
Вражду и соседей своих любить,
А патриотизм перестанет быть
Рабом и обнимет воду и твердь?»

ОТПРАВКА БАТАРЕИ

Жалобы жен
(2-го ноября 1899)

I

Что же тревожнее, что безнадежнее,
Неосторожней солдатской любви!
Мы милых выбрали, их у нас вырвали
И на войну повезут корабли.

II

Как через силу мы шли рядом с милыми,
Еле тащились сквозь ливень и мрак;
Шли они гордые, нам непокорные,
И приближал нашу боль каждый шаг.

III

Пушки тяжелые, крупные, желтые,
Словно животные, нюхали ночь,
Спицы и ободы, длинные хоботы —
Даже глядеть на них было невмочь.

IV

В газовом призрачном свете на пристани,
Бледные, мы целовали солдат
С жадною, слезною, страшною просьбою:
Честь уберечь, но вернуться назад.

V

Остолбеневшими были, ослепшими
Мы, когда их уводили от нас.

В горечи каждая помощи жаждала,
Той же дорогой обратно плетясь.

VI

Кто-то растерянно крикнул: «Потеряны
Наши для нас!..» Нет, Господня рука
В муках и в горе им будет подспорием,
Хоть коротка их стезя, хоть долга.

VII

Но до рассвета нас все же преследуют
Их голоса в темноте... И опять,
Полные ужаса, учимся мужеству,
Чтобы с надеждой и верой их ждать.

В ВОЕННОМ МИНИСТЕРСТВЕ

(Приклеивая списки убитых и раненых: декабрь 1899)

I

Год назад я зашел в это место, где
Барыши наживают, осведомиться,
Может ли сердце Британии тише биться,
Ведь ведут обстоятельства к маете
И к немалой беде.

II

Здесь не падали в обморок год назад,
Не рыдали родители, жены, дочери,
В списках смерти для них не мелькали строчки;
Смерть с природой еще не вошла в разлад,
Мир и чист был и свят.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПОВЕСТЬ

На юг от Дурбана фронт идет,
Там солдат, соотечественник, гниет.
Его тело искромсано вкривь и вкось,
Его призрак срывает на ветре злость,
И Канопус ночью пытается он:
«Мирозданье радующий закон,
Утвержденный на этой земле Христом,
Почему оставлен, забыт потом?
Смысла нет в привычке опять и опять
«Анно Доміні» к годам прибавлять,
Хоть их двадцать сотен почти прошло,
Его дело пятнают, Ему назло».

Накануне Рождества 1899

БАРАБАНЩИК ХОДЖ

I

Он наспех в землю был зарыт
Вдали от отчих мест.
Ни гроба, ни надгробных плит —
Лишь голый вельд окрест
И по ночам над ним горит
Огонь нездешних звезд.

II

Он в Уэссексе, в родном краю,
И не слышал о том,
Что значит буш, плато Кару
И пыльный краснозем.
Не видел этих звезд игру
В безмолвии ночном.

III

Но юный прах его сгниет
Средь глинистых полей,
И древо южное взрастет
Из северных костей,
И новая звезда взойдет
Во мгле чужих ночей.

ДУШИ УБИТЫХ

I

Надо мною сошлись веки ночи.
Вот я вышел на мыс.
Я один. Рядом Рейс.
Остров лыс и изрыт, в складках весь.
Вместе с тишью и тьмой дух мне душу морочит,
Тормошит мою мысль.

II

Ветра нет, спит простор океана,
Спит в безветрии мыс,
Тина спит вдоль земли,
Травы дремлют, они проросли
Из подводных глубин, где движением все обуяно,
Где течения сошлись.

III

И вдруг с Юга, но тихого тише,
Так что занялся дух,
Шелестение крыл
Мотыльков исполинских; звук был
Гладким, легким, какой ни за что не услышит
Человеческий слух.

IV

И они устремились на скалы
Среди мрака горя,
Потерявшие плоть,

Не обнять эти призраки, хоть
Мне на острове тотчас же видно их стало
Под лучом фонаря.

V

Я услышал: «Домой», догадался:
То шептала душа
Душам, павшим в бою
Возле тропика в дальнем краю,
Подобраться неслышно я к ним постарался,
Затаясь, не дыша.

VI

Мчался с Севера дух незнакомый
И пылал он огнем,
Бестелесным он был,
«Вы солдаты мои?» — он спросил.
«Да,— сказали они.— Мчимся к отчему дому,
Там мы славу пожнем».

VII

Дух сказал: «Побывал я в отчизне,
Чтут вас там и скорбят,
Но не доблести чтут
И о славе речей не ведут!» —
«Но ведь слава нам стоила жизни!
Что же там говорят?»

VIII

«Вспоминают о ваших проказах,
Будто то — чудеса;
Ведь удел матерей
Помнить шkodничества сыновей
И молиться о том, чтобы души их сразу
Приняли небеса.

IX

А отец — тот винит себя в горе:
Зря не дал ремесло,
Делу не обучил,
Зря раздул его воинский пыл,
Ведь от разных военных историй за море
Мальчика занесло».

X

«Генерал, а любимые наши
Нам, как прежде, верны?» —
«Что ж, иные скорбят,
Нарядиться другие хотят
В честь солдат, ну а третьи, те даже
Новой страстью полны».

XI

«А как вдовы?» — вдруг кто-то сурово,
Обреченно спросил.
«Не о славе, увы,
О размолвках и счастье любви —
Вот о чем причитают несчастные вдовы,
Выбиваясь из сил».

XII

«Что ж, выходит, военная слава
Меньше значит для жен,
Чем семья и чем дом,
И нас помнят и чтут в доме том
Как мужей — не солдат, вот диковина, право,
Я не слишком польщен».

XIII

Знал бы, не вылезал из могилы!
Возвращаюсь назад!» —
Кто-то горько вскричал,
Но товарищ ему отвечал:
«Знать, что нас не за славу семья полюбила,
Мне милей во сто крат!»

XIV

Улетали солдатские души,
Надвое разделясь;
Те, что в бытность свою
Больше славы любили семью,
Те — домой; те, которым в семье было хуже,
Понеслась эта часть

xv

К океану и над океаном
Вдруг зависла на миг;
Видя Рейс, видя мыс,
Мириады их бросились вниз,
В этом месте забвения душ океанном
Океан принял их.

xvi

А избравшие родину души
Быстро мчались к семье,
Как на Троицу вихрь,
В небе стихло жужжание их,
Но печаль океана не сделалась глуше
И осталась во мне.

Декабрь 1899

ЖАВОРОНОК ШЕЛЛИ

(В окрестностях Легорна, март 1887)

В слепом далеке безо всяких мет
В забвенье покоится жалкий прах
Того существа, что воспел поэт
В необыкновенных своих стихах.

Когда-то с полей прогоняя сон,
Тот жаворонок звенел, паря
В дневной синеве, и не знал, что он
Бессмертен — поэту благодаря!

Он жил незаметно, как все, и вот
Однажды в глаза ему прынул мрак...
Невзрачным комочком упав с высот,
Он умер — неведомо где и как.

Быть может, теперь он лежит в траве
На этом холме, иль у той межи,
Иль там в изумрудной густой листве,
Иль в этих колосьях поспевшей ржи?

Найдите его! Безымянный певец
Достоин иного! О, феи, пора
Доставить сюда драгоценный ларец
Из золота, жемчуга и серебра!

Откроем и снова замкнем на замок
Бесценный ларец, чтоб навек сохранить
Святые останки того, кто помог
Поэту гармонию приворожить!

К ЖИЗНИ

О, Жизнь, до чего ж томит
Меня твой понурый взор,
Твой вечно унылый вид,
Таящий немой укор.

Твои слова о Судьбе
Известны мне наперед,
И здесь у меня к тебе
Давно особенный счет.

Но разве нельзя хоть раз —
Соври, притворись, сыграй! —
Представить, что мир у нас
Опять превратился в рай!

И, может быть, — я готов, —
Вдыхая сладкий дурман,
Я сам бы в конце концов
Поверил в этот обман!

К НЕРОЖДЕННОМУ РЕБЕНКУ БЕДНЯКА

I

Не бейся, сердце, затаясь,
Хотя манит рожденья час,
Спи долгим сном:
Тебе судом
Одни мучения даны,
И страха песнопения полны.

II

Послушай: род людской наш плох,
Добро исчезло, смех заглох,
Надежды нет
И веры свет
Погас, нет дружбы и любви,
И не исправишь мир, хоть в нем живи.

III

Когда б меня ты слышать мог,
Когда б не естество, не Бог —
Ты мог решить:
Жить ли, не жить,
Я б все сказал про этот свет,
А ты бы к нам явился или нет?

IV

Однако ни к чему намек,
Тебе пока что невдомек,
Кому талант
От роду дан,

Без знания ты в жизнь войдешь,
Где кровь с огнем бросают страны в дрожь.

v

О, как бы, милое дитя,
Хотелось уберечь тебя
От злых угроз,
От бед, от слез,
Но слаб и беден я, как ты,
И трудно нам уйти от маеты.

vi

Что ж, выходи на свет из тьмы,
Как безрассудно вышли мы,
Давай живи
В трудах, в любви
И в здравье! Обрети друзей
И радости, что обошли людей!

К ЛИЗБИ БРАУН

I

Ох, Лизби Браун,
Где нынче ты?
Там солнца свет
Или беды-
Печали нет?
Как, Лизби Браун?

II

Ты, Лизби Браун,
Была смела
И всех, смеясь,
Сразить могла
Игрою глаз,
Да, Лизби Браун!

III

Мне, Лизби Браун,
Нет, не найти
Волос рыжей,
Круглей груди,
Лица свежей,
Нет, Лизби Браун!

IV

Но, Лизби Браун,
Мне стала ты
Лишь дорогой,
Сорвал цветы
Не я, другой,
Жаль, Лизби Браун!

V

Что ж, Лизби Браун,
Ты так быстра,
А я так вял,
Таил я страсть,
А он пылал,
Так, Лизби Браун?

VI

О, Лизби Браун,
Собой хорош
Был твой супруг!..
Зачем ты все ж
Исчезла вдруг,
А, Лизби Браун?

VII

Вмиг, Лизби Браун,
Ты расцвела,
А я не знал.
Ты мимо шла —
Не подозвал,
Зря, Лизби Браун!

VIII

Я, Лизби Браун,
Сам прозевал
Тебя: был глуп,
Не целовал
Прекрасных губ,
Да, Лизби Браун!

IX

Речь, Лизби Браун,
Обо мне
Начнут с тобой,
Ответишь: «Не
Знаком такой» —
Так, Лизби Браун!

ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ

В заветный путь пустился я
При звездах и луне,
Чтоб утром милая моя
Женою стала мне.

Я миновал долину; там
Столетия назад
Языческий чудесный храм
Стоял, как говорят.

Вдали поблескивал поток,
И я под шум ветвей
Запел о той, кого нарек
Царицею своей:

«О безупречности венец!
О сердца глубина!
Как совершенства образец
Ты Богом создана!»

Вокруг клубился лунный свет,
Вдруг предо мной возник
Воздушный женский силуэт —
Возлюбленной двойник.

И понял я, что он проплыл
Как раз по тем лугам,
Где жертвенник когда-то был
Языческим богам.

«Ты дева иль игра лучей?
За что такая честь
Быть двойником любви моей,
Иль ты она и есть?»

«Твоя невеста никуда
Из дома своего
Не отлучалась». — «Но тогда
Что ты за божество?»

«Далеко милая теперь, —
Тень возгласила вновь, —
Но только не она, поверь,
А я твоя любовь».

«Скажи мне, дома или нет
Избранница моя?»
И снова раздалось в ответ:
«Твой выбор — это я».

«О боже, нет!» Но тень опять
Взялась шептать свое...
Ах, невозможно передать
Смятение мое!

А тень не отступала: «Ты,
Мечтая, перенес
На смертную мои черты,
Мой нрав и цвет волос.

О, вовсе не простушку ту!
Сердечный жар храня,
Ты возлюбил свою мечту,
А стало быть, меня!»

«Раз так — я был как бы во сне —
Я покорюсь судьбе!
Возлюбленная, нужно мне
Жениться на тебе!»

Тень стала таять... «Я ничья!
И не мечтай о том!
Ни разу не стояла я
Со смертным под венцом!»

И вот смешалась с темнотой...
Я вспомнил — что за страх! —
Венере жертвенник святой
Вот в этих был местах!

Когда ж прибрел, едва дыша,
К невесте (тени, прочь!),
Я понял, что ее душа
Погибла в эту ночь!

ДРОЗД В СУМЕРКАХ

Томился за калиткой лес
От холода и тьмы,
Был отуманен взор небес
Опивками зимы.
Как порванные струны лир,
Дрожали прутья крон.
В дома забился целый мир,
Ушел в тепло и сон.

Я видел Века мертвый лик
В чертах земли нагой,
Я слышал ветра скорбный крик
И плач за упокой.
Казалось, мир устал, как я,
И пыл его потух,
И выдохся из бытия
Животворящий дух.

Но вдруг безлиственный провал
Шальную песнь исторг,
Стон ликованья в ней звучал,
Немыслимый восторг:
То дряхлый дрозд, напыжив грудь,
Взъерошившись, как в бой,
Решился вызов свой швырнуть
Растущей мгле ночной.

Так мало было в этот час,
Когда земля мертва,
Резонов, чтоб впадать в экстаз,
Причин для торжества,—
Что я подумал: все же есть
В той песне о весне
Какая-то Надежды весть,
Неведомая мне.

В СУМЕРКАХ

I

Сердце мое поражено и иссохло, как трава.

Псалом 101

Я не томлюсь, не стражду.
Хотя зима близка,
Ведь из людей пока
Никто не умер дважды.

Роз лепестки опали...
Но все давно прошло.
Еще такое зло
Переживу едва ли.

Зимы боятся птицы.
А мне не страшно впредь
На мерзлоту смотреть:
Замерзший не боится.

Сереет лист зеленый...
Но холодность друзей
Не станет холодней
Зимой студеной.

Пусть буря беды сеет.
Едва ли пропадет
От бурной страсти тот,
Кто сердца не имеет.

Мрак застилает вежды,
Но гибель не страшна,
Когда погребена
Последняя надежда.

В СУМЕРКАХ

II

Смотрю на правую сторону и вижу,
что никто не признает меня. Никто
не заботится о душе моей.

Псалом 141

Слышу: многих и сильных о грудь облаков разбивается крик:
«Только малость осталось исправить, чтоб мир совершенства
достиг» —

Но какую же бедную малость мечтают они извести?
Да ведь это же я им заноза в глазу, я преграда у них на пути!

«Все прекрасно,— они говорят,— пусть печальный забудет
печаль».

Трудно в том усомниться, что схожий с другими тебе прокричал.
Так он горд, что и пыль образует, взлетая, над ним ореол.
Я ж родился не в срок, и ни дел, ни призванья в свой век не обрел.

«И могучий рассвет, и сладчайшая ночь на земле нам дана,—
Восклицают они,— в совершенные мы рождены времена...»
Там, где сотней улыбок прикрыта любая из пролитых слез,
Что же я в этом мире такое? — вот главный, пожалуй, вопрос.

Кто находит, что поступью Первых затоптан был Лучшего путь,
Кто считает, что Лучшее в том, чтоб на Худшее трезво взглянуть,
И кто видит, как цвет наслаждения губят бесчестье и страха

репей,—
Пусть безропотно прочь отойдет — он изгой, он нарушил
порядок вещей.

1895- 1896

В СУМЕРКАХ

III

Горе мне, что я живу у шатров Кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир.

Псалом 119

Ведь были же дни, когда я мог умереть легко,
Так низко смертная тьма тогда надо мною висла...
Я мог бы так и не знать, что жизнь не имеет смысла.
Были же дни, когда я мог умереть легко.

Тот солнечный полдень был, когда все дышало весною.
Я вскапывал грядки и с крокусов снег подталый снимал,
Сад приспособлял к лету, красил, плотничал, подновлял
И верил тщеславно, что год воскрешен моею рукою.

Был день, когда в Эгдоне с нею, так далеки и все же близки,
Гуляли мы, вереск мешал нам друг друга видеть,
И мощь в ней была, которой нельзя обидеть,
Была защита в касании сильной ее руки.

И ночь была, когда, приткнувшись к камину, лежал я,
Порой засыпая, жалчайший из всех рожденных на свет,
Слабый от веры моей печальной и слыша сквозь бред
Вращение мира, к которому мало принадлежал я.

Даже тогда! Пока опыт не мучил, пока я не знал,
Что сладкий глоток во чреве горечью обратится,—
Тогда на сцене должен был занавес опуститься
И голос властный, словно закон, произнести: «Финал».

ЖАЛОБА ТЭСС

I

Меня забудьте поскорей,
Ох, поскорей!
Не буду видеть ни людей,
Ни солнца, ни звезды.
Последний всем отдам поклон,
Уйду под погребальный звон,
Приму могилы хладный сон,
Окончены труды.

II

На ферме долго я жила,
О, как жила!
Крепка вставала, весела,
С мечтой ложилась спать:
«Сидит он около огня,
Часы спешат себе, звеня,
А он глядит лишь на меня»
И «милой» начал звать.

III

Уехал он от злой беды,
От злой беды!
Сажали мы в горшках цветы,
Теперь небось гниют...
Где ужинали мы, сейчас
Небось крапива разрослась,
Щавель и вереск, всюду грязь,
А прежде был уют.

IV

И я одна всему виной,
 Всему виной!
Не снес обиды милый мой,
 От боли и со зла
Уехал он от этих мест,
Теперь печаль меня разъест,
Но я должна нести свой крест,
 Раз горе принесла.

V

День свадьбы был счастливым днем,
 Счастливым днем!
Нам говорили: «Счастья в дом»,
 Встречая у плетня.
Теперь любой ругать готов
И не жалеет бранных слов
За дойкою моих коров
 Сменившая меня.

VI

Мне мысль об этом тяжела,
 Так тяжела,
А жизнь моя уже прошла,
 И хочется мне впредь
Не помнить этих страшных дней,
Любимых не хранить вещей,
Не вспоминать вины моей,
 Свой всякий след стереть!

ТРАГЕДИЯ БРОДЯЖКИ

(182—)

I

День долог был, и вчетвером,
Мы вчетвером
Давно проверенным путем
На север выбирались,
От ноши, от жары устав,
Вдоль седжмурских полей, канав,
Передыхая у застав,
Где пошлины взимались.

II

Мы двадцать миль пешком прошли,
Пешком прошли —
Я, милый мой, мамаша Ли
И пересмешник Джонни.
Мы поднялись на косогор.
Внизу, средь пустошей, озер —
О чудо! — постоянный двор
Лежал как на ладони.

III

И дни, и месяцы, и год,
И дни, и год,
Где тихий Блэкмур воды льет
И Паррет быстро-хладный,
По кручам, где, как из ружья,
Бьет ветер, в тучах комарья
Болотного — скитались я
И друг мой ненаглядный.

IV

Нам нравились уют и тень,
Уют и тень
Дворов заезжих: «Царь-олень»,
«Лихая кобылица»,
«Свист ветра», «Хижина». Порой
Мы рады были и пивной,
Чтоб только отдохнуть душой,
Наестся и напиться.

V

О, лучше б дню тому не быть,
Вовек не быть!
Желая друга подразнить,
С улыбкою веселой
К себе я Джона призвала,
Обнять себя ему дала —
На милого была я зла.
О этот день тяжелый!

VI

Итак, продолжу мой рассказ,
Да, мой рассказ...
В заезжий двор «Маршалов вяз»
Пришли мы к самой ночи.
В окне — вершины гор и луг,
И слышен волн протяжный звук,
И столько красоты вокруг —
Не надвигаются очи.

VII

Мы на скамье уселись в ряд,
Все вместе в ряд.
Я — с Джоном: и пускай твердят,
Что он меня добился!
«Сядь на колени! — крикнул Джон, —
Сегодня я в тебя влюблен.
А твой дружок — уж лучше б он
С мамашей Ли забылся!»

VIII

Тут мой желанный, дорогой,
Мой дорогой
Мне молвил: «Друг мой! Ангел мой! —

И замер голос в стене,—
Дитя, которое ты ждешь...
Мы столько лет близки — так что ж?
Отец-то кто? — и я как нож
В него вонзила: «Джонни!»

IX

И вот, его рукой сражен,
Увы, сражен,
Свалился со скамейки Джон,
И первый луч закатный,
Проникший в окна, золотил
Взор Джонни, что навек застыл,
И Ли, упавшую без сил,
И крови алой пятна.

X

Повешен был любимый мой,
Любимый мой
За Ивел-Честерской тюрьмой,
Хоть правду молвил кто-то,
Что честь свою он не пятнал,
Лишь в жизни раз коня угнал,
И то у Джимми — сам украл
Тот лошадей без счета.

XI

Одна брожу я много лет,
Уж много лет...
Ребенок родился на свет
В день самый приговора,
Под деревом я родила,
Но в тельце не было тепла...
И Ли недавно умерла,
Последняя опора.

XII

Когда лежала я без сил,
Совсем без сил,
Листок свой вяз мне обронил
На высохшую щеку.
И молвил мне, явясь, мертвец,
За чью любовь теперь конец
Я приняла б: «Так кто отец?
Обманывать жестоко!»

ХІІІ

И я ему клялась тогда,
Клялась тогда,
Что все минувшие года
Ему принадлежала.
Он улыбнулся и исчез,
Лишь пел, раскачиваясь, лес.
А ныне я одна как перст
Бреду вперед устало.

Апрель 1902

ГОСТЕПРИИМНЫЙ ДОМ

Помнишь, как с песней бочонок почали,
Бросили в печку дрова...
Помнишь, как здесь мы друзей привечали
В канун Рождества?

Умерли или, как я, поседели
Те, кто веселой порой
Песни, немногим понятные, пели
Здесь, вместе со мной.

Смолкла виола, чьи звуки когда-то
В лад нашей песне прились.
Ржавчина съела круг циферблата,
Где стрелки сошлись.

Теперь никто Рождеств не справляет,
Не празднует Новый год,
А в доме оставленном крот шныряет,
Арахна прядет.

Но все-таки в полночь, когда луною
Освечены дом и сад,—
Все те, что сидели в те дни со мною,
Приходят назад.

ЗИМА КРЕСТЬЯНКИ

Когда бы зеленели
Деревья круглый год,
И птицы все звенели,
Не ведая забот,
И не тянуло хладом
В предвестье близких вьюг,
Тогда бы снова рядом
Со мною был мой друг!

Тот, что пахал, слабея
Под ветром, дотемна,
И чья теперь, ржавея,
Пылится борона...
О, сколько лютой силы
В тебе, промозглый плен,—
Ты губишь все, что мило,
Лишь стужу шля взамен!

УБЕРИТЕ ЭТУ ЛУНУ

Задерни шторы поскорей,
Спугни обманный свет
Луны, чья маска и теперь
Все та же — большей фальши нет,—
Хотя на наших лютнях пыль
Бог знает сколько лет.

Не выходи в полночный сад,
Забрызганный росой,
Глядеть на звезды, что горят
Нездешнею красой,—
Так было век тому назад,
Сегодня век иной.

Не трогай веток в темноте,
С волнением не лови
В их аромате чувства те,
Что жили у тебя в крови,
Когда любовь равна мечте,
А жизнь — самой любви!

Пусть комнатный бесстрастный свет
Мечты твои зальет,
И эхо отлетевших лет
В душе твоей замрет...
Был слишком нежен Жизни цвет,
Да слишком горек плод!

1904

РАЗЛУКА

Ночь, монотонный гул дождя,
Шум листьев за стеной;
И сотни миль, о сотни миль
Между тобой и мной.

И если б только эта даль
И только этот мрак,
Поверь, любимая моя,
Я не грустил бы так.

Но то, что разделяет нас
Сейчас и навсегда,
Бездонней тьмы, сильнее дождя,
Упрямей, чем года.

1893

ПРОЩАНИЕ НА ПЕРРОНЕ

Последний поцелуй; пора идти
Садиться, и мгновенье за мгновеньем,
Легче и легче, словно прах в горсти,
Дальним виденьем,

Виденьем белым, облачком муслина,
В толкучке, в спешке, где со всех сторон
И джентльмены, и простолюдины,
И ждет вагон.

Под фонарем (тот вспыхивал и гас),
В сумятице вечернего вокзала,
В толпе, которой было не до нас,
Она пропала —

И показалась у окна, и тут же
Исчез, растаял белый ореол;
Люблю сильнее, чем собственную душу!
Поезд ушел...

Был уговор меж нами, некий знак...
И пусть дорога будет очень длинной,
Но через год... и в облаке муслина...
И все не так!

«Но почему, друг мой, я не пойму,
Не повториться чувствам и мечтам?»
«Увы, не повториться ничему,
А почему — не знаю сам».

Я КЛЯЛСЯ ВСЕМ, ЧЕМ МОГ

Я клялся всем, чем мог,
Прийти в твою светлицу,
Но полночь в ночь глядится,
Я ж дома — одинок,

И мне во тьме сейчас
Твердит твое виденье
Упрек: «Что за сомненья
Вдруг разлучают нас?

Отомкнут злой засов
И густо смазан маслом,
Но сторож^у напрасно
Я скрип твоих шагов,

Кричит петух. В кусты
Уходит темь ночная,
И жду, и жду тебя я,
И медлишь, медлишь ты».

КОНЕЦ ЭПИЗОДА

Пришла пора для нас
Унять огонь желаний.
Пыл сладостных терзаний
Вкусим в последний раз.

А там... Уйдет любовь,
Ее замолкнут речи,
И как до нашей встречи,
В душе — пустыня вновь.

Заметят ли цветы
Уход наш, скуку в доме?
А нас... Что ждет нас, кроме
Безмолвной пустоты?

Хоть мы клялись любить,
Хоть мы пылали страстью,
Но срок недолог счастья,
И вместе нам — не быть.

НА ЯРМАРКЕ В КЭСТЕРБРИДЖЕ

1. Уличный певец

А ну, певец, пропой балладу мне —
Чтоб я забыл, на миг забыл о той,
С кем об руку бродили при луне,
Окончив труд дневной.

Давай, певец, погромче затяни —
Чтоб я забыл, совсем забыл о ней:
Как небом поклялась она в те дни
Навеки быть моей.

Открой, певец, тетрадку наугад —
Чтоб мне забыть под пение твое
И имя нежное, и нежный взгляд,
И горький плач ее.

2. Постаревшие красавицы

Вон те, с корзинками для овощей,
Ворчуньи-тетки —
Неужто вправду наших юных дней
Они красотки?

Те бело-розовые существа
В шелках воскресных,
Кому шептали мы любви слова
На тропках тесных?

С кем под задорный, простенький мотив
На той поляне
Скакали мы, друг дружку обхватив,
До зорьки ранней?

Да помнят ли они себя в те дни?
Видать, забыли!
Не то, как знать,— и нынче бы они
Всех краше были.

3. Домой после танцев

Черный Холм стоит одиноко,
На далекое море сердит,
И Девичий Замок с востока
На меня с презреньем глядит.

Мне к рассвету хмельное зелье
Отплатило тяжкой тоской —
И ушла я прочь от веселья
И от парня, что был со мной.

Даже птицы смеются обидно
Надо мной в придорожных кустах...
Отчего ж перед ними мне стыдно?
Разве так не бывает у птах?

4. Деревенская девушка

Она разложила товар на мосту — уж кто-нибудь
да возьмет! —
Корзинку яблок, и связки трав, и в сотах
душистый мед.
Но мимо и мимо валила толпа — на площадь,
где ярмарки гул;
Сули она даже впридачу себя — никто бы
и не взглянул!
Но милым ее загорелым лицом пленясь,
я пробрался вперед,
И встал перед ней, и спросил: «Ну как?
Неужто никто не берет?»
Да, именно так это все началось — от ярмарки
чуть в стороне,
И стало ясно, что главный приз
сегодня достанется мне.

5. Расспросы

Так, значит, вы из Эрмитейдж —
Из той деревни за холмами?
Есть дом в деревне Эрмитейдж,
С весны плющом увитый сплошь...
Как там Джон Вейвуд — жив иль нет?
Их двор был, помню, рядом с нами
Тому назад пятнадцать лет.
Былого не вернешь!

И что ж — ни разу, никого
Он не спрашивал о Пэтти?
О Пэтти Бич, с которой он
Тогда... с которой дружен был?
Жива ли, мол, и какво
С тех пор живется ей на свете,
И позабыла ли его,
Как он ее забыл?

Тогда в деревне Эрмитейдж
Была, представьте, я всех краше!
Мы обручились в Эрмитейдж,
Но ждать заставила нужда...
Удачи не были щедры,
И позабыл он клятвы наши:
Любовь мужская — до поры,
Девичья — навсегда.

6. Загулявший муж

Вилл завернул после ярмарки в клуб —
Выпивка там и веселье.
Я дожидаюсь его на углу,
Чтоб довести до постели.

С кем-то в обнимку там кружится Вилл,
И улыбаются оба...
В мае мой Вилли кольцо мне дарил,
Клялся, что любит до гроба.

«С прошлым покончено!» — так уверял
Вилли, невесту целуя...
Муж мой на танцах сегодня застрял,
Мерзну одна на углу я.

7. После ярмарки

На площадь опущен шатер темноты,
Ряды не шумят,
Певцы аккуратно свернули листы
Веселых баллад;
Где был балаганчик, там плиты пусты,
И лишь с колокольни звонят.

Пустеет «Олень»; по проулкам гурьбой
Проходит народ:
По Грэеву мосту, по глине сырой,
А колокол бьет...
Кто тихо вздыхает: «Скорей бы домой!» —
Кто новую песню поет.

Вон девушка — та, что как мышка была,—
Резвится, шумна;
А та, что казалась бойка и смела,—
Вдруг стала грустна;
А эта заботы с чела согнала —
Как гордо ступает она!

...А в полночь ни звука нигде, ни следа —
Лишь тени одни.
Здесь древние римляне бродят тогда,
Как в прежние дни,
Когда беззаботной толпою сюда
На праздник сходились они.

ПРАЗДНОШАТАЮЩИЙСЯ

Не замечаю я, какого
Оттенка небо над полями,
Не вижу ни ручья лесного,
Ни гор, усыпанных цветами.

Не различаю над лощиной
Кукушки голос глуховатый.
Не слышу клекот ястребиный
В тускнеющих тенях заката.

Считают, будто бы все это:
Поля, сиреневые дали —
Всегда открыты для поэта,
Всегда и всюду с ним... Едва ли!

И пенье птиц, и ароматы
Цветов, и неба купол звездный —
Все, что упущено когда-то,
Пронзает душу слишком поздно!

ОНИ САЖАЛИ СОСНЫ

(Раздумья Марти Саут)

I

Мы рядом под ветром
Вдали от жилья;
Он держит лопату,
А саженцы — я.

И нет ему дела,
Что мне все трудней
Стоять, промерзая
До самых костей.

Другой ныне отдано
Сердце его;
Он смотрит, не видя
Вокруг ничего.

Он мысленно с нею,
И видно, как он
Невольной разлукою
Их угнетен.

Вот так от зари
До заката вдвоем
Работаем, грезя
В душе о своем.

Во всем помогаю
Ему, не чинясь,
Но даже «спасибо»
Я не дождалась.

А может, и вправду
Не надо скрывать,
Как все-таки рада
Я рядом стоять?

Но нет! Я навеки
Любовь затаю!
Не выдам сердечную
Муку мою!

II

Я вязну в глине,
Чтобы сосна
Была отныне
Обречена,
Восстав из праха
В чужом краю,
Стонать от страха
За жизнь свою,
Вздыхать всечасно —
Нелегкий труд! —
Хотя безгласной
Лежала тут!

На месте этом
Вздыхать сосне
Зимою, летом
И по весне,
Грустя при этом,
Что щедрый рок
В грязи оставит
Ее не мог,
Чтоб лежа в глине
Не знать вовек,
Что значат иней,
Ветра да снег.

Вот так бездушно
Мы обрекли
Сосну послушно
Восстать с земли
И, мучась в поле
Среди болот,
Стонать, доколе
Не упадет,
Упрямо в глине
Глухой тая,
Что знаем ныне
Лишь ты да я.

ЖЕНЩИНА СЛУШАЕТ БУРЮ

В те дни, как под одною крышей
С любимым я жила,
Бывало, бурю чуть заслыша,
Всю ночь я не спала:

«Там ливень, за окном, и холод,
И кровя нет в пути.
А он уж не силен, не молод —
Сумеет ли дойти?»

А нынче — что мне стон угрюмый,
Глухой, как трубный глас,
Затопленная пустошь Фрума
И Меллстокская грязь?..

Пусть пламя гаснет и мятется,
Солома с крыш летит,
Струя о подоконник бьется,
Дверной засов скрипит —

Душа о страннике не плачет
В тревожный час ночной —
Земля его надежно прячет
В темнице ледяной.

В КАНУН НОВОГО ГОДА

«Год завершен,— промолвил Бог,—
Дошит его наряд.
Я заключил червей в песок,
Устлал листвою края дорог
И погасил закат».

А я спросил: «Но как пришло
На ум Тебе создать
Безликой пустоте назло
Все то, что запросто могло
И не существовать?»

Зачем несчастным Твой ковчег,
Зачем любви причал?
Всех этих радостей вовек
Не пожелал бы человек,
Когда б о них не знал!»

«Нет смысла в промысле Моем,—
Призналось Божество,—
Я и не помышлял о нем,
Когда одаривал умом,
Твердящим: «Для чего?»»

Но поразительно, что тот,
Кто создан Мной, заметь,
Как будто видит наперед
То, что и мне с Моих высот
Никак не разглядеть!»

Бог скрылся в небесах, и тут
Настал рассвет; затем
Царь новорожденных минут
Продолжил свой извечный труд
Вне всяческих систем!

СТРЕЛЬБА НА МОРЕ

Всю ночь орудья били в море,
Нас разбудили среди тьмы,
Все стекла выбили в соборе,
«То Судный день»,— решили мы.

В гробах мы встали. Преуныло
Собаки лаяли. Свой корм
Мышь у наложницы уронила,
И червь уполз в могильный холм.

Корову с кладбища спугнули.
Но Бог сказал: «Учебный бой.
В гробах покуда не уснули,
Не раз вы слышали такой;

Всё люди думают, мудрят,
Как бы пролить побольше крови,
А для Христа они творят
Не более, чем вы во гробе.

Еще не Суд, и ваши внуки
За то должны мне петь хвалы,
Иначе бы за эти штуки
Скрести им на Небе полы.

Ох, жарко будет Судным днем,
Как запоет моя труба,
Коль захочу сыграть подъем!
Да нужно ль ворошить гроба?»

Мы вновь легли. «За годы эти
Стал мир безумней или нет,—
Спросил один,— чем в том столетье,
Когда покинули мы свет?»

«Нет», — каждый подтвердил скелет.
«А я-то прожил как дурак, —
Вздыхнул поп Тёрли, мой сосед, —
Отверг и пиво и табак».

И вновь орудья били ваши,
Как будто подняли мятеж.
Гром шел от Стоуртонской башни
На Камелот, и на Стоунхендж.

Апрель 1914

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ

(К Ф. Э. Д.)

Приходи еще раз!
Ты мелькнула листком над вершиной холма,
И лицо твое скрыла отвесная тьма,
Полземли заслоняя от глаз.

Приходи поскорей!
Невесомым клубком, точно чертополох,
Донеси, докати примирительный вздох
И замри у скрипучих дверей.

До вчерашнего дня
Уплывал незамеченным запах цветов,
И неслись вереницей цветных лоскутов
Облака, не тревожа меня.

Коридором пустым
Ты прошла, точно призрак из рыцарских книг,
И пока детский страх в душу мне не проник,
По ступенькам взбежала крутым.

Ты выходишь на свет,
Воплощаясь в обыденный облик земной,—
Тихим взором, без слов, говоришь ты со мной,
И, не веря, молчу я в ответ.

Не захлопнулась дверь,
И вопрос я в глазах различаю твоих:
То, что жизненно важно для нас, для двоих
Отчего невозможно теперь?

ЛИЦО В ОКНЕ

Не дают счастливым быть
Грешной совести уколы! —
Как поблек тот день веселый,
Не позабыть!..

Майский вечер был хорош,
Солнце падало устало,
И упряжка наша встала.
«Ты подождешь?

Здесь приятель давний мой,
Знаешь, болен безнадежно.
Загляну я, если можно,
К нему домой.

Десять лет назад всего
Чуть моим не стал он мужем,
С той поры мы просто дружим,
Как жаль его!»

Постучав, она ждала,
Тут из двери кто-то вышел:
«Очень плохи (я услышал)
Его дела.

В этом мире ей одной
Предан он и благодарен:
Ангел мне судьбой подарен, —
Сказал больной».

Дальше помню со стыдом,
Как, нахмурясь недовольно,
Обернулся я неволью
На старый дом.

Тихо прочь катили мы,
И почти до поворота
Молча вслед смотрел нам кто-то
Из полутьмы.

«Никаких сомнений нет:
В этой комнате постылой
О моей вздыхает милой
Он столько лет!»

Глупой ревностью дразня,
Мной владел какой-то демон,
Не пойму доныне, чем он
Смутил меня.

В схватке с призрачным врагом
Обнял я ее за плечи,
Чтобы не было и речи
О том — другом!

Тьма сомкнулась позади,
Где лицо в окне белело,
И заныло, заболело
В моей груди.

Эта боль со мной всегда.
Слышал я: любовь тиранит,
Но любовь, что грубо ранит,
Душе чужда.

Нежно спутница моя
Улыбнулась, оживая,
Даже не подозревая,
Что сделал я!

Он в могиле с давних пор
И людской не знает злобы,—
Где найду я слезы, чтобы
Смыть мой позор?

Чувство сводит нас с ума,
Как алмаз, в душе пылая,
Но бездушна ревность злая,
Как смерть сама.

УЭССЕКСКИЕ ВЕРШИНЫ

(1896)

Есть в Уэссексе вершины,
 будто милующая рука
Их лепила для забвения, для мысли —
 и для смерти. Пока
Я стою к востоку, на Ингпен-Бикон,
 или к западу, на Уиллз-Нек,
Я знаю, что здесь я был до рожденья
 и сюда вернусь навек.

Внизу — ни братьев, ни друзей,
 ни души, с которой дано
Понять, что все о тебе известно
 и все тебе прощено.
Внизу они странны и далеки,
 внизу мне союзника нет.
Но цепи рассудка не так гремят,
 если небо — ближайший сосед.

В городах безумные тени,
 как сыщики, ходят за мной,
Тени юности, спутники мои,
 прошлого призраки худой.
Они меня ловят, они твердят
 о том, чему я не рад:
Холодные усмешки мужчин,
 женский презрительный взгляд.

Внизу я, должно быть, предал себя,
 того, кем некогда был,
Кем быть перестал. Он бродит, ища,
 кто бы его вразумил.

Какая сила меня вогнала
в этот облик чужой,
В бабочку, бросившую его —
старинный кокон свой.

Я на равнину не спущусь,
чтобы призрака не встречать:
Он никем не видим, но сердце мое
перестает стучать.
И спилей городских я боюсь
из-за тех, кто давно угас:
Никому не видимые, с меня
они не спускают глаз.

Есть призрак в Йеллем-Ботом,
он вечно стоит под луной.
Есть другой, он сжимает тонкий рот
под гробовой пеленой.
Есть еще дух железных дорог:
куда я ни сбегу,
Его профиль в окне, и он говорит,
чего слышать я не могу.

А дивная женщина... Но теперь
я — только мысль ее;
Мысль сменяет мысль; давным-давно
она думает свое.
Впрочем, она не знала,
как можно ее любить...
Но время от нежности лечит.
Я рад ее отпустить.

И я поднимаюсь на Ингпен-Бикон,
на Уиллз-Нек, на восток,
На ближние, дальние холмы,
где воздух пуст и высок,
Куда женщины со мной не пойдут,
где не встретишь мужчин,
Где призраки вынуждены отступить,
где я наконец один.

СПЯЩИЙ ПЕВЕЦ

(Алджернон Чарлз Суинберн, 1837—1909)

1

В чудесной нише, где, как на часах,
В ночном, в дневном недремлющем дозоре
Заливы, бухты, мол обходит море,—
Там он и спит по воле вечных Прях
С высоким камнем в головах.

2

А было это, будто гряда роз
Обрушилась на капюшон монаха:
Так, словно с неба, он кидал без страха
Охапки ритмов, лепестков и звезд —
В разгар викторианской глухоты
Созвучий странные цветы.

3

О утро давнее! углы, ступени
Какой-то улочки; я брел сквозь тени
И летний блеск, не поднимая глаз,
Брел и шептал, впивая в первый раз
Классическую силу новых фраз.

4

Страницы страсти, лабиринты лет,
Укоров, слез, восторгов, ласк и бед —
Все зазвучало, как живая трель.
Но не простак был этот менестрель:
Он знал и смысл ее, и цель.

5

Еще шипят насмешки, беспокоя
 Тень музыки твоей; ты вышел, тих,
 Сквозь это пламя, ждущее других!
 Молва слабеет, как волна прибоя.
 А ты встаешь над веком и собою.

6

Его учила таинству ладов
 Наставница с лесбийских берегов,
 Мать племени, чье чувство есть звучанье
 И мысль есть ритм; с левкадской крутизны
 В мироохватный ропот глубины
 Повергшая свое страданье.

7

И чудно думать, что ночной порой
 Сбегает тень его к волне морской —
 И ей в ответ над зыбкой глубиной
 Она, как пламя легкое, мерцает.
 И с кораблей их встречу наблюдают,
 Не зная ни того, ни той.

8

И он огню ее прозрачной сферы:
 «Учитель, — молвит, — где твой жаркий стих?
 Где скрыт, бессмертная, от глаз людских
 Твоих созвучий пурпур беспримерный?»
 Она с улыбкой: «Ученик мой верный,
 Теперь довольно и твоих».

9

И так звезде его и песнопенью,
 Которое валы гремят в веках,
 Порою вызывая шевеленье
 Подземных недр — и беспокоя прах
 Его, их ровни в даре исступленья,
 Как вихрь, врывавшегося в их размах, —
 Его оставил я, и день сгорал
 На складках гор и скал.

Бончерч, 1910

КТО РОЕТ ЗЕМЛЮ НАДО МНОЙ?

«Кто роет землю надо мной?
Ты, милый? Для цветов?»
«Нет, обвенчался нынче он,
Взял богатейшую из жен,
Изменою не удручен,
Тебя забыть готов».

«Кто ж роет землю надо мной?
Наверное, семья?»
«Семья считает, что цветы
Не скрасят горя и беды
И с ними не вернешься ты
К семье из небытья».

«Но кто же роет надо мной?
Завистница со зла?»
«Ей долго злиться не дано,
Она опомнилась давно,
И ей сегодня все равно,
Где в землю ты легла».

«Кто ж все же роет надо мной?
Скажи — терпеть нет сил!»
«Я, дорогая госпожа,
Твой песик. Помнишь малыша?
Надеюсь, что, землей шурша,
Тебя не разбудил».

«Так вот, кто роет надо мной!..
Как я могла забыть!
Мой песик, свет души моей,
Ты всех отзывчивей, верней,
Ох, научил бы ты людей,
Как преданно любить!»

«Прости, хозяйка, в холмик твой
Я косточку зарыл,
Чтобы разгрызть ее и съесть,
Когда подаст мне голод весть,
А что твоя могила здесь,
Я просто позабыл».

У ВОДОПАДА

Притронусь к воде, и тотчас предо мной
Рождается прошлого призрак сквозной;
В душе воскресает щемящая дрожь
Как память о том, что уже не вернешь;

И песнь о любви,
Что тут же в крови
Вскипает, звеня,
Уносит меня,

От нынешних бед увлекая назад
В тот август, где снова шумит водопад,
Сверкая и пенясь на спинах камней
Все явственней, с каждым мгновеньем — слышней.
Воюют иль в мире живут короли,
Поток, не смолкая, рокочет вдали
Доселе, как той стародавней порой,
Когда этот холмик был гордой горой.

Кипенье ручья... Почему этот звук
Любовною песнею кажется вдруг?
И может ли быть, чтоб простая вода
Столь сладостный трепет рождала всегда?

А дело все в том, что меж скользких камней,
В которых бурлит непослушный ручей, —
Где? Богу известно — навеки застрял
Веселый, блестящий, звенящий бокал.

Ведь там, у ручья
Мой милый да я
Бродили вдвоем,
Забыв обо всем,

Пьянея от солнца, и ласковый лес
Шумел, зеленея на фоне небес.

У самой воды — вижу как наяву —
Мы ставим корзинку с едой на траву
И, рядом усевшись в прохладной тени,
Обедаем, и золотые огни
Мерцают в вине, а потом я встаю
И звонкий бокал опускаю в струю,
И вдруг он выскальзывает, и вода
Скрывает его навсегда, но тогда
Мы долго водили руками по дну...
С тех пор, если я невзначай окуну
Ладонь свою в чашу (вот так, как сейчас),
Я голос минувшего слышу тотчас.
И вот уже кажется мне, что края
Сосуда — обрывистый берег ручья,
А ветви узора, как будто во сне,
Живыми ветвями мерещатся мне.

И в полночь и в блеске полдневных лучей
Заветный бокал — меж подводных камней,
И это привносит особенный лад
В любовную песнь, что поет водопад.
В счастливом бокале любви торжество!
Никто с той поры не касался его.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Зачем в ту ночь ты промолчала,
Что вскоре — лишь сгорит восток —
Спокойно, просто и устало
Уйдешь, отбыв земной свой срок
Туда, куда ни птица,
Ни память не домчится,
Чтоб я тебя увидеть смог?

Ни слова на прощанье...
Хотя б шепнула мне
Желанье или обещанье...
Застыло утро на стене.
Не знало, недвижимо,
Что ты проходишь мимо,
Все изменяя в этом дне.

Зачем зовешь меня из дома,
Мелькаешь тенью по кустам,
В аллее, меж стволов знакомых,
Опять бредешь по вечерам?
Лишь с темной темнотою,
Разверстой надо мною,
Я снова повстречаюсь там.

Далеко, в алых скалах,
Когда-то был твой дом,
И ты верхом меж скал скакала,
У ног твоих зиял проем,
Поводья отпустила,
Смеялась и шутила,
Жизнь улыбалась нам вдвоем.

Зачем же вспомнить мы не смели
Все, что в былом погребено?
Мы б воскресить его сумели,
Сумей вдвоем сказать одно:
 «Весной, порой погожей,
 Опять пройти мы сможем
Там, где прошли давным-давно».

 Все минуло, все было,
 И не веротишь вспять.
Вот и меня зовет могила...
Мне скоро... И могла ль ты знать,
 Что твой уход поспешный
 Меня во мрак кромешный
Сведет?.. Его не разогнать.

ТВОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПРОГУЛКА

Домой равниною зеленой
Ты возвращалась не грустя,
Не выдал взор твой оживленный,
Что ты умрешь семь дней спустя,
Что окна городка ночного
В глазах не отразятся снова.

Налево от дороги той
Лежало место, где навеки
Под молчаливою плитой
Семь дней спустя сомкнешь ты веки,
Но это после, а в тот день
Сосновая манила тень.

С тобою я не ехал рядом,
Но будь в тот вечер мы вдвоем,
Едва ли по случайным взглядам
Я б догадался о твоём
Уходе — понял бы едва ли
Слова, что в сердце созревали:

«Скучать ли обо мне ты будешь
И часто приходить сюда,
Или немедленно забудешь,
Я не узнаю никогда:
Теперь ни доброго, ни злого
Мне от тебя не нужно слова!»

Ты говоришь: «Свободен будь!»
Но разве в нашей жизни прошлой,
Любимая, хоть что-нибудь
Я мерил выгодой пошлой?
Ты выше, нынче и тогда,
Любви, забвенья и стыда.

Я НЕС ЕЕ

Я нес ее с дальнего склона,
Который не каждый найдет.
Он круто на запад ведет:
Там ветер и воздух соленый,
А ниже, на рыжих песках,
Слабеет напор океана.
Там сушу сжимает в тисках
Могучий охват урагана.

Принес и укрыл ее тут,
И здесь она тихо уснула
Вдали от привычного гула:
Приливы сюда не дойдут.
Молчание глинистой кельи
Уже не спугнут никогда
Те волны, что нынче отпели,
Как пели в былые года.

Да, спит она не на свободе
Своих нелюдимых высот.
Там тяжело Атлантика бьет
И бури вслепую проходят.
Оттуда, бывало, она
Глядела на склон Дандажела,
Закатами озарена,
От пламени их загорела.

Тут ей Лионесс вдалеке
Являлся, скрываемый гладью,
А ветер играл ее прядью
И тут же хлестал по щеке.

И так непонятно томили,
И так неотступно влекли
О чем-то шептавшие мили,
Пропавшие нынче вдали.

Но, может, хоть призрачной тенью
Пройдя по земной глубине,
Услышит она в тишине
Далекого моря гуденье:
В краю, что покинут давно,
То плачет призывно и тонко,
То радостно бьется оно,
Как чистое сердце ребенка.

ЭЛЕГИЯ

Как ей нынче б хотелось
Здесь гостей принимать!
Как всегда, приделась,
На лужайке опять
Стулья, стол, угощенье...
И она — вся свеченье,
Их встречала бы... Но
Не дано, не дано
 Их приветствовать ей
 В тесной келье своей
 Без окон без дверей.

Как она бы царила
За вечерним столом,
Воплощение пыла,
Безоглядна во всем:
Раздарить, не считая,
Целый дом без утаек
Для друзей!.. Но, увы,
Спит под сенью травы.
 Ни друзей, ни вина.
 Лишь одна тишина
 Ей оттуда слышна.

С детской строгостью взгляда
Ей ловить бы из тьмы
Робкий порх снегопада
С приближеньем зимы.
И под сретенским снегом
Первый крокус в побегах
Узнавать... И окрест
Столько памятных мест!
 Сняли б грусть как рукой,—
 Ведь не зря здесь такой
 Благодатный покой!

Ну, а мы? Мы осели
В мире затхлых вещей.
Позабыто веселье
И шумливость затей,
Что ее так прельщали,
Вечно не насыщали,
Как сегодня нас... Но
Не дано, не дано
 Ей услышать наш зов:
 Для желаний и слов
 Тесен тисовый кров.

ГОЛОС

Твой ли то голос, о женщина, ставшая
Непреходящею болью моей,
Слышится мне, словно в пору тогдашнюю
Наших начальных безоблачных дней?

Ты ль это? Если и впрямь ты звала меня,
Дай же мне встретиться снова с тобой
Там, возле города, где ты ждала меня
В платье нежнее волны голубой!

Иль это ветер с глухой безучастностью
Носится вдоль перелесков и рек,
И растворенную в блеклой безгласности
Мне уж тебя не услышать вовек?

Я стою. Надо мною вьется
Желтой листвы хоровод;
Северный ветер в кустах скребется;
И голос твой все зовет.

Декабрь 1912

ПОД ПОСЛЕДНИМ ФОНАРЕМ

1

Покуда дождь с еловых лап
Уныло шлепал: кап, кап, кап,
Под фонарем в конце аллеи,
 Двигаясь медленно и печально,
 Шли эти двое, как будто жалея —
О чем? Печаль, как постоянство,
Стирает время и пространство.

2

Любовники ли, чей прошел
Чудесный час, чей ореол
Угас? Их каждое движенье —
 Медленно, медленно и печально
 Под желтоватым фонарным свеченьем —
Казалось образом утраты:
Когда-то... некогда... когда-то...

3

День кончился; я в парк сырой
Спустился вновь: над головой
Висела ночь. Но эти двое
 Так же медленно и печально
 Шли под ливнем и темнотою —
И кто бы знал, какая весть
Их привела и держит здесь?

И вот, меж тем как тридцать лет
Исчезло в суете сует,
Я снова здесь, где был, где двое,
 Двигаясь медленно и печально,
 Шли бок о бок ночью сырою.
Всё, как тогда. Фонарь вдали.
Всё — кроме них. Они ушли.

Куда? Бог ведает. Но каждой
Тревожной полночью и влажной
Я чувствую шаги двоих,
 Идущих медленно и печально,
 В парке, который немислим без них.
И если бы они ушли,
Сам парк исчез с лица земли.

ПРОШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ

Напеваю я тот мотив,
Что с нами был,
Когда он любил.
Вдруг шаги в саду,
И опять я жду,
Обо всем прошедшем забыв.

Ту же песню пою теперь,
А он — за стеной...
Неужели со мной
Он разделит ночлег?
Нет! Ушел он навек...
Слышу: где-то хлопнула дверь.

Ну а я, душою больна,
Жду и утром его,
Жду и ночью его,
И нет больше сил...
Кто бы мне объяснил,
Для чего я на свет рождена?

ЖАЛОБА ЧЕЛОВЕКУ

Из провала вечности восставая,
Сознавая разума торжество,
Очищалась медленно плоть живая

От всего, что низменно и мертво,—
Так зачем же создал ты, Человеке,
Из себя же идола своего?

Я — ничто, я — камень, лишенный речи.
Без тебя я, как без поводыря,
Так зачем же мне возжигают свечи?

Гаснет луч волшебного фонаря,
И толпа теней, замерев недужно,
Без показчика умирает зря!

Ты ответить можешь: «Так было нужно,
А иначе трепетная душа
Перед дольней горечью безоружна.

Чтобы жить ей праведно, не греша,
Небосвод не должен стоять безбожным:
Высь престолом Истины хороша!»

Но пойми, в отчаянье безнадежном
Создал ты меня, и твой шаг любой
Стал без Бога попросту невозможным.

Нынче отживаю я сам собой,—
Не сочувствуй мне и не соболезнай! —
Крест богоубийственный в голубой

Высоте — я скоро совсем исчезну
И хотел бы правду открыть тебе,
Прежде чем навеки сокроюсь в бездну:

Главная опора в людской судьбе —
Доброта, подвластны ей все тревоги:
Сердце брата чутко к твоей мольбе!

О другом не стоит и думать Боге
И несуществующей ждать подмоги.

НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ

Не плачь по мне,
Под деревом в тишине
Покоен я в глубоком, мирном сне.
 Как день светла,
 Без страха и без зла
 Стремительная жизнь моя текла.

И я не знал,
Сколь срок цветенья мал,
И путь земной за вечность принимал.
 С зарей земля
 Звала меня в поля.
 Я думал: «Счастлив мир, коль счастлив я».

И день свершив
Среди созревших нив,
Я мир благословлял за то, что жив.
 Настанет срок,
 И заготовишь впрок
 Под звон жуков хмельной, искристый сок.

Струей огня
Ты на излете дня
Вновь насладишься, но уж без меня.
 И все ж пропой
 Те песни, что с тобой
 Певали прежде мы наперебой.

И слезы с глаз
Смахнув, смелее в пляс
Под тот мотив, что вместе помнит нас!
 Еще прошу:
 Под желтых листьев шум
 Не плачь — я сплю, спокойно и без дум.

ДО И ПОСЛЕ ЛЕТА

I

С приближением весны
Нам уж больше не страшны
Эти зимние печали.
Пусть февральские снега
Сыплют гуще, чем вначале:
Эта поздняя пурга —
Хоть вдвойне она сердита —
Все равно насквозь прошита,
Словно створки жалюзи,
Солнцем, что уже вблизи.

II

В октябре грустит сосна
Возле моего окна.
Молчаливо и уныло,
Зябнет птица на сосне.
Как и мне, ей все не мило
И печально, как и мне.
Ведь опять зима настала.
Лета словно не бывало.
И не вспомнишь, как прошло
Солнце, счастье и тепло.

НА ИСХОДЕ ДНЯ В НОЯБРЕ

Вечер темным сверкает глянец.
Птица поздняя ищет приют.
Сосны, как перед главным танцем,
Вскинув строгие головы, ждут.

Клены листья бросают втуне.
(Желтизной их был день согрет.)
Я сажал их в моем июне,
А теперь они застыт свет.

Дети медлят идти с газонов
И не могут уразуметь:
Было время без старых кленов.
Будет время без них и впредь.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Как ты узнал, что белесый шар,
Свой путь свершающий без фанфар
По зодиаку из года в год,
От рыб холодных уже вот-вот
Сместится к Овну? — Все так же сед
Небесный свод и опять одет
В лохмотья, и — приглядишь к земле —
Ни искры цвета в ее золе.
 Воспевший дрозд, как ты узнал?
 Как ты узнал?

Как ты узнал, там, в глубине,
Без звука, без луча извне,
С погодой этой неживой,
С температурой снеговой,
Что свет стал ярче на одну
Свечу, что день набрал длину,
Что в небе зреет аромат
Незамерзающих прохлад?
 Подснежник мой, как ты узнал?
 Как ты узнал?

БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ

С тобой так бывало порою,
Когда уходили друзья
И просто случайные гости:
Исчезнешь вдруг — и без злости
Вдогонку бросаюсь я.

То сельской наскучив дырою,
Ты в город срывалась большой,
И я узнавал слишком поздно,
Насколько это серьезно,
И ждал — со спокойной душой.

К такому привык я, не скрою,
Но вот ты захлопнула дверь
Навеки, и осиротело
Молчал я. Сказать ты хотела:
«Прощаться не стоит, поверь!»

ЖЕНЩИНА ВО РЖИ

«Зачем ты стоишь под дождем, во ржи,
От ветра, от стужи сама не своя,
Зачем домой не уходишь, скажи?»
«Ему умереть пожелала я.

Не знаю, как вырвались эти слова,
Ведь я любила его и люблю!
И вскоре он умер, а я жива —
Томлюсь до рассвета, скитаюсь, не сплю.

И мерзну, и мокну в бездомной ночи,
И хмурится высь, душу мне леденя,
И жутко над кладбищем реют грачи:
Он там наконец отдохнет — без меня».

ОНА ОБВИНЯЛА

Она обвиняла меня, что другую
Любил я когда-то — бог знает когда!
И душу мне сжав, как пружину тугую,

Не раз повторила, что слишком горда,
Что те же слова говорил я кому-то,
И грустно по окнам стекала вода...

И рот ее жесткий, очерченный круто,
И палец, мне грозно упершийся в грудь,
Пугали, но вот наступила минута,

Когда поцелуем я мог оттолкнуть
Размолвку и рот запечатать упрямый,
Начни она нежно, скажи что-нибудь.

Для деспотов путь неприемлемый самый:
В любой ее паузе, в жесте любом
Читалась развязка наскучившей драмы
Под древним названьем «Царица с рабом».

ЖЕНА ВНОВЬ ПРИЕХАВШЕГО

Он встал как вкопанный, сам не свой,
Около двери шумной пивной,
Услышав имя жены своей —
Неделю были обвенчаны с ней.

«Она была радость для нас для всех,
Но тайною свой прикрывала грех,
Потаскана, а все ж недурна;
А сплетням недолгая жизнь дана.

Он думал: чиста она, как стекло.
Я рад, что девочке повезло.
Нам, здешним, приелась ее любовь,
А вновь приехавшим это вновь.

Наверное, жизнью не умудрен,
Невинность и свежесть в ней видел он,
Чужак, не знает, что без числа
Любовные схватки она вела».

А ночью кто-то в воде плеснул —
Со скользкой пристани соскользнул;
Когда беднягу нашли потом,
Кишели крабы кишмя на нем.

РАЗГОВОР НА ЗАРЕ

Он спать не мог, была она
Неприбрана, погружена
В печаль и мрак;
Зарей горел проем окна.

Глядело на залив окно,
Светло в отеле было, но
Он, сделав шаг,
Раздвинул шторы все равно.

И луч багровый в тот же миг
Нашел, окрасил их двоих
И докрасна
Ожег огнем подушки их.

«Родная, что произошло?
Всю ночь меня к тебе влекло,
А ты, жена,
Меня отталкивала зло».

«Мой муж, кого сравнить с тобой?
Ты так был терпелив со мной,
Ждал столько лет,
Что стану я твоей женой».

Ее луч солнца освещал.
«Скажи мне: в чем твоя печаль?
Открой секрет:
Чего тебе не обещал?»

«Ты делал все (каприз любой
Оплачен наперед тобой),
И не счета —
Меня гнетет иная боль».

«Все то, что нажил я трудом,
Тебе останется потом,
И нищета
За милю обойдет твой дом».

«О да,— ответила она,—
Я знаю, мне воздашь сполна,
Как знаю то,
Что вечны солнце и луна...»

«Тогда ответь мне, отчего ж
К стене, а не ко мне ты льнешь?
Скажи: на что
Медовый месяц наш похож?

А может, у тебя был друг,
Но что-то изменилось вдруг,
Вы разошлись —
И в том твоих причина мук?»

Стояла долго тишина,
Лишь билась о берег волна,
Взмывая ввысь.
И начала рассказ она:

«Давно был брошен милый мой
Своей преступною женой;
Исчадь зла,
Она окончила тюрьмой...

Я дорога была ему,
Но, заключенная в тюрьму,
Жена была
Преградой счастью моему.

И потому в расцвете лет
Я твердо отвечала «нет»
Тебе и всем,
И мне сулили бездну бед.

Но вот, когда уехал друг,
Меня вдруг охватил испуг...
Зачем, зачем
Твоей женой я стала вдруг?!

Теперь припомни: ты вчера
Бродил по палубе с утра,
А на корме
Был гроб; на нем венков гора.

В то утро мы гуляли врозь
И ненароком удалось
 Услышать мне,
Кто спит под насыпью из роз.

Вуаль я не сняла, и он
Меня не видел, веры полн,
 Что для меня
Теперь уж он освобожден.

На этом острове она
Останется, где рождена.
 Но страсть моя
Ему уже не суждена».

«Ты с ним бы счастлива была?»
Но что в ответ сказать могла
 Она ему,
Не причинив при этом зла?

«Муж не сухарь, а весельчак?»
С ним спорить не могла никак,
 Хоть потому,
Что и сама считала так.

«Меня назвал он «дорогой»
И клялся мне любимый мой,
 Что все равно
Он обвенчается со мной.

Ждет свадьбы он, трепещет весь;
Могу его письмо прочесть,
 Меня оно
Нашло, пересланное, здесь.

Решилась я на смелый шаг:
Бежать к нему, ведь только так
 Ты, честен, строг,
Расторгнешь наш нелепый брак.

Хотя нотацию прочел
Ты мне, что брак наш заключен
 На вечный срок
И страсть тут вовсе ни при чем,

Но мы не связаны судьбой!
Ты разведи меня с собой!
 Бог не убьет
Им порожденную любовь!»

Муж, помолчав, сказал в ответ:
«Идиллии в помине нет,
И вот грядет
Уже трагедия на свет.

Однако снова поклянусь,
Что не расторгну наш союз;
Твоим страстям
Не разорвать семейных уз».

Она ответила: «Молю:
Не погуби судьбу мою,
Иначе срам
Падет на голову твою».

«Но почему он должен пасть?
Ты начала рассказ про страсть,
И я не прочь
Услышать и вторую часть».

«Поскольку наш законный брак
Не близился, а было так
Нам жить невмочь,
Мы сделали отважный шаг.

Хоть в церкви был погашен свет,
Друг другу принесли обет
Мы в эту ночь,
И Богу ведом наш секрет».

«Ты тайная его жена?»
«Да». И настала тишина.
Он встал как столб.
«И все ж ты быть моей должна».

«Но я ведь вышла за тебя
Лишь потому, что я слаба,
А также чтоб
От срама уберечь себя».

«Но кто же знал, кроме тебя,
О клятве возле алтаря?»
«Меня жег страх,
Что я ношу в себе дитя.

Ведь я не первая, увы,
Кто покрывает грех любви.
Сотрутся в прах
Все добродетели твои...

Он бледен был вчера, но вновь
Я поняла, что он любовь
 Ко мне сберег,
Союз мой с ним сильней оков!..»

«Как твой рассказ я перенес,
Постыдных не проливши слез,
 Мне невдомек,
Но слушай — говорю всерьез.

Да, я нотацию прочел,
Что договор наш заключен
 На вечный срок,
А страсть тут вовсе ни при чем.

Хотя наш брачный договор
Тобой запятнан с давних пор,
 Надеюсь, ты
Сумеешь спрятать свой позор.

О нем известно только нам;
Я буду бдителен, упрямя;
 Оставь мечты:
Свободы я тебе не дам.

А если плод твоих утех
Появится, прикрою грех,
 Его дитя
Моим останется для всех.

Еще узнаешь норы мой:
Сбежишь — пренебрегу молвой
 И не шутя
Бунт усмирю, верну домой...»

«Довольно... Я твоя раба...
Такая уж моя судьба,
 И мне житься
Не будет больше без тебя».

«Клянись мне идола изгнать!»
И на пол на колени встать
 Велел ей он.
«Так. А теперь ложись в кровать.

И помни, что любовь твою
Я изведу, в тебе убью
 И выбью вон,
Потом вобью любовь свою.

А ты в неведение своем
Меня считала дураком,
 Что ж, плачь не плачь,
Урок получишь поделом».

Но не заплакала она,
Глядела, ужаса полна,
 Как мчалась вскачь
На набережную волна.

1910

БЕГСТВО

«На это женщина не пойдет! — прервал он бесцеремонно, —
Что хочешь в награду ей посули, хоть копи царя Соломона!
На то, чтобы выглядеть старше, чем есть, согласья не даст
ни одна!»
«Вот здесь, — улыбнулся я про себя, — ошибся ты, старина!»

Такое случилось со мною самим — редчайший, конечно, случай!
Но и она редчайшей была — самой верной и самой лучшей.
Любви сумасшедшей, страстной любви простерлась над нами
власть:
Придумать то, что придумали мы, велит только сильная страсть.

Никто в целом свете не знает о том, но в памяти ярко и живо
Былое, что многие годы спустя становится тускло и лживо:
Как утлые барки в безвыходной тьме, метались наши умы,
И нежность ее пересилила стыд — в тот вечер решились мы.

«У нас не осталось другого пути!» — я уговаривать начал
И вдруг убедился, что для нее весь мир ничего не значил! —
Мы волосы красили под седину, чертили морщинки у глаз,
Самой верной и лучшей была она — неважно, какая сейчас.

Вот слышим: внизу подкатил экипаж, и вторит шагам мостовая.
«Один господин с пожилой женой», — привратник ответил,
зевая.
Колеса вдали отгремели, и мы с облегченьем вздохнули тогда,
И смыли уродливый грим, и она опять была молода!

Лет пятьдесят пролетело с тех пор, с тех пор как, не рассуждая,
Изображала старуху жену невеста моя молодая...
Да только о прошлом, о случае этом напоминать ей смешно:
Она респектабельна и богата и о многом забыла давно.

ОБРАЗУМЬСЯ ТЫ, РАСПЛАЧЬСЯ

Образумься ты, расплачься, сделай полшага навстречу,
Посмотри щемящим взором, затуманенным от слез,
Ты заметила бы сразу, что я больше не перечу,
Что грозу нам ненадолго этот бурный день принес.

Ты всегда считала слабость недостойною опорой,
Вопреки природе женской так бесчувственно горда!
И хотя в душе не меньше ты терзалась нашей ссорой,
Как страдаешь ты, как плачешь, не видал я никогда.

Слабым женщинам под силу то, что сильным неподвластно,
Этим даром обладают в целом мире лишь они,
Но от лучшего оружия отказалась ты бесстрастно
В ослепленные страданьем нескончаемые дни.

И когда тебя простить я не хотел порою смутной,
Почему такое войско не смогла ты бросить в бой?
Сердца каменного сухость подточил бы дождь минутный
И ни тени отчужденья не оставил нам с тобой.

ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ

Тень, я пришел к тебе после всех потерь...
Куда повлечет меня призрак, на что отважит?
Подняться? Низвергнуться? Я одинок теперь.
Песня волны мне одну безысходность кажет.
Куда ты меня повлечешь, куда?
Волосы русы твои, глаза твои серы...
Пылко румяна или бледна без меры,
Ты перед взглядом сердца стоишь всегда.

Снова я в тех краях, где мы были вместе.
Опять и опять на твой нападаю след.
Из прошлого ты принесла мне какие вести,
Из черного далека, в котором тебя уж нет?
Лето нас усладило, осень предначертала
Разлуку. Все ново лишь в первый раз.
Ты знаешь, так было у нас.
Я многое Времени отдал, что жизнью стало.

Теперь я знаю, куда ты меня ведешь.
В этой долине мы вскачь пронеслись рядом.
Как был хорош тот час и тот день хорош —
И радуга пыльно светилась над водопадом.
Там, ниже, пещера, приют голосов глухих,
Словно зовущих из сорокалетней дали,
Когда от счастья щеки твои пылали.
И вот я за призраком блеклым ступаю, тих.

Птицы к нам прилетят из области заповедной
Перья почистить. Липы ветвями бьют.
Звезды закроют окна, заря улыбнется бледно —
И снова твои черты от меня уйдут.
Слушай меня, я буду сильным и непреклонным.
Но приведи меня к этому месту вновь.
Я стану таким, как был, радостью упоенным,
Как в дни, когда все пути лежали в полях цветов.

Пентарган Бэй

МЫС БИНИ

(Март 1870 — март 1913)

I

О сапфиры и опалы — краски западных морей,
Помнят женщину на скалах в светлом облаке кудрей.
Эту женщину любил я, и она была моей.

II

И внизу кричали чайки, и с обрыва чуть видна,
Далека, как будто небо, вечный спор вела волна,
И смеялись мы, как дети, и вокруг была весна.

III

И слетал прозрачный ливень рябью радужной играть,
И бесцветной становилась атлантическая гладь,
И опять спешило солнце море пурпуром убраться.

IV

И поднесь стоит над морем Бини гордая гряда.
Скоро март — ужели с милой не вернемся мы сюда
И слова любви друг другу вновь не скажем, как тогда?

V

Пусть по-прежнему над бездной дикий высится утес!
Та, которую на скалы легконогий пони вез,
Где — бог весть! — и уж о Бини не прольет и капли слез.

У ЗАМКА БОТЕРЕЛ

Когда под дождиком морозящим
Фургон наш на тракт повернул лениво,
Я, обернувшись, за уходящим
Следил — и там, молодой, счастливый, —
Я помню живо —

Шел путник, некогда бывший мною,
И девушка. Странно — земля на склоне
Была сухая, как той весной,
А тракт был мокр. Без тяжести в фазтоне
Бежал наш пони —

Мы вышли, чтоб он отдохнул немного,
И шли вдоль обочины, размышляя,
Что жизнь, когда пораскинешь строго,
Бесцельно длится, пыл убавляя
И ум сжигая.

Всего минута. Но не бывало
В истории этих холмов минуты
Прекрасней и ярче — хотя топтало
Сто тысяч ног, обутых и необутых,
Кремнистые футы.

Да, глыбы, застывшие у обрыва,
Немало видали-перевидали...
Но в памяти их остается живо
Лишь это время. Они едва ли
Запоминали

Других, другое... И в дождь шумливый
Мне видится там, на холме, все та же
Фигурка — в тот миг, колдовской, счастливый —

На склоне застывшая, как на страже,
Да тень экипажа.

Я вижу, как она исчезает,
И чаще, чаще дождя паденье.
Прощай же! Фургон наш пересекает
Заветную область — любви владенья —
К ним нет возвращенья.

Март 1913

ПРИЗРАЧНАЯ ВСАДНИЦА

I

Неладное с другом моим творится:
Придет порой,
Изможден, пуглив,
На берег морской,
На бурный прилив
Посмотрит с тоской,
Взор в бездну вперив,
И вновь удалится...
Но что ему там, за волною, мнится?

II

Яснее и зримей, чем все живое,
Сладчайший сон
Ему предстает,
И чувствует он,
Что вымысел тот
Во плоть облечен
И дышит, живет —
Не время ль былое
В видение вылилось роковое?

III

И дома, вдали от морского рева
Он зрит фантом
Такой же точь-в-точь,
Забывать о нем
Бедняге невмочь —
Пурпурным огнем

Просквозивший ночь,
Как на небе слово,
В сознании пишется образ былого.

IV

Вскачь мчится красавица молодая.
Он стар, седина
Давно уж пришла,
Меж тем как она
Все та, что была,
И моря волна
На бугры напозла.
Дождь льет, нарастая,
И снизу рокошет волна глухая.

1913

КОЛДОВСТВО РОЗ

«Я гордый замок возведу
(Сказал он), но сначала
Хочу, чтоб зажурчала
Вода вдоль лестницы широкой!
Сейчас же замок возведу
И розы посажу в саду,
Чтоб ты не заскучала!»

И вскоре замок был готов —
Две башни для начала,
И весело журчала
Вода вдоль лестницы широкой.
Мой замок вскоре был готов,
Немало там росло цветов,
Но роз я не встречала.

Он роз не посадил нигде,
И, точно в пору вдовью,
Мой сад не жил любовью.
И мы сердцами разлучились.
Он роз не посадил нигде,
Что к тайной привело вражде
И злomu пустословью.

«Исправлю все», — решила я,
И в разрыхленном дерне,
От слез еще упорней,
Я ночью розы посадила:
Вернуть любовь мечтала я,
Чтоб ревность тайная ничья
Ей не сушила корни.

Но жизнь мою прервал Господь,
Призвать меня желая,

Увидеть не смогла я
Цветущих роз и не узнала,
Любовь вернул ли нам Господь,
Или сумела побороть
Ее разлука злая.

Быть может, царственный мой куст
Впервые этим летом
Пылает алым цветом,
И друг заветный понимает,
Любуясь на цветущий куст,
Что замок без хозяйки пуст,
Но мне не знать об этом.

ЕЕ ТАЙНА

Страдала я, и боль моя
 Была очевидна ему,
Но то, что любила я мертвеца,
 Не откроется никому!

Он ждал, что вот-вот на след нападет
 Портрета или письма,
Любая записка, любой намек
 Сводили его с ума.

Он шел за мной на причал ночной,
 На берег, где билась вода,
И только на кладбище за углом
 Не заходил никогда.

В БРИТАНСКОМ МУЗЕЕ

«Чем так привлек тебя этот обломок
Серой шершавой плиты?
Грубый, изъеденный временем камень —
Что в нем увидел ты?

Нет, не увидел — скорее услышал:
Ходишь вокруг и молчишь.
Шепчешь о чем-то одними губами,
Кроткий, как птица, как мышь.

Это же просто подножье колонны,
Здесь тебе скажет любой,
Камень, отрытый на Ареопаге,
Что до него нам с тобой?» —

«Я не знаток, но тревожит мне душу
Стершийся этот гранит:
Может быть, голос апостола Павла
Он и поныне хранит?

Голос апостола Павла, гремевший
Над приутихшей толпой,
Голос, пронзавший до самого сердца,
На доброту нескупой.

Солнцем и ветром измотанный странник,
С виду невзрачен и сух,
Грозно слова разбивал он о камни,
Разум тревожил и дух.

И потому не могу я не думать,
Тихий, простой человек:
Голос святого апостола Павла
Здесь поселился навек».

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

Висела над крышей дома
Рожественская луна,
Усадьба была нам знакома,
И снежная роща темна.

Торжественно скрипка запела
И смолкла в безлюдье ночном:
Смотрели мы оторопело,
Как в зеркале за окном

Хозяйка танцует, не зная,
Что комнату видим мы,
Мелькает рубашка ночная,
Как призрак в объятых тьмы...

Давно прогнала она мужа,
Но только что стала вдовой,—
Трещала декабрьская стужа,
Мы молча вернулись домой.

ДВА СОЛДАТА

Мы повстречались за углом
С соперником моим.
С тех пор как я покинул дом,
Не виделись мы с ним.
И вновь я вспомнил обо всем,
Что больно нам двоим.

Я увидел ее тотчас —
Ту, что любил и он,—
Чей прах, наверно, и сейчас
Лежит непогребен.
Она опять воскресла в нас,
Как призрак тех времен!

Гляжу — в его застывшем взгляде,
В расширенных зрачках
Вновь память вспыхнула об аде,
О крови, о слезах...
Но тут и он, к моей досаде,
Мой заметил страх.

Однако, дав уйти испугу,
Мы разошлись бесстрастно,
Ни слова не сказав друг другу
О драме той ужасной.
Но не уйти нам от недуга,
Что жжет нас ежечасно.

ПОЭТ

Он хочет жить темно и тихо,
Ему противны свет, шумиха,
Молва, визиты в знатный дом
И лесть, и клятвы за столом.

Он не нуждается в участие
Богатства, красоты и власти
И в чувствах тех, кто в дальний путь
Спешит, чтоб на него взглянуть.

Когда же весть до вас дойдет,
Что он окончил круг забот,
В час сумеречный, час унылый
Скажите над его могилой:

«Тебя любили две души».
И день в кладбищенской тиши
При свете звезд умрет спокойно.
Так будет честно и достойно.

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Я — то, что не умрет,
Нить сходства и родства,
Я — тот подземный крот,
Что слышен вам едва;
Но смертное — прейдет,
А я всегда жива.

Я — очертанье лба,
Жест, голос или взгляд,
Я шире, чем судьба;
Пускай лета летят —
Ни время, ни гроба
Меня не поглотят.

ВОЗЛЕ ЛАНИВЕТА. 1872 ГОД

Указательный столб там стоял на пригорке крутом —
Неказист, невысок,
Где мы с ней задержались немного, осилив подъем,
На распутье вечерних дорог.

Прислонившись к столбу, она локти назад отвела,
Чтоб поглубже вздохнуть,
И на стрелки столба оперла их — и так замерла,
Уронив подбородок на грудь.

Силуэт ее белый казался с распятием схож
В сизых сумерках дня.
«О, не надо!» — вскричал я, почуя, как странная дрожь
До костей пробирает меня.

Через силу очнулась, как будто от страшного сна,
Огляделась кругом:
«Что за блажь на меня накатила,— сказала она.—
Ну, довольно, пойдем!»

И пошли мы безмолвно в закатной густеющей тьме —
Все вперед и вперед,
И, оглядываясь, различали тот столб на холме
Среди мрачных пустынных болот.

Но в ее учащенном дыханье таился испуг,
Искушавший судьбу:
«Я увидела тень на земле, и почудилось вдруг,
Что меня пригвоздили к столбу».

«Чепуха! — я воскликнул. — К чему озираться назад?
Не про нас — эта честь».

«Может быть,— она молвила,— телом никто не распят,
Но душою распяты — есть».

И опять побрели мы сквозь сумерки и времена,
Прозревая за тьмой
Муку крестную, что на себя примеряла она
Так давно.— Боже мой!

QUID NIC AGIS? ¹

I

Посещая храм
По воскресным дням,
Там, на месте своем,
Повторяя псалом
Или тихо хвалу
Бормоча в углу,
В пору летних засух,
Когда мается дух,
В должный день и час
Слушая рассказ
Про годину мытарств
Из Книги Царств,—
Как библейский пророк
От скорбей и тревог
В пустыню бежал
И смерти там ждал,
Но Господь перед ним
Явился незрим,
Буря вдруг пронеслась,
Земля сотряслась,
И повеял чуть слышный
Голос воли всевышней,—
Мог ли я ожидать,
Ловя благодать
В блеске милых очей
И церковных лучей,
Что придет такой час,
Когда тот же рассказ

¹ Что ты делаешь здесь? (лат.)

О гонимом провидце
В сердце мне постучится
И ознобом, как лед,
По спине пробежит?

II

Когда выпало мне
Немного поздней,
Жарким летним днем
Перед алтарем
То же место читать
И его толковать
Для других прихожан —
Простых хуторян,
Вряд ли готовых
Вникать в каждый стих,
Забыв о коровах
И овцах своих,
Но готовых всегда
Вздремнуть под шумок,—
Я не ведал тогда
И вклат не мог,
Исполняя урок,
Какая нас ждет
Великая Сушь,—
Когда время пройдет
И выпьют года
Нектар наших душ.

III

Но как ныне истек
Ликования срок,
Светом залитый храм
Обезлюдел — и там,
Где сиял ее взор
Из лучистых орбит,
Лишь плита до сих пор
Ее имя хранит,
И в пустыне своей,
Вдалеке от людей,
Жду я, втайне стена,
Угасания дня
(Хоть я мог бы восстать
И громко воззвать
На скрещенье дорог,
Как древний пророк),
Снова бурю и гром

Слышу в сердце своем,
И дыханье огня
Настигает меня,
И из всех голосов,
Сердцу внятных поднесь,
Всех слышней тихий зов:
«Что ты делаешь здесь?»

ОЖИДАНИЕ

Где моя Лáладжи,
Где она, где она?
Там, вдалеке она,
В той стороне:
С кем-то прощается,
И улыбается,
И собирается
В гости ко мне.

Где же теперь она?
Где же теперь она?
Вышла за дверь она,
Полею идет;
По шелестящим
Рощам и чащам,
Шагом летящим —
Время не ждет!

Ширь над холмами
Ветром напоена,
Легкой стопой она
По крутизне
Сходит все ниже,
Ниже и ниже —
Значит, все ближе,
Ближе ко мне...

О, постелите
Перины пуховые,
Простыни новые
Тонкого льна,
Сливки возьмите

От лучшей коровы и
Скатерть из вышитого
Полотна!

Жду я сегодня
Милую в гости —
Бросьте, все бросьте
Другие дела!
Где же достану я
Яства медвяные,
Туфли сафьянные
И зеркала?

Что она скажет —
Такая красавица?
Как ей понравится
Скромный мой кров?
Слуг маловато,
Еда грубовата,
Нету ни злата,
Ни пышных ковров!

Видно, напрасны
Приготовления,
И нетерпение,
И суета:
Все здесь так бедно,
Скудно и бледно,
Даже любовь моя
Слишком проста...

Где ж моя Лаладжи?
Скоро ль дойдет она?
Вот она, вот она —
Там, за мостом!
О, поглядите же!
О, выходите же!
О, проводите же
Милую в дом!

Лаладжи входит...
Да неужели?
Двери запели...
Небу хвала!
О, как мила она!
Как весела она!
Вот и пришла она,
Вот и пришла.

РОДОСЛОВНАЯ

I

В полночный, поздний час
Я у стола сидел, полуодет,
Над родословием своих отцов.
Луна сквозь незашторенный проем
Струила в спальню водянистый свет,
Она круглилась, как дельфиний глаз,
Сквозящий за волной зеленоватых, беглых облаков.

II

Над генеалогическим листом,
Над древом предков в тишине склонясь,
Вдруг ощутил я: на листе возник
Глумливый лик — сплетенных веток вязь
Явила мне усмешку Колдуна;
Мне подмигнул пергаментный старик,
Указывая в сторону окна.

III

И в зеркале окна,
В той глубине, которой нет конца,
Узрел я прародителей своих,
Внесенных в родословные листы
Прилежными чернилами писца;
И узнавал я в них
Знакомый взгляд, осанку и черты.

IV

И понял я тогда:
Мой каждый вздох и слово на земле,
И каждый мой порыв предвосхищен
Зеркальной шеренгой близнецов,
Чей правофланговый в дали времен
Скрывается в такой туманной мгле,
Куда не досягнуть ни взору, ни догадке мудрецов.

V

«Так вот в чем суть! —
Упавшим голосом воскликнул я,—
Я просто подражатель и двойник,
Пытающийся сам себя надуть,—
Что у меня, мол, воля есть своя!»
Моргнув, пропал с листа глумливый лик,
Растаяло в окне зеркало Колдуна.
И снова в нем — лишь тучи да луна.

СТУК В ОКНО

Кто-то вдруг постучал по стеклу,
К окну снаружи притник;
И я увидел, взглядевшись во мглу,
Моей возлюбленной лик.

«Я ждать устала,— сказала она,—
Столько дней и ночей;
Моя постель холодна, холодна,
Приди ко мне поскорей».

Я встал, прижался к стеклу лицом,
Но в раме было темно:
Лишь бледная бабочка хрупким крылом
С размаху билась в окно.

ВОЛЫ

Ночь Рождества, и стайка ребят
У очага в поздний час.
«Они уже все на коленях стоят»,—
Промолвил старший из нас.

И мы представили: темный хлев,
Воловий теплый уют,
И как, соломою прошелестев,
Они на колени встают.

Фантазии детства! Их волшебства
Развеян зыбкий покров.
Но если мне скажут в канун Рождества:
«Пойдем, поглядим на волов

Туда, через огород и овраг,
Где был коровник и луг»,—
Я встану и выйду в холод и мрак,
Надеясь тайно: «А вдруг?»

1915

ПРЕКРАСНЫЕ ВЕЩИ

Вино — прекраснейшая вещь,
Что там ни говори,
Когда с дружкой ты вечерком
Идешь по Шафтсбери
И двери кабачков зовут:
Любую раствори! —
Вино — прекраснейшая вещь,
Что там ни говори.

Гулянка — это тоже вещь,
Что там ни говори,
Когда всю ночь да во всю мочь
Танцуешь до зари,
А на заре идешь домой,
Погасли фонари...
Гулянка — это тоже вещь,
Что там ни говори!

Любовь — прекраснейшая вещь,
Что там ни говори,
Когда впотьмах, таясь в кустах,
Пылаешь весь внутри,
И вдруг из-за угла — она! —
Нет, черт меня дери,
Любовь — прекраснейшая вещь,
Что там ни говори!

Всегда ли это будет так?
Да нет, держу пари;
Настанет час, раздастся глас:
«Уймись, душа, замри!»
Ну что ж? Вино, любовь, галдеж
Гулянки до зари
Всегда останутся со мной,
Что там ни говори!

КОЛОКОЛА

Я в город утренний входил,
И древний колокол забил,
И знал я наперед
Под милый сицилийский звон,
Что рано, поздно ли, но он —
Мой день — ко мне придет.

День ясный, синий, золотой,
День, как берилл. Но сам с собой
Гадал я — и не мог
Сказать, в который день и год
Со мною рядом будет тот,
Кто мил мне и далек.

Но век расчетлив, даль темна,
На колокольне тишина,
А я учен судьбой,
Что и в блаженстве дремлет рок,
Что друг умеет быть далек,
Когда идет со мной.

СТАРАЯ МЕБЕЛЬ

Не знаю, как это бывает с другими,
Живущими в доме средь утвари той,
Что помнит их бабушек молодыми,
Но в точности знаю, как это порой
Бывает со мной.

Мне чудятся призраки прикосновений:
То руки владельцев, нежны и грубы,
Касаются выступов и углублений,
Мореного дуба, старинной резьбы
И медной скобы.

Рука за рукой, все бледней и бледнее:
Как будто бы в зеркале отражена
Свеча — и другая, и третья за нею,
Все тоньше, прозрачней, все дальше она
В тумане видна.

На выцветшем круге часов над камином
Порою мне видится издалика,
Как стрелку минутную кто-то подвинул
Движением зыбким, как взмах мотылька,
Коснувшись слегка.

И струны на грифе старинной виолы
Как будто бы кто прижимает опять,
И древние жилы гудят, словно пчелы
На летнем лугу.— Но смычка не видать,
Что мог бы играть.

А в темном углу за жестяной с огнивом
Лицо возникает при свете огня:
То меркнет, как факел во мраке дождливом,
То вспыхнет, как искра из-под кремня,
Напротив меня...

Нет, надо вставать, приниматься за дело! —
И вправду на свет бесполезно рожден
Глядящий так долго, так оцепенело...
И сам не заметит, как в муторный сон
Провалится он.

ПОЛЕНЬЯ В КАМИНЕ

Памяти сестры

Беззвучно мигая, огонь по полену ползет,
А это была
Прекрасная яблоня, нам приносившая из году в год
Плодов без числа.

Развилка, куда я рукой добирался сперва,
А после ступней,
Влезая все выше и выше,— черна и мертва,
Дымит предо мной.

И тлеет кора, становясь постепенно золой,
На месте увечном ствола,
Где сук был обрезан и рана сочилась смолой,
Пока она не заросла.

И той, с кем я вместе карабкался, зыбкая тень
Встает из могилы своей —
Такой, как на гнущейся ветке стояла в тот день,
Сощурысь от ярких лучей.

Декабрь 1915

ПОД ВЕТРОМ И ЛИВНЕМ

Они в гостиной поют,
Почти погасив огни:
Сопрано, тенор и бас,
И гость у рояля.
В потемках — сияние глаз...
О время, повремени! —
Листва осыпается в пруд.

Дорожки, заросшие мхом,
Пропалывают они,
Чтоб стало в саду веселей,
И ставят скамейку
Под сенью трех тополей...
О время, повремени! —
Далекий катится гром.

Они садятся за чай
В садовой свежей тени,
По-летнему стол накрыт,
Гуляют фазаны,
За лестницей море блестит...
О время, повремени! —
Промчалась чайка, крича.

В свой новый высокий дом
Переезжают они,
Картины, стулья и бра
Лежат на лужайке,
И пропасть иного добра...
О время, повремени! —
Их плиты изрыты дождем.

КАНУН НОВОГО ГОДА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

1

Бессознательный страх
И плесканье огня,
И рыданье часов,
И отставшая дранка на крыше.
И ослепшая ночь что-то глухо поет:
Тянут сосны усталую песню забот.

2

И все так же в ушах
Крови гул-толкотня,
И раскачка ветров
Старый кованный флюгер колышет,
И никто ко мне в дом не придет.

3

Медлит срок на часах,
В чем-то полночь вина,
Я снимаю засов,
Жду и, кажется, слышу
Мой Неведомый год.

4

Кто-то скачет в полях —
Или, сталью звеня,
Смерть примчалась на зов?
Конь безумием дышит,
Твердь копытами бьет.

5

Но ни тени в дверях.
Но не кличут меня.
Только цокот подков
За калиткой все тише,
И вот-вот пропадет.

6

Кто там канул в полях?
Не узнать, не понять.
Лишь, совсем еще нов,
Народившийся год еле дышит,
Стон разжал ему рот.

7

«Больше слез на глазах!
Недородов! Огня!
Непосильных трудов!» —
Видно, это Судьба нам предпишет,
Чтобы всадник скакал все вперед,
К истомленной Европе, под горькую песню
забот.

1915—1916

ВСЕ ПРОШЛО

Вот оно все и прошло:
Клятвы, сомненья, свиданья,
Смех ни с того ни с сего,
Радости и расставанья,—
Вот оно все и прошло!

Вот оно все и прошло:
Яркие струи речные,
Гнущейся влаги стекло,
Лунные чары ночные:
Вот оно все и прошло.

Вот оно все и прошло,
Домик, дорожки, левкой,
Гости, пиры... Не могло
Век продолжаться такое.
Вот оно все и прошло.

Вот оно все и прошло;
Друг мой не зря повторяет:
«Плохо ли, хорошо —
Жизнь остановки не знает».
Вот оно все и прошло.

«Как же вдруг может пройти
Плавное это движенье,—
Часто гадал я в пути,
Если не будет крушенья?
Что может произойти?»

Так вот и произошло:
Вдруг, без рывка и без шума,
Ехало — и привезло;
В точности, как Он задумал,
Так все и произошло.

ПОСЛЕ МЕНЯ

Когда Время за робким гостем запрет ворота
И месяц май, оживясь, молодою листвою заплещет,
Свежей и тонкой, как шелк,— скажут ли люди тогда:
«Он всегда умел замечать подобные вещи»?

Если это случится в зябкую рань пред зарей,
Когда ястреба тень над землею скользит невесомо,
Может, кто-то подумает, глядя в сумрак сырой:
«Это зрелище было ему, конечно, знакомо».

Если это случится в мотыльковую, теплую ночь,
Когда ежик бредет своей лунной опасной дорогой,
Пусть кто-то скажет: «Он жалел и желал бы помочь
Всем беспомощным тварям; но мог он, конечно, не много».

Если слух долетит до друзей, когда будут они
За порогом на зимнее небо смотреть, где созвездья роятся,
Пусть припомнят, на эти бессчетные глядя огни:
«Вот кто вправду умел на земле чудесам удивляться».

И когда колокольчика отзвук, прощально звеня,
Вдруг замолкнет, оборванный ветром, и снова вдали
затрепещет,
Словно это другой колокольчик,— скажет ли кто про меня:
«Он любил и умел замечать подобные вещи»?

ПОЗДНЯЯ
И РАННЯЯ ЛИРИКА

погоды

I

Этой погоды кукушка ждет,
Равно как я —
Когда каштан свои свечи жжет
И все края
Наполнил в ночь соловьиный звук,
И не в таверне пир, но вокруг,
И девушки стройных не скроют рук,
И все горожане глядят на юг,
И с ними я.

II

Эту погоду клянет пастух,
Равно как я —
Когда каштан от дождей опух
И в три ручья
Луга рыдают. Не спит прибой,
Укрыт холмами: волна с волной
Идут бок о бок — тоска с тоской.
Грачи стадами летят домой,
И с ними я.

ЛЕТНИЕ ПЛАНЫ

Когда июньский день вззовет,
День вззовет
К своим флейтистам молодым,
Мы наведем прозрачный свод
Листвы, где так привычно им
Устраиваться и — без нот —
Играть, играть... «Мы наведем», —
Пою. Но кто бы наперед
Сказал, что нас дотоле ждет!

И воды брызнут из камней,
Из камней —
Как шапки снежные, чисты.
И мы пойдем туда — смелей, —
Где, прыгнув с грозной высоты,
Каскад, обрушась массой всей,
Рвет с корнем чахлые кусты.
Легко мне петь. Сказать сложней,
Что будет через пару дней.

ПОРОЙ Я ДУМАЮ

(К Ф. Э. Г.)

Порой я думаю о том,
Что сделал я,
За что не стыдно пред лицом
Небытия.
Но сторонились все кругом:
Враги, друзья.

Я сеял добрые цветы;
Я был пастух —
Оберегал от темноты
Смятенный дух.
Пел голос мой средь немоты,
Но мир был глух.

И всё? И это весь отчет?
А та, что мрак
Сожгла и встала у ворот,
Как добрый знак?
Все внемлет, все хранит, все ждет...
Да будет так.

СТРАННЫЙ ДОМ

(Макс Гейт, А. Д. 2000)

«Я слышала звук рояля.
Так призрак бы играл».
«Рояль? Ну что ты? Едва ли.
Зайди — пустует зал.
Рояль был стар и не в моде,
Расстроен, продан потом».
«Вот снова! И голос вроде.
Престранный дом.

Прислушайся. Вторит тихо
Сопрано. Не слышишь? Там!»
«Не бойся же так, трусиха,
Никто не мешает нам».
«Дверь, слышал ты, заскрипела?»
«Помилуй, мы здесь одни».
«Но слышу ведь — вот в чем дело.
Пойди взгляни.

Здесь спальня? Нет, я не смею
Войти. Чья-то тень в дверях».
«Тут некому быть. Смелее.
Пойми, это просто страх.
Со зреньем твоим и слухом
Ночь шутит. Ты будь хитрей».
«Здесь странно! Собраться с духом!
Уйти скорей!»

«Очнись! Ты теперь во власти
Иллюзий. Твой нежный ум
Смущают чужие страсти.
Ты слышишь давнишний шум.

Дом стар. О любовной паре,
Здесь жившей, был разговор.
Что ж, видно, в хмельном угаре
Стоит с тех пор.

Привычки их были странны —
Любовников тех. Старик
Свой миф излагал пространно.
Должно быть, уже привык.
Мне пульс, признаюсь, ускорил.
Но нам не должно быть дела
До тех, кто тут пел и вторил,
Чья кровь кипела».

ВСЕ ТА ЖЕ ПЕСНЯ

Все ту же песню птица поет,
Точь-в-точь, как пела тогда,—
Ту, что мы слушали ночь напролет
В минувшие года.

Какое же чудо! — ее мотив
До времени сего
Доносит мой слух, не упустив
Ни ноты из него!

Да только птица поет не та:
Та уже стала землей,
Как те, что в минувшие года
Слушали вместе со мной.

ЛАЛВОРТ КОУВ СТОЛЕТИЕ НАЗАД

Я мог бы жить столетие назад
И так же Дорсет объезжать устало,
И в Лалворт Коув заехать наугад,
И Время б за руку меня поймало:

«Ты видишь юношу?» — и я в ответ
Кивнул бы: «Вижу. Он сошел, наверно,
Со шхуны, вставшей близ Сент Элбанз Хэд.
Что ж, юноша такой, как все, примерно».

«Ты видишь юношу?» — «Я вижу, да.
Темноволосый, хрупкого сложенья,
По виду горожанин. Та звезда
Его приворожила, без сомненья».

«Ты видишь?» — «Но оставь меня, прошу!
Мне в путь пора. Меж тем уже стемнело.
И силы на исходе. Я спешу.
Ответил: вижу. Но скажи, в чем дело?»

«Так знай: на смерть свою он едет в Рим.
Лишь мы с тобой его проводим ныне.
Сто лет — и мир последует за ним,
Чтоб праху поклониться, как святыне».

Сентябрь 1920

КЛЯТВА ДЕВУШКИ

(Песня)

Я не хочу исподтишка
Добиться права стать женою,
Чтоб выбраться из уголка,
Где жизнь — свидание с тобою,
И не прельщусь я новизною,
И глухомань не прокляну,
Коль суждено тебе судьбою
Всегда любить меня одну.

Минутных встреч я буду ждать
С неукоснительным терпеньем,
И времени не совладать
С моей любовью и смиреньем,
Не выжать слезы сожаленья
Из глубины увядших глаз,—
Когда не встанет тень сомненья
Иль тень чужая между нас.

НОЧЬ В НОЯБРЕ

Я заметил смену погоды
По глухому скрипу окон
И, как ветер бьется у входа,
Я услышал сквозь полусон.

Он швыряет мертвой листвою
Внутрь, в дом, ко мне на кровать,
Точно дерево еле живое
Хочет мраку о чем-то сказать.

И листок меня тронул, и с дрожью
Я подумал, что ты в мой дом
Вошла — и стоишь — и можешь
Наконец рассказать обо всем.

КРАСАВИЦА

Оставь мою ты красоту,
Не повторяй стократ:
«Богиню видно за версту». —
Мне эти речи — яд.

Не повторяй, но молви так:
«Будь счастье иль беда,
Будь свет иль беспросветный мрак —
Я друг ей навсегда».

Мне зеркало страшней всего.
Моя краса не я.
Никто за нею моего
Не видел бытия.

Так думай обо мне, мой друг,
О той, что есть, о той,
Что будет в час последних мук
И дальше, за чертой.

ОРГАНИСТКА

(А. Д. 185—)

Вспоминаю все вновь, все как есть — за органом в последний раз,

Между тем как закатное солнце, струистое словно атлас,
Проникает на хоры, скользит, бросив тени от певчих, и вот
Ближе, ближе, еще, потянулось — и луч на плечо мне кладет.
Помню, как волновались, шептались на первых порах: «Кто
она —

За органом? Совсем молодая — а тоже, выходит, сильна!»
«Из Пула пришла без гроша, — им пресвитер тогда пояснял. —
По правде сказать: чтобы жить, этот заработок будет мал». —
(Да, заработок был и впрямь... Но я не роптала. Орган
Мне дороже их денег, моей красоты и любви прихожан.)

Так он говорил поначалу, впоследствии тон изменился:
«Довольно возимся с ней, уж прославилась — дальше нельзя». —
Тут кашлял с намеком. Его собеседник тогда отступал
Чуть в сторону, шею тянул, чтоб за ширмой меня разглядеть.
«Хорошенькая, — бормотал, — но на вид уж чувственна слишком.
Глаза хороши у нее. Веки только, смотрю, тяжелы.
Губы яркие, да тоже не в меру. Грудь для лет ее слишком
полна». —
(Допустим, вы правы, мой сэр, но скажите, моя ль в том вина?)

Я продолжала играть под этот аккомпанемент.
Слезы текли и мешали, но я продолжала играть.
В общем не так уж и трудно — примерно как петь за органом...
У меня неплохое контральто. Сегодня я тоже пою.
А псалмы это чудо. Исполнишь — и как побывала в раю.

В тот день до пресвитера вновь долетели какие-то слухи,
Немало его озадачив, он ведь был добродетель сама.
(Он торгует в аптеке на Хай-стрит и вот на неделе зашел
К собрату — тот рядом работает, по переплетному делу.)

«Скверно,— сказал он тогда.— Речь идет о достоинстве храма. Если и впрямь такова — что поделаться, придется уволить».
«Органиста такого, однако, не достать нам и за три цены!»
Это решило вопрос (пусть на время). Орган ликовал.
Напрягался регистрами всеми, отсрочивая финал.

В приходе чем дальше, тем больше косились, шептались мне
вслед.

И вскоре вопрос был решен, я пока что не знала о том.
Но пришел день — и мне объявили. И это был страшный удар.
Я опомнилась (бледной такой не видали меня никогда):
«Оставить? О нет, не могу. Разрешите мне даром играть».
Потому что в тот миг я совсем обезумела. Разве могла я
Бросить это богатство — орган, для него ведь я только жила.
Они помолчали. И так я осталась при церкви опять.
С моими псалмами — за них можно тело и душу отдать.

Но покой был, конечно, недолог: до пастора слухи дошли,
Дескать, кто-то из паствы видал меня в Пуле вдвоем с
капитаном.
(Да! Теперь мне и впрямь оставалось лишь это, чтоб как-то
прожить.)

Но, знает бог (если знает), я любила «Святого Стефана»,
«Сотый» и «Гору Сион», «Субботу», «Аравию», «Итон»
Больше греховных объятий тех смертных, что были со мной..
Вскоре новая весть: досветла не одна возвращалась домой.

Старейшины подняли шум, но все было ясно и так,
Без слов. На последнюю просьбу я все же решилась в слезах.
Кто бы там ни владел моим телом, еще оставалась душа.
А душа умирает достойно. Решилась и вот говорю:
«Прощенья не жду, джентльмены, но позвольте еще раз играть.
Вам убытка не будет, а мне... Для меня это целая жизнь».
Я знала: они согласятся (играю ведь даром, так что ж!),

Дрожала же, как в лихорадке, и все пред глазами плыло.
И впрямь — после паузы мрачно кивнули: «Пожалуй, что
можно.

Один только раз — уяснила?» Поклоном ответила «да».
«Взгляд твой где-то блуждает теперь», — кто-то молвил из них
под конец.

В ответ улыбнулась едва: «Далеко. Далеко, мой отец».

Вечер воскресного дня — и последнего дня моей службы.
Восклицанья повсюду: «Она одержима!», «Какая игра!»,
«Я и думать не мог, что на это способен наш старый орган!»
Солнце заходит, и тени густеют. Огни зажжены.
Начинают последнее пение: «Таллис» — Вечерний Гимн.
(Как диссентеры Кена поют! Они здесь свободнее духом,

Чем в этих новых церквах, где мне удалось побывать.)
Я пою под орган. Чей-то возглас: «Контральто красивее нет!»
«Здесь — пожалуй,— я мыслю.— И все ж не особенный будет
урон».
Завершаем. Пою вместе с хором: «Смерть возьмет меня тихо, как
сон».

И вот отпустила педали. В глазах еще слезы стоят
От этих гармоний блаженных. (Так, значит, блуждает мой
взгляд?)

Достаю из корсажа (грудь и вправду полна, но не столь)
Флакон голубой и рифленный — должно быть, подумают: соль.
И прежде чем кто-то успел бы проникнуть в безумный мой
план,

Весь залпом его выпиваю. Глаза уже застит туман.
Собираю тетради, склонилась как будто в молитве — точь-в-
точь.

Пока подойдут они, быстрая смерть унесет меня прочь.
«Никто и помыслить не мог, что покончит с собою вот так,—
Старейшины скажут, снося меня вниз в подступающий мрак.—
Но свидетели точно не лгали: и лавочник был, и моряк».
Словно что-нибудь я отрицала. О нет, видит бог, я грешна.
И грехи есть грехи. Но любовь была музыка, только она.
А последний псалом удался. Что еще? Как-нибудь похоронят.
Из Пула, конечно, никто не придет и слезы не уронит.

ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

Я взял смычок бесплотный,
Провел им по струне,
И ожили напевы,
Дремавшие во мне.
За полночь по старинке
С собой наедине
Играл я, и волынка
Мне вторила во сне.

И вслед венчальной песне
Под молвь и пересуд
На середину спальни
Стекался сельский люд,
И под мои напевы
Плясали там и тут
Искусники посева,
Прервав извечный труд.

Плясал жених с невестой,
Подружек череда,
Угодники веселья
И крестники труда,
Но сон к утру поблекнул,
Растаял без следа,
И воцарилось в стеклах
Сейчас, а не Тогда.

СТАРИК СТАРИКАМ

Где пели мы, где шли балы,
Джентльмены,
В упадке все: гниют полы,
Колдуют черви над трухой...
Увы! Ведь знали эти стены
И звуки арф, и лир настрой,
Джентльмены!

При веслах и при парусах,
Джентльмены,
Мы плыли. В девичьих руках
Был руль. Уж так заведено,
И знали власть свою сирены.
Но берег тот молчит давно,
Джентльмены.

Давно был начат счет потерь,
Джентльмены,
Нас половины нет теперь.
Мы обанкротились вконец
И, если будем откровенны,
Не мы властители сердец,
Джентльмены.

Нам полька нравилась тогда,
Джентльмены,
Кадриль, шотландки чехарда
И роджер! В опере toujours¹
Мими была царицей сцены.

¹ Всегда (фр.).

(Царем, конечно, «Трубадур»),
Джентльмены.

Что нынче живопись? — Каприз,
Джентльмены,
Где Этти, Малреди, Маклиз?
Где драгоценный фолиант
Романа? — Нет богам замены:
Где Булвер, Скотт, Дюма и Санд,
Джентльмены.

Мы Теннисону малый храм,
Джентльмены,
Воздвигли. Ныне все по швам
Трещит. Ветшает свод. В углах
Висят паучьи гобелены.
И жрица превратилась в прах,
Джентльмены!

Мы выбываем из игры,
Джентльмены.
Мы сдали, сдали, мы стары.
Юнцы теснят нас. Мы у врат
Аида и глядим, смиренны,
Вечерних теней маскарад,
Джентльмены.

Нас убелиет седина,
Джентльмены,
Но нам известны имена
Таких же старцев, шедших в бой
И не покинувших арены
В борьбе с всесильною судьбой,
Джентльмены.

Платон, Софокл и Сократ,
Джентльмены,
И Пифагор, и Гиппократ,
Климент, Гомер и Геродот —
Неужто старостью согбенны?
Закатом можно ль звать восход,
Джентльмены?

А вы, безусые, ваш час,
Джентльмены?
Настал. Идите дальше нас.
Грызите дальше сей гранит,
Познайте чудеса вселенной.
Вперед! Без драки. Путь открыт,
Джентльмены.

НЕВОЛЬНИКИ

I

«Скиталец,— молвил Небосклон
Свинцовый надо мной.—
Я б рад быть ясен, но закон
Мне свыше дан иной».

II

«Тебя согреть я был бы рад,—
Мне Север прогудел,—
Но, как и ты, я только раб,
И холод — мой удел».

III

«К тебе я не питаю зла,
Но силы в вышине
Велят, чтоб я в тебя вошла»,—
Болезнь призналась мне.

IV

«Сегодня,— Смерть спешит шепнуть,—
Нам встретиться судьба.
Мне будет жаль прервать твой путь,
Но ведь и я — раба».

V

Я улыбнулся. Мой протест
Бессмыслен был бы здесь,
Где все влачат извечный крест
Невольников Небес.

ДВОЕ ЖДУЩИХ

Окликнула меня,
Блеснувши с высоты,
Звезда: «Эй, неровня,
Как жить собрался ты,
Собрался ты?»

«Жить, как весь мир живет:
Ждать меры бытия
Отпущенной». — «Вот-вот, —
В ответ звезда. — Как я,
Совсем как я».

КОГДА УМРУ

(К ...)

Не лучше ль, милая, покой
Найти в петле;
Там стану более собой,
Чем на земле.

Тебе не выкажу тогда
Ни раздраженья,
Ни злобы: канут в никуда
Страсть и боренья.

Всей жизни скоротечной гнусь
С меня слетит,
Тотчас как в Вечность я вернусь,
В мой древний скит.

Когда и ты пойдешь ко мне,
Как встарь любя,
Знай, неизменно в тишине
Я жду тебя.

ЯРМАРКА ОВЕЦ

Открылась ярмарка осенняя,
А дождь — стеной.
Овец здесь — тысяч семь, не менее...
Все до одной.
Промокли, жмутся к стенкам вяло.
Но вот в загонах пусто стало,
И аукционист устало
Рукой стирает грязь с журнала,
С лица ладонью капли смахивает, и выжимает свою бороду,
А дождь — стеной...

СНЕГОПАД В ПРИГОРОДЕ

Кроны завьюжены,
Сучья нагружены;
Куст увенчался пышною шапкой,
Ветка торчит перепончатой лапкой,
Хлопья блуждают и сослепу вверх начинают взлетать,
Новые хлопья на них налетают и вниз увлекают опять.
Прутья ограды слепились сплошною стеной,
Воздух наполнен мерцанием и тишиной.

Сел на клен воробей,
И вдруг с пушистых ветвей
Втрое больший, чем он, срывается ком снеговой,
Опрокидывая и погребая его с головой,—
Вот так сюрприз! —
И дальше рушится вниз,
Разбивая все белые залежи в прах,
Сверху — до самой земли, как лавина в горах.

Стали ступеньки крутым косогором,
Вверх по которому робко ползет
Кот беспризорный с растерянным взором...
Ну, заходи, черный кот!

ОН НЕЧАЯННО ИЗЛЕЧИЛСЯ ОТ МУК ЛЮБВИ

(Песня)

«Спою, — сказал я, — славу ей,
Ей, горькой сладости моей.
Она — звезда!
Прекрасен свет ее очей!»

Пронзенный словно сотней стрел,
Взял арфу я, и так запел,
Как никогда,
И чудно голос мой звенел,

И песнь от боли ожила!
Я и не понял, как ушла
Моя беда,
А ведь давно мне душу жгла!

Но потеряла цену вдруг
Жизнь для меня. Ответь, мой друг,
Кто и когда
Вернет мне счастье сладких мук?

ТЕКСТЫ НА ПЕРЕЗВОН ВОСЬМИ КОЛОКОЛОВ

(После реставрации)

- I. Томас Трембл год назад
Переплавил мой наряд,
Но я этому не рад.
- II. Я, созданный Брайаном Джоном,
Сто лет своим гордился звоном.
Теперь же звон мой схож со стоном.
- III. Я триста лет сзывал народ,
Но реставрирован. И вот
Теперь мне, старцу, снова год.
- IV. Я Генри Гопкинсом отлит.
Хоть у меня почтенный вид,
Но я не слишком басовит.
- V. Я тоже. Ибо мой металл
Теперь слегка поплоче стал:
Отливщик часть меня украл.
- VI. И я расстался с серебром,
И оловянным языком
Звоню печально о былом.
- VII. Мне год назад спилили ухо,
И сразу же, лишенный слуха,
Я зазвучал мертвецки глухо.
- VIII. Двоим я прежнею порой
По силам был. Теперь со мной
Дурак справляется любой.

**ЭПИТАФИЯ НА СМИТА ИЗ СТОУКА,
ПЕССИМИСТА**

Я дожил до главы седой,
Не зная женщин, Боже.
Уж лучше бы родитель мой
Вовек не знал их тоже.

(С французского и греческого)

СЦЕНА РАССТАВАНИЯ

Бледны как смерть жена его и мать,
А сам он, пересиливши терзанья,
Отчаянье пытается скрывать.
Они прощались в зале ожидания,
Когда, прервав немолчные рыданья,
Взревел мотор, напомнив, что беда
Не к ним одним наведалась сюда.

Солдат прощался с молодой женой
И с матерью, изборожденной горем,
Как шрамами. Слышал я стороной,
Что плыть ему к восточным дальним зорям
(Пять лет в разлуке быть ему за морем).
Шагнул к дверям. И вслед истощный стон
«Дождусь ли?!» за собой услышал он.

УБЫВАЮЩИЕ ДНИ НА ФЕРМЕ

Затопили, за нашим окном закурился первый дымок:
Лучи пронизали огонь, будто нити — ткацкий станок.
Воробьи из кустов выпархивают, трепеща от испуга,
Что вернется зима холодная и закружит вьюга.
Ивы, чьи ветви топорщатся от осенней ветреной дрожи,
На мальчишек, недавно подстриженных, очень сейчас похожи.

Кто там тяжелый идет и высокий,
Черный и красный, белым покрытый?
Такой черноглазый, такой краснощекий,
С полоской волос, как морозцем, подбитой?
К нам идет древотряс —
Делать сидр для нас,
А за ним, на колесах, в полном порядке —
Яблоки, мельница, пресс и кадки.

ПЕСНЯ НА СТАРЫЙ МОТИВ

Паркеты в залах черви съели,
Каблук не застучит.
Король виолончели
На кладбище зеленом спит.
О, буду ль вновь кружить, кружить, кружить
С тем упоением?

Не петь веселой каватины
Сопрано и басам.
Одни лишь паутины
Качаются по всем углам.
С кем я еще спую, спую, спую,
Как пел я с нею?

И очи ясные закрыты,
Навеки полны мглой,
И алые ланиты
Белеют смертной белизной.
Удастся ль мне вернуть, вернуть, вернуть
Тех дней веселье?

О, что мне душный полдень мая
И летнее тепло?
Виолы, душу мая,
Звенят, шалят, хохочут зло.
Плясать ли мне в кругу, в кругу, в кругу
Теней оживших?

СЦЕНКА С ПТИЦАМИ В СЕЛЬСКОМ ДОМЕ

Жилец вздохнул во сне — и птицы улетели,
Покинув подоконник, где свистели,
 И пересели ниже, на порог,
 Под сероватый утренний парок.
 Хозяин встал — спешат переселиться
 На гнутую соседнюю кислицу.
Он тронул дверь — они скорее в сад
И с яблонь извиняюще свистят:
 Теперь-то, мол, усвоили урок —
 Счастливые, мы о других забыли!
А между тем часы пять раз пробили.

Да, мне знаком зелено-красный дом,
Где вот уже сто весен день за днем
Все протекает тем же чередом.

СОБОРНЫЙ ФАСАД В ПОЛНОЧЬ

Я наблюдал, как робкий луч луны
К соборным изваяньям крался:
Он замер — так порой со стороны
Казалось мне; узреть пытался
Я проблески меж статуй вековых —
С рождением Мира здесь воздвигли их,
Решив, что Мир — слуга святынь Земных.

Слегка перемещаясь, лунный лик
Высвечивал фигуры, лица;
К деталям строгой лепки свет приник,
И вот уж ярко серебрит
Весь ряд: пророк, король и кардинал,
Какими их художник изваял,
Стремясь обожествить оригинал.

Здесь, ветром приглушенные, слышны
Великомучеников стоны.
В них скорбь утрат блаженной старины,
Когда священные законы,
Ниспосланные волею небес,
Рассудочность подмяла, словно пресс,
Под свой неумолимый Интерес.

Солсбери

ВЛЮБЛЕННЫЙ — ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

(Песня)

Ты дай мне знак любой:
Взмахни слегка платком
Иль помаша рукой.
И хоть сулят беду
Свидания тайком,
 Но я приду,
 Поверь,
 Но я приду!

Ни темный лес, ни луг
Не разлучат теперь
Тебя со мной, мой друг.
Пусть мне гореть в аду,
Ты приоткрой лишь дверь,
 И я приду,
 Поверь,
 И я приду!

ЦИРКОВАЯ НАЕЗДНИЦА — БЫВШЕМУ ПАРТНЕРУ

Больше не бывать мне на арене...
Так что, не тая,
Ты скажи: циркачку вдохновенней
Видел ли, чем я?
Свою душу мне открой,
Будь правдив со мной!

Никогда уж я скакать не буду
На коне гнедом.
Но тебе являться буду всюду
На пути твоём,
И не раз перед тобой
Вспыхнет образ мой!

Помоги, прошу, представить зримо
Вновь полет коня
Сквозь кольцо в твоих руках, любимый,
И заставь меня
Счастье прежнее опять,
Плача, вспоминать!

Хоть, увядшая, гляжусь я жалко,
Хоть немолода,
Поцелуй меня, как прежде, жарко,
Как порой, когда
По щекам еще не тѣк
Горьких слез поток!

ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ ОКТЯБРЯ

Деревья нынче словно сбросить рады
На крышу, подоконник, в пыль дорог
Оборки, ленты, пышные наряды:
Что ни секунда — лист слетел и лег
Туда, сюда, вокруг: листве закончен срок.

Один застрял в паучьей паутине,
На полпути прервав недолгий лет:
Как висельник, мотается и стынет,
Весь в золотом; другой, зеленый, ждет,
Дрожа, что и ему вот-вот придет черед.

НЕ ПРИХОДИ! ПРИДИ!

(Песня)

В минуту здравую скажу:
Не приходи,
Растай, подобно миражу,
Не бери
Ран — пусть уймется колотье в груди.

Но мой безумный миг смелей:
Бежать от чести
Чудесной близости твоей?!
Пускай из мести
Твои глаза меня сожгут на месте!

И говорю: приходи, свети,
Разлей свой свет.
Застань, как молния в пути.
Мне дела нет,
Что после в темноту уйдет мой след.

ДОВЕРЬТЕСЬ МНЕ

(Песня)

Доверьтесь мне, милейшая —
Пусть это только блажь,
К тому ж еще пустейшая —
Но был ли голос Ваш
Иль взор исполнен томности
Такой, что упрекнуть
Могли бы Вас в нескромности
Хоть раз когда-нибудь?

И буду я утешную
Лелеять мысль одну,
Пока, как все мы, грешные,
В могиле не усну,
Что вспомните вы некогда
Того, о ком всегда
Вам было вспомнить некогда
В те давние года.

ВИКАРИЙ С ИСТ-ЭНДА

Тупик, идущий от Коммерческой дороги:

Окно и дверь, и рядом — дверь, окно.

Куда ни поглядишь, во всех домах одно.

Викарий Доул здесь нашел приют убогий.

Он бледен и очкаст, тощ, длиннолиц, усат.

Весь день через порог снует вперед-назад.

Рояль, усталый шелк кистей на покрывале,

Щербатых клавиш ряд — тут желты, там запали.

Но рядом стопка нот, Новелло — «Гимнов» том,

«Закон Небес — Земле» на стенке под стеклом.

Он, как к себе домой, в дома соседей входит,

Их нет — он во дворах их, не чинясь, находит.

Вон за стеною муж с женой схлестнулся в крик...

Викарий не моргнет: он ко всему привык.

Мальчишкам наплевать: знай, в след ему хохочут:

— Эй, мистер Доброхот! — Пусть слушает, коль хочет!

Но, бледен, тощ, сутул, он весь в плену забот.

А вот какой в них прок — кто ж это разберет!

В ЧЕТЫРЕ ПОУТРУ

Июньским днем с зарей встаю:
Сияньем полнится она;
Волшебная голубизна
Вокруг: и то ли я в Раю
 В четыре поутру,

То ль в окружении Плеяд,
Изменчиво струящих свет
(Хоть днем и мнится, что предмет
Таит ухмылки злобной яд,—
 В четыре поутру

Мне хорошо)... Я здесь, в лугах,
Совсем один. Но что за свист
Я слышу? Ловок, сноровист,
Ужель косарь давно в трудах
 В четыре поутру?..

И нега прочь... Я раздражен:
За что же плеткою нужды
Гоним, суровые труды
Вершит безропотнейше он
 В четыре поутру!

Бокхэмpton

НА ЭСПЛАНАДЕ

(Разгар лета. 10 часов вечера)

Огромная и ясная луна
Над ширью моря.
Внизу — дорожка лунная видна
В морском просторе,
Но ней бегут, вдали теряясь вскоре,
Мерцанья света,
Как лепестки цветов. Дрожит волна...
Все просто и все тайною одето.

Укрылся горизонт за мрак ночной.
Из-за моей спины
Огни залива, выгнувшись дугой
В две стороны,
До самой дамбы аж устремлены
Жемчужной нитью.
Их отраженья тают под водой...
Все просто и все ждет еще открытья...

За створкой растворенного окна
В какой-то миг
Вдруг девушка запела, и струна...
И лунный блик
Скользнул по судну, вот к нему приник
Звук арфы сладкий.
И тут очнулся я: мне неслышна,
Моя Судьба вдруг подошла украдкой!

В ТОТ ЧАС БЫЛ СТРАНЕН ЛИК ЗЕМЛИ

(Фантазия)

В тот час был странен лик Земли.
Восстало алое свеченье,
И некий Голос рек из мглы:
«Грядет Великое Прозренье!

Я насылал кромешный мрак
И прятал вашу жизнь во тьму.
Но мне постыл ваш мертвый зрак,
И я дарую свет ему.

Не ведал бедный род людской
От сотворенья первых дней
Земли и неба смысл и строй,
Но днесь — завесу прочь с очей!

И воссияет огонь в ночи!
И вечный сумрак Заблужденья
Разгонят Истины лучи —
Грядет Великое Прозренье!»

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПРИ ВОСХОДЕ СОЛНЦА

(Близ Догбэри Геит, 1867)

Холмы со своих вершин,
Средь пастбищ, лесов и лощин
Разглядывают в тумане,
На месте ли их основанье.
Так тот, кого вдруг разбудили, спросонья спешит убедиться,
Что мир этот за ночь не слишком успел измениться.

Со скрипом натужным на склон
Ползет из тумана фургон.
Навстречу с вершины холма
Промчался наездник в туман,
Тем временем к дружному пенью синиц, воробьев и скворцов
Старался подладиться хор петухов и коров.

Чуть выше с корзиной и флягой
Шел путник. Сойдясь с колымагой,
Он встал — ноша тяжелой была.
«Ну, — возчик спросил, — как дела?»
«На этот раз мальчик — ты ж видел, как доктор спускался от нас.
Решили назвать его Джеком. Жене уже лучше сейчас.

А ты чем сегодня гружен?» —
И путник кивнул на фургон.
«Да вот, старику Джону Тинну
Везу, помолясь, домовину».
«Так, значит, он умер? А был ведь такого сложенья и роста!»
«Он застал еще взятие Бастилии. Ему было почти девяносто».

НОЧНАЯ БУРЯ В СЕРЕДИНЕ ОСЕНИ

Я слышу, как безумствуют ветра
Во мгле ночной — в бездонной яме —
От их дыханья ворохами
Слетают листья, словно мишура;
Стволы крелятся, и трещит кора,
И лопается почва над корнями.

Волной бурлящей вздыбился ручей,
Переполяются овраги,
На берег выползают раки,
И тянет в новые места угрей...
Скрипят засовы ставен и дверей,
И ведьмы с воем носятся во мраке.

НЕБОЛЬШОЙ СНЕГОПАД ПОСЛЕ ЗАМОРОЗКОВ

Проселок пуст... Но вот и человек,
Он не спеша проходит мимо,
А голова бела: что это — снег?
Или преклонный век?
Издалика — неразлично.

Мороз идет на спад,
И паутинки за окном висят
Все в инее — гирлянды белой пряжи! —
Мы их не замечали даже
Какой-то час назад.

А вон еще прохожий,
Шаги за изгородью не слышны;
Его пальто и шляпа зелены,
Пылает борода, нос красен тоже,
И ярок он средь белизны,
На падуб в зимних ягодах похожий.

Снег падает бесшумно и светло,
Его лебяжьи перья
Проселок черный скрыли — так бело!
Смотрю и не пойму теперь я:
Когда же это все произошло?

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ЛЕСНОМ КРАЮ

(Картинки старины)

Вот голос лисы — три отрывистых лая —
В морозном лесу прозвенел, замирая:
Печальный, как будто бы сетует зверь,
Что стар и устал от погонь и потерь,
Что он не поймет никогда — до последней минуты,
До муки последней — зачем эти люди так люты.

Ловцы, приготовив манки и силки,
Подняв фонари, в боевом беспорядке
Штурмуют подлесок, где спят куропатки;
А дома за выпивкой ждут их дружки...
С мешком и дубьем браконьеры крадутся, чтоб в чашах
Фазанов глушить, безмятежно под кочками спящих.

А там, где кружная тропа, на холме,
Теней вереница мелькнула во тьме.
С поклажей идут: подрядились в команду
Из бухты неблизкой тащить контрабанду;
У каждого тюк на спине и другой на груди,
Товар надо спрятать, пока еще ночь впереди.

Вот пробило полночь; и вдруг в отдаленье
Затренькали струны, послышалось пенье;
Там хор собирается: нынче опять
Веселые гимны пойдут распевать.
Мэйл, Восс, Роберт Пенни — все в сборе, все рады как дети:
Село перебудят и спать побредут на рассвете.

В ГОЛОЛЕДИЦУ

Семь плотных женщин, под руки сцепясь,
С трудом спускаются по склону,
Дыша разгоряченно;
Держаться нужно в ряд, чтоб не упасть
На льду, и шаг неспешный нужен,
Чтоб до базара все-таки дойти:
Припасы кончились почти,
А впереди субботний ужин.
Фургончик нынче их не подвезет —
По всем дорогам лед,—
Но радостен их визг, и хохот дружен.

ДЕВУШКИ ИГРАЮТ НА ЗАСНЕЖЕННОЙ УЛИЦЕ

Они не уходят,
Хоть вьюга все злей,
И честно выводят
На арфе с виолой
Моих юных дней
Мотив развеселый.

Над снегом летят
Трехдольные чары,
Но столетье назад
Отплясавшие пары,
Под бойкие звуки
Сплетавшие руки,
Давно уже сгнили
В холодной могиле.

Мелькают снежинки,
И струны дрожат.
Только, жаль, их ужимки
Никого не смешат.
Средь снегов непорочных
Сердце не принимает
Струн пресыщенных стон:
Слишком напоминает
Их фальшивый трезвон
О забавах полночных
Тех давних времен,
Коих барышни эти
Не застали на свете.

Четвертушки, восьмые —
Очевидцы столетий!

Вы, что в годы былые
Знавали в расцвете
Бонапартову славу
И еще Антуанетте
Приходились по нраву —
Вы не сгнули в Лете!
Но те, что играют
В мороз за гроши,
Едва ль они знают,
Чем вы хороши.

ГУБЫ

Я их целовал при утреннем свете
В воображенье своем.
Я их целовал на ее портрете,
Но она не знала о том.

Эти губы прекрасные были мне любы,
Когда знала она обо всем...
Но не знала она, что и мертвые губы
Я поцелую потом.

ВЗЯВШИЙ ЖЕНУ ИЗ БОГАТОЙ СЕМЬИ

«Стив? Ты ж ушел работать в понедельник?»

«Вернулся я побыть с семьей в Сочельник».

«И вновь уходишь, кажется, куда-то?»

«Да, уйду. Теперь уж без возврата».

«Что ты сказал?»

«Да то, что ты слышал!..»

Я полчаса назад пешком добрал домой —

И ни служанки не застал, ни детей, ни жены самой.

Она ушла с ними, как всегда, на ферму к своим родным.

Видать, там лучше им, чем здесь весь день сидеть одним.

Ни хлеба в доме, ни огня на праздник Рождества,

Хоть были деньги у нее на стол и на дрова.

А там и поют, и пляшут, и вкусной еды полно —

Не то что в лачуге нашей, где скудно и темно.

Хотя не так уж плохо здесь,

Когда хозяйка в доме есть.

Они для меня чересчур благородны — она и ее родня.

Но больше этих капризов я терпеть не стану ни дня.

Не должна была фермера Боллена дочь бедняку становиться
женой.

Я всем этим сыт по горло и уйду — ты не встретишься больше
со мной».

«Ерунда! Ты под вечер вернешься в свой дом, и жена разожжет
ваш очаг,

И подаст тебе ужин, и ты забудешь про все, что было не так».

«Ни за что, пока жив!»

«Что ж, посмотрим, Стив».

И отправились Стив и его сосед — каждый своим путем,
И растаяли их шаги в тишине на дороге, покрытой льдом,
А с деревьев все сыпал и сыпал снег в морозном тумане седом.

И к ночи в дом Стива вернулась супруга его.
Но муж не пришел ни в Сочельник, ни на Рождество.
Вот минули святки, и следом настал Новый год,
А Стив не вернулся назад.
И месяцы шли — лето, осень, весна в свой черед,
А там уж и годы летят,
И выросли дети — дочь замужем, сын их женат.
И напрасно в ночи ее плач о прощенье молил —
Стив не простил.
И стоит этот дом, и развесистый клен у порога,
Он случайным прохожим корнями укажет дорогу
К тем дверям, в которые вынесли Стива жену, когда время
закрыло ей очи,
И в которые Стив не входил уж ни разу с той ночи.

НА УЛИЦЕ

(Песня)

Еле знаком
С виду тебе,
Легким кивком
Встречу в толпе,
«Доброе утро»,— и каждый к себе.

Но здесь и там
Днем, поутру
И по ночам
Сквозь темноту
Вижу тебя, мою красоту.

Ты где-то идешь,
Прелесть моя,
Но сойдется все ж
Твоя колея
С моей — ведь вращается наша земля.

НА ВЕРЕСКОВОЙ ПУСТОШИ

1685
(Предание)

Так безутешна скорбь моя,
Что впору в омут головой.
Чистейшую из чистых душ
Сгубила я по воле злой.
«Себя жена блюсти должна,—
Сказал мне муж,— страшись того,
Кто льстит — подвох замыслил плут! —
Коль сможешь, одурачь его!»
Но то был сам Монмут!

И правдой я считала ложь,
Пока он не пришел в мой дом
И о дороге не спросил,
Хоть на ногах стоял с трудом —
Так изможден и слаб был он.
Но у порога вдруг сказал:
«Что за красотки здесь живут!»
И, уходя, поцеловал
Меня король Монмут!

А как собой он был хорош!
И почему надулась я
За поцелуй? Как вдруг — шаги,
И он, шепнув: «Любовь моя,
Молю, молчи!» — исчез в ночи.
О Боже, знать бы мне тогда,

Что за пути его ведут
И сколько горя и стыда
Изведал мой Монмут!

А в дверь — солдаты: «Где, — кричат, —
Мятежный герцог, что назвать
Себя дерзнул «король Монмут»?»
«Ага, — смекнула я, — видать,
Не так-то уж не прав был муж!»
И молча ткнула я перстом
Туда, где свой нашел приют,
Укрывшись в вереске густом,
Отважный мой Монмут!

Его втокнули в дверь мою,
Скрутивши руки за спиной.
О, как взглянул он на меня,
Когда предстал передо мной!
Прекрасный взор мрачил укор:
«Бездушнейшая среди жен!
Я мнил, что друга встретил тут,
А был изменою сражен!» —
Сказал король Монмут.

Тут поняла я: он не смерд,
А знатный лорд, высокий род.
Он правд и прав своих искал,
А мне сулил любовь — и вот
Его тычком, его пинком
Вашей погнали в Холт, а там
Судья Эттрик вершил свой суд —
И в Лондон в руки палачам
Был отдан мой Монмут.

Вчера, едва мой муж уснул,
Уж он маячит за окном.
Избит, взлохмачен, весь в крови,
И мрачный взгляд горит огнем.
«Зачем так зол прекрасный пол?
Но верь, сильна моя любовь,
И вражеских бежал я пут,
Чтобы тебя увидеть вновь!» —
Сказал король Монмут.

«Дай поцелую я тебя! —
Шепнул он бледный, как мертвец, —

Но запятнает кровь моя
Твою сорочку и чепец!»
Все. Нету сил. Мне свет не мил.
Пойду к реке — когда найдут
Там тело бедное мое,
То скажет здешний люд:
«Ее
Сгубил король Монмут!»

ВЫСШЕЕ НАЧАЛО

1

Оно сказала: «Нет, бессильно Время,
И жизнь ее, превыше суеты,
Всей протяженностью отныне с теми,
Что приняты в объятия Пустоты,
И живы, и чисты.

2

А Время и беззубо, и прозрачно.
Оно вам Настоящее дает,
Но то — мираж: все в мире равнозначно
Разумная природа создает —
Навеки, не на год.

3

«Теперь» лишь всплеск, недолгое скольжение
По вашим чувствам, их поспешный суд:
Ни в «Прошлом», ни в «Грядущем» нет движенья.
Они и не пришли, и не уйдут.
Они ни там, ни тут.

4

Вот так же путник по ночной дороге,
Неся фонарь, бредет за ним вослед,

Хотя лишь видит собственные ноги
Да часть тропы, куда ложится свет:
Ему и дела нет,

5

Что путь всегда — безмерность расстоянья,
Ведет ли он вперед или назад.
А рядом с «Настоящим» в ожиданье
Грядущее и Прошлое стоят,
Как с братом брат».

6

И тут Оно передо мной раскрыло
Минувшего неслыханный простор:
Там было все, что раньше в мире было,
А здесь существовало до сих пор.
Всего там был набор:

7

Звучали песни, спетые когда-то,
Давно отдрезавшая струна,
И смеха отзвеневшие раскаты.
А полнолуний пышная луна,
А полдней тишина!

8

Былых цветов ожило разномастье,
Под жарким дуновеньем склонено,
И в спальнях бурно утолялись страсти,
Заглядывала радуга в окно,
Как некогда, давно.

9

Лежали там, навеки незабвенны,
Моих скитаний светлые деньки,
Свернувшиеся в свиток драгоценный,
Расписанный умельцем от руки,
И юны, и близки.

10

«А вон, гляди,— губительные хвори.
 Но ваша жизнь смела и молода,
 С такой накладно быть в открытой ссоре:
 Они без боли входят — и тогда
 Не описать вреда.

11

А вот и та, что, по законам нашим,
 По-прежнему прелестна, как была,
 Хотя, возможно, стала даже краше.
 Но для тебя она давно ушла,
 Зарыта, отцвела.

12

И этих, рядом, ты ценил, бывало.
 Но, может, остановимся на том?
 Как, Будущее? То, что не настало?
 Пусть и останется в непрожитом,
 И сбудется потом.

13

Тебе несдобровать, сорви я вдруг покровы:
 Грядущее предстало б без прикрас.
 Все беды там для вас давно готовы...
 Но, как договорились, в этот раз
 Стращать не буду вас.

14

Короче, Время — ложь, притом какая!
 Оно само сознаться б в том могло.
 Вы верили, к обману привыкая,
 Но нынче вам в науках повезло:
 Виднее стало зло.

15

Теперь о той, про чью судьбу сначала
 Заговорили мы наедине:
 Она нерасторжимость не прервала,
 И потому внутри, а не вовне:
 Она теперь во мне.

Суть Бытия размеры превышает,
Хоть Время и твердит, что все вокруг
Зачав, оно само и завершает...
И о «Четвертом измеренье» слух —
Итог его потуг».

Каун 1922 года

ПОДМЕНЕННАЯ ЖЕНА

В этой драме есть много темных мест,
Но известны и год, и дом,
Где бакалейщик Чэннинг Джон
Пред Господним предстал судом.
Тот дом на Хай-стрит знали все,
Теперь его уж нет,
А миновало с той поры,
Считай, две сотни лет.

Джон Чэннинг умирал. Пробыло
Одиннадцать на часах.
И друзья понимали, что к утру
Он будет на небесах.
Как вдруг он сказал: «Я хотел бы обнять
Жену в мой последний час!»
Тут все посмотрели друг на друга
И подумали: «Вот те раз!»

Он не знал, что была в городской тюрьме
Молодая его жена,
Обвиненная в том, что кончину мужа
Ускорила ядом она.
А он лежал на смертном одре,
Почти уже мертвец,
И полагал, что смерть его —
Естественный конец.

И тут стали думать и гадать
Те люди, что были при нем,

Как им поступить, если будет он
Настаивать на своем.
«Виновна она или нет — ему
Лучше вовсе не знать ничего,—
Рассуждали они,— но как же тогда
Нам исполнить волю его?»

А он все жалобней их просил
Сделать то, что они не могли.
А тем временем слухи о страшном убийстве
По городу быстро ползли.
И тогда друзья, в этот скорбный час
Не видя путей иных,
Придумали некий план — и пусть,
Кто хочет, осудит их.

«Ты бы доброе дело сделать смогла,
А быть может, и душу спасти,
И тому, кто одной ногою в земле,
Облегчение принести,—
Так веселой молодке сказали они,
Чем-то схожей с его супругой,—
Все равно он уже не сумеет теперь
Отличить вас друг от друга!»

И добрая женщина сделала все,
Как ее попросили друзья.
Он обнял ее еще и еще:
«Где ж была ты, заждался я!
Тебя не пускали... Но вот ты пришла...
Так, значит, это не сон!..
Благослови же тебя Господы!» —
Улыбнулся и умер он.

Спустя полгода его жена
Ступила на эшафот.
И, нахмутив брови, молча смотрел
Собравшийся народ,
Как ее удавили и тело сожгли
По закону тех давних дней
Для жен, поделом осужденных иль нет
За убийство своих мужей.

И кто-то сказал, поглядев на костер:
«Слава богу, что он не знал!
Ведь очень немного найдется таких,
Кто б ее невиновной считал.
Хорошо еще то (если только не врут),
Что обмана раскрыть он не смог».
И, казалось, никто даже в мыслях
Не хотел осудить подлог.

ВРЕМЯ И ЛЮБОВЬ

Исполином,
Властелином
Бывшее, вождем,
Хозяином, врагом —
Зачем ты, Время, милой
Презрение внушило?
Знать, прав философ был,
Когда он говорил:
Внеземная
Мысль сухая —
Не воплощено ни в чем.

Стар ли, молод,
Жар ли, холод —
Любовь дарует свет
Всем — вне веков и лет.
Любовь — удел желанный.
Ей, небом осиянной,
Земных событий ход
Известен наперед —
Многоликой
И великой —
Первых нет, последних нет.

В ШЕРНБОРНСКОМ АББАТСТВЕ

(17—)

Проникнув в окна южного крыла,
Луна, играя, тени навлекла
На лоб и щеки юной знатной дамы,
Укрывшейся с любимым в стенах храма.

Не смазаны наплывом темноты
Поодаль стыли резкие черты
Людей на лошадях, в доспехах бранных
Иль спящих подле жен своих желанных.

«Взгляни на них. Им тут пребыть все дни».
«Да, мы не мраморные, как они».
«И хуже, милый: мы не муж с женою».
«Ведь ты же обвенчаешься со мною».

Молчанье. Слышно цоканье копыт.
Потом опять, чуть эхо отзвенит:
«Теперь они уже на повороте».
«Коня надежно я упрятал в гроте...

И все-таки его найдут сейчас».
«А вслед за ним не обнаружат нас?»
«Не бойся так! Успеть бы обвенчаться,
Тогда над ними сможем посмеяться».

«Ты позади меня был на коне...»
«Трюк этот обмануть позволил мне
Ревнителю закона. Всякий видел,
Что я похищенный, не похититель:
Наследница, арестовав меня,
Велела сесть на своего коня!»

Луну застлало облако. На лица
Узор проемов стрельчатых ложится.
Чисты и жестки лица этих двух.
В беспамятство их вверг любви недуг.
И мраморные рыцари вокруг.

Семейное предание

НА ЗАПАД ОТКРЫЛА ОНА МОЙ МИР

На Запад открыла она мой мир:
Там хлещут как плети
И плачут как дети
Валы, сойдясь на разгульный пир.

Романтики цену я с ней узнал
И сумрак знакомый
Узилища-дома
На бегство желанное променял.

Любви научила она меня,
От силы которой
Свергаются горы
И синими кажутся зеленыя.

С ней память минувшего мне дана:
Огни колдовские
И выси такие,
С которых земля уже не видна.

ЧТО ЖЕ О МИРЕ ПЕТЬ?

(Песня)

Что же о мире петь
Можно нам впредь?
Брошены в круговерть,
Выброшены на смерть.
Нового нету ведь,
Что же тут петь?
Ля-ля-ля-ля!

Если бы кто-то мог
Смерть преодолеть,
Радости бы сберег,
Но, однако же, смерть —
Каждой жизни итог.
Не о чем петь.
Ля-ля-ля-ля!

Так что о мире впредь
Можно не петь;
Выловила бы сеть
Жизнь, а не смерть,
Стали о мире ведь
Больше бы петь.
Ля-ля-ля-ля!

ПОХОРОНЫ ФЕРМЕРА ДАНМЭНА

Сказал он: «В воскресенье
Похороните, чтоб
Весь бедный люд селенья
Мог проводить мой гроб».

И ради воскресенья
На бочке вывел он:
«Открыть без возраженья
Во время похорон».

И точно в воскресенье
Был фермер погребен.
Всем поднял настроенье
Во время похорон.

«Хотел он в воскресенье
Уйти,— народ шумел,—
Для нашего веселья
Себя не пожалел.

Ведь в понедельник все ли
Могли б на пир попасть?
Зато уж в воскресенье
Мы попируем всласть».

ЭПИТАФИЯ ЦИНИКУ

Я и солнце — мы спор вели:
Кто из двоих скорей
Своим путем достигнет земли
И спрячется в ней.

На закате ему повезло,
А на заре — мне:
Оно взошло, но ему назло
Я остался в земле.

ОПИСЬ ДОСТОИНСТВ ОДНОЙ ДАМЫ НА ВОДАХ

Характер поистине ангельский — ни упрека, ни жалобы.
На щечке прелестная родинка — жалко, если ее не стало бы!
Певуче-открытая речь, не робеющая неприличий,
Пока злоязычному цинику не достанется бедняжка добычей,
И, любезность приняв за доступность, отговорки признав
несерьезными,
Не начнет он ее донимать анекдотами явно скабресными.

Лицо безупречно овальное, так идущее к милым нарядам,
И ласковый взгляд, призывающий ответить таким же взглядом,
Привычка легко соглашаться с любым основательным доводом
Из боязни, что возражения могут стать нежелательным поводом
Для спора — нет, лучше не знать, в чем, собственно, суть
проблемы
И куда собеседник клонит,— в конце концов, люди все мы,
А людей она любит и к смешному в них снисходительна.
Короче, весьма обаятельна, некапризна и рассудительна.

Добавлю только, что муж (по намекам) ценил ее мало.
Мужчин упрекала в отсутствии нежности и со вздохом глаза
поднимала.

НА ОКСФОРД-СТРИТ

Вечер. Закат в огне.
Солнце в любом окне.
Солнце на меди рыжей
С каждой задвижки брызжет.
Солнечный отблеск двоится
На стеклах витрин больших,
И смеются, мелькая в них,
Набеленные женские лица.
И когда этот добрый Бог
Приходит к нам на порог,
Извечные проблемы,
Над коими бьемся все мы
От сущего первых дней,
Становятся нам ясней.

Яркие блики глаза беспощадно слепят
Подслеповатому клерку, что щурясь бредет на закат,
Зная, что некуда деться ему от житейских обид,
Что до конца своих дней он уже не свернет с Оксфорд-стрит.
Так и плетется он, на небо глядя с тоской,
В недоуменье, зачем он на свете такой.

ГОРДЫЕ ПЕВЦЫ

День меркнет. Зяблик поет с восхода.
И дрозд гоняет трель раз по сто.
И вот уж гремят соловьи
Там, в роще...
Апрель уплыл, как в решето,
А этим — время ничто.

С иголочки все — им не больше года.
И были ведь прошлой еще весной
Не зяблики, не соловьи —
Попроще:
Какой-то ветерок сквозной,
Былинки, дождь, перегной.

я тот

Я тот, кого в просветы крон
Витютни зрят,
Но не спешат
Лететь вразброс,
Лишь проворкуют себе под нос:
«А, это он».

И зайцы чуткие на месте
Замрут на миг
И свой пикник
Начнут опять,
Подумав так: «От него бежать—
Не много ль чести?»

И плакальщицы, что меж плит
Идут гуськом
Туда, где холм
Земли сырой,
Рассудят: «Бог с ним, святынь такой
Не осквернит».

И скажут звезды: «Не пристало
За дерзость глаз,
Смутивших нас,
Мстить. Он, глупец,
Забыл: у нас с ним один конец
И одно начало».

ХОЛОДНЫЙ МАЙ

Стоит пастух в холщовой робе у ворот
И возвращающимся овцам счет ведет.

Весенний ветер, резкий и колючий,
По небу гонит клочья грязной тучи.
Скрипит калитка ржавыми петлями.
Взъерошенные поздними дождями
Грачи, словно стервятники, косматы,
А певчих птиц рулады — хрипловаты.
На холоде раскрылись было почки
И вновь от страха съежились в комочки.
Луч солнца, разрывая облака,
Бьет по глазам, как резкий звук хлопка.
«В тебе, Природа, милосердья нет»,—
Подумал я. «Терпи!» — она в ответ.

Пастух в холщовой робе у ворот
Невозмутимо овцам счет ведет.

НА СВЯТКАХ

Дождь с неба лил ручьями,
Клубился мрак ночной.
Один в густом тумане
Шагал я сам не свой.
Вдыхали безответно
Кусты, когда на них
Несли порывы ветра
Охапки брызг шальных.

«Вот к Рождеству погодка!» —
Послышалось вблизи:
Нетвердою походкой
Шел с песней по грязи
Подвыпивший бродяга —
Он брел себе вперед,
Не прибавляя шага,
До городских ворот.

НИЗВЕРЖЕНИЕ ДЕРЕВА

(Нью Форест)

Два палача из-за взгорка выходят тяжелой походкой.
Сверкает у каждого острый топор за плечом.
Зубья двуручной пилы щерятся хищной разводкой —
И вот подступают они к исполину лесному, что ими на смерть
обречен.

Скинув куртки, они топорами врубилась у самого корня,
И белые щепки, вспорхнув, разлетелись по мху.
Широкая рана кольцом опоясала ствол, и проворно
Один из них длинной веревки конец, изловчась, закрепил
наверху.

И запела пила, и верхушка ствола задрожала.
И тогда лесорубы, пытаясь гиганта свалить,
Натянули веревку, но дерево только стонало.
И опять они долго пилили, тянули веревку и вновь принимались
пилить.

Наконец эта мачта живая слегка покачнулась.
Джоб и Аик с криком кинулись прочь, и, вершиной
пронзив небеса,
Наземь рухнуло дерево — роща вокруг содрогнулась...
С двухсотлетней жизнью покончено было быстрее чем за два
часа.

БЕССОННИЦА

Ты, Утренняя звезда, застыла там, на Востоке,

Не знаю, но вижу, где ты.

Вы, листья бука, в небе как будто строки.

Дайте перо — я нарисую это.

О луг, ты белый в росе, и росинки как зерна риса —

Вовеки не позабуду.

Кладбищенские огни смотрят сквозь зелень тиса.

Имена ползут отовсюду.

ОН НИКОГДА НЕ РАССЧИТЫВАЛ НА МНОГОЕ,
или
Размышление (ретроспекция) по поводу моего 86-летия

Ну что же, Мир, ты мне не лгал,
О нет, не лгал!
Ты честно все, что обещал
Исполнил в свой черед.
Хоть я с младенческих годов,
Бродя средь пастбищ и садов,
Уже был, в сущности, готов
К тому, что жизнь — не мед.

Еще тогда ты мне твердил,
Не раз твердил,
И, мнилось, глас твой нисходил
С вершин холмов немых:
«Среди людей я часто знал
Тех, кто от жизни много ждал,
Но знал таких, кто презирал
Ее и в смертный миг.

Не жди ж чрезмерного, мой друг,
Мой юный друг!
Жизнь — лишь унылых будней круг», —
Таков был твой завет.
Что ж, это честный был урок,
Которым я не пренебрег.
Иначе б вынести не смог
Я бремя стольких лет.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Шлеп — шлеп — шлеп — на мельнице пенит воду колесо,
И женщина на мостике, и перила узки,
И мельник у дверей, и у запруды — утки.
Так много лет с тех пор прошло, а здесь как прежде все.

Да здесь и впрямь все то ж: и дом, и старый сад,
И этот тихий пруд, и утки, и утята,
И женщина стоит на мостике дощатом,
И мельник, что мукой обсыпан с головы до пят.

Но только этот мельник — не тот, что был тогда,
И сад уже не тот, и брызги, что мелькают
Над мокрым колесом,— не те, и мне другая
На робкие мольбы здесь отвечала «да!».

ВСЕ БЛИЖЕ ОЩУЩЕНИЕ ПРЕДЕЛА

Все ближе ощущение предела
Того, чего у мироздания нет:
Добра, что злу давало бы ответ,
И разума — чтоб нам поправить дело.

Весь век свой птаха в клетке просидела,
А вот поет, забыв причину бед —
Решетку, заслоняющую свет...
Мы рады крохам своего удела.

Но раз встают на тяжбу племена,
Конем, стопой топча края соседа,
И в гнойных швах лежат поля, пусты —
Зло повторится. В том не их вина,
Но темной силы, их влекущей к бедам.
Да. Все отчетливей предел мечты.

ЖЕЛАНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОСТИ

Если б только мог я стать,
Скажем, рамкой из гостиной
Или лугом расцветать,
На стене висеть картиной!..
Я бы жил с довольной миной.
Я б от хворей был спасен,
Судный глас меня бы минул,
Позабыл кошмары сон.
Вот уж был бы я беспечен!
Не давил бы крест на плечи.

ЕЕ ЛИЦО

Жил смех ее как бы отдельно от лица.
 Казалось, что она
Тревогой тайною всегда удручена,
 Мне непонятной до конца.
Еловым шишкам уподоблю кудри эти
 Или снопам, так стянутым умело,
Что не распустишь ни за что на свете...

Могли немного полными казаться
Кому-то эти губы. Но, признаться,
Я так не думал — если в летний день
Она бродила по лесу, то тень
 От губки нижней нежно зеленела...
Увы, я мало знал ее
И вскоре потерял ее...

Но будь иначе, я б не помнил ту
Улыбку странную, и эту грусть былую.
Ведь, словно в засуху, увянут поцелуи,
 Едва любовь утратит слепоту.

МЫСЛЬ ПОЭТА

Она над ним вспорхнула в темноту
И стала легче птицы на лету.

Покинув кров, над городом качалась,
Потом, помедлив, вовсе вдаль умчалась.

А воротилась — как же вид убог!
Поэт и сам узнать ее не смог:
Да, не щадя, беднягу Время било!
И он забыл, что в ней вначале было...

ТИШИНА ПУСТОГО ДОМА

Есть тишина садов и рощ густых,
Объятых дремою глубокой,
И, когда колокол затих,
Безмолвье гулкое на звоннице высокой.

Есть дум уединенных тишина,
Когда нас мысль о прошлом гложет
И тварь земная ни одна
Раздумий наших горьких не тревожит.

Но тишина пустого дома, где рожден
Ты был, где жил и рос, где в жизни прежней
Друзья сходились под бокалов звон —
Что этой тишины мрачней и безнадежней?

Под опустевшим кровом больше не слышны
Застольный шум, и музыка, и пенье.
И, словно в некий транс погружены,
Застыли комнаты в немом оцепененье.

И невозможно этот тяжкий сон стряхнуть,
И нет такой на свете силы,
Чтобы из прошлого вернуть
Хотя б подобье жизни в этот склеп унылый.

ЧЕРНЫЙ ДРОЗД

Я видел, как вспорхнул на сикамору дрозд
Пасхальным ясным днем, когда вступает в рост
Древесный ствол и сок в могучем бродит теле.
Шафранный клюв дрозда дрожал от звучной трели.

Но вдруг певун на прут слетел, туда-сюда
Качнулся — и в кусты (там был приют дрозда),
Поняв, что прутик слаб — на нем не свить гнезда.

ОДНОМУ ДЕРЕВУ В ЛОНДОНЕ

(Заезжий двор Клемент)

День и ночь...
Уж невмочь
Стыть как столб — сбежать бы прочь!

Стой и стой
Тут верстой,
Мимо ж едут в край иной!

В путь пора!
Жжет жара,
Вся растрескалась кора.

Поднимись
В горы, ввысь —
Солнцем, светом насладись.

Там ручей!
Смой с ветвей
Пыль — красуйся, зеленой.

...Улиц страж,
Ты ль предашь
Дым и чад родимый наш?

СПИЛЕННОМУ ДЕРЕВУ

Ты первый круг образовало
В тот день, как год ей миновало.
Твой возраст шел к пяти годам —
Она читала по складам.
Ты двадцать раз окольцевалось —
К ней сватались, она влюблялась.
Но выбрала меня, едва
Тебе сравнялось двадцать два.
Ты двадцать третий круг растило —
Она женой мне стала милой.
Ты чахнуть стало к сорока —
Она была бледна, хрупка.
В тебе дупло росло и тлело —
День ото дня она слабела.
Смерть дни ее оборвала —
Открыла возраст твой пила.
Она не ведала, ты тоже
О том, как ваши судьбы схожи.

РЕГАТА ХЕНЛИ

Она глядит в окно: опять нещадно льет,
Вся улица в ручьях. Попробуй выйти — грозы...
Похоже, не видать регаты в этот год...
И на глазах, полубезумны, слезы.

Регата и дожди спустя так много лет
Опять пришли вдвоем. Клокочут водостоки.
Но Нэнси не до них. Ей больше дела нет,
Что у регаты изменились сроки.

Регата — под рукой: бессмысленно смеясь,
Она в лечебнице кораблики пускает
По ванне взад-вперед. При этом всякий раз,
Ликуя, ванну «Хенли» нарекает.

ВЕЧЕР В ГАЛИЛЕЕ

Вдаль, на запад, к Кармелу глядит она из-под руки.
А потом на восток, к Иордану, где гладки речные пески.
«Может, сын мой безумен?» — вздыхает. Ответа ей нет.
Лишь сама она знает, и страшен ей этот ответ.
«Проповедует странное, верит — не разубедить.
И небрежен в одежде, а щеголем мог бы ходить.

Учит истине, будто полвека прожил до сих пор,
Напугал меня в Храме — ведь с первосвященником в спор!
«Что тебе и мне, жено?» Зачем он так странно спросил?
О, такое услышать от сына, ей-богу, нет сил!
И потом: «Кто мне мать?» Ну, как будто не знал столько лет!
Но спроси: «Кто отец мне?» — и что б я сказала в ответ?
Знает только Иосиф, да... Нет, никогда, никому!
Тот ушел, не вернется... Сама до сих пор не пойму!..

Не якшался бы с этими... Сплошь рыбаки, гольтьба.
Ведь умен, столько знает, его нам послала судьба.
Эта падшая женщина ходит за ним по пятам —
Обожает, уж точно. А что вожделеет он сам,
То ведь это безумье, болезнь, не его тут вина.
«Чтите заповеди!» — и прельститься такой, как она!
Так уж, видно, со всеми, что разумом не тверды...
Ох, не знаю, боюсь, не накликать бы с горя беды!
Сын-безумец — ужасно, тут можно всего ожидать:
Арестуют, убьют... Как, однако, умеет читать, убеждать!
Вот и муж. Рассказать ему, что нам за страсть суждена?
Нет. Пускай отдохнет. Буду думать, молиться и думать одна.
И она вспоминает, что ужин ему не поспел,
И глядит в смутной муке на юг, где лежит Израэл.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Как ливень лил
В тот день над Флинткомб-Эш, а нам
Обрезать брукву надо было.
Да нас едва с холма не смыло!
До нитки вымокли мы там.
Как ливень лил!

Как сыпал снег,
Когда мы с Флинткомб-Эш ушли
В Грейт Барн, чтоб там рубить камыш,
И все дома до самых крыш
Густые хлопья замели.
Как сыпал снег!

Как солнце жгло,
Когда на дальней ферме вновь
Нас ждали ведра и коровы,
Луга и песни — и порою
Неосторожная любовь!
Как солнце жгло!

ЛИШЬ ТАМ, НА НЕБЕСАХ

**«Лишь там, на небесах,
Ждет встреча нас!» —
Мы говорим в слезах
В прощальный час.**

**Но, встретившись опять
Чрез годы в суете,
Смешно нам вспоминать
Страданья те.**

**Мы больше не грустим
О прежних временах
И встретиться хотим,
Но... на словах.**

СТОЯ У КАМИНА

(Г. М. М., 1873)

Горячий воск по свечке льется, льется.
(Как с саваном его наплывы схожи!)
Истец, притронувшись к свече, клянется,
И я ее касаюсь пальцем тоже.

Ночь. Для меня она вдвойне темна,
Хотя могла бы озариться светом,
А душу ледяющая зима —
Стать солнечным, тепло дарящим летом.

Все кончено. Все затянулось тенью —
И небо, и тем более земля.
Так дай же мне излить свое смятенье,
Пока еще мы живы — ты и я.

Никем ты не была принуждена —
Ты добровольно мне тепло дарила.
Так чем же ты теперь удивлена?
То небом суждено, что с нами было.

Последнее ты мне швырнула слово...
Но отвечать тебе уж нету силы,
И оттого молчу: с тобою снова
Нам быть лишь по ту сторону могилы.

Свисают складки смертного покрыва
Со свечки, мое сердце растревожа...
Клянусь и я, надеть его готовый,
Оплывший воск вминая пальцем тоже.

ТОТ ПОЦЕЛУЙ В НОЧИ

Ты помнишь — тогда?..

Скажи же, что да!

Тогда ты ушла в непроглядную ночь,
Исполненная нетерпенья,
Из дома, забытого в чаще лесной,
И вот, с ощущеньем внезапной утраты —
Ничто не вернуть, ничему не помочь —
Я вышел и поцеловал виновато

Воздух

Той тьмы беззвездной,

А ты между тем у калитки ждала...
И вдруг, в темноте, по щеке — дуновенье,
Лицо твое тронуло жаркой волной...
Но я целовал этот воздух, не зная,
Что ты у калитки, так близко, была...
Да, я целовал тебя, лишь вспоминая!

Ты помнишь — тогда?..

Скажи же, что да!

В КАНУН КРЕЩЕНЬЯ

«Кто ж так в канун Крещенья
Грустит, в канун Крещенья?
Кто ж так в канун Крещенья
Грустит и слезы льет?»

«Да, мне сегодня грустно.
Не скрою: очень грустно.
Без той мне нынче грустно,
Что больше не придет».

«Но почему сегодня
Ты так грустишь, сегодня,
Когда весь люд сегодня
И пляшет и поет?»

«Ах, и она плясала!
Пленяя всех, плясала.
Ах, так она плясала,
Что прочие не в счет.

Мы жгли в ту ночь омелу.
Плющ, остролист, омелу.
В ту ночь мы жгли омелу,
Как весь честной народ.

В огне пылали ветки,
Горели с треском ветки,
В огне трещали ветки —
Она сидит и ждет.

Вдруг входит он и молвит,
Спокойно так ей молвит:
Корабль отходит,— молвит,—
 Едва заря взойдет.

Я жду — ведь ты клялась мне,
Ведь ты сама клялась мне,
Уплыть со мной клялась мне —
 Иль я уже не тот?

Его глаза сверкают,
Как молнии сверкают.
Глаза его сверкают —
 О как их пламя жжет!

И словно бы готова,
Давно уже готова
За ним идти готова,—
 Куда он поведет.

Она от нас ушла с ним,
Взяв за руку, ушла с ним.
А снег (она ушла с ним!)
 Ночь сыпал напролет.

И догорели листья,
Колючие те листья.
Дотла сгорели листья..
 Кто нам ее вернет?..

Спустия два года снова,
В ночь на Крещение снова,
Мы здесь сидели снова,
 Грустя о ней — и вот .

Раскрылась дверь без стука,
И прямо к нам без стука
Она идет без стука,
 Бледна, как тень, идет.

А на руках ребенка
Несет она, ребенка.
Баюкает ребенка,
 Качая взад-вперед.

Мы всё прочли во взгляде.
Без слов прочли во взгляде,
В ее печальном взгляде,
 Поблекшем от невзгод.

Весной она исчезла,
Куда-то вновь исчезла.
И раз уж вновь исчезла,
То больше не придет.

А мы все жжем омелу.
Плющ, остролист, омелу,
Мы снова жжем омелу,
Как весь честной народ».

ТРЕВОГА ОЖИДАНИЯ

Клейкая влажность над всем висит, как лоскут,
Рыхлою акварелью поля текут.
Окружность неба чуть по краям светла —
Крышку взяли не ту — потонула, потом всплыла.

Там, за морем, которое глухо ревет,
С тревогой на сердце она меня ждет.
За нами следит из укрытья наш общий враг —
Будет убит, кто сделает встречный шаг.

Но это вряд ли произойдет..
Ждет ли нас встреча или совсем не ждет,
Будет небо такое же, как теперь,
Будет бездна глухо стонать, как зверь.

УСЛЫШАННОЕ НА ОТКРЫТИИ ЦЕРКВИ

Епископ на кафедре, им обновленной, стоит,
И, текст барабана, рассеянным взглядом скользит
По лицам, приделам, по новому остову крыши,
По аркам и камню расписанных плит.

«Да, он! — кто-то шепчет. — Ведь я его слышал
Мальчишкой! Была тогда, помнится, мода:
Вечерние проповеди для народа,
По будням. Новое дело для нас...
И чистая публика шла поглазеть, не чинясь.
Неделю на чтение тому, кто попросит, давали.
Такие, скажу вам, порой златоусты бывали!
А этот — из лучших, так все признавали.

Один мне запомнился... Невероятный успех!
И не из речистых, а попросту искренней всех.
Начнет говорить — и, бывало, вся суть открывалась...
Занятно бы знать, что сегодня с ним сталось».

«Ну да, вспоминаю... И вправду он был нехитер:
Любовь, состраданье... Всегда об одном разговор!
В викариях ходит чудак до сих пор».

В КОЛОДКАХ В УЭЗЕРБЕРИ

(1850)

«Сижу в колодках. Ночь.
Двенадцать на часах.
Уж лучше бы мне быть
Сейчас на небесах!

Шаги... Не грежу ль я?
Меня ты не забыла!
Софи, любовь моя,
Я снова полон силы,

Я вновь... Но кто же тут?
Ах, мама, это ты...
Напрасно верил я,
Что оживут мечты...»

«Все ждешь ее, глупец!
Так знай. Она сказала:
В колодках от него
Теперь мне толку мало.

Она ушла на танцы
И не придет назад.
Тебя с другим забыла,
Так люди говорят.

Не думай, Джим, о ней,
Ее не стоит ждать.
Ведь о таком, как ты,
Горюет только мать!»

ТРЕТЬЯ ПОЦЕЛУЙНАЯ КАЛИТКА

Она идет по улице,
Где свет огней дрожит,
Затем восточной просекой
Под ильмами бежит.

В калитку поцелуйную
Врывается, и вниз —
По лугу по широкому
У края Меллсток Лиз.

Вторая поцелуйная
Калитка перед ней,
А дальше — сад, и водопад,
И купы тополей,

И третья поцелуйная
Калитка... Только вдруг
За ней исчезла девушка,
И — никого вокруг...

Что там случилось? Шепот чей
Нарушил тишину?
Гляди — две тени темные,
Сойдясь, слились в одну...

ИЗ ЭПИЧЕСКОЙ ДРАМЫ
«ДИНАСТЫ»

ГУСАРСКАЯ ПЕСНЯ

(Бадмутские красотки)

I

Бадмут — славный городишко!
Там девчонки, словно пышки.
Сколько плавности в походке, сколько пылости во взгляде!
И сердца рвались на части —
Так сгорали мы от страсти!
Только шпоры — трень да брень — взад-вперед по Эспланаде!

II

Губки — розы, щечки — маки,
И бывалые рубаки
Забывали о присяге недотрог лукавых ради.
А в ответ — лишь проволочки,
Отговорки и отсрочки.
Мчались в лагерь — трень да брень — мы в унынье и досаде.

III

Грянул гром войны неожиданной,
Но средь тягот жизни бранной
Наш гусар не позабудет и в кромешной канонаде
Ни улыбок, ни уловок
Тех пленительных плутовок,
Ни лихого трень да брень мимо них, как на параде.

Полк вернется на квартиры,
Снова красные мундиры
Близ муслинных платьев будут тщетно клянчить о пощаде.
И опять пойдут насмешки,
Переглядки да потешки
Под лихое трень да брень взад-вперед по Эспланаде!

У МЫСА ТРАФАЛЬГАР

(Песня гребцов)

I

Когда той ночью шли стеной
Огромные валы,
И в лица нам летел песок
Из непроглядной мглы,
И ветер в бухте Мертвеца
Метался лют и яр,
Не знали мы, что было днем
У мыса Трафальгар.
Что было,
Что было
У мыса Трафальгар!

II

«Держать на север, а не то
Нам не видать земли!»
И мы гребли, как сто чертей,
И к ночи в порт пришли.
А на зюйд-вест от Кэдис-бэй
Под бури свист и вой
Сражались наши храбрецы
С волною штормовой.
Сражались,
Сражались
С волною штормовой!

III

Был Нельсон мертв, была его
Команда чуть жива,
А рядом вражьи корабли
Ко дну не шли едва.

Всю ночь и победитель бритт,
И побежденный галл
Кружились вместе среди пучин
У мыса Трафальгар.
Кружились
Над бездной
У мыса Трафальгар!

УЕХАЛ ДРУЖОК

(Песня деревенской девушки)

I

Уехал дружок —
Воротится ль живой?
Военный рожок
Ему друг боевой,
Солдатский мешок
Да конек строевой.

II

Мне верность храня —
Лишь бы только живой! —
Пусть пьет за меня
Он в страде боевой.
Пусть мчит из огня
Его конь строевой.

III

Моею молитвой —
Останься живой!
Но вскрикнет пред битвой
Рожок боевой,
И в сечу летит твой
Конек строевой!

В долине торфяной

I

Мой муж-злодей мне верит
И честной мнит женой,
Хоть я брожу по вечерам
В долине торфяной.

II

Наш дом был полной чашей,
Но все ж порой ночной
Я шла туда, где вереск цвел
В долине торфяной.

III

Я так его любила!
Хоть небогат казней
Был тот, кто ночью ждал меня
В долине торфяной.

IV

Пускай на мужнем ложе
Перина с простыней —
Куда милей мне голый мох
В долине торфяной!

V

Был злобный шепот: «Шлюха!»
Был всплеск волны речной.

И вновь сомкнулись воды Уэйр
В долине торфяной...

IV

С тех пор по этим тропкам
Брожу я в дождь и в зной,
Но только призрак ждет меня
В долине торфяной.

КОММЕНТАРИИ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Рассказы Томас Гарди писал в продолжение всей своей долгой жизни; лишь последнее десятилетие он посвятил исключительно автобиографии и поэзии. Большая часть рассказов вышла в 80-90-х годах, то есть в то же время, что и его романы. После отказа от романистики, вызванного грубыми нападками критики на поздние романы Гарди, писатель почти полностью отошел и от новеллистического творчества. В XX веке увидел свет лишь один сборник рассказов и повестей, значительная часть которых была написана раньше.

Всего Гарди опубликовал четыре сборника: «Уэссекские рассказы» (1888), «Группа благородных дам» (1891), «Маленькие насмешки жизни» (1894) и «Переменившийся человек и другие рассказы» (1913). Вошедшие в эти сборники рассказы и повести, как правило, публиковались предварительно в журналах. В отличие от романов, рассказы не подвергались сколько-нибудь серьезной правке со стороны журнальных редакторов.

Исследователи обычно делят рассказы Гарди на четыре основных цикла, не всегда совпадающих с разбивкой их по сборникам. Это, во-первых, деревенские рассказы и местные предания; во-вторых, «романтические истории», сильно одобренные порой юмором или иронией; в-третьих, парадоксальные истории, которые сам Гарди назвал «маленькими насмешками жизни»; и наконец, в-четвертых, драматические, а иногда и трагические рассказы и повести. В томе представлены все циклы новеллистики Гарди.

Рассказы писателя кровно связаны с его романами. Они подготавливали широкие романические полотна, служа как бы своеобразной экспериментальной площадкой для разработки тем, фабул, характеров. При всем своеобразии «малого жанра» в них немало общего с романами Гарди, и это не должно удивлять читателя.

Из «Уэссекских рассказов» в том вошли «Три незнакомца», «Сухая рука», «Проповедник в затруднении». Написанные в конце 70-х — первой по-

ловине 80-х годов, эти рассказы разрабатывают темы патриархальной деревенской жизни, того «милого, восхитительного Уэссекса», который запечатлен в повести «Под деревом зеленым» и других ранних произведениях Гарди.

«Группа благородных дам» представлена рассказами «Маркиза Стоунэндж», «Леди Моттисфонт», «Герцогиня Гемптонширская». По своей тематике и стилю эти рассказы близки к романам, которые исследователи называют «экспериментальными». В них Гарди пытался освоить острые сюжетные построения, романтические характеры и темы. То, что не удалось ему в романах, в рассказах, пожалуй, имело больший успех. Вероятно, тому способствовала сжатость формы, а в некоторых случаях — то ироническое освещение, которое дает этим историям писатель.

Два последних сборника Гарди, так же как его поздние романы, являются его наивысшими достижениями в пределах избранного жанра. Из сборника «Маленькие насмешки жизни» в том вошли рассказы «Запрет сына», «Трагедия двух честолюбий», «В Западном судебном округе», «В угоду жене», «Грустный гусар из немецкого легиона» и обрاملенный цикл рассказов «Старинные характеры», возвращающий нас в милое сердцу писателя патриархальное прошлое.

«Могила на распутье» из сборника «Переменившийся человек» завершает раздел рассказов, составлявших важную часть творчества писателя и невольно затененных наилучшими произведениями поэзии и романистики.

Стр. 7. *Тимон* — древнегреческий философ (V в. до н. э.); вел уединенный образ жизни, чуждаясь людей.

Навуходоносор.— Согласно библейскому преданию, Навуходоносор, царь вавилонский, был по воле бога «отлучен от всех людей, и житие его было с полевыми зверями» для того, чтобы он в одиночестве постиг «могущество всевышнего» (Книга пророка Даниила).

Стр. 8. *Сенлак* — холм недалеко от города Гастингса в Англии, где в 1066 г. происходила битва между англосаксами и нормандцами.

Креси — город в северо-восточной Франции, вблизи которого в 1346 г. произошло сражение между французами и англичанами.

Стр. 17. *...на пиру Валтасара*.— Согласно библейскому преданию, на пиру у вавилонского царя Валтасара таинственная рука начертала на стене знаки, истолкованные затем пророком Даниилом как предвещание смерти царя и раздела его царства.

Стр. 74. *Люгер* — парусное судно.

Стр. 227. *Клеопатра Египетская* — последняя царица Египта (51—30 гг. до н. э.) из династии Птоломеев. Во время войны с Римом в морской битве при Акции (31 г. до н. э.) Клеопатра со своими шестьюдесятью кораблями бежала с места сражения.

Стр. 264. *...каждый поцелует свою пару под омелью*.— По английскому народному обычаю, мужчина имеет право поцеловать девушку, если они вдвоем окажутся под веткой омелы, которую на святках вешают где-нибудь в комнате.

...нас за это испепелит, как Содом и Гоморру! — По библейской легенде, жители древнепалестинских городов Содома и Гоморры предавались разврату, за что бог их покарал, уничтожив эти города землетрясением и огненным дождем.

Стр. 289. *...ему даже кол забили в сердце.*— По суеверным представлениям, долго сохранявшимся в глухих уголках Англии, человек, умерший без покаяния, встает по ночам из могилы, если при погребении ему не забили в сердце кол.

Н. Демурова

СТИХОТВОРЕНИЯ

СБОРНИК «УЭССЕКСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»

Обращение Гарди к поэзии не было случайностью: на протяжении многих лет он размышлял о сути и задачах поэзии, о возможностях поэтического слова. Его первые стихотворные опыты относятся к 1865 году. В 1866 году он послал несколько стихотворений в издательство, но ни одно из них не было опубликовано. В 1892 году, когда публика зачитывалась романом Гарди «Тэсс из рода д'Эрбервиллей», писатель снова вернулся к идее поэтического сборника, который в 1897 году получил название: «Уэссекские стихотворения: с авторскими зарисовками отдельных сцен». Сборник был опубликован в 1898 году. В него вошли стихотворения, написанные в 1860-х, 70-х и 90-х годах. Стихотворения сопровождалась иллюстрациями автора, так как, по словам писателя, идеи часто представляли перед ним сначала в зрительных образах, а потом уже в словесных. Портреты и зарисовки выражали важнейшие идеи и чувства стихотворений.

Первый поэтический сборник Гарди был встречен критикой довольно холодно. Это объяснялось во многом как укоренившимся представлением о нем как о писателе-прозаике, обращение которого к поэзии вызывало недоумение и настороженность, так и новизной и нетрадиционностью самих стихотворений. Гарди не пошел проторенным путем подражания своим знаменитым предшественникам — Водсворту, Теннисону, Браунингу, что обеспечило бы ему благосклонность критики, а попытался найти свой путь. Сам он хорошо сознавал это, говоря о том, что не существует новой поэзии, но каждый новый поэт придает ей свое оригинальное звучание, а именно это смущало критиков.

Стр. 295. *На похоронах.*— Дата написания стихотворения — 1873 г.— заставляет предположить, что речь идет о похоронах старшего друга и наставника Гарди Горация Моула (1832—1873), покончившего с собой. Плакующая его девушка — вероятно, Трифена Спакс (1851—1890) — кузина Гарди, в которую он был влюблен в юности и с которой был обручен. Их помолвка была расторгнута из-за женитьбы Гарди в 1874 г. Г. Моул был знаком с Т. Спакс. Неразделенные чувства к ней были, возможно, одной из причин его самоубийства.

Стр. 296. *Неверующий.*— Стихотворение отражает сложное отношение Гарди к религии, во многом расходившееся с ортодоксальным христианством. По словам писателя, потребность в вере была для него чувством инстинктивным, а не рациональным, а его нередко упрекали в неверии и агно-

стицизме. На иллюстрации к стихотворению был изображен собор в Солсбери. Стихотворение написано размером церковных гимнов.

Стр. 299. Кэстербриджские капитаны. — *Кэстербридж* — название, в литературной топографии Гарди обозначающее Дорчестер. Действие стихотворения происходит в церкви Всех Святых в Дорчестере, где на стенах портала сохранились имена героев стихотворения. «*Кто жизнь себе спас, тот утратил ее*» — измененная цитата из Евангелия от Матфея (16:25) «Кто спасает душу свою, тот погубит ее».

СБОРНИК «СТИХОТВОРЕНИЯ О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ»

Сборник был опубликован в 1901 году. В него вошли около ста стихотворений, часть из которых была написана в 1860—80-х годах, но большинство в конце 90-х годов после выхода «Уэссекских стихотворений». Сборник состоял из трех разделов — военные стихотворения, стихотворения странствий и смешанные стихотворения. Военные стихотворения были откликом Гарди на события англо-бурской войны 1899—1902 годов. Их пацифизм и откровенное неприятие войны как бессмысленного уничтожения невинных людей вызвали резкую отповедь официальной критики. Главная тема Гарди — не военные подвиги и слава, а трагедия солдат, покинувших родину и погибших на чужбине. В антивоенных стихотворениях Гарди чувствуется скрытая полемика с «Песнями казарм» Р. Киплинга.

Стр. 304. Рождественская повесть. — Стихотворение входит в раздел военных стихотворений об англо-бурской войне. Оно вызвало резкую оценку критики, обвинившей автора в пацифизме и антипатриотизме, после чего Гарди добавил последние 4 строчки, развивающие и уточняющие его идею. Упоминание Рождества подчеркивает мысль поэта о несоответствии поведения людей и целых народов учению Иисуса Христа о мире и любви.

Стр. 305. Барабанщик Ходж. — Стихотворение входит в раздел военных стихотворений об англо-бурской войне. Впервые было опубликовано в 1899 г. под названием «Мертвый барабанщик» с пометкой Гарди: «Один из погибших барабанщиков был родом из деревни рядом с Кэстербриджем». *Ходж* — типичное прозвище деревенских пареньков. Назвав так своего барабанщика, Гарди хотел показать безжалостность войны, превращающей Ходжей в пушечное мясо. *Вельд* — южноафриканская лесостепь; *буш* — заросли кустарника; *плато Кару* — плато в Южной Африке.

Стр. 306. Души убитых. — Место, описываемое в стихотворении, — Портландский мыс в Дорсете, расположенный на прямой, соединяющей Южную Африку с центром Англии; таким образом, пейзаж конкретен и в то же время наделен символическим смыслом. *Рейс* — водоворот неподалеку от Портландского мыса, где сталкиваются разные течения.

Стр. 310. Жаворонок Шелли. — Стихотворение входит в раздел стихотворений странствий и написано под впечатлением поездки Гарди по Италии весной 1887 г. *Шелли* Перси Биши (1792—1822) — английский поэт-романтик, автор аллегорической поэмы «Королева Маб», лирической драмы «Освобожденный Прометей», стихотворений, статей о литературе и искусстве. Во время путешествия по Италии Гарди посетил места, связанные с жизнью и творчеством Шелли. Поэзия Шелли оказала большое влияние

на молодого Гарди. «К жаворонку» (1820) — одно из знаменитых стихотворений Шелли.

Стр. 314. К Лизби Браун.— Стихотворение обращено к одной из юношеских возлюбленных Гарди.

Стр. 316. Единственная любовь.— Стихотворение, как и одноименный роман (в русском переводе — «Любимая»), написанный в то же время, посвящено одной из важнейших тем в творчестве Гарди — поискам идеала в любви и разочарованию при «материализации» этого идеала в конкретной женщине. На этой коллизии строятся отношения героев романов Гарди «Вдали от безумствующей толпы», «Тэсс из рода д'Эрбервиллей», «Джуд Незаметный».

Стр. 318. Дрозд в сумерках.— Стихотворение было напечатано 29 декабря 1900 г. под названием «Столетие на смертном ложе». Среди его литературных источников можно назвать «Оду соловью» Дж. Китса.

Стр. 319. В сумерках. I.— Стихотворения связаны с тяжелым душевным состоянием, пережитым Гарди в 1895—1896 гг., когда печальные обстоятельства семейной жизни (смерть отца в 1892 г. и размолвки с женой) усугублялись резким неприятием критикой романов писателя «Тэсс» и «Джуд Незаметный».

Стр. 320. В сумерках. II.— Стихотворение — насмешка над безоблачным оптимизмом, прославлявшим торжество материального прогресса и благополучия в викторианской Англии, и апология того пессимистического взгляда на мир, в котором Гарди обвинили после выхода его романа «Джуд Незаметный».

Стр. 321. В сумерках. III.— В последней строфе вольно цитируется «Откровение св. Иоанна» (Апокалипсис, 10: 9—10): «И я подошел к Ангелу и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал: возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоём, но в устах твоих будет сладка, как мед». В связи с этим отрывком последние строчки следует понимать как переоценку Гарди его юношеских увлечений естественными науками, греческой трагедией и т. д., принесших в зрелые годы лишь горечь разочарования.

Стр. 322. Жалоба Тэсс.— Стихотворение связано с романом Гарди «Тэсс из рода д'Эрбервиллей». Возможно, идея стихотворения пришла Гарди после постановки «Тэсс» в Нью-Йорке в 1897 г., где героиня произносила монолог о том, что хотела бы написать стихотворение, в котором выразились бы ее чувства (в романе такого отрывка не было).

СБОРНИК «ШУТКИ ВРЕМЕНИ»

Сборник был опубликован в 1909 году. Критика оценила его как пессимистический. По этому поводу Гарди писал своему другу Эдмунду Госсу 12 декабря 1909 года: «Я не стремился, чтобы большинство стихотворений получились грустными — это вышло случайно. Я предполагал, что по количеству веселых или спокойных стихотворений будет не меньше, чем печальных. Но, возможно, скорбь более красноречива, чем веселье... Одни поэты творят в минуты печали и замолкают в минуты радости, другие — наоборот». А редактору лондонской газеты «Дейли Ньюс», обозреватель которой писал о том, что сборник пронизывает разочарование и отчаяние, Гарди отвечал: «Если бы

это было справедливо, то это было бы неплохим противовесом против распространённого в наши дни бездумного оптимизма; но я позволю себе заметить, что из стихотворений, содержащихся в сборнике, больше половины не подходит под такое определение».

В сборник вошли очень разные стихотворения — сатирические, любовные, философские, стилизации под народные баллады.

Стр. 324. Трагедия бродяжки.— Гарди считал «Трагедию бродяжки» самым удачным из своих стихотворений. Оно написано в форме баллады и основывается на местных преданиях. Многочисленные географические названия, упоминаемые в тексте,— типичный для Гарди прием, придающий повествованию правдоподобие и достоверность.

Стр. 328. Гостеприимный дом.— Стихотворение связано с детскими воспоминаниями Гарди о Рождественских праздниках.

Стр. 331. Разлука.— Стихотворение обращено к миссис Артур Хэнникер (1855—1923), с которой Гарди познакомился в 1893 г. Миссис Хэнникер была образованной, обаятельной женщиной, увлекалась литературой, писала романы и новеллы. С Гарди ее связывала многолетняя дружба, ей посвящены многие лирические стихотворения и обширная переписка писателя.

Стр. 332. Прощанье на перроне.— Стихотворение посвящено Флоренс Дагдейл, с которой Гарди познакомился в 1904 г. и которая в 1914 г. стала его второй женой.

Стр. 334. Конец эпизода.— Исследователи расходятся по поводу адресата этого стихотворения. Одни считают, что оно посвящено Эмме Гарди (1840—1912) — первой жене поэта, с которой он познакомился в 1870 г. и на которой женился в 1874 г., другие — кузине Гарди Трифене Спакс (см. коммент. к стих. «На похоронах»).

Стр. 335. На ярмарке в Кэстербридже.— В стихотворении изображается традиционная ежегодная ярмарка, проходившая в Дорчестере вплоть до середины 1930-х гг.

Стр. 340. Они сажали сосны.— Стихотворение связано с эпизодом из романа Гарди «В краю лесов» и написано от имени его героини Марти Саут, безответно влюбленной в Джайлса Уинтерборна.

СБОРНИК «САТИРЫ НА СЛУЧАЙ»

Сборник был опубликован в 1914 году. В него вошли стихотворения, написанные в основном в 1910—1914 годах. Сборник состоял из нескольких разделов: лирика и мечты, куда вошли стихотворения-размышления на религиозные и философские темы; стихотворения 1912—1913 годов, написанные на смерть первой жены Гарди Эммы; смешанные стихотворения и сатиры на случай в 15 сценах — иронические зарисовки различных происшествий. Общее заглавие сборника «Сатиры на случай» было выбрано издателем Гарди Макмилланом и ввело в заблуждение многих критиков, увидевших в новом сборнике поэта сатирическую направленность и не обративших внимание на лирические стихотворения, которые были дороги самому Гарди и принадлежали к числу его лучших созданий.

Стр. 344. Стрельба на море.— Стихотворение было опубликовано за три месяца до начала первой мировой войны и прозвучало как невольное пророчество Гарди. *Стоургонская башня* — башня, расположенная около Портландской бухты, воздвигнута в 1766 г. в честь победы Альфреда Великого над датчанами в 879 г. Альфред Великий (ок. 849—900) — король англосаксонского королевства Уэссекс, объединивший под своей властью ряд соседних королевств. *Камелот* — название цитадели легендарного короля Артура (V—VI вв.), возглавившего борьбу бриттов против саксонских завоевателей. *Стоунхендж* — остатки древнейшей цивилизации II тысячелетия до н. э. на территории Англии, близ города Солсбери. Представляет собой огромные каменные плиты и столбы, образующие концентрические круги. Некоторые ученые считают Стоунхендж древнейшей обсерваторией. Упоминание этих мест, каждое из которых равнозначно ушедшей цивилизации, символично и иллюстрирует мысль Гарди о том, что человечество ничему не научилось в ходе истории.

Стр. 346. После встречи.— Ф. Э. Д.— Флоренс Эмили Дагдейл (см. коммент. к стих. «Прощанье на перроне»).

Стр. 349. Уэссекские вершины.— Стихотворение было написано в 1896 г. в период тяжелого душевного состояния поэта (см. коммент. к стих. «В сумерках»). Оно носит обобщенно-философский характер, в то же время в нем отразились переживания личной судьбы Гарди. Так, под душой, которой «все о тебе известно и все тебе прощено», вероятно, подразумевается Эмма, первая жена писателя, с которой у него в этот период сложились трудные отношения и которая препятствовала изданию его романа «Джуд Незаметный». Под призраком в Йеллем-Ботом, что «вечно стоит под луной», вероятно, подразумевается Трифена Спакс (см. коммент. к стих. «На похоронах»), а под «дивной женщиной» — миссис Хэнникер (см. коммент. к стих. «Разлука»).

Стр. 351. Спящий певец.— Стихотворение посвящено английскому поэту А. Ч. Суинберну (1837—1909), который был другом Гарди и оказал влияние на его поэзию. *Пряхи* — Мойры, в греческой мифологии богини судьбы. *Наставница с лесбийских берегов* — древнегреческая поэтесса Сапфо (VII—VI вв. до н. э.), жившая на острове Лесбос (Малая Азия). Сохранились многочисленные отрывки из ее лирики, преимущественно любовной. По преданию, Сапфо покончила с собой из-за неразделенной любви, бросившись в море со скалы.

Стр. 357. Исчезновение.— Это и еще 10 стихотворений («Твоя последняя прогулка», «Я нес ее», «Элегия», «Голос», «Без церемоний», «После поездки», «Мыс Бини», «У замка Ботерел», «Призрачная всадница», «Колдовство роз»), написанных в 1912—1913 гг., объединяет общая тема — неожиданная смерть жены Гарди Эммы в 1912 г. и вызванные этим событием переживания поэта, его воспоминания о прошлом — поре их знакомства и первой влюбленности.

Стр. 362. Элегия.— ...под сретенским снегом...— Сретенье — церковный праздник. Отмечается 2/15 февраля. В основу его легла описанная в Евангелии от Луки встреча старца Симеона с младенцем Иисусом, которого родители, согласно обычаю, принесли в Иерусалимский храм. Симеон предсказал, что беспомощный младенец выйдет «на служение спасения людей».

Стр. 368. Жалоба Человеку.— Среди источников идей Гарди о божестве как о создании человеческого разума следует назвать поэму Шелли «Восстание

Ислама», работу М. Арнольда «Литература и догма», «Три эссе о религии» философа Дж. С. Милля — одного из основоположников позитивизма.

Стр. 372. На исходе дня в ноябре.— Стихотворение было положено на музыку композитором Б. Бриттеном и вошло в его песенный цикл «Зимние напевы».

Стр. 384. Бегство.— *Царь Соломон* — царь Израильско-Иудейского царства в 965—928 г. до н. э. По преданию, был наделен большой мудростью и огромными богатствами. Ему приписывают авторство книг «Екклезиаста», «Притчей Соломоновых», и «Песни Песней», входящих в Ветхий Завет.

Стр. 386. После поездки.— Стихотворение написано после посещения Гарди Корнуолла в 1913 г. и тех мест, которые были связаны с его знакомством с Эммой.

Стр. 387. Мыс Бини.— *Мыс Бини* находится в Корнуолле. Двойная дата — 1870 и 1913 — указывает на два посещения Гарди этого места: впервые с Эммой, второй раз — после ее смерти.

Стр. 388. У замка Ботерел.— *Ботерел* — название, придуманное Гарди для Боскастла, небольшого городка в Корнуолле, где он бывал с Эммой.

Стр. 395. В Британском музее.— Британский музей в Лондоне — один из крупнейших музеев мира. Основан в 1753 г., открыт в 1759 г. Стихотворение имитирует диалог в зале, где выставлен античный мрамор, вывезенный из афинского Акрополя. Собеседники, воображающие себя знатоками, путают Акрополь с *Ареопагом* — древним афинским судом. *Апостол Павел* (между 5 и 15—67 н. э.) — один из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Жизнь его изложена в книге Нового Завета «Деяния апостолов», где в 16-й главе рассказывается о проповеднической деятельности апостола Павла среди язычников. Был казнен в Риме в царствование императора Нерона.

СБОРНИК «МИНУТЫ ОЗАРЕНИЙ»

Самый большой поэтический сборник Гарди, опубликован в 1917 году. Большинство составивших его стихотворений было написано после 1914 года. В сборник вошли лирические стихотворения, посвященные первой жене Гарди Эмме и тематически связанные с циклом стихов о ней в сборнике «Сатиры на случай», стихотворения о первой мировой войне и другие. Многие носят автобиографический характер и основаны на конкретных событиях жизни Гарди. Давая общую характеристику сборника, поэт писал в своем дневнике: «Не думаю, чтобы на эти стихи обратили внимание: они задевают человеческое ощущение собственной значимости и показывают или наводят на мысль о том, что человеческое существование не такая уж большая ценность в нашем равнодушном мироздании».

Стр. 400. Возле Ланивета. 1872 год.— Стихотворение основано на реальном случае, произошедшем между Гарди и его женой Эммой незадолго до свадьбы. *Ланивет* — местечко недалеко от Бодмина в Корнуолле, куда Гарди приехал просить руки Эммы у ее отца.

Стр. 402. *Quid hic agis?* — *Quid hic agis* — Что ты здесь делаешь? (лат.) — слова, обращенные Богом к пророку Илие, бежавшему от преследований в пустыню и укrywшемуся в пещере (3-я Книга Царств, XIX). Стихо-

творение носит автобиографический характер. В 1-й строфе Гарди предстает ребенком, слушающим проповедь в Стинсфордской церкви. Во 2-й строфе он сам читает ту же главу из Книги Царств, а в 3-й — отождествляет себя с впадшим в отчаяние пророком. Гарди очень любил этот отрывок из Книги Царств. Пророк Илия изображен на оконном проеме в Стинсфордской церкви в память о Гарди.

Стр. 410. *Волы*.— Стихотворение основано на народном предании, согласно которому в Рождественскую ночь волы становятся на колени.

Стр. 412. *Колокола*.— Стихотворение описывает колокола церкви св. Петра в Дорчестере.

Стр. 415. *Поленья в камине*.— Стихотворение написано в 1915 г. и посвящено памяти младшей сестры Гарди Мэри (1841—1915), умершей в ноябре 1915 г.

Стр. 417. *Канун Нового года во время войны*.— Стихотворение построено на образах из «Откровения св. Иоанна» (Апокалипсис), входящего в Новый Завет Библии. Всадник, скачущий по Европе,— апокалиптический образ, символизирующий смерть. «И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть» (Апокалипсис, 6 : 8).

Стр. 419. *Все прошло*.— Стихотворение посвящено жене Гарди Эмме.

СБОРНИК «ПОЗДНЯЯ И РАННЯЯ ЛИРИКА»

Сборник был опубликован в 1922 году, когда Гарди исполнилось 82 года. Его философские размышления и попытки осмыслить жизненные явления, составляющие главное содержание стихотворений этого сборника, вылились в предисловие, названное «Апология», в котором Гарди выступил в необычном для него амплуа литературного критика. Он защищал свои стихи и свое понимание поэзии от нападок критики, утверждая, что пессимизм, в котором его обвиняли, это всего-навсего реалистический взгляд на вещи, который только и может способствовать совершенствованию человеческой природы. Он характеризовал состояние послевоенной Европы как «темное время», а возможность нравственного обновления видел в союзе религии и разума, который может осуществиться с помощью поэзии. Религию Гарди понимал не как теологию или соблюдение церковных догм, а как своеобразное мироощущение. В своей оценке роли поэзии и религии в обществе Гарди во многом следовал за рассуждениями М. Арнольда в его работе «Литература и догма».

Стр. 422. *Погоды*.— Стихотворение открывает сборник и задает две его сквозные темы: прошлое и настоящее, юность и старость, весна и осень. Стихотворение было неоднократно положено на музыку.

Стр. 424. *Порой я думаю*.— Стихотворение посвящено второй жене Гарди Флоренс, на которой он женился в 1914 г. в возрасте 74 лет.

Стр. 425. *Странный дом*.— *Макс Гейт* — дом в Дорчестере, построенный в 1883—1885 гг. по проекту Гарди, где писатель прожил большую часть жизни. *А. Д.*— *anno domini* — год господень (лат.).

Стр. 427. *Все та же песня*.— Стихотворение содержит скрытые цитаты из «Оды соловью» Дж. Китса и построено как полемика с ним. Китс

писал о бессмертии соловья, Гарди же, напротив, подчеркивает тленность и смертность живой плоти и бессмертие песни — нематериального творения.

Стр. 428. Лалворт Коув столетие назад.— Юноша, упоминаемый в стихотворении,— поэт-романтик Дж. Китс (1795—1821), отправившийся в 1820 г. в Италию лечиться от туберкулеза. Из-за шторма корабль, на котором он плыл, пристал в районе Дорсета, и таким образом Китс побывал в Лалворт Коув. Китс умер в Риме год спустя.

Стр. 430. Ночь в ноябре.— Стихотворение написано на годовщину смерти Эммы Гарди в ноябре 1912 г.

Стр. 432. Органистка.— Есть основания предполагать, что стихотворение описывает реальный случай, произошедший в баптистской церкви в Дорчестере в 1850-х гг. *Диссентеры* — в Англии общее название лиц, расходившихся во взглядах с учением господствующей церкви и отделившихся от нее организационно. Здесь под диссентерами подразумеваются баптисты. Баптизм — одно из направлений протестантизма.

Стр. 436. Старик старикам.— *Мими* — героиня оперы итальянского композитора Дж. Пуччини. *«Трубадур»* — опера итальянского композитора Дж. Верди. *Этти, Малреди, Маклиз* — английские художники, пользовавшиеся известностью в середине XIX в. *Булвер* — Булвер-Литтон (1803—1873) — английский писатель и политический деятель, автор многочисленных романов. *Скотт Вальтер* (1771—1832) — английский писатель, прославившийся своими историческими романами. *Санд* — Жорж Санд, настоящее имя Аврора Дюдеван (1804—1876) — французская писательница-романистка. *Теннисон* Алфред (1809—1892) — английский поэт. *Аид* — в греческой мифологии царство мертвых. *Платон* (427—347 до н. э.) — древнегреческий философ и писатель, ученик Сократа, основатель платоновской Академии в Афинах. *Софокл* (ок. 496—406 до н. э.) — древнегреческий писатель, создатель классической античной трагедии, автор трагедий «Эдип-царь», «Антигона», «Электра» и др. *Сократ* (470/469—399 до н. э.) — древнегреческий философ, один из родоначальников диалектического метода отыскания истины путем наводящих вопросов. Его учение изложено в «Диалогах» Платона. *Пифагор* (VI в. до н. э.) — древнегреческий мыслитель, математик, религиозный и политический деятель. *Гиппократ* (ок. 460 — ок. 370 до н. э.) — древнегреческий врач, реформатор античной медицины. *Климент* — Климент Александрийский (? — 215 до н. э.) — христианский теолог и писатель, стремился к синтезу эллинской философии и христианской веры. *Геродот* (V в. до н. э.) — древнегреческий историк, прозванный «отцом истории». Дал первое систематическое описание жизни и быта скифов.

СБОРНИК «ТЕАТР ЖИЗНИ»

Последний прижизненный сборник Гарди, опубликован в 1925 году. В него вошло более ста стихотворений, большинство из которых ранее нигде не печаталось. Часть стихотворений была написана в 1890-х годах, но основная масса — в 1900—1920 годах. Первоначально сборник назывался «Стихотворения воображения и случая: с песнями и забавами», позже Гарди изменил его на «Театр жизни. Дальние фантазии. Песни и забавы». Такое название предполагало разнообразие содержания, и стихотворения этого сборника действительно

разнообразны. одни основаны на старых письмах и дневниках, которые Гарди перечитывал, работая над своим «Жизнеописанием», другие — на впечатлениях от прочитанных книг, третьи — на конкретных событиях социальной и личной жизни поэта 1922—1925 годов. Разнообразны и жанровые формы, составляющие этот сборник. Среди них — философские размышления, юмористические и сатирические зарисовки, любовная лирика, сюжетные истории, приближающиеся к балладам или новеллам.

Стр. 440. Когда умру.— Стихотворение посвящено Эмме Гарди.

Стр. 444. Тексты на перезвон восьми колоколов.— В стихотворении описываются колокола церкви св. Петра в Дорчестере.

Стр. 447. Убывающие дни на ферме.— В стихотворении описывается ферма на родине Гарди в Верхнем Бокхэмптоне.

Стр. 449. Сценка с птицами в сельском доме.— Стихотворение было написано в 1925 г. в ознаменование 60-й годовщины опубликования рассказа Гарди «Как я построил себе дом» (1865) — одного из первых литературных опытов молодого писателя. В стихотворении описывается дом в Верхнем Бокхэмптоне, где родился Гарди.

Стр. 454. Не приходи! Приди! — Стихотворение посвящено миссис Хэнникер (см. коммент. к стих. «Разлука»).

Стр. 456. Викарий с Ист-Энда.— *Ист-Энд* — восточный район Лондона, где живет рабочий люд. *Новелло* — «Гимнов» том — общедоступный сборник религиозной музыки, изданный Винченце Новелло.

Стр. 457. В четыре поутру.— Стихотворение носит автобиографический характер и воскрешает годы ученичества Гарди в Верхнем Бокхэмптоне, когда он по утрам изучал латинский и греческий, а потом отправлялся на работу в мастерскую архитектора.

Стр. 463. Зимний вечер в лесном краю.— *Мэйл, Восс, Роберт Пенни* — члены Меллстокского хора из романа Гарди «Под деревом зеленым».

Стр. 465. Девушки играют на заснеженной улице.— *Антуанетта* — Мария Антуанетта (1755—1793) — дочь австрийского императора. В 1770 г. стала женой французского короля Людовика XVI и королевы Франции. Была известна своей любовью к роскоши и всевозможным увеселениям. Казнена во время Великой французской революции.

Стр. 471. На вересковой пустоши.— Герцог *Монмут* (1649—1685) — незаконный сын английского короля Карла II Стюарта. Возглавил восстание протестантов против католического короля Якова II, был казнен после разгрома восстания.

Стр. 478. Подменная жена.— В основу стихотворения легла подлинная история Мэри Ченнинг, осужденной за отравление мужа и казненной в Дорчестере в 1705 г.— она была сожжена в присутствии огромной толпы народа. Этот случай описан в романе Гарди «Мэр Кэстербриджа» (гл. XI).

Стр. 482. В Шернборнском аббатстве.— *Шернборнское аббатство* (строилось в XII—XV вв.) находится к северо-востоку от Дорчестера.

Стр. 489. На Оксфорд-стрит.— *Оксфорд-стрит* находится в центре Лондона.

Сборник был опубликован в 1928 году, уже после смерти Гарди. Поэт много работал над ним в последние месяцы жизни, понимая, что это скорее всего его последнее произведение, и надеясь издать его к своему дню рождения — ему должно было исполниться 88 лет. Однако рукопись осталась во многом незавершенной, в ней содержались многочисленные исправления и разночтения, что вызвало немалые трудности при издании. Окончательный текст был подготовлен к публикации вдовой Гарди и его литературным душеприказчиком С. Коккредом. В сборник вошли в основном стихотворения, написанные после 1925 года. Во вступлении к сборнику Гарди еще раз высказывал свое несогласие с оценкой критикой его предыдущего творчества как мрачного и пессимистического.

Стр. 490. Гордые певцы.— Стихотворение было положено на музыку Б. Бриттеном.

Стр. 493. На святках.— *Святки* — так называемые «святые дни», 12 дней (с 25 дек./7 янв. по 6/19 янв.), установленные церковью в память рождения и крещения Иисуса Христа и по времени располагающиеся между праздниками Рождества и Крещения.

Стр. 494. Низвержение дерева.— Стихотворение было впервые опубликовано в 1928 г. во французском журнале «Коммэрс» с переводом на французский знаменитого французского поэта Поля Валери и пометкой, что это последнее стихотворение Гарди. Стихотворение может быть прочитано как символическое осмысление поэтом своей жизни, приближающейся к концу.

Стр. 506. Регата Хенли.— *Регата*, происходящая в Хенли-на-Темзе, возникла как соревнование по гребле между Оксфордским и Кембриджским университетами. С 1839 г. стала проводиться ежегодно в июне — июле и привлекать множество зрителей.

Стр. 507. Вечер в Галилее.— Стихотворение построено как монолог Марии, матери Иисуса Христа, и разрабатывает неканонический образ Богоматери. *Галилея* — область в Северной Палестине, где, по евангельской традиции, проповедовал Иисус Христос. *Кармел* — гора к востоку от Назарета, недалеко от Средиземного моря. *Иордан* — река в Малой Азии, где крестились первые христиане, протекает через Тивериадское озеро. *Нанугал меня в храме — ведь с первосвященником в спор!*.— Имеется в виду эпизод из Евангелия от Матфея (21 : 23—27): «И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: какой властью Ты это делаешь?» «*Что тебе и мне, жено?*» — ответ Иисуса матери во время свадьбы в Кане Галилейской, когда Христос превратил воду в вино (Евангелие от Иоанна, 2 : 3—4), «*Кто мне мать?*» — Еванг. от Матфея (12 : 48). Далее следует ответ Христа: «И указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот мать Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и мать». «*Кто отец мне?*» — и что б я сказала в ответ? *Знает только Иосиф...*— Плотник Иосиф был мужем Марии, но не отцом Христа (Еванг. от Матфея, 1 : 18—20). *Сплошь рыбаки...*— имеется в виду апостол Петр, ставший учеником Христа (Еванг. от Луки, 5). *Падшая женщина* — Мария Магдалина, обратившаяся в христианство после

встречи с Христом (Еванг. от Луки, 8). «*Чтите заповеди!*» — Еванг. от Матфея, 19:17. Далее следует перечисление заповедей. *Израэл* — город в Палестине.

Стр. 508. Деревенские женщины.— Стихотворение связано с эпизодами, где описывается работа Тэсс на ферме Флинтком-Эш из романа «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» (гл. XII, XIII).

Стр. 510. Стоя у камина.— Г. М. М.— Гораций Мосли Моул (см. коммент. к стих. «Неверующий»).

Стр. 517. В колодках в Уэзербери.— *Уэзербери* — название, придуманное Гарди для Падлтауна — городка в 5 милях от Дорчестера. Стихотворение основывается на детских воспоминаниях Гарди.

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ДРАМЫ «ДИНАСТЫ»

«Династы» (1904—1908) — эпическая драма в стихах, которую Гарди условно называл «европейской Илиадой». Она состоит из 3 частей, 19 актов и 113 сцен. Обратившись к историческому материалу, Гарди хотел разобраться в соотношении закономерностей и случайности в историческом процессе, рассмотреть проблему соотношения усилий народов и выдающихся личностей, наделенных властью. Драма написана в традиции дидактических поэм Джона Мильтона — Гарди выводит в ней условные символические фигуры Времени, Сострадания и др., пускается в пространные рассуждения. Наиболее удачными в драме являются не философские аллегории, а бытовые зарисовки.

Стр. 521. У мыса Трафальгар.— *Мыс Трафальгар* находится около города Кадиса (Испания). Там в 1805 г. во время войны наполеоновской Франции против третьей антифранцузской коалиции произошло морское сражение, в котором английский флот под командованием адмирала *Нельсона* (1758—1805) разгромил французский флот, что обеспечило господство англичан на море. Адмирал Нельсон был убит в этом бою. Один из предков Гарди участвовал в Трафальгарской битве — он был капитаном корабля «Победа», на котором погиб Нельсон.

Н. Дезен

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

| | |
|--|-----|
| * Три незнакомца. <i>Перевод О. Холмской</i> | 7 |
| * Сухая рука. <i>Перевод М. Абкиной</i> | 27 |
| * Проповедник в затруднении. <i>Перевод Н. Дехтеревой</i> | 53 |
| * Маркиза Стонэндж. <i>Перевод О. Холмской</i> | 104 |
| * Леди Моттисфонт. <i>Перевод М. Литвиновой-Юдиной</i> | 118 |
| * Герцогиня Гемптонширская. <i>Перевод М. Лорие</i> | 131 |
| * Запрет сына. <i>Перевод В. Маяцк</i> | 142 |
| * Трагедия двух честолюбив. <i>Перевод Н. Волжиной</i> | 156 |
| * В Западном судебном округе. <i>Перевод М. Беккер</i> | 178 |
| * В угоду жене. <i>Перевод Н. Будавей</i> | 199 |
| * Грустный гусар из немецкого легиона. <i>Перевод И. Бернштейн</i> | 215 |
| * Старинные характеры | |
| Вступление. <i>Перевод Р. Бобровой</i> | 232 |
| Тони Кайтс, архиплут. <i>Перевод И. Кашкина</i> | 235 |
| История Харджомов. <i>Перевод Н. Высоцкой</i> | 242 |
| Рассказ суеверного человека. <i>Перевод Э. Раузиной</i> | 251 |
| Чудная свадьба. <i>Перевод И. Кашкина</i> | 254 |
| Старый Эндри в роли музыканта. <i>Перевод Э. Раузиной</i> | 260 |
| Дьявол на хорах. <i>Перевод И. Кашкина</i> | 262 |
| Уинтеры и Палмли. <i>Перевод А. Маргьиновой</i> | 265 |
| Случай из жизни мистера Джорджа Крукхилла. <i>Перевод И. Гаврилова</i> | 273 |
| Хитрость Нетти Сарджент. <i>Перевод Р. Бобровой</i> | 277 |
| * Могила на распути. <i>Перевод В. Хинкиса</i> | 283 |

СТИХОТВОРЕНИЯ

Уэссекские стихотворения

| | |
|---|-----|
| На похоронах. <i>Перевод А. Шарповой</i> | 295 |
| Неверующий. <i>Перевод В. Лунина</i> | 296 |
| Перед зеркалом. <i>Перевод А. Шарповой</i> | 298 |
| Кэстербриджские капитаны. <i>Перевод О. Седиковой</i> | 299 |

| | |
|---|-----|
| Стихотворения о прошлом и настоящем | |
| Отъезд. <i>Перевод В. Корнилова</i> | 300 |
| Отправка батареи. <i>Перевод В. Корнилова</i> | 301 |
| В военном министерстве. <i>Перевод В. Корнилова</i> | 303 |
| Рождественская повесть. <i>Перевод В. Корнилова</i> | 304 |
| Барабанщик Ходж. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 305 |
| Души убитых. <i>Перевод В. Корнилова</i> | 306 |
| Жаворонок Шелли. <i>Перевод Д. Веденяпина</i> | 310 |
| К жизни. <i>Перевод Д. Веденяпина</i> | 311 |
| К нерожденному ребенку бедняка. <i>Перевод В. Корнилова</i> | 312 |
| К Лизби Браун. <i>Перевод В. Корнилова</i> | 314 |
| Единственная любовь. <i>Перевод Д. Веденяпина</i> | 316 |
| Дрозд в сумерках. <i>Перевод Г. Кружкова</i> | 318 |
| В сумерках. I. <i>Перевод А. Шарановой</i> | 319 |
| В сумерках. II. <i>Перевод А. Шарановой</i> | 320 |
| В сумерках. III. <i>Перевод А. Шарановой</i> | 321 |
| Жалоба Тэсс. <i>Перевод В. Корнилова</i> | 322 |
| | |
| Шутки времени | |
| Трагедия бродяжки. <i>Перевод А. Шарановой</i> | 324 |
| Гостеприимный дом. <i>Перевод А. Шарановой</i> | 328 |
| Зима крестьянки. <i>Перевод Д. Веденяпина</i> | 329 |
| Уберите эту луну. <i>Перевод Д. Веденяпина</i> | 330 |
| Разлука. <i>Перевод Д. Веденяпина</i> | 331 |
| * Прощанье на перроне. <i>Перевод В. Топорова</i> | 332 |
| Я клялся всем, чем мог. <i>Перевод Ю. Латышиной</i> | 333 |
| Конец эпизода. <i>Перевод В. Лунина</i> | 334 |
| На ярмарке в Кэстербридже. <i>Перевод М. Бородинской</i> | 335 |
| Праздношатающийся. <i>Перевод Д. Веденяпина</i> | 339 |
| Они сажали сосны. <i>Перевод Д. Веденяпина</i> | 340 |
| Женщина слушает бурю. <i>Перевод А. Шарановой</i> | 342 |
| В канун Нового года. <i>Перевод Д. Веденяпина</i> | 343 |
| | |
| Сатиры на случай | |
| Стрельба на море. <i>Перевод В. Корнилова</i> | 344 |
| После встречи. <i>Перевод Р. Дубровкина</i> | 346 |
| Лицо в окне. <i>Перевод Р. Дубровкина</i> | 347 |
| Уэссекские вершины. <i>Перевод О. Седаковой</i> | 349 |
| Спящий певец. <i>Перевод О. Седаковой</i> | 351 |
| Кто роет землю надо мной? <i>Перевод В. Корнилова</i> | 353 |
| У водопада. <i>Перевод Д. Веденяпина</i> | 355 |
| Исчезновение. <i>Перевод Г. Русакова</i> | 357 |
| Твоя последняя прогулка. <i>Перевод Р. Дубровкина</i> | 359 |
| Я нес ее. <i>Перевод Г. Русакова</i> | 360 |
| Элегия. <i>Перевод Г. Русакова</i> | 362 |
| Голос. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 364 |
| Под последним фонарем. <i>Перевод О. Седаковой</i> | 365 |
| Прошедшая любовь. <i>Перевод В. Лунина</i> | 367 |
| Жалоба Человеку. <i>Перевод Р. Дубровкина</i> | 368 |

| | |
|---|-----|
| Не плачь по мне. <i>Перевод А. Милосердовой</i> | 370 |
| До и после лета. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 371 |
| На исходе дня в ноябре. <i>Перевод Т. Гутиной</i> | 372 |
| Пробуждение. <i>Перевод Т. Гутиной</i> | 373 |
| Без церемоний. <i>Перевод Р. Дубровкина</i> | 374 |
| Женщина во ржи. <i>Перевод Р. Дубровкина</i> | 375 |
| Она обвиняла. <i>Перевод Р. Дубровкина</i> | 376 |
| Жена вновь приехавшего. <i>Перевод В. Корнилова</i> | 377 |
| Разговор на заре. <i>Перевод В. Корнилова</i> | 378 |
| Бегство. <i>Перевод Р. Дубровкина</i> | 384 |
| Образумься ты, расплачься. <i>Перевод Р. Дубровкина</i> | 385 |
| После поездки. <i>Перевод А. Шараповой</i> | 386 |
| Мыс Бини. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 387 |
| У замка Ботерел. <i>Перевод А. Шараповой</i> | 388 |
| Призрачная всадница. <i>Перевод А. Шараповой</i> | 390 |
| Колдовство роз. <i>Перевод Р. Дубровкина</i> | 392 |
| Ее тайна. <i>Перевод Р. Дубровкина</i> | 394 |
| В Британском музее. <i>Перевод Р. Дубровкина</i> | 395 |
| Рождественские музыканты. <i>Перевод Р. Дубровкина</i> | 396 |
| Два солдата. <i>Перевод В. Лунина</i> | 397 |
| * Поэт. <i>Перевод А. Сергеева</i> | 398 |

Минуты озарений

| | |
|--|-----|
| Наследственность. <i>Перевод Г. Кружкова</i> | 399 |
| Возле Ланивета. 1872 год. <i>Перевод Г. Кружкова</i> | 400 |
| Quid hic agis? <i>Перевод Г. Кружкова</i> | 402 |
| Ожидание. <i>Перевод М. Бородицкой</i> | 405 |
| Родословная. <i>Перевод Г. Кружкова</i> | 407 |
| Стук в окно. <i>Перевод Г. Кружкова</i> | 409 |
| Волы. <i>Перевод Г. Кружкова</i> | 410 |
| Прекрасные вещи. <i>Перевод Г. Кружкова</i> | 411 |
| Колокола. <i>Перевод О. Седаковой</i> | 412 |
| Старая мебель. <i>Перевод Г. Кружкова</i> | 413 |
| Поленья в камине. <i>Перевод Г. Кружкова</i> | 415 |
| Под ветром и ливнем. <i>Перевод Г. Кружкова</i> | 416 |
| Канун Нового года во время войны. <i>Перевод Г. Русакова</i> | 417 |
| Все прошло. <i>Перевод Г. Кружкова</i> | 419 |
| После меня. <i>Перевод Г. Кружкова</i> | 421 |

Поздняя и ранняя лирика

| | |
|--|-----|
| Погоды. <i>Перевод Т. Гутиной</i> | 422 |
| Летние планы. <i>Перевод Т. Гутиной</i> | 423 |
| Порой я думаю. <i>Перевод Т. Гутиной</i> | 424 |
| Странный дом. <i>Перевод Т. Гутиной</i> | 425 |
| Все та же песня. <i>Перевод О. Седаковой</i> | 427 |
| Лалворт Коув столетие назад. <i>Перевод Т. Гутиной</i> | 428 |
| Клятва девушки. <i>Перевод Ю. Латыниной</i> | 429 |
| Ночь в ноябре. <i>Перевод О. Седаковой</i> | 430 |
| Красавица. <i>Перевод Т. Гутиной</i> | 431 |

| | |
|--|-----|
| Органистка. <i>Перевод Т. Гутиной</i> | 432 |
| После полуночи. <i>Перевод Ю. Латыгиной</i> | 435 |
| Старик старикам. <i>Перевод Т. Гутиной</i> | 436 |
| Т е а т р ж и з н и | |
| Невольники. <i>Перевод А. Милосердовой</i> | 438 |
| Двое ждущих. <i>Перевод Ю. Латыгиной</i> | 439 |
| Когда умру. <i>Перевод Г. Симановича</i> | 440 |
| Ярмарка овец. <i>Перевод В. Лунина</i> | 441 |
| Снегопад в пригороде. <i>Перевод Г. Кружкова</i> | 442 |
| Он нечаянно излечился от мук любви. <i>Перевод В. Лунина</i> | 443 |
| Тексты на перезвон восьми колоколов. <i>Перевод В. Лунина</i> | 444 |
| Эпитафия на Смита из Стоука, пессимиста. <i>Перевод В. Лунина</i> | 445 |
| Сцена расставания. <i>Перевод Г. Симановича</i> | 446 |
| Убывающие дни на ферме. <i>Перевод В. Лунина</i> | 447 |
| Песня на старый мотив. <i>Перевод А. Шарповой</i> | 448 |
| Сценка с птицами в сельском доме. <i>Перевод Г. Русакова</i> | 449 |
| Соборный фасад в полночь. <i>Перевод Г. Симановича</i> | 450 |
| Влюбленный — возлюбленной. <i>Перевод В. Лунина</i> | 451 |
| Цирковая наездница — бывшему партнеру. <i>Перевод В. Лунина</i> | 452 |
| Последняя неделя октября. <i>Перевод Г. Русакова</i> | 453 |
| Не приходи! Приди! <i>Перевод Т. Гутиной</i> | 454 |
| Доверьтесь мне. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 455 |
| Викарий с Ист-Энда. <i>Перевод Г. Русакова</i> | 456 |
| В четыре поутру. <i>Перевод Г. Симановича</i> | 457 |
| На эспланаде. <i>Перевод В. Лунина</i> | 458 |
| В тот час был странен лик Земли. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 459 |
| Жизнь и смерть при восходе солнца. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 460 |
| Ночная буря в середине осени. <i>Перевод М. Бородицкой</i> | 461 |
| Небольшой снегопад после заморозков. <i>Перевод М. Бородицкой</i> | 462 |
| Зимний вечер в лесном краю. <i>Перевод М. Бородицкой</i> | 463 |
| В гололедицу. <i>Перевод М. Бородицкой</i> | 464 |
| Девушки играют на заснеженной улице. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 465 |
| Губы. <i>Перевод В. Лунина</i> | 467 |
| Взявший жену из богатой семьи. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 468 |
| На улице. <i>Перевод В. Корнилова</i> | 470 |
| На вересковой пустоши. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 471 |
| Высшее начало. <i>Перевод Г. Русакова</i> | 474 |
| Подменная жена. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 478 |
| Время и любовь. <i>Перевод А. Шарповой</i> | 481 |
| В Шернборнском аббатстве. <i>Перевод А. Шарповой</i> | 482 |
| На Запад открыла она мой мир. <i>Перевод А. Шарповой</i> | 484 |
| Что же о мире петь? <i>Перевод В. Корнилова</i> | 485 |
| Похороны фермера Данмэна. <i>Перевод В. Корнилова</i> | 486 |
| Эпитафия цинику. <i>Перевод В. Корнилова</i> | 487 |
| Опись достоинств одной дамы на водах. <i>Перевод Р. Дубровкина</i> | 488 |
| На Оксфорд-стрит. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 489 |

Зимние слова

| | |
|--|-----|
| Гордые певцы. <i>Перевод Т. Гутиной</i> | 490 |
| Я тот. <i>Перевод Т. Гутиной</i> | 491 |
| Холодный май. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 492 |
| На святках. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 493 |
| Низвержение дерева. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 494 |
| Бессонница. <i>Перевод А. Шариповой</i> | 495 |
| Он никогда не рассчитывал на многое, или Размышление (ретроспекция) по поводу моего 86-летия. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 496 |
| Возвращение. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 497 |
| Все ближе ощущение предела. <i>Перевод Г. Русакова</i> | 498 |
| Желание бессознательности. <i>Перевод Г. Русакова</i> | 499 |
| Ее лицо. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 500 |
| Мысль поэта. <i>Перевод Г. Русакова</i> | 501 |
| Тишина пустого дома. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 502 |
| Черный дрозд. <i>Перевод А. Шариповой</i> | 503 |
| Одному дереву в Лондоне. <i>Перевод А. Шариповой</i> | 504 |
| Спиленному дереву. <i>Перевод А. Шариповой</i> | 505 |
| Регата Хенли. <i>Перевод Г. Русакова</i> | 506 |
| Вечер в Галилее. <i>Перевод Г. Русакова</i> | 507 |
| Деревенские женщины. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 508 |
| Лишь там, на небесах. <i>Перевод В. Лунина</i> | 509 |
| Стоя у камина. <i>Перевод В. Лунина</i> | 510 |
| Тот поцелуй в ночи. <i>Перевод Г. Русакова</i> | 511 |
| В канун Крещения. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 512 |
| Тревога ожидания. <i>Перевод А. Шариповой</i> | 515 |
| Услышанное на открытии церкви. <i>Перевод Г. Русакова</i> | 516 |
| В колодках в Уззербери. <i>Перевод В. Лунина</i> | 517 |
| Третья поцелуйная калитка. <i>Перевод В. Лунина</i> | 518 |
| | |
| Из эпической драмы «Династы» | |
| Гусарская песня. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 519 |
| У мыса Трафальгар. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 521 |
| Уехал дружок. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 523 |
| В долине торфяной. <i>Перевод М. Фрейдкина</i> | 524 |
| Комментарии <i>Н. Демуровой и Н. Дезен</i> | 526 |

Гарди Томас
Г20 Избранные произведения. В 3-х т. Т. 3: Повести и рассказы; Стихотворения: Пер. с англ./Сост. Н. Демуровой; Коммент. Н. Демуровой и Н. Дезен; Худож. Л. Хайлов.— М.: Худож. лит., 1989.— 543 с.

ISBN 5-280-00745-5 (Т.3)

ISBN 5-280-00742-0

В третий том избранных сочинений Томаса Гарди вошли его лучшие повести, рассказы и стихотворения разного времени.

Г 4703010600-313 986-89
028(01)-89

ББК 84.4Вл

Томас Гарди

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМ ТРЕТИЙ

Редакторы

М. Макарова, М. Тюнькина

Младший редактор

С. Митюшина

Художественный редактор

Л. Калитовская

Технический редактор

В. Нефедова

Корректоры

Н. Пехтерева, О. Левина

ИБ № 5505

Сдано в набор 16.01.89. Подписано к печати 27.03.89. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офс. № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 34,0. Усл. кр.-отт. 34,0. Уч.-изд. л. 28,65. Тираж 200 000 экз. (2-ой завод 100 001—200 000 экз.). Изд. № VI-3161. Заказ № 353. Цена 2 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Отпечатано с диапозитивов ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 113054, Москва, Валуевая, 28 в ордена Трудового Красного Знамени полиграфическом комбинате Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Калинин, пр. Ленина, 5

